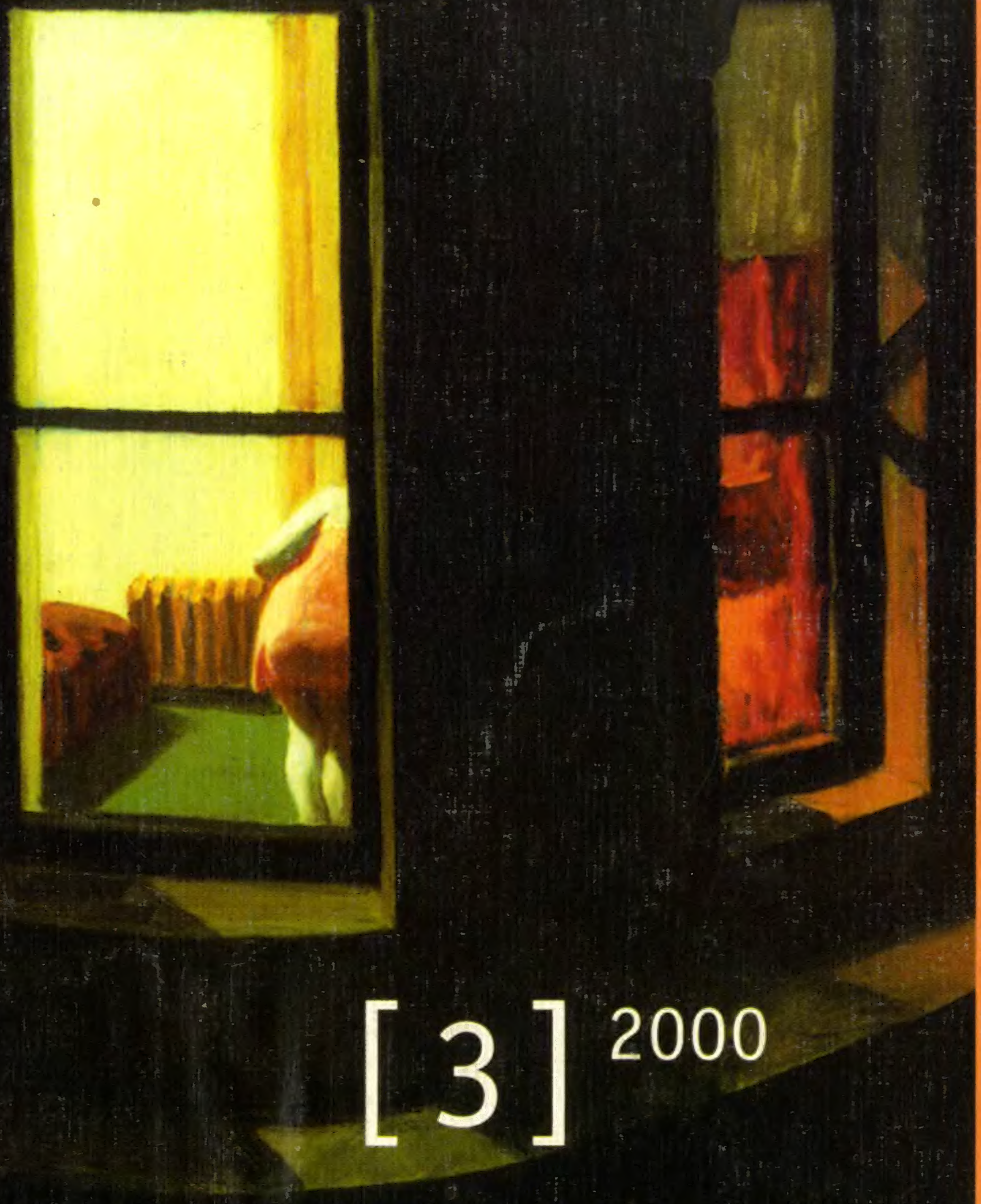
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[3] 2000

НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА “ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ” / СТИХИ МИЛАНА РИХТЕРА / ГЛАВЫ ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА ПОЛА ТЕРУ “МОЯ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ” / ЭССЕ ТЕОФИЛЯ ГОТЬЕ “МОДА КАК ИСКУССТВО” И ОЛЬГИ ВАЙНШТЕЙН “ПОЭТИКА ДЕНДИЗМА”

Основан в 1891 году

[3]
2000

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Пол Теру. *Моя другая жизнь.* Фрагменты книги. Перевод с английского Ольги Варшавер, Сергея Белова. Сергей Белов. *Большой литературный базар, или Старый экспресс фантазии.* Творческий путь Пола Теру

126 Милан Рихтер. Стихи. Перевод со словацкого и вступление О. Малевича

129 Эрих Мария Ремарк. *Земля обетованная.* Роман. Перевод с немецкого и вступление М. Рудницкого

Статьи, эссе

296 Ольга Вайнштейн. *Поэтика дендизма: литература и мода*

307 Теофиль Готье. *Мода как искусство.* Перевод с французского В. Мильчиной

Курьер "ИЛ" 312

Авторы номера 317

© "Иностраная литература", 2000

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература".С 1955 года –
"Иностранная литература"

Из общего тиража
в 13 800 экземпляров
Институт "Открытое
общество" ежемесячно
выкупает и безвозмездно
направляет
в библиотеки России
и ряда стран СНГ
3 850 экземпляров.

Ежегодные литературные
премии журнала
спонсирует ЗАО Конверсбанк
(Акционерный банк Конверсии).

Главный
редактор

А.Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н.А. Богомолова
*заведующая отделом критики
и публицистики*

Л.Н. Васильева
*заведующая отделом
художественной литературы*

А.В. Михеев
ответственный секретарь

Г.Ш. Чхартишвили
заместитель главного редактора

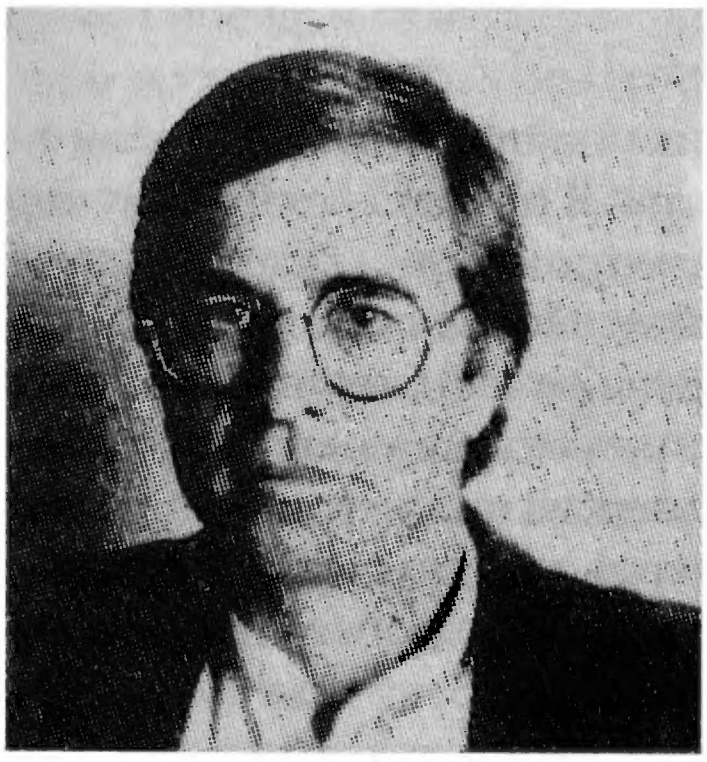
Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Малькольм Брэдбери
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Общественный
редакционный совет:

С.С. Аверинцев
В.П. Аксенов
С.К. Апт
А.Г. Битов
П.Л. Вайль
М.Л. Гаспаров
Е.Ю. Гениева
А.А. Генис
В.П. Голышев
Т.П. Григорьева
Б.В. Дубин
А.Н. Ермонский
В.В. Ерофеев
Д.В. Затонский
А.М. Зверев
Вяч.Вс. Иванов
В.Б. Иорданский
Т.П. Карпова
А.С. Мулярчик
Д.Б. Рюриков
М.Л. Салганик
Е.М. Солонович
П.М. Топер
Н.Л. Трауберг
М.А. Федотов
Б.Н. Хлебников

Пол Теру



Моя другая жизнь

Фрагменты книги

С английского

Посвящается Джонатану Рабану

От автора

ЭТО – рассказ о жизни, которую я мог бы прожить, мемуары о том, чего не было. Однако в пародии, как в шутке, есть доля правды. Кроме того, память – свойство особое. Из всего этого следует, что даже воображаемая жизнь напоминает жизнь прожитую. Впрочем, в этой книге я руководствовался исключительно тем, что нашептывал мне мой alter ego: "А что, если?.."

Мои персонажи существуют исключительно в этих намеренно выдуманных историях, города также описаны весьма условно, и повествование, бродя тропами вымысла, является воистину путевыми заметками. Некоторые имена покажутся вам знакомыми: Энтони Бёрджесс, Натан Леопольд, королева Елизавета II и многие другие, но они тоже – alter ego, это совсем иные, а не реальные исторические лица. Что до самого рассказчика, Пол Теру из книги похож на меня чрезвычайно, но и он – участник маскарада. Хранить кое-что в тайне – по-прежнему привилегия писателя, и он вправе использовать вместо маски собственное лицо. Вот тут уж я никаких вольностей себе не позволял. Пускай рассказчик вымышленный, но маска – самая настоящая.

П. Т.

© 1996 by Paul Theroux
© О. Варшавер. Перевод, 2000
© С. Белов (наследники). Перевод, 2000

Деревня прокаженных

1

Садиться в поезд в кромешной африканской ночи — все равно что лезть в брюхо огромного грязного монстра. Я обрадовался этому странному ощущению, почувствовал себя в вагоне покойно и счастливо и свернулся в полудреме на деревянной скамейке. После восхода поезд перестал казаться такой громадиной. При резком же дневном свете меня обступили тесные, замызганные стены, решетки на окнах прорисовались черно и внятно и весь вагон мой завонял в наплывающей жаре. На коленях у меня лежала книга, новый перевод "Дневников" Кафки. Я почитал, но немного: так, по кусочку, откусывают обычно бутерброд, зная, что другой еды не будет. Потом я огляделся.

Некрашеные сиденья густо-желто сияли: много лет изо дня в день их протирали задницы в лохмотьях. Раздался свисток, мы тронулись, и на первом же повороте я увидел впереди черный котел паровоза: он плевался маслом и водой и пыхтел, точно раненый зверь. Допотопный агрегат колониальных времен, другие тут не ходят.

Как только мы выбрались из города, минут десять спустя или того меньше, хижины вдоль колеи стали победнее: появились тростниковые крыши вместо жестяных; постройки лепились друг к дружке, и палочные каркасы их явственно проступали сквозь облупленную глину и известку, точь-в-точь как проступали из-под кожи скелеты их обитателей. Люди сидели на корточках перед своими жилищами и провожали глазами поезд. Смотрели они — когда мне случалось встретиться с ними взглядом — испуганно и виновато.

Деревья на скудной почве за окном тянулись чахлые, и каменистая эта пустошь становилась все ровнее и суше по мере того, как поезд, натужно пыхтя, двигался к северу. Едва солнце поднялось выше тощих веток и принялось косо бить в зияющие окна, все тут же раскалилось: и ржавые прутья решеток, и грязное нутро вагона. Сделалось нестерпимо жарко. На полу валялась ореховая скорлупа, апельсиновые корки, обкусанные-обжеванные стебли сахарного тростника. Женщина на соседнем сиденье кормила ребенка грудью, но, поскольку ребенку было лет семь или даже больше, сосанье груди походило на неуклюжий кровосмесительный половой акт: мать была юная, хрупкая, почти девочка, а ребенок — велик и жаден.

В окна летела липкая угарная пыль, поднятая паровозом и головными вагонами; остро пахло дымом. Паровоз британского производства был, безусловно, детищем старых времен, может еще с войны. Густой дым оседал повсюду слоями копоти и сажи, голые руки мои вскоре почернели. Я потел, и по рукам расплывались черные потеки. Захватить еду мне как-то не пришло в голову. Пить тоже было нечего. Я ехал один в первый день октября, который в Малави[1] прозывается "месяцем самоубийств" — из-за невыносимой жары.

Путешествие по всем приметам обещало быть тяжелым, малоприятным. Мне же было славно и чудесно.

1. Страна в Восточной Африке, между Танзанией и Мозамбиком, бывшая британская колония; прежнее название Ньясаленд. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Первый мой глоток, первый вкус свободы в Африке — для меня в нем мешались и драма, и романтика. Казалось, что, сев в этот большой, косолапый поезд, я счастливо спасся, осуществил удачный побег. Хотя ни одного из написанных мною стихотворений я еще не опубликовал, в этой поездке я видел себя писателем: я ехал дерзать, окунаться в неведомое, открывать что-то для себя новое. Поезд уносил меня прочь от той Африки, с которой я успел познакомиться: от скопища бунгало и убогих лачуг, где живут несчастные, опустившиеся люди; где существует непременный клуб для белых, трущобы для черных, индийские магазинчики и — одна-единственная улица во всем городе. Я успел невзлюбить Блантайр[1] за его обыденность. Хотел чего-то более темного, причудливого. Жаждал риска, даже опасности.

Уже год я преподавал в маленькой школе на окраине городка, и, чем дольше жил там, тем скучнее мне становилось. Я стремился к иному. Большему. И меня постоянно снедало желание попасть в дикие края, в саванну. И вот случай представился.

— На север собрался? — спросил накануне моего отъезда Марк, мой друг-англичанин родом из Южной Родезии.

— На север. — Добавить мне было нечего.

Я решил поработать в каникулы. Всем нам, учителям Корпуса мира, предложили во время школьных каникул сделать что-то полезное для Африки. Я мог остаться в школе, составить книжный каталог или возглавить работы по расчистке пустыря для новой спортивной площадки. Мог придумать любой предлог, найти в школе любое дело. И вдруг один из моих учеников обмолвился, что он из Центральной провинции, с озера[2]. И деревня его находится как раз на пути в миссионерскую больницу в Мойо.

— Там лепрозорий, — сказал он.

Никогда прежде я не слышал, чтобы это английское слово произносили вслух. Звучало завораживающе, и я был благодарен ученику.

А потом он добавил, что священники и монахини в этой миссии все — как и я — белые, mzungus.

Я написал отцу настоятелю, что хотел бы приехать к ним на время самых длинных школьных каникул. Могу преподавать английский. Отец де Восс ответил, что мне будут рады. И следующие несколько недель я ни о чем другом и думать не мог.

В предстоящем путешествии меня волновало все. Я поеду на поезде с паровозом, поеду в глухомань, совсем один, попаду в саванну, в колонию для прокаженных. Избавлюсь от политики, упорядоченности, одуряющей скуки. Этого-то я и жаждал — по-настоящему дикой Африки. Рая, в котором можно все начать заново.

"Лепрозорий" — колдовское сочетание звуков. Лепра, проказа — какие слова! Какая глушь! Здесь кроется не просто нечто необычное, меня ждет странный, причудливый мир. Ведь проказа — болезнь примитивная и темная, словно древнее проклятие. Она делит людей на "чистых" и "нечистых", превращая последних в изгоев. В ней есть что-то запретное. Одна из личин старой, неприглаженной Африки. Проказа, проказа, проказа. Я устал от метафор. Меня влекли простые, однозначные слова: проказа, дикость, нищета, зной.

1. Блантайр-Лимбе — город на юге Малави.
2. Озеро Ньяса, раньше называвшееся Малави.

Об этом я сейчас и думал. Тропическое небо простиралось вширь, огромное и бледное. Мне нравился зной. И было уютно покупать еду у старых теток во время коротких наших остановок и сидеть потом в закопченном вагоне, чистить грязными пальцами апельсин, грызть арахис, то есть вести себя как все остальные пассажиры.

Ради такого путешествия я и приехал в Африку. Было мне двадцать три года. Я хотел стать писателем и тем зарабатывать себе на жизнь. Мечтал познать континент изнутри, разведать его секреты. Городок мой, Блантайр, меня уже разочаровал. Я возненавидел его главную и единственную пыльную улицу. Такие городки, основанные колонизаторами посреди Африки, все как на подбор походили на военные гарнизоны: пивнушки, кинотеатр, закусочные с неизменной рыбой и жареной картошкой. Но я-то приехал в Африку не пиво пить, не кино смотреть! У стоек баров здесь вечно околачивались девчонки, готовые пойти с любым по первому зову, причем задаром. Все только предстояло: проституция, политический деспотизм. Пока же Африка еще не утратила невинности.

Я оторвался от книги и выглянул в окно. Мы въезжали в саванну. Вот оно, счастье! С собой у меня два тома "Дневников" Кафки — мне прислали их как раз на днях — да еще моя собственная писанина: будущий поэтический сборник, пока в рукописи. Я думал так: днем буду трудиться, а по ночам сочинять, что я, собственно, и делал, работая в школе. Но сейчас я отправлялся вроде как в плаванье. И готовился к этому путешествию, точно к выходу в море. Саванна и казалась мне морем, даже океаном.

Никогда прежде не ездил я в таких неспешных поездах. Движение от этого делалось еще более странным, размеренным и тяжеловесным. Три часа спустя поезд уже не казался мне старым и неуклюжим, напротив, он обрел в моих глазах осанистость, важную стать — во многом из-за пришедшего на ум сравнения саванны с океаном. Поезд был как старый фрегат, взрезающий океанскую гладь. Останавливался он часто, необязательно на станции или у платформы, а просто посреди чиста поля, а точнее, желтой саванны, и колючие ветки-руки цеплялись за окна. Зелень подступала так близко, что стук паровозных колес отражался от нее, как от стены. В частых остановках не было на самом деле никакой надобности, но еще до полудня мы остановились раз пятнадцать или двадцать. А несколько раз поезд будто размышлял: подавал назад, дергал, а потом все-таки ехал дальше. Но меня это не обескураживало. И улиточная скорость, и внезапные остановки, и задний ход — все отвечало моей потребности в необычном.

Этот африканский поезд, в топке которого горели дрова и уголь, грохоча, углублялся в дебри Африки. Дети в вагоне смотрели на меня с любопытством. Люди постарше держались вежливо, слегка опасливо. Потом я задремал, а проснулся на каком-то полустанке от металлического лязга прицепляемых вагонов. И улыбнулся — своим черным от копоти рукам.

Рядом сидел мальчик. Я приложил свою руку к его.

— Моя чернее.

— У меня кожа не черная, — возразил он.

В час дня мы добрались до города Балаки, где собаки спали прямо посреди улицы. Балака — станция узловая (другая ветка уходила в Форт-Джонстон и Монки-Бей). Никогда прежде я не бывал в таком жарком,

равнинном месте. Я прошел вперед по платформе — узнать у кондуктора, когда мы отправимся дальше ("Не раньше трех," — ответил он), — и заметил, что один из головных вагонов аккуратно выкрашен и окна его наглухо закрыты. Пока я рассматривал вагон, одна из ставенок приоткрылась, и выглянул голубоглазый ребенок: видимо, ехал с родителями-миссионерами в те же края, что и я. Ага, значит, я имею дело с пассажиром первого класса. А я и не подозревал, что тут есть такой вагон, один на весь поезд, где окна-двери задраены от солнца.

Впрочем, перебираться в этот вагон и, развалясь на мягких сиденьях, коротать время с моими соотечественниками-mzungus мне вовсе не хотелось. Не хотелось слушать их жалобы: "жуткий поезд", "мерзкая погода", "чертовы африканцы".

Общения с соотечественниками мне хватало и в Блантайре. Теперь я хотел сидеть на жестких деревянных скамьях и чтоб вокруг было странно. Я представил всех этих mzungus в законопаченном вагоне первого класса: ворчат, прячутся, стараются убить время, читая пожелтевшие многомесячной давности подшивки "Дейли миррор", которые шли из Лондона в Малави морем.

На станции Балака за железнодорожным складом оказался африканский ресторан; за четыре шиллинга и три пенса мне подали курицу с рисом в глубокой миске с отколотой эмалью. Потом я уселся в тени на веранде, глядя на раскаленную улицу, белое небо, белесую, точно припудренную, землю, и все вокруг было неподвижно, кроме насекомых. А когда я вышел под солнце, тут же ощутил тяжесть этого пекла. Но стоял один посреди улицы, на маленьком островке тени, которую сам же отбрасывал, и думал: я именно там, где хочу.

Свисток к отправлению раздался в половине третьего, и, немного поколебавшись на развилке, поезд снова взял курс на север — сквозь пропыленную желто-бурую саванну, низкие костлявые деревья и великанскую, выше человеческого роста, траву. В этот слепящий октябрьский день все вокруг как вымерло: ни птицы, ни человека, ни зверя. Не колыхался ни листок, ни травинка; казалось, вокруг не было даже воздуха. Поезд оставался единственным движущимся предметом в этом раскаленном мире. Мы испускали дым и шум, за нами клубилась пыль, но едва она оседала — я видел это сквозь заднее стекло своего последнего вагона, — пейзаж вновь обретал мертвенную неподвижность.

Ни зверей, ни людей, ни даже садов или хижин. Только мили выжженной саванны, "мили и мили этой вонючей Африки", как сказали бы mzungus. Да еще гуд мошкары, словно тебя лихорадит и в ушах звенит, когда и без того высокая температура лезет еще выше.

За день солнце описало над поездом дугу: утром, когда мы отъезжали из Блантайра, оно было справа, потом весь день барабанило по железной крыше вагона, а теперь снова соскользнуло набок и заглядывало в окна с левой стороны. Я подремывал под перестук колес на длинных, прямых как струна рельсах и назойливый лязг на расшатанных стыках; на остановках грохотали и скрежетали тормоза и визжал металл, тершийся о металл.

Никогда прежде не ездил я в таких поездах, да, пожалуй, это вовсе и не был поезд. Сравнение с кораблем казалось куда точнее. Только даже не с парусником, а с пыхтящим колесным паровиком, который, пронзительно свистя, тарахтит вдоль побережья, а потом вдруг сворачивает в русло извилистой узкой речушки и идет по ней вверх, в глубь саван-

ны. Там и сям попадаются на его пути пристани или просто мостки, точно нарисованные на звенящем от зноя берегу.

Станции в основном представляли собой просто сараи с жестяными крышами, без всякой вывески. На грязных, затоптанных многими ногами платформах женщины и девочки продавали лоснящиеся от масла пончики, бананы, арахис; весь товар покоился в жестяных мисках у них на головах. Торговки были костлявы, оборванны и босы; чем дальше мы двигались на север, тем меньше одежды прикрывало женские тела. Здесь, на выжженных подступах к озеру, большинство женщин ходили с обнаженной грудью. Вот наконец и она, Африка моей мечты.

Я сидел у окна и, сощурившись от угольного дыма, смотрел на Африку, смотрел и ждал, а вагон катился все дальше и дальше. День был на исходе; по деревьям, подрагивая, бежали скользящие тени, африканцы на полустанках перешептывались, провожая глазами поезд, — видимо, замечали мое белокожее лицо. Их же лица едва выхватятся из пустоты и тут же канут. Вот мелькнула похоронная процессия: люди, напевая и раскачиваясь, шли за деревянным гробом. Вокруг нагишом бегали ребятишки. А вон двое, мужчина и женщина, всполошившись, в обнимку откатились от железнодорожного полотна: поезд прервал их любовь.

Солнце опустилось ниже облезлых деревьев, на посиневшем небе сгущались сумерки.

— Нтакатака, — сообщил мне сосед-африканец.

От этой станции шла дорога в Мойо.

Было почти шесть вечера. Уже больше двенадцати часов я путешествовал с ощущением совершенного счастья.

Встречал меня отец де Восс в запыленной белой сутане. Он оказался высоким, поджарым и совсем седым, хотя был вовсе не стар. Он взглянул на меня — как мне хотелось надеяться, благожелательно — и печально улыбнулся.

— Рад вас приветствовать. В карты играете?

2

Темный дом стоял на холме, единственном в этом плоском краю; в подобных домах, по всем приметам, должны обитать привидения. Одно окно было освещено ярчайшей — до боли в глазах — лампой, остальные либо черны, либо вовсе закрыты ставнями. Громадина дома отбрасывала жуткие тени, у подножья стен валялись куски обрушившихся лепных украшений, на всем был налет призрачности и вампиризма. Однако вскоре я понял, что впечатление это обманчиво. Дом был просто пуст; этакий символ прошлого, не то форт, не то дворец, напоминание о тех временах, когда в миссии было куда больше народу, как прокаженных, так и монахов. А теперь — заброшенные, заросшие руины посреди африканской саванны. Позабытая обитель.

Под холмом лежала деревня, и мы прошли прямиком сквозь нее. От кострищ тянуло дровяным дымом, слышались голоса, тявкали собаки. В хижинах горели яркие, без абажуров, лампы, и тени под ногами качались из-за этого резкие, черные. Появился запах человека, человеческого тела, сладковатый и тягучий, запах болезни и смерти.

На каменное крыльцо суетливо выскочил старый монах. Забрал у меня — невзирая на протесты — чемодан и передал африканцу в шортах цвета хаки и белой рубашке, типичной униформе африканских слуг. За

спиной у них стоял молодой священник и пристально меня рассматривал. А монах, похлопывая по чемодану, непрерывно говорил по-чиньянджийски, причем обращался, как я понял, ко мне:

— Moni, bambo, muli bwanji? Eh, nyerere! Eh, mpemvu! Pepani, palibe mphepo... — Здравствуйте, как поживаете? Что тут у вас? Букашки-тараканки ползают? Уж простите, жара стоит, ни ветерка...

Старик все болтал, смахивая насекомых с чемодана; стало ясно, что по-английски он почти не говорит, а поскольку голландского я не знал, общаться нам предстояло на местном наречии. По-чиньянджийски он говорил в совершенстве, даже употреблял слова типа majiga, хотя большинство африканцев давно называли вокзал по-английски. В тот же вечер он обучил меня новому слову. Я смотрел вниз на деревню, на окошки обмазанных глиной хижин, где сквозь рваные занавески пробивался свет. И он произнес: "Mberetemberete". Означало это "слабо мерцать сквозь", точно женщина идет в легком, свободном платье, а свет падает на нее сзади, — сколько раз замирало у меня сердце здесь, в Африке, от этой картины.

— Dzina lanu ndani? — Я спросил, как его зовут.

Он ответил что-то вроде Фондерпильт, но потом добавил:

— Те, что бедные, а не богачи из Америки.

И я понял, что фамилия его Вандербильт. Здесь же его все называли брат Пит.

Самого молодого звали отец Тушет, он недавно приехал из Канады и выглядел утомленным, осунувшимся. Он совершенно шалел от потока непонятных чиньянджийских слов. Африканец, Симон, поставил мой чемодан в уголок и стал подавать на стол. Отец де Вос тихонько присел к столу: он наблюдал и слушал. От его высокой фигуры веяло мягкой властностью. Он был приветлив, но одновременно несколько отстранен. Улыбался задумчиво и печально.

Я же думал о том, какими белыми виделись мне их сутаны издали и какими запыленными, испачканными и рваными оказались они вблизи.

Отмывая руки над кухонной раковиной, я глянул в зеркало и узнал себя с трудом: волосы и кожа в саже, обгоревший нос, усталые, налитые кровью глаза. Брат Пит усадил меня и принялся угощать. Симон приготовил бобы, зелень и орехи, поджарил кукурузу, к этому еще прилагалась копченая лепешка, которую местные называют nsima. Это их национальное блюдо.

Брат Пит расспрашивал меня о поезде. Он тоже изредка ездил на нем — на рынок в Балаку.

— Всегда сажусь во второй класс, — сказал он. — Хоть словом есть с кем перекинуться.

— Вы ведь родом из Голландии? — сказал я по-чиньянджийски.

— Pepani! Простите! — разгорячился он. — В Амстердаме шум и грохот! Трамваи! Толпы народа! В ушах звенит! Chinthunthumira! Misala!..

— Там земля дрожит, — пояснил Симон. — Сумасшедший дом.

— ...Простите. Я живу здесь в мире и тишине. — И брат Пит повторил африканское слово mtendere.

Ему было семьдесят три года, и в отпуск в Голландию он ездил последний раз в 1951 году.

— Когда же вы перебрались в Африку?

— Давным-давно. — Точнее, он сказал za kale, то есть "в древности". — Приплыл в Джубу из Каира. Да-да! И пил нильскую воду!

Я тем временем ел прямо руками, как африканец, приспособив nsima подталкивать пищу.

— Может, когда я умру, меня и отправят в Амстердам. — Он рассмеялся. — Мне тогда их шум будет нипочем. Мертвому-то.

Мне нравились его шуточки, некоторая странность, речи взахлеб на местном диалекте — с редким английским словцом.

Отец Тушет, напротив, больше молчал. Был он тут человеком новым и потому держался боязливо и строго, как праведник, ни на шаг не отступающий от веры, не допускающий — опасаясь кары — никаких шуток. Требник он сжимал словно кирпич: того и гляди запустит им в грешника.

Он стоял у окна и, навострив ухо, прислушивался к крикам и смеху, доносившимся из африканской деревни вместе с резким барабанным боем.

— А как попали в Мойо вы? — поинтересовался я.

— Меня послали, — сурово ответил отец Тушет. "Послали" звучало как "сослали", в наказание.

— Ему очень повезло, — подал голос отец де Восс. Похоже, услышав ноту печали в словах отца Тушета, настоятель спешил его приободрить.

— А я просто счастлив, что приехал к вам, — сказал я искренне и почувствовал, что все они по-своему рады гостю. Моя же улыбка выдала усталость, меня разморило от долгого путешествия, от горячей еды во влажной духоте кухни и, главное, от черного жара ночи, что висела на окнах вместо занавесок.

— А Пол уже знает, где его комната? — заметив, что я устал, спросил отец де Восс.

Я пожелал всем доброй ночи, и Симон, со свечой на блюдце, повел меня по длинному коридору.

— Хорошее место, — произнес я.

— Да.

— Но люди болеют.

— Здесь их лечат, — возразил Симон. — Поэтому здесь хорошее место.

В комнате он поставил свечу и начал открывать ставни.

— В деревнях... — он имел в виду не эту, а другие деревни, — люди тоже болеют, да так и мрут.

Когда он скрылся в темноте, я сразу лег на жесткую, пахнущую пылью постель; по стенам колыхались тени от свечки, словно в средневековом замке — таинственно и жутко.

Разумеется, я начитался Кафки. Но мои фантазии питались не только Кафкой. В них слились и день, проведенный в поезде, и зной, и желтая, иссохшая пустошь, и глухая ночь, и запах нищеты и болезни.

Наутро все было иначе. Африка кажется зачарованной лишь в прохладной темноте. А при дневном свете она знойная и безжалостная. Деревья стояли теперь истонченные, почти прозрачные и вовсе не отбрасывали тени.

Солнечный свет в Мойо был резче, чем на юге страны. Может, отражался, удваивался в близком отсюда озере? Но до озера все-таки двадцать миль. А может, все оттого, что земля тут плоская, как тарелка? И облака высокие, и кустарник редкий? Или просто время года такое? Как бы то ни было, листья в этих краях сверкали, камни сияли, а земля и небеса раскалялись добела. И все вокруг делалось от этого голым.

Свет выставлял напоказ и испепелял все, вплоть до тени. Это было даже не солнце, жаркое и ясное, а свирепый свет Африки, который раз-

дувал небо вширь и молотил по земле, точно по барабану. Так, грохоча, ввинтился он утром сквозь редкую ткань занавесок в мою комнату и полоснул по вéкам точно бритвой. И сразу обнажились трещины и пыль на белой штукатурке, высветилось над моей головой деревянное распятие с костлявым страдальцем Христом. На полу — слой пыли, деревянная дверная коробка источена термитами; в комнате висит кисловатый муравьиный запах. Накануне вечером дом на холме казался внушительным, даже мощным, но в честном, нелицеприятном свете дня он окончательно обветшал и стал каким-то ненадежным, шатким.

Симон налил мне чаю пополам с молоком. В кухонной стене располагалась ниша, выгороженная наподобие клетки для животного; это был холодильный шкаф для мяса, и оттуда шел тухловатый запашок: видно, начала портиться курятина. Именно эта вонь и преследовала меня здесь. Все на столе: и хлеб, и папайя, и маргарин, и варенье, — все пропахло.

— Где отец де Восс?

— Служит мессу.

Я подсел к истертому дощатому столу и в слепящем свете принялся за еду, налегая на привезенный мною кетчуп и маргарин.

— Здесь и монахини есть?

— Да. Три, — ответил Симон.

— И что они делают?

— Заботятся о наших телах. А священники о душах. — Он говорил проникновенно, как всякий новообращенный. — Еще есть американка mzungu.

— Как ее зовут?

— Не знаю. Тут ее называют Пташка. — Он произнес на африканский манер, получилось “бдашга”.

— Птичка, что ли? Mbalame?

— Да. Она сестра. — Это слово он употребил в британском его значении: медсестра.

— Так где-то поблизости женский монастырь?

— Около больницы.

— И давно здесь эта Пташка?

— С июля.

Значит, три месяца.

— А отец Тушет?

— С апреля.

Больше я вопросов не задавал, но Симон, улавливая непроизнесенное, рассказал, что старый монах, брат Пит, помогал строить в Мойо церковь; что отец Тушет не любит, когда в деревне бьют в барабаны; что отец де Восс приехал в Мойо, когда он, Симон, был еще маленьким и папа показал ему белого человека и велел не бояться.

— Мы же тогда думали, что белые люди вроде привидений и хотят нас сожрать. Но папа сказал: “Нет, этот белый — хороший”.

— А что делал здесь твой отец?

— Болел mkhate.

Проказой.

Вскоре появился отец де Восс. Из-за отстраненности, рассеянности, некоторой мечтательности на всем его облике лежала печать мягкой доброй печали.

— Много собралось народу?

— Мессу посещают далеко не все.

— Я, пожалуй, пойду?

— Как хотите. — Ему действительно было все равно.

— Я хотел бы приготовиться к урокам. Пора приступать.

— Дело благое, — отозвался отец де Восс. — Но можно не торопиться. — Он грустно улыбался и глядел в окно. — Желаете посмотреть нашу церковь?

Он так хотел показать, что я с готовностью согласился.

От дома до церкви было рукой подать: она стояла, большая и пыльная, на другом склоне того же холма. Внутри по стенам чадили сальные свечи, пахло пламенем и оплывающим салом. На окнах кое-где были витражи, а развешенные в простенках деревянные барельефы, остановки Крестного пути, явно сотворили местные умельцы.

— Прокаженные сами сделали. Неплохо, а? Грубая работа, но выразительная.

Он оглядывал церковь с кривоватой усмешкой, слегка даже скептически, точно сомневался, стоит ли за этими символами хоть что-то. Потом кивнул на гипсовую статую:

— Святой Рош. Известно вам, кто это такой?

— Нет.

Отец де Восс улыбнулся, но рассказывать не стал. В церкви были и другие статуи, и искусственные цветы, и небольшие позолоченные украшения, но они ничему не мешали: свет лился в треснувшие окна, придавая помещению аскетичную святость.

— А где больница?

— Хотите взглянуть? — Отец де Восс отчего-то удивился моей любознательности.

С самого приезда, со вчерашнего вечера, я все время слышал звуки деревни. Точно костер, она то тлела, то разгоралась и потрескивала у подножия холма. Говор, восклицания, смех, кукареканье петухов, которых африканцы называют tambala; стук пестиков в ступах, где женщины перетирали маис в муку, ufa, чтобы печь из нее основную свою пищу, лепешки. Помимо звуков, деревня источала смесь запахов: ясный — дымного очага — и смутный — сладковатого распада человеческой плоти; пахло болезнью, хрупкостью жизни, скорой смертью. Впрочем, все это был запах грязи.

Отец де Восс тут же принялся знакомить меня с монахинями, словно привел в дом незнакомца и спешит теперь представить его супруге и домочадцам. На них он даже не смотрел, имен их не называл, только объяснял, кто я и откуда взялся.

— Пол настоятельно попросил показать ему больницу, — добавил он. — Как вы знаете, это не моя епархия.

Он тихонько засмеялся и ушел обратно в дом.

Так, обиняками, он дал мне понять, что больницей ведает не он, а монашки. Их удел был куда тяжелее: врачевать в саванне — не мессу служить, это дело особое — скальпель, швы, дезинфекция... А прокаженные выстраиваются в бесконечную очередь: кто на перевязку, кто за таблетками.

Главное больничное здание под жестяной крышей служило, вместе с верандой, разом амбулаторией и аптекой — так объяснила мне самая старая монахиня. В других зданиях рядами стояли койки — для тяжелых больных, для одиноких беспомощных калек. В большинстве же своем прокаженные жили по своим хижинам, и ухаживали за ними родствен-

ники. По утрам больные получали лекарства — за исключением нескольких лежачих, прикованных к постели, — днем стягивались в амбулаторию на перевязку и уходили потом в деревню.

Монахиня водила меня повсюду, что-то втолковывала, а я думал об одном: как же здесь необычно, странно. И это слово "проказа". Проказа, проказа, проказа.

В одном из зданий я увидел женщину, о которой рассказывал Симон: медсестру-mzungu по прозвищу Пташка. Она перевязывала ногу прокаженному — крепко-накрепко, точно посылку. На стене тикали дешевые часы с грязным жестяным циферблатом.

Женщина была постарше меня, вероятно, лет тридцати, худощавая, с изжелта-бледной кожей; такой нездоровый цвет непременно приобретают лица серьезных белых людей, поселившихся в африканской саванне. Собственно, солнцу подставляются только дураки, остальные же, как эта женщина, работают под навесами и на открытое место носа не кажут.

Она сидела и мерно наматывала на ногу больного повязку из старой рваной тряпки; я подошел, улыбнулся. Она же в ответ не улыбнулась, точно рассердилась на монахиню, которая водит по больнице непрошеных гостей и мешает работать. Есть у белых, приехавших служить в саванну, еще одна черта — неоправданная суровость; видно, им мнится, что жесткий режим придает осмысленность их существованию.

В той Африке, которую я знал, было принято знакомиться, не дожидаясь представления. И я сказал:

— Здравствуйте, меня зовут Пол.

— Линда, — отозвалась она. — Правда, здесь меня зовут Пташкой.

— Очень мило.

— Это из-за фамилии. Фамилия у меня птичья. Вы только что приехали?

— Вчера, на поезде.

— Жуткий поезд.

— А мне понравился. Меня вообще нелегко напугать.

— Тогда вам здесь самое место. Верно, сестра? — обратилась она к монахине.

Та улыбнулась, но довольно мрачно. У нее была тончайшая пергаментная кожа, очень бледная и морщинистая, над верхней губой темнели усики; руки — по локоть в резиновых перчатках.

Мне стало неловко: стою тут, праздно глазею на этих женщин, а для них этот ужас — ежедневная работа.

Пташка все еще трудилась над ногой прокаженного: затягивала узел, заправляла торчащие концы подвязки. На соседней койке застонал больной. И руки, и ноги его были обмотаны кусками грязной, с потеками, холстины; из подошвы сочилась розовато-бурая жидкость.

— Чем собираетесь здесь заниматься? — поинтересовалась Пташка.

— Обучать английскому всех, кто захочет.

Она молча перешла к следующей койке, туда, где тихо постанывал больной. Приподняла его ногу и начала срезать бинты. Она все молчала, и я заподозрил, что сморозил глупость.

Монахиня же заметила:

— Ваши уроки наверняка будут пользоваться успехом. — Она принялась обрабатывать другого больного. А мне — среди вороха грязных бинтов — разговоры об уроках английского показались неуместно игривыми.

Пташка мастерски орудовала острым ножом, вскрывая, точно конверт, запечатанную промокшими бинтами ногу.

— Они плетут корзинки, — сказала она, — и красят их чернилами из старых шариковых ручек. Уродливые корзинки.

— Много лет назад они сами делали краски, из ягод, — заметила монахиня. — Удивительно красивые краски, мы даже пользовались ими в церкви.

— У вас тут, похоже, много работы, — вставил я.

— Прокаженных сотни четыре, да еще их семьи, считайте, тысячи две народу, — ответила монахиня. — Немало, конечно. Люди отовсюду, со всех концов страны. С севера, из племени тумбуки, еще из племени агонис, это совсем рядом, да еще племя сена, с Нижней реки. Есть даже яо, магометане из Форт-Джонстона.

— И вы принимаете всех?

— Конечно. — Она ловко бросила в корзинку снятые бинты. — Из родных деревень их выгнали: слишком много суеверий и предрассудков связано с этой болезнью. Да и немудрено, ведь проказа была неизлечима. Люди страдали, а обращались с ними чудовищно.

— На самом деле болезнь не очень-то и заразна и лечится легко, — подала голос Пташка. Она тоже снимала сейчас последние бинты, обнажая страшные язвы на ступне пациента. — Никто из нас заразиться не может. Но даже когда эти люди выздоровеют, домой почти никому дороги нет. Из-за шрамов. Человека без пальцев африканцы все равно считают больным.

Она бесстрастно обрабатывала сейчас как раз такую беспалую ногу, промокая язвы влажной ваткой. Мне очень хотелось узнать, что ее сюда привело.

— Это последняя страшная болезнь в Африке, — сказала Пташка, словно прочитав мои мысли. — И она излечима. Когда она исчезнет, с этой земли спадет проклятье, потому что хуже уже ничего не будет.

— Всем бы Пташкин оптимизм, — проговорила монахиня.

— Но эти люди остаются у вас на всю жизнь.

— В общем, да, — согласилась монахиня. — Некоторые приносят немало пользы. Те, кто уже здоров, помогают раздавать лекарства, делают перевязки.

— Этого парня, похоже, сильно прихватило, — сказал я.

Мужчина лежал худой как скелет, тела на костях не было вовсе, только свисала складками кожа, торчали узловатые суставы да горели ввалившиеся глаза. Он повернул голову и смерил меня осуждающим взглядом — так тяжелобольные смотрят порой на здоровых.

— Бедняга Малинки, — вздохнула монахиня. — Он поступил к нам со всеми симптомами туберкулеза, от туберкулеза мы его и лечили. Никакого улучшения. Все анализы сделали. А он все худеет и худеет. Пищу удержать не может. Семья его бросила.

— Так что вы теперь ему даете?

— Наши молитвы.

Пташка перешла к следующему пациенту, с раздутой, заскорузлой от струпьев ногой, похожей на древесный ствол с серой, неровной корой.

— А тут укус змеи.

— Mamba akudya? — Я спросил про страшно ядовитую кобру, черную мамбу. Укушенный крутил в руках иглу дикобраза.

— Kasongo, — еле слышно поправил он. Странная педантичность для человека в его положении.

Значит, его укусила не мамба, а другая змея, тоже очень опасная, с красным пятном на груди. Жаркие районы Малави так и кишат этими гадами, и местные их жутко боятся. Если змея переползет тебе дорогу, это плохой знак, и змею непременно надо убить, а не убьешь — возвращайся домой, до завтра пути не будет.

— Нехороший вид у ноги, — заметил я.

— В слюне змеи содержится фермент, который помогает переваривать пищу. Так выглядит любое мясо, которое она глотает. Mganga продал ему иглу, это хорошее mankhwala. Ну, как экскурсия?

— А с этим что?

На кровати лежал человек с перевязанными головой и руками.

— Сосед порезал. Повздорили из-за женщины.

Я вдруг заметил, что за нами наблюдают: за окном маячили головы, мужские и женские.

— Прокаженные. Вообще-то они должны работать. Но разве заставишь?

В палату деловито вошла еще одна монахиня, с ножницами и ножом.

— Знакомьтесь, наш новый учитель английского, — сказала ей Пташка несколько, как мне показалось, издевательски.

Выйдя из больницы, я сократил путь и пошел через деревню, хотя чувствовал на себе любопытные взгляды. Добравшись до обители, сел готовиться к урокам.

Трапеза ничем на отличалась от вчерашней: nsima, бобы и вареный шпинат. Я еще раз попытался расспросить брата Пита об Амстердаме, но его ответы тоже были вчерашними. Отец Тушет мыкался у окна: прислушивался к гулу деревни.

— Сдавайте-ка карты, — сказал в конце концов отец де Восс, и брат Пит, не прекращая болтать по-чиньянджийски, тут же выполнил приказ.

Моим партнером оказался отец де Восс, Симон составил пару брату Питу, отец Тушет по-прежнему страдал, сжимая в руках требник, и, казалось, замышлял лютую месть. Мы сыграли шесть конов и разошлись по комнатам. При свете свечи я почитал "Дневники" Кафки, но смаковать каждое слово уже не хотелось, излишняя его жалость к себе казалась теперь смешной, как жалобы капризного ребенка. Другой язык, другой мир, совсем не похожий на Мойо.

3

— Уроки можно вести в лепрозории, в бывшей перевязочной, — сказал отец де Восс. Мне вдруг подумалось, как сильно прозвучала бы эта фраза, начни я с нее стихотворение. — Это просто banda, но столы есть, — добавил он.

Там, где прежде лежали прокаженные, будут теперь сидеть мои ученики.

Впрочем, для священников и монахинь подтекстов не существовало. Колония прокаженных для них не метафора, не микрокосм человечества. Для них это реальность, африканская община, одни в ней больны, другие здоровы. Никаких тонкостей. Никаких выводов. Тут все начала и все концы. Это их жизнь: больные проказой, их родственники, монахи, монахини. Когда брат Пит говорил, что не хочет возвращаться в Амстердам, он лишь пытался объяснить, что решил умереть здесь, в Мойо. И все они умрут здесь.

Это единственная известная им реальность, весь их мир. Колония прокаженных начиналась и кончалась сама в себе, никуда не вела. Никто здесь, даже священники, ничего другого от жизни не ждали. Их дом, как и большинство других домов в Мойо, был пуст и гол: ни книг на полках, ни картин на стенах — ничего, кроме примитивнейших столов и стульев. И музыки тут не было, кроме песнопений в церкви да барабанного боя в деревне — начинался он сразу как стемнеет и продолжался часов до одиннадцати. В такой обстановке даже колода карт, принадлежавшая отцу де Воссу, казалась красочно-обольстительной, особенно картинки. Я как-то поймал себя на том, что засмотрелся на лица валетов, дам, королей — таких насмешливых, надменных, презрительных.

В вист играли, чтобы убить время. Других развлечений в Мойо не было, как не было ни эксплуатации, ни работы, ни забав. Всё и все — как на ладони. Ни страстей, ни желаний. Это навевало печаль, но, видимо, только на меня. Не рай, не ад, а земля как чистилище — для тех, кто в него верит.

В обители не говорили о прошлом. Внешний мир был так далек — во времени и пространстве, — что совершенно утратил конкретные черты. Колония прокаженных вытеснила все иные реальности, поэтому никто ни о чем не вспоминал. Беседовали здесь, сейчас и только о насущном. И хотя реальность эта была частью Африки, ни политика, ни культура никого тут не волновали. По-чиньянджийски говорили все, кроме отца Тушета. Здешние белые не были самодовольны, только замкнуты, погружены в себя и слегка застенчивы. В моем присутствии они все время старательно шутили, в остальном же были крайне серьезны, почти торжественны. О будущем тоже не говорили, хотя смерть и вечность упоминали. Изредка.

Одежду здесь носили запыленную и грязную, но она не походила на обноски, не свидетельствовала о нищете. Напротив, она делала этих людей благостно-спокойными, равнодушными к мирской суете.

Однажды вечером, когда я готовился к уроку, сидя за обеденным столом под ярчайшей лампой, от которой буквы плясали и двоились, подошел отец де Восс и, поколебавшись, взял в руки учебник "Основы английского как второго языка". Пролистал его, не читая, и положил обратно. Потом сделал то же самое с "Дневниками" Кафки: книги лежали в одной стопке. С таким же видом он мог держать пару обуви и разглядывать подметки и швы. Содержимое этих книг ничего для него не значило. Они нисколько его не задевали — этакие безгласные, никчемные предметы, как сношенные ботинки. Мертвый груз... Я тоже начинал потихоньку проникаться этой идеей: книги — мертвый груз.

Священники всячески мне помогали, но, похоже, не очень-то верили в мою затею с английским и втайне посмеивались. Впрочем, меня это не расхолаживало. А их поддержка при отсутствии веры в результат означала только одно: я им нравлюсь. И это грело душу. Все они были мне милы, даже нервный отец Тушет, которого по-прежнему передергивало при первых ударах барабанов из прокаженной деревни.

Обыкновенно, перебираясь на новое место в африканской саванне, белые люди больше всего боятся двух вещей: скверной погоды и негостеприимства местного населения. Формулировки эти суть фигуры речи. "Скверная" погода означает смертельную жару, сорок пять градусов в тени и удушающие ночи; "негостеприимство" означает, что могут и но-

жиком пырнуть. В Мойо было жарко, но вполне сносно, а люди — все, с кем мне довелось познакомиться, — были настроены дружески: и священники с монахинями, и прокаженные, и женщина по имени Пташка. Я радовался, что приехал, и впервые за все время работы в Африке меня не тянуло прочь.

Объявление о занятиях я вывесил на стене амбулатории, куда все приходили на прием и узнать распорядок дня. Объявление, написанное по-чиньянджийски, гласило, что первый урок английского языка состоится в среду днем, в пять часов. Время, на мой взгляд, подходящее. Все утро прокаженные толпятся в очередях: за лекарствами и на перевязку. После обеда слишком жарко. Жизнь в лепрозории возобновлялась позже, когда солнце ныряло за кроны деревьев и тени удлинялись. В самую яркую и жаркую пору дня, когда солнце стояло прямо над головой, жизнь полностью останавливалась и деревня словно вымирала. Люди сидели по хижинам, где от земляного пола тянуло прохладной сыростью.

Настала среда. За завтраком отец де Восс сказал:

— Необязательно давать урок непременно сегодня. Если не получится, в запасе есть пятница. А можно на той неделе.

Что ж, понятно, время здесь ничего не значит. Но мне нужно было верить — хотя бы ради себя самого, — что мои уроки необходимы и откладывать их нельзя. Иначе я сам потеряю к ним интерес. Я прожил в Африке достаточно долго и твердо уяснил: чтобы выжить, надо каждый нескончаемый день поделить на части, лучше на три, то есть придать ему форму, пусть даже это выглядит искусственно и нарочито.

Так что урок был мне нужен. И бывшая перевязочная нужна: свое, надежное пространство. Ведь и у священников их религиозные ритуалы — лишь способ избавиться от слепящего солнца и аспидной тьмы, наполненной барабанным боем.

Перевязочная представляла собой большой сарай без одной стены, с косой жестяной крышей. Снаружи на углу под ржавой сточной трубой стояла вместительная бочка для сбора дождевой воды. Когда-то ее, по всей видимости, очень ценили, поскольку брали отсюда воду для питья и стирки. Но теперь в деревне установили водяные колонки и емкость осталась не у дел, в ней лишь тучами роилось комарье.

В пять часов меня поджидали несколько человек. Судя по бинтам и костылям — все больные проказой. Завидев учителя, из-под дерева поднялись еще двое-трое, итого — восемь учеников. Потом притащилась старуха в сопровождении девушки лет шестнадцати. Старуха, похоже, была незрячая, один ее глаз казался вовсе зашитым крупными небрежными стежками — на самом деле так падала тень от ресниц, — а другой кругло выпирал и отсвечивал, как матово-черный агат. Других особей женского пола, кроме слепой старухи и девушки, в классе не было. Девушка пришла босая, на голове — ярко-лиловый платок, закрученный наподобие тюрбана, отчего она выглядела весьма экзотично. Усадив слепую на скамейку, она примостилась рядышком и зашептала старухе на ухо, а та принялась водить в воздухе культей — будто неуклюже, как могла, благословляла.

— Возьмите каждый по листку бумаги и напишите на нем свое имя, — произнес я.

Ученики обеспокоенно зашебуршились. Одни меня поняли, другие

нет. Трое — помимо слепой старухи — явно не умели писать. А что делать со старухой, я и вовсе не знал.

Один мужчина, со шрамами на лбу — скорее случайными, а не следами традиционного обряда, — смял свой листок и расхохотался, обнажив два полных ряда зубов.

— Вы хотите учить английский язык?

Нет ответа.

— Он слабоумный, — донесся голос с заднего ряда.

Остальные загоготали. На своих изуродованных ножищах и культях они принесли в класс спертый земляной дух болезни и отмирающей плоти.

Не обращая на них внимания, я снова повернулся к мужчине:

— Меня зовут Пол. А как ваше имя?

— Имя, — повторил он. В углу его рта белым пузырем вздулась слюна. Лицо было беззащитным, почти детским: вот-вот сморщится и расплачется. Или рассмеется.

Остальные хихикали, и громче всех — тот, кто сидел сзади. Этот детина всеми силами демонстрировал, что он тут главный.

— Почему вы смеетесь?

— Потому что он дурной.

— Встаньте, пожалуйста.

Встал.

— Как вас зовут?

— Сами же можете прочитать, отец.

— Пожалуйста, скажите.

— Меня зовут Джонсон Магондве, и с головой у меня все в порядке. Спасибо.

— Садитесь.

— А вас-то, отец, как величать? — Он продолжал стоять, скрестив на груди руки, с довольно-таки вызывающим видом.

— Я уже назвал вам свое имя.

— Не нам, а дурню. А теперь нам скажите.

Он хмыкнул и гордо оглядел товарищей, радуясь собственному остроумию.

— Меня зовут Пол. Садитесь.

— Отец, у меня еще вопрос.

— Можете задать его позже.

Но он по-прежнему стоял, скрестив руки, упрямо выдвинув подбородок, а остальные опасливо и подобострастно подхихикивали.

Я повернулся к ним спиной и обратился к молчаливому человеку в первом ряду. Он тоже производил впечатление не слишком смышленого, но я на что-то надеялся.

— Здравствуйте.

Он в ужасе втянул голову в плечи, судорожно сглотнул и так ничего и не сказал.

— Он не понимает, отец.

— Moni, bambo, — повторил я.

— Он же глухой.

— Muli bwanji?

— И на голову слаб.

Говорил со мной по-прежнему Джонсон Магондве. Я старался пропускать его реплики мимо ушей, но почувствовал вдруг безнадежную

усталость. Хорош класс, нечего сказать. Одна слепая, другой ненормальный, третий глухой. Еще несколько человек, видимо, совсем не понимают по-английски. А Джонсон — зануда и наглец.

Девушка в цветастом тюрбане, тревожно озираясь, ломала пальцы.

— Ты говоришь по-английски?

— Да, — неслышно выдохнула она, опустив глаза.

— А кто эта старая женщина?

— Моя бабушка.

— Как тебя зовут?

— Амина.

Она склонила голову низко-низко, но я все-таки рассмотрел длинные ресницы, чистую, блестящую на плечах кожу. Девушка была худенькая, но крепкая. Длинная шея, тонкие пальцы. Пухлые губы и огромные глаза. Мне было приятно угадывать очертания костей под живой плотью: в лице, руках, плечах. Юная, совсем девочка — но только не по африканским меркам. В ее возрасте, в шестнадцать-семнадцать лет, многие здесь успевают нарожать по нескольку детей.

Мужчины в классе удивились, когда она заговорила по-английски. Из десятка собравшихся на урок людей кое-как говорить по-английски могли только пятеро. Я взял мел и написал на выкрашенной в черный цвет доске несколько строк — начало английского диалога. Джонсон и сидевший рядом с ним Фири прочли их с легкостью, Амина тоже; еще двое запомнили все слова с моей помощью. Старуха тем временем похрапывала, дурень пускал слюни, а глухой раскачивался взад-вперед.

Я страшно вымотался, а они выглядели спокойными и ничуть не усталыми. Жажда познания их не снедала, но они с любопытством ожидали, чтобы я учил их дальше. Вот так же они стоят каждый день в амбулатории, протягивая руки за таблетками.

— Повторяйте за мной, — сказал я. — Это собака.

Я тыкал поочередно в каждого.

— Эдо зобага.

— Это собака. Теперь вы.

— Эдо зобага.

— А это утка.

— Эдо удга.

— Утка, — сказал я. — Теперь вы.

— Удга.

— Собака, — произнес я.

— Зобага.

Пока они повторяли, мало понимая, о чем, собственно, речь, я прислушивался к звукам деревни: там гремели кастрюли, переговаривались люди, стучали по дереву топоры, квохтали куры, скулили собаки.

— Это собака.

— Эдо зобага.

Перед каждой хижиной горел очаг, на каждом очаге готовился ужин; потрескивали горящие ветки, пахло подгоревшей пищей. Там, где жгли толстые чурбаки, дым тяжело стлался по земле, а едва поднявшись, застревал в лохматых пальмовых и тростниковых крышах, зависал там, пытаясь выпутаться, и потихоньку просачивался сизыми клочьями вверх, в сонное небо. Все это — и звуки, и запахи — отдавало вечностью. Так было всегда. Сама же деревушка, как и другие ей подобные, отнюдь не дремала, напротив, в ней бурлила жизнь, но сама мысль

о бесконечном, однообразном труде повергала меня в усталое оцепенение.

— На сегодня все, — произнес я.

— Еще нет шести, — возразил Джонсон и угрожающе поднялся из-за стола.

Я улыбнулся, тоже с некоторым вызовом.

— Английский урок длится час, — сказал он. — Я знаю, я уже учился, ходил на уроки у себя дома.

Он стоял, уперев руки в боки, занимая больше пространства, чем требовалось, и всем своим видом показывал, что выступает или, во всяком случае, пытается выступать от лица всей группы. Мне он уже надоел хуже горькой редьки. Я предпочел бы иметь целый класс африкан-цев, не знающих ни единого английского слова; начал бы с ними с нуля и потихоньку выучил.

— Я преподаю американский английский, — сказал я. — Урок длится сорок пять минут. Теперь увидимся в пятницу.

Произнес слово "пятница" и сразу впал в тоску. Вечерело. Ученики сидели не шелохнувшись, но смотрели не на меня, а на открытую сторону сарая, где стояла теперь монахиня. Ее белые одежды светились в подступающих сумерках.

— Этому человеку тут делать нечего, — сказала она.

Оказалось, это вовсе не монахиня, а Пташка — в монашеском облачении и в накрахмаленном чепце, прикрывающем голову от солнца.

— Семья уже его обыскалась.

Она взяла за руку глухого с первого ряда и потянула прочь. Он испугался, однако послушно двинулся следом за ней на негнущихся ногах, озираясь обиженно и затравленно.

Я распустил класс и нагнал Пташку с глухонемым.

— Вот не думал, что вы монахиня.

— Я не монахиня. Но в такой одежде больше уважают. — Она улыбалась и была настроена дружелюбнее, чем в первую нашу встречу на перевязке. — К тому же в этой штуке не так жарко.

Тело ее скрывалось под просторной одеждой, я видел только лицо, обрамленное жесткой, словно картонной, волной белого чепца; лицо казалось милее, чем накануне в больнице.

— Короче, под сутаной ничего нет, я голая.

Не знаю, почему — вероятно, от смущения — я перевел взгляд на африканца: черные бусины глаз, сжатые кулаки, негнущиеся при ходьбе колени. Пташка засмеялась и увлекла глухого к его хижине.

Я долго еще не мог опомниться. *Под сутаной ничего нет, я голая.* Кружилась голова. Слова подействовали на меня физически: я слегка оглох, ослеп и одурел. Она, видно, это поняла, потому и засмеялась. Весь вечер за картами, потом в темноте спальни, в пыльном зное следующего дня и особенно во время еды, в момент, когда я что-то глотал, я вспоминал ее слова — и снова дурел.

В пятницу я опять давал урок, опять собрался десяток африканцев, больших и маленьких, больных и здоровых. Дурня среди них не было, и еще несколько человек, из тех, что приходили в среду, на этот раз не явились. Но Джонсон сидел на своем месте, и Амина со слепой бабкой тоже. Пришли еще две молодые женщины, и по некоторым признакам — жестам, переглядкам, перешептыванью мужчин — я понял, что затеваются любовные игры. После урока все мгновенно разбились на пары и скрылись в саванне.

Я почти боялся, что в конце урока, как в среду, появится Пташка, но ее нигде не было видно. Вообще для лепрозория это характерно, здесь каждый сам по себе, у каждого свое место, свое пространство: у священников — обитель, у монахинь — монастырь, у прокаженных — деревня. В воскресенье я не пошел на мессу и понял потом, что тоже из-за Пташки. Боялся с ней встретиться. Ее смех слишком меня растревожил. А поскольку мне следовало сохранять самообладание, я решил ее избегать. Что было, впрочем, несложно. Жизнь в Мойо слагалась из множества отдельных одиночеств.

В понедельник на урок собралось куда меньше народу, чем в пятницу: не было Амины с бабушкой, те две женщины пришли, мужчины же — далеко не все. Собравшиеся поминутно хихикали, слушали плохо, невнимательно. Я окончательно уверился, что урок — просто предлог для последующих похотливых игрищ в саванне. Чувствуя, что меня никто не слушает, я как-то сник и ожесточился.

Меня занимал вопрос, почему не пришла Амина. Но когда она не появилась и на следующем уроке, я решил, что просто ей не нравлюсь, сократил урок до получаса и с отвращением отослал всех по домам.

4

Деревня прокаженных была бодра и деятельна, казалось, в ней трудятся буквально все, но труд этот не оставлял следов. Может, в этом и есть суть африканской жизни: ничто, никакие усилия ее не изменят и не преобразят. Мне это напоминало русла рек, которые я видел на юге страны: сегодня они бурливы, полны до краев, на стремнине крутятся деревья, бревна, сметенные хижины, а завтра — на этом месте сухое, в трещинах, дно, пыльный овраг. Налетит поток и схлынет, и не оставит о себе даже памяти.

В Мойо происходило то же самое. Женщины собирали хворост на растопку, старшие девочки таскали на закорках младенцев или сосуды с водой, мальчишки играли или мотыжили грядки с маисом, мужчины сидели группами на земле, поджав ноги, бормотали, курили. Больные проказой и их родственники. Выращивают маис, пекут, варят, съедают. Жгут дрова. Ходят по воду, на что-то эту воду используют. То есть жизнь продолжается, и в этом — главный результат их труда, смысл существования. Вечность рассечена на отдельные отрезки. И все ради того, чтобы, уцепившись за жизнь, влачить ее — без всяких перемен.

К полудню деревня стихала, и только тогда становилось ясно, что до этой минуты что-то происходило; внезапная тишь напоминала, что недавно тут было шумно. Так же хлещет по ушам тишина, когда резко смолкает гул или перестают тикать часы. По субботам полуденная тишина казалась особенно ощутимой. В ткани дня образовывалась прореха, и — дальше ничего не случалось. Закрывался магазин, запиралась амбулатория, никто не полол, не рыхлил грядок, рыночный пятачок пустел: торговки исчезали вместе с бананами, арахисом, вареной картошкой и дочерна прокопченной, костистой и мелкой, как галька, рыбешкой. И весь лепрозорий — и больница, и грязно-белые мазанки — молча пеклись, распластанные на жарком солнце; гавкнет собака, прокукарекает петух, и снова тишина: ни голоса, ни звука. Только ниоткуда — немолчным звоном высоковольтной линии — гуденье саранчи. Суббота напоминала день глубокого траура.

Я сидел на веранде. Ближе к парапету расположился со своим требником отец Тушет; он читал, переворачивая страницы чистыми, белыми пальцами. Брат Пит дремал, сплетя руки на животе. Похрапывал он громко и горделиво. Отец де Восс отправился на мотоцикле на озеро, в маленькую деревенскую церковь, где он раз в месяц служил мессу.

Я расстегнул ремни кожаного рюкзачка и извлек оттуда дешевую, китайского производства, общую тетрадь в красном матерчатом переплете. Открыл, написал: *11 октября 1964 года, лепрозорий в Мойо, Нтакатака, Центральная провинция.* Написал — и поднял глаза. Я смотрел за ближние жестяные и дальние пальмовые крыши, за деревья, туда, где дым мешался с пыльным светом солнца, а африканцы торчали в поле, словно восклицательные знаки. Я подумал об этом, но в тетрадь не записал. Писанина моя казалась неважной и ненужной.

Десяток своих стихотворений я давно переписал на последние страницы. Сейчас открыл их, прочитал несколько строк, остальные пробежал глазами. Стихи были безжизненны, банальны, особенное отвращение вызвало у меня постоянное повторение слова "черный". Наткнулся на слова "мякотный", "великолепный", "тугой". Гадость. И я захлопнул тетрадь, потому что меня так и подмывало все это выдрать и выбросить.

Писать домой смысла не было. Я вообще не баловал письмами родных, и получи они внеочередное, чего доброго встревожатся. Наверняка не поймут меня, начнут жалеть. Да и разве опишешь это место? Даже опасно: вдруг получится хуже, чем в реальности? Впрочем, что значит хуже? Ведь проказа здесь — образ жизни, укус змеи — обычное дело, труды ничего не преображают. Все, кроме иностранцев, — прокаженные или родственники прокаженных. Я не знал, как рассказать об этом скупо, без прикрас, поэтому писать не стоило вовсе. Деревня Мойо была бесконечно далека от моих представлений о литературе, дальше некуда. В точности как маниока, неприглядный волосатый корнеплод, который надо долго отряхивать от комьев красноватой земли. Разве его можно есть? И все же мы едим его каждый божий день: чистим, отвариваем и едим. Мякоть несколько волокниста, но через год жизни в Африке маниока уже кажется изысканной пищей.

Мойо — и колония прокаженных, и миссия, и люди в убогих хижинах — целый мир, небольшой, но мир. Мир болезни. И он был для меня куда реальнее, чем колониальный город, оставшийся где-то на юге, с его главной и единственной улицей и жалкими потугами выглядеть чем-то настоящим. Прежде Блантайр мне таким и представлялся, поэтому писать стихи о нем было несложно. Путешествие в Мойо доказало, что я ошибался.

Настоящее — здесь, и оно не допускает сентиментальности. Сюда приезжают больные, здесь они угасают, здесь умирают. Никаких достижений, никакого процветания. Мирок, где нет иллюзии выбора. И никто против этого не восстает. Не знаю уж почему, но подозреваю, что из-за постоянного присутствия смерти.

Стихи мои были беспредметны и тривиальны. Меня теперь бесило само слово "стихи", в нем чудились нарочитость и самодовольство. Они словно уговаривали: "Взгляните на нас". Привлекали внимание к себе, а не к описываемому предмету. Я решил было их выкинуть, но бумага здесь так ценилась, что кто-нибудь наверняка вытащил бы их из мусорного бака. Стыда потом не оберешься. Поэтому я их спрятал и поклялся уничтожить — позже, тайком.

Потом я снова раскрыл "Дневники" Кафки, прочитал несколько страниц и нашел автора мрачным, мучительно-манерным и преисполненным патологической жалости к себе. Самым ужасным в этом тексте была ипохондрия. Читая такое среди больных проказой, я почти смеялся над навязчивой мнительностью Кафки, над его детальными отчетами о собственных — явно преувеличенных — болезнях. *Плохой сон. Дыхание неглубокое, давит грудь.* Ого, мелькнуло слово "проказа". Так-так. *Порой я чувствую себя больным проказой.* Но у него же нет ни малейшего представления о том, как чувствует себя прокаженный! Я не мог читать дальше.

Не остаться ли здесь, не возненавидеть ли любое печатное слово, любую литературу? Я решил найти лопату, вырыть яму и закопать свою тетрадь со стихами и книги Кафки.

Я поднялся, стул подо мной скрипнул, но отец Тушет даже не шевельнулся. Благочестивые раздумья с требником в руке оказались просто сном, религиозный экстаз — дремой. Я крадучись выбрался с веранды.

Прошел по тропинке на край деревни, где курились соты с кирпичами и валялись лопаты. Кирпичи здесь делали очень странным способом: выкапывали яму в глинистой земле, заливали туда воду, бросали солому и месили ногами, пока не образуется однородная масса. Потом ее заливали в формы, утрамбовывали и обжигали.

Я тоже решил рыть здесь, прямо сейчас. Во-первых, день обретет смысл, и более того, все здесь похороненное станет (используя слово из моих стихов) "хрупким", превратится в пыль, а потом когда-нибудь эту пыль намочат, зальют в форму и выпекут кирпичи. А из кирпичей выстроят отхожее место — самое подходящее место для этих презренных стишков.

Земля была сухой. Поначалу она показалась мне даже твердой, но — благодаря трещинам — поддавалась легко, словно раздвигалась, и вскоре под ржавой лопатой образовалась достаточно глубокая ямка: поместятся и Кафка, и мои тетради. Я бросил их небрежно, взметнув облако пыли. Так бросают в могилу нищих и так же присыпают их сверху землей.

— Отлично, — сказал я вслух.

В тот же миг послышался испуганный вопль. Невдалеке я увидел убегавшую со всех ног женщину; мужчина, поднявшись, натягивал шорты и отряхивал колени. Громко прокашлявшись, он глянул в ту сторону, куда скрылась женщина, потом снова присел, уперев локти в колени.

— На меня, что ли, смотрите, отец? — спросил он по-чиньянджийски.

Он был черен, как тень от мангового дерева, под которым сидел.

— Эти кирпичи... — Я продолжал притаптывать землю над трупами моих книг и бумаг. — Они ваши?

Теперь я рассмотрел его лицо, пот на лице, замотанную в грязную тряпицу ногу.

— Больничные. — Он использовал чиньянджийское слово "больница". Употребляли его только прокаженные. Здоровые говорили "деревня" или "миссия".

Я приблизился. Мужчина был морщинист и черен. Как у многих знакомых мне африканцев, его заскорузлая кожа была трачена ветром и солнцем, как древесная кора.

— Кухню строим, — пояснил он.

Одна стена уже подросла, потеки раствора застыли в щелях между кирпичей. Видимо, стена была внутренняя: рядом виднелись фундамен-

ты для очагов, вроде выложенных камнем углублений, в которых в Америке жарят мясо на пикниках. Похоже, кухня предполагалась коммунальная.

— Это ваша кухня?

— Общая.

Он отвечал лениво, чуть раздраженно, но это был здешний стиль, так говорили с mzungus большинство прокаженных: небрежно, издевательски даже, потому что они знали только один мир — мир, который не могли покинуть. Да и зачем суетиться? Белые обо всем позаботятся.

— Вы ее строите?

Таким же ленивым, но теперь презрительно-возмущенным тоном он ответил:

— Я болею.

И поднял вверх перевязанные кисти.

— Я думал, вы тут работаете, а женщина вам помогает.

— Не работа. Шалости.

Он глухо, грудью засмеялся, закашлялся, отхаркнул, и все это было продолжением ответа.

— Я тут мусор закопал, — уточнил я на случай, если он видел меня за этим занятием. По-чиньянджийски слово "мусор" предполагает грязь или отраву. Главное — усыпить его любопытство, чтоб ничего не выкопал, как это делают африканские нищие, любители порыться в земле. — А если я буду строить кухню, поможете?

— Сколько заплатите?

— Нисколько.

— Тогда я не буду работать.

Типичный ответ прокаженного, дерзкий, почти хамский. Эти люди прямы и грубы, бояться им нечего. В Блантайре африканцы наверняка бы наобещали с три короба, да так ничего б и не сделали.

— Чего ради? — добавил он в ответ на мое молчание.

Вспомнились интимные признания Кафки в пражском дневнике: "Я чувствую себя прокаженным". Да, этой книге место в земле, вместе с моими виршами. Какой уж из Кафки прокаженный! Страховой агент, типичный представитель среднего класса, с заостренным личиком летучей мыши, патологически стеснительный, параноидальный, снедаемый чувством вины, творец целой мифологии о самом себе — в длинных, суетливых письмах одиноким, жаждущим его любви женщинам.

Зато передо мной прокаженный: безвинный, увечный, с промокшими от сукровицы бинтами. Только что, под этим деревом, он совокуплялся с прокаженной женщиной. А теперь смотрит на меня в упор, уничтожает взглядом. Во многих отношениях это человек здоровый, куда здоровее Франца Кафки. Чтение для него ничто, книга — никчемный предмет. Он терпелив и презрителен, оттого что бессилен и знает о своем бессилии. Возможно, он знает, что для него уже ничто и никогда не изменится и сам он ничего не изменит. Он лишен иллюзий и поэтому живет, пока жив, живет полной жизнью, добывает пищу и воду, ищет тень, ищет женщину.

— Как вас зовут?

— Уилсон. А вас?

— Пол.

— Англичанин?

— Американец.

— У американцев полно денег.

— У меня их вовсе нет.

Он рассмеялся и, прежде чем я успел что-либо добавить, заковылял прочь. Одна нога его была перевязана, а другая открыта: надутая, желтая, с растрескавшейся кожей и искореженными пальцами. И рубашка, и шорты — сплошная рвань. А на руках бинты — точно грязные варежки.

Ночью я вспомнил его уверенный издевательский смех и — со стыдом — наш с ним диалог. Болезнь сделала его грубым и откровенным. Отчего? Не оттого ли, что он стал еще и прозорлив? Из всех людей, что я знал в жизни, только прокаженным было нечего терять.

Как-то утром я пошел на мессу. Пошел после шести- или семилетнего перерыва, с опаской и внутренним содроганием, как возвращался однажды домой после неоправданно долгой отлучки. Но волноваться не стоило. Церковь встретила меня простором, светом и всепрощением. Одну скамью занимали прокаженные мужчины, человек шесть; женщин было больше, некоторые — с орущими или сосущими грудь младенцами. На передней скамье сидели монахини и Линда, то есть Пташка, в белом платье. У задней стены стояла та самая красивая девушка Амина со слепой бабкой.

Ко всем этим людям я испытывал чувства самые добрые и размышлял во время мессы о том, что прежде в моих отношениях с окружающими, в дружбах многое было обусловлено состраданием и жалостью. Разумеется, жалость к самому себе была мне тоже ведома, как и прочие эгоистические суетные чувства, которые движут нами, когда мы якобы занимаемся спасением других. Однако здесь, в Мойо, где все, казалось бы, располагало к сочувствию ближнему, я был отрешен — нет, не безразличен, а именно отрешен — и мог трезво анализировать свои чувства. Итак, я никого не жалел. И без привычной жалости ощущал себя несколько потерянным, но — как никогда — свободным.

Все опустились на колени, я тоже. И вдруг я понял, что смотрю на Амину. Она по-прежнему стояла — видимо, потому, что была мусульманкой, — и поддерживала старуху, а та бормотала, раскачивалась и старательно крестилась. Я восхитился преданностью, с которой внучка ухаживала за бабкой.

В церкви было жарко и торжественно, все что-то бормотали, а снаружи кричали петухи.

Вечером в перерыве между конами я сказал отцу де Воссу:

— Я отменяю уроки.

— Хорошая идея.

Точно так же он ответил, когда я эти уроки начинал.

— Буду лучше делать кирпичи для новой кухни.

— Пожалуйста, если хотите. — Он улыбнулся, но не исключено, что не мне, а раскладу, который достался ему на новый кон. — Хорошая идея.

— Может, отец Тушет тоже захочет поработать?

Тот испуганно схватился за требник.

— Я занят, я крещу, — быстро сказал он. — Все как один повадились креститься.

— Тогда мне помогут больные.

— Pepani, bambo! — воскликнул брат Пит. Простите, отец!

— Ничего не поделаешь, — произнес отец де Восс. Говорил он уже об игре. Прибрал последнюю взятку и начал пересчитывать лежавшие пе-

ред ним карты. Трогательные радости. Мои слова для него ровным счетом ничего не значили. Он был счастлив.

— И кухню, и кирпичи придумал отец Легранд, — сказал он и снова улыбнулся. — Его перевели в Базуто.

Наутро около кухни не было ни одного африканца. В пестрой тени худосочных деревьев едва начатое строение выглядело как руины, оставшиеся от никчемных британских укреплений военных времен. Около часа я таскал и складывал кирпичи, а затем принялся месить в яме раствор. Подняв глаза, я вдруг увидел, что на меня пялятся несколько оборванных африканцев. Они появились бесшумно, буквально возникли из ничего и сидели теперь на корточках возле ямы, бормоча себе под нос, но со мной никто не заговаривал. Я же продолжал класть стену: раствор — кирпич — раствор.

— Вы хотите помочь?

Спросил я всех, но ответа не последовало. Тогда я повторил вопрос, употребив слово iwe, самое панибратское "вы" на местном наречии.

Они фыркнули, словно я дружески пихнул их локтем в бок.

— Деньги заплати́те, — сказал один из них по-английски.

— Ndalama, — сказал другой. "Наличными".

Я предпочел не отвечать и неутомимо клал кирпичи. Мужчины тихонько переговаривались: похоже, обсуждали, не стоит ли мне все-таки подсобить.

— Это ваша кухня, не моя, — сказал я.

— Тогда зачем строите?

— Хочу вам помочь.

— Ваше дело, — говоривший по-английски пожал плечами.

— Mzungus любят помогать, — сказал третий, самый старый.

Вскоре они ушли, просто молча исчезли; там, где они сидели, на белой пыли остались темные от пота вмятины.

Я рассердился, но продолжал упрямо возводить стену. Прозвонил колокол на обед, а я все работал. Однако обрадовался, когда появилась Пташка с миской nsima с бобами и чашкой чая. Пташка была мне нужна в качестве свидетеля.

— Отец Легранд был бы счастлив, что вы тут работаете. — На ней была длинная синяя юбка и мягкая матерчатая шляпа с отогнутыми полями.

— Жаль, помощи никто не предлагает, — заметил я.

Улыбнувшись, она взглянула в сторону деревни, где обитали прокаженные.

— Они ленивы. Ни в какую не хотят работать. Им на все наплевать. Мы же все за них делаем.

Меня потрясла ее грубая прямота. А еще — ее здоровое, уверенное лицо.

— Притворяются больными, — продолжала она, — а сами смеются над нами у нас за спиной. И хамят напропалую. А останься они одни — перемрут как мухи или перережут друг друга. Дороги на родину им нет, их не примут.

Она смотрела на меня с вызывающей усмешкой, видно, страшно хотела меня шокировать.

— За миской и чашкой кого-нибудь пришлю. — Она подобрала юбку, чтобы подол не волочился по земле, и направилась к амбулатории. Я остался стоять в полнейшем смятении.

От ее слов во мне поднялась волна физического к ней отвращения. "Мерзость", — повторял я шепотом, глядя ей вслед, выискивая изъяны в ее походке, в нелепой шляпке, в торчащих острых локтях, в неровном колыхании юбки.

Африканцы в тот день так и не вернулись. Я трудился до сумерек, пока не зазудели комары, а потом пошел в обитель на ужин. Я так устал, что не мог ни играть в карты, ни читать, и лег, когда священники еще бодрствовали.

Следующий день я провел точно так же. Пташка снова принесла мне еду и снова сказала:

— Ну, и где они? Дрыхнут по домам, а вы работаете.

— Я делаю это для себя. Никто не неволил.

Она все стояла и наблюдала. Я принялся есть.

— Отчего вы не присядете?

— Пыльно. — Она улыбнулась.

— Вы больше не носите монашеские одежды?

— Могу снова надеть. Хотите?

И, хохоча, ушла. Может, она мне неприятна потому, что произносит вслух то, о чем я думаю про себя? Ведь, по сути, я невзлюбил здешних африканцев именно за лень и грубость, о которых она говорила без стеснения.

Я продолжал строить кухню. Начинал сразу после завтрака и работал без перерыва, пока Пташка не приносила бобы и nsima; потом снова работал, до сумерек. Они были коротки, и в обитель я приходил уже в темноте, по тонувшей в ночи тропинке, определяя путь по свету из окон.

Я думал: мне нравится это место, потому что никто тут меня не знает.

В пятницу на той же неделе я шел домой через деревню. Сгущалась темнота: смесь ночи с пылью, приправленная запахами грязи и керосина из ламп. Вдруг раздался вскрик, оханье, стон. Звуки страданья доносились из открытого окошка мазанной глиной хижины. Может, муж бьет или душит жену? Насилие в стенах родного дома было тут делом вполне рядовым. Внезапные вспышки жестокости — просто иная ипостась сексуальных игрищ прокаженных.

Я решительно переступил порог, но, увидев двух женщин — одна из них была монахиня, — стоявших на коленях у расстеленного на полу матраца, а третью, африканку, распростертую на этом матраце в корчах, остановился. Керосиновая лампа освещала середину комнаты и женщин, а все вокруг терялось во мгле, такой густой, что я мог без опаски затаиться и подсмотреть, что будет дальше.

Лежавшая снова вскрикнула, и по ее частым, судорожным вдохам, по обнаженной глыбе живота я понял, что она рожает.

Монахиня и повитуха-африканка тихонько говорили с роженицей, причем монахиня крепко держала ее ноги, а африканка, успокаивая, поглаживала руку, и я вдруг заметил, что рука эта изуродована болезнью. Рожала прокаженная.

Роды мне доводилось видеть только в кино; и я всегда находил эти кадры мучительными: вопли, истерика, торчащие колени, раздвинутые ноги, искаженное схватками лицо роженицы. Но здесь все было иначе, приглушенно: тяжкое короткое дыхание, мягкие уговоры повитух. И после еще одного тихого, глухого вскрика желтый свет лампы упал на ребенка.

— Mwana, — сказала монахиня. Мальчик.

Младенец был замечательный, пепельно-розовый, на голове густые волосики, и все пальчики целые — и на руках, и на ногах. Он на мгновение замер, а потом пустил струю — тонкой дугой через всю комнату — и заорал, становясь все розовее и розовее, а женщины с облегчением рассмеялись.

Я хотел идти дальше, но споткнулся и чуть не упал. Да что это со мной, в самом деле? Перед глазами все плыло. Кажется, позади меня собрались еще какие-то люди. И среди них Амина. Чистое лицо, ясный взгляд, сине-лиловый тюрбан. Неужели она смотрит на меня, а не в хижину, где ликуют женщины? Потом я брел в кромешной тьме к дому, а прокаженный остался сидеть под манговым деревом и все повторял: "Я болею, болею..."

5

— Пожалуй, лягу, — сказал я, едва переступив порог обители.

Собственный мой голос звучал в ушах надтреснутым, квакающим эхом; состояние было отвратительное, хотя я убеждал себя, что здоров и просто устал, как уставал все последние дни, строя кухню для прокаженных. Но сегодня я даже двигался с трудом — будто вдрызг пьян и только прикидываюсь трезвым.

Добравшись до комнаты, я тут же рухнул на постель. Голова раскалывалась, суставы ломило. Все тело горело, каждый звук резко отдавался в голове; казалось, с меня заживо содрали кожу, обнажив белые вибрирующие нити нервов.

Я лежал в горячей темноте, ощущая в носу пылинки; я умирал. Жар завладел мною безраздельно. Я был уверен — болезнь смертельна, ее костлявые пальцы впивались в мою плоть, рвали ее, выворачивали наизнанку, точно в камере пыток. Костлявые пальцы лихорадки. Крикнуть, позвать не было сил. Я слышал звяканье тарелок; священники уже поужинали, и Симон убирал со стола посуду, отец де Восс сдавал карты, брат Пит шил, мурлыча какую-то песенку, отец Тушет сидел, вцепившись в требник. Я застонал, но подняться не смог. Как же глупо, что я запер дверь!

Голоса из соседней комнаты перебрались в мой сон, громкие голоса, чересчур громкие. Грубые, равнодушные люди в грязных сутанах играют в карты и смеются. Они играют, а я умираю. Каждый раз, очнувшись в потном жару, я со страхом чувствовал, что слабею и слабею.

Помогите.

Но крик остался стоном, кричать не было сил.

Зашли бы, помогли. Но им не до меня!

Я сотрясался в ознобе, потел. Сердце бешено колотилось. Смех — наверно, брата Пита — внезапно взмыл, пронзил мою голову, как ракета, и разорвался в ней на тысячу осколков.

Перед глазами мечется тень: летучая мышь шарахается из угла в угол, точно так, как я видел однажды в сарае. Только моя мышь, из болезни, полосатая — от света, падающего сквозь дверные щели. Свет взрезает ее, раскраивает надвое. Я не боюсь летучей мыши, но выгнать не могу. Боль в голове и костях парализует меня совершенно, и вот эта-то беспомощность и страшна. Кожистые крылья хлопают у самого моего лица, мерзкий запах бьет в ноздри. Но меня заботит не мышь, а собственная

скорая смерть. Мышь — просто часть, атрибут этой смерти, как похоронные покрывала, свечи или уханье совы.

Я пытаюсь вымолить у темноты, чтобы пришел кто-нибудь из священников, чтоб оторвался от карт, подумал обо мне, позаботился, взломал дверь. Больше надеяться́я не на что. Но я по-прежнему один в комнате, как в капкане. Это конец. Они хватятся меня только завтра, не раньше полудня, а я к тому времени умру.

От ужаса я заплакал — по-детски, взахлеб, заливаясь слезами.

А потом мне привиделись огромные женские тела: Пташка и еще много других женщин, с зеленой кожей, чудовищной величины грудями, жадными жаркими ртами; они хохочут, кусаются, весело дерутся друг с другом, а меня оттесняют в сторону. Совсем близко — прокаженная с культями вместо рук; я смотрю на нее и понимаю, что сам теперь куда уродливей и страшней. Она же, смеясь, откручивает себе нос — черный и влажный, как собачий, — и тянется ко мне.

От ужаса я очнулся, но тут же провалился в другой сон. Все они были кошмарны, в каждом меня преследовали враги, а я был слаб и бессилен им противостоять. Мной помыкали, надо мной издевались. В одном на меня наваливалась великанша, придавливала, душила, а я не мог даже попросить о пощаде.

Вот волна вышвыривает меня на усеянный костями берег; песок у кромки воды испещрен крестиками птичьих следов: их извилистые цепочки — точно буквы, выведенные аккуратным детским почерком. Дальше берег становится каменистым, среди неровных рябых камней валяются расколотые ракушки и добела обточенные водой кости, и берег от этого выглядит зловещим: все обречено, все рассыплется в костный лом и осколки черепов. Я замечаю и человеческие следы, но никого поблизости нет. Только бесконечная белизна песка. Сперва жар ударяет мне в лицо, потом я бегу по песку и обжигаю ступни. Вдали море темно-синее, а у берега бурое — под белесым небом. Испепеляющее солнце висит прямо над головой. Неуклюже, на обожженных ногах я пробираюсь к воде, добредаю, ныряю — и меня ошпаривает раскаленной волной. Море почти кипит, пучится пузырями и водорослями.

От этого кошмара меня избавил резкий барабанный бой. Прежде мне резали слух голоса, теперь — удары барабана, от каждого рождалась боль; ломило глазные яблоки, звенело в ушах, и я не знал, сон это или явь. Священники уже спали — должно быть, спали. И от тишины в соседней комнате барабанный бой делался еще громче. Он ритмично бухал, сотрясая воздух, дрожал, смолкал и возникал заново — еще более быстрый и громкий.

Я вижу танцоров: белозубые рты, оскалы ухмылок, все — больные проказой или их родня, уродливые, упрямые, агрессивные, так и наскакивают друг на друга. Поодаль под пыльными деревьями колышутся другие тени: священники стоят молча, скрестив руки, а я кричу им: "Спасите!", пытаясь перекрыть барабанную дробь.

Бьют во сне, бьют наяву; когда я очнулся, барабанили прямо за окном, и я ненавидел всех — и танцоров, и музыкантов, и священников, особенно священников, потому что никто из них не хотел остановить этот гул, не хотел мне помочь.

Ночь все длилась. Та же ночь или уже другая? Но летучая мышь была настоящей, и смех, и барабанный бой тоже. Мне это не привиделось. И все же кошмары — ничто. Реальность пугала куда больше: боль в голове

и мысль, что я мал, слаб, болен, истекаю потом и умру еще до рассвета. Вот от этой-то мысли и корчилась душа.

Я беззвучно заплакал. Слезы текли по щекам. Я боялся смерти, но и ждал ее как избавления — после долгих мучительных часов в темноте.

Так было перед рассветом. Потом, когда комнату уже заливало солнцем, я заснул, и сны мои стали яркими, словно пляшущее пламя. Утешали меня только петухи, а потом я проснулся от стука в дверь, выпутался из простыней, отодвинул засов и упал замертво. Очнулся от голоса брата Пита, он стоял на коленях у кровати и приговаривал: "Pepani, pepani" — прости, прости — и пытался сунуть мне под мышку термометр.

Температура была 39,5°. И я чувствовал: мне открылось что-то, о чем вчера я еще не ведал... Только вот что именно?

Я лежал слабый, не в силах даже поднять голову, и радовался, что меня нашли. Страшная ночь, ночь на пороге смерти, осталась позади. Я помнил, как уже ускользал в иной мир, как тщился позвать на помощь. Теперь я, может, и выкарабкаюсь.

Меня навестил отец де Восс, появился, заложив руки за спину, в дверном проеме:

— Вам повезло, что вы решили провести каникулы в больнице.

Но для меня Мойо — не только больница. Мойо — это все вместе: миссия, церковь, деревня, амбулатория. Сборище беглецов и изгоев: прокаженные, сифилитики, укушенные змеями, самые чудовищные уроды. Обезображенные, никому не нужные люди, изгнанные из родных мест. Это не больница, это приют для отчаявшихся. И люди здесь не больные, а про́клятые.

Моя же болезнь была чем-то иным: рвущая, зазубренная боль терзала голову, сверлила, распиливала, а потом впивалась в тело. Я не походил на тех, других. Мне не найти исцеления, я знал это твердо. Это лихорадка; с ней живешь, мучаешься и спустя неделю либо выздоравливаешь, либо постепенно угасаешь, но даже если тебе суждено выздороветь, ты не будешь прежним, потому что лихорадка убивает что-то внутри. Так говорят о лихорадке африканцы, и теперь я верил, что они правы.

— Возможно, малярия, — задумчиво говорил отец де Восс, но моя болезнь не очень его занимала. Вошел брат Пит с подносом, и отец де Восс отошел в сторону.

— Выпейте, пока не остыло, а потом я дам вам mankhwala, — сказал брат Пит по-английски.

Серьезность ситуации его вдохновила: такого количества английских слов я прежде от него не слышал. Он поднес мне чашку горячего чая и скормил шесть таблеток хлорохинина и одну парацетамола, чтобы сбить температуру, а в полдень пообещал дать еще шесть.

— А может, черноводная лихорадка. Или даже холера. Или любая другая лихорадка, без названия, — послышался опять голос отца де Восса. — Но сначала будем лечить вас от малярии, потому что от нее у нас есть mankhwala.

Мокрый от пота, я ловил ртом воздух, согласно кивал, пытался улыбнуться и благодарил их обоих хриплым, надтреснутым голосом: какое счастье, что я пережил ночь и теперь у моей лихорадки есть свидетели.

— По-моему, Полу уже лучше, — сказал отец де Восс.

Действительно, после страшной ночи само внимание этих добрых людей возродило мои надежды и притупило боль. Я знал: меня выхажи-

вают; суета брата Пита убаюкивала. Он же аккуратно сменил простыни, и, лежа на сухом, я почувствовал себя лучше.

Отец де Восс улыбался мне так печально и добро, словно благословлял. Глаза его прощали и отпускали грехи. Весь он был обращен не к моей болезни, не к слабости моего тела, а к душе, телом же занимался брат Пит.

Весь день брат Пит и повар Симон носили мне чай и пичкали хиной. Ближе к вечеру температура поднялась снова, и Симон прикладывал к моей голове сложенные вчетверо мокрые полотенца. Ночью меня по-прежнему мучил жар, но было уже не так страшно. Я молился, чтобы дело пошло на поправку, и с первыми лучами солнца у меня снова появилась надежда. Я пережил и эту ночь. Потом снова был горячий чай, горькая хина и сваренный Симоном жидкий куриный бульон. Однако на исходе этого и последующих дней температура снова лезла вверх, я метался в жару, все тело, каждую его клетку, ломило, а глаза от боли вылезали из орбит. И накатывал опять страх: вот наступит темнота, и я умру.

А барабаны все били, их буханье поднималось по склону холма снизу, из деревни прокаженных. И я словно вдыхал резкий, пронзительный запах пыли, поднятой ногами танцоров. Я представлял, как они топают, будто давят жирных белых червей, которых сами называют mphutsis. Едва начинали бить барабаны и сгущалась темнота, мой жар усиливался и я обретал некое ночное зрение — явь пополам с галлюцинацией — и видел обнаженные блестящие тела в бликах костра, а тени их прыгали по полу и стенам моей комнаты.

Сквозь прищуренные от жара веки я видел, как бросается в самую гущу танцующих Амина и, работая локтями и бедрами, проталкивается вперед; вся она во власти барабанов, по лицу струится пот, на маленьких грудях красные отблески огня; она закатила глаза, так что видно одни белки. А потом вдруг с нее сползает накидка, которую тут же затаптывает толпа. Но Амина в трансе, она не замечает, что осталась голой, только извивается все гибче, и тело ее светится все ярче, и вся она — точно язык жаркого пламени, а бабка смотрит незрячими глазами, слушает барабанный бой и, верно, гадает, куда делась внучка.

Пташка тоже слышит барабаны в своей монастырской келье. Ей тоже видятся черные потные тела, искры — веером из костра, вопящие женщины. Деревня, дремавшая в пыли день напролет, к ночи оживала. И все, что происходило здесь днем, уже не имело значения. Я пытался представить, что чувствует Пташка, когда слышит барабаны: возбуждение или отвращение? Ну, разумеется возбуждение, но именно это ей и неприятно, а значит, она этого никогда не признает и притворится, что ей противно.

Благодаря лихорадке я видел все как наяву: не только барабаны и танцующую толпу, но отдельно девушку Амину, и Пташку, и монахинь, и священников, которые истекают потом в своих комнатах и молятся, молятся... Болезнь подкармливала мое воображение, и я узнавал этих людей ближе и лучше.

В какой-то момент я начал думать, что это и есть уготованный мне урок. Я должен был заболеть, метаться в жару, лежать на спине, неспособный шевельнуть пересохшим языком, и все это, чтобы понять, что любые усилия здесь — тщетны.

Симон неутомимо менял на моем лбу мокрые полотенца, носил суп, чай, лекарства. Но ни его, ни священников моя болезнь всерьез не обес-

покоила. Они исполняли свой долг, проявляли внимание, однако прокаженные наделили их своим фатализмом сполна. Да и мог ли я рассчитывать на сочувствие к своей болезни в мире, где властвует проказа? Что бы они ни говорили, я был для них умирающим.

— Вчера опять били в барабаны, — сказал я Симону. Сказал очевидное, просто хотел послушать собственный голос.

— Каждый вечер бьют.

— И танцуют?

— Да.

Я был уверен, что все происходит именно так, как мне привиделось: толпа прокаженных, голые тела, и Амина страстно извивается перед слепой бабкой.

— Это что, вроде праздника урожая?

— У нас нет урожая, отец, — напомнил он. — Мы работаем на огороде круглый год.

— Тогда почему chamba? — Я использовал самое абстрактное слово "танцы".

— Это не chamba, это zinyao.

Такого слова я не знал и попросил объяснить. Но Симон покачал головой, словно не имел права раскрыть секрет.

— Может, сами увидите, когда поправитесь.

Я начал садиться на постели, лучше спал, да и голова болела не так сильно. Лихорадка то уходила, то возвращалась. Каждый день я принимал хину — горстями — и шесть-восемь таблеток аспирина. Я чувствовал себя лучше: не крепче пока, но меня все реже трепал жар. А потом понемножку я начал есть: съедал с супом кусочек-другой рыхлого, крошащегося хлеба, который выпекал Симон.

Но еда меня не вылечила и даже не прибавила сил. От еды начался понос. И я не мог уже довольствоваться ночным горшком, приходилось ковылять в отхожее место. Прежде я посещал сортир возле кухни, но оказалось, что в заросшей части сада, совсем рядом с моей комнатой, есть еще один предназначенный для подобных нужд сарай: с замшелой кирпичной кладкой, обросший сорняками, такой же старый, как сам дом. Было в нем что-то жуткое, но идти — ближе.

Мазанные глиной стены, пальмовая крыша, просевшая дверь, паутина по углам. Сарайчик находился прямо у черного хода, у коридора, в который выходила моя комната. Им пользовались: я слышал скрипенье дверных петель в самое неподходящее время суток. И мой горячечный бред вобрал в себя этот жуткий предрассветный скрип.

Однако, попав наконец в этот сортир, я с удивлением обнаружил, что петель-то и нет. Я стоял на пороге, пошатываясь от наплывающей дурноты, поскольку поднялся впервые за все время болезни, и смотрел на дверь, подвешенную на узловатых веревках. Но ржавый металлический скрип мне все-таки не почудился, я услыхал его снова, стоя на солнцепеке около старого нужника. Внутри звук стал громче. Когда глаза мои привыкли к мраку, я разглядел летучих мышей: три или четыре крупных, величиной с крысу, тварей висели вниз головами, уцепившись грязными когтями за неровный, грубо обтесанный край деревянного сиденьяочка. Я стукнул по нему кулаком, и они, сорвавшись, упали в яму и принялись метаться там, отчаянно хлопая крыльями. Так они, вереща, и летали подо мной, пока я сидел, корчился, морщился и всячески пытался ускорить процесс.

Так прошла неделя: сон, жар, дизентерия; и еще брат Пит. Pepani. Прости. Ежевечерне — бой барабанов. Но лихорадка отступала, и однажды утром я проснулся без головной боли. И в глазах не резало. С улицы тянуло свежестью, на листьях блестела роса, пыль под деревьями потемнела, точно от влаги: казалось, ночью прошел дождь. Я залюбовался небом — безбрежным океаном света — и вдруг понял, что голоден. Я жив.

— Что со мной было?

— Лихорадка, — ответил отец де Восс.

— Какая?

— Большинство лихорадок в Африке названия не имеют. Да и какая разница? Вы же выкарабкались.

6

И только тогда, спустя три недели после приезда в Мойо, я до конца понял, что такое колония прокаженных. Только воспаленными от болезни глазами я разглядел ее по-настоящему. Ощупью пробиваясь к выздоровлению, я начал передвигаться, опираясь на резную трость брата Пита. Лихорадка прошла, но оскомина ее осталась внутри. Гулкая пустота в голове, слабость, дрожь в коленях и — голод, но есть я мог очень мало. Сердце колотилось, трепетало, руки ходили ходуном. Из сортира, обиталища летучих мышей, я возвращался, ловя ртом воздух, а поход в амбулаторию занимал всю первую половину дня. Да, я выкарабкался, но до выздоровления было далеко.

В этом-то пассивно-беспомощном, но чутком состоянии я отчетливо понял, до чего безразличен лепрозорию весь внешний мир. Безразличие это трудно уловить и объяснить. Приехав сюда три недели назад, я постарался усвоить все, что мне рассказали о проказе, но чтобы понять здешнюю жизнь, надо было заболеть — не важно чем. Лихорадки с возможным смертельным исходом оказалось достаточно — я добрался до сути. Спасибо безымянной моей болезни. Люди здесь были наги, и я был теперь наг тоже.

Нагота — не метафора, а самое настоящее отсутствие одежды. Фигуры речи здешним обитателям неведомы. Слова имеют конкретное значение. Здесь нет символов, нет ничего поэтического или литературного. Болезнь означала проказу, лихорадка — неделю страданий, жара — безжалостное солнце, пыль — порошок, которым повсюду покрыта земля, который вечно скрипит на зубах и придает любой еде кисловатый вкус. А желание — я наблюдал это здесь не раз — это когда в вездесущей пыли в зарослях маиса на краю деревни мужчина стоит на коленях над женщиной и входит, вбивает себя в нее, а она извивается под ним, и все это происходит грубо и кратко.

Такова саванна, таковы ее законы. А лепрозорий — типичная деревня африканской саванны, только сильно разросшаяся. Как же я был глуп и наивен, собираясь преподавать тут английский. И как же нелепо было превращать в символ строительство коммунальной кухни. Им наплевать. У них одна забота: выжить. И за выживание они борются днем. А ночью наслаждаются отвоеванной жизнью. Весь прочий мир спит, а деревня прокаженных живет — отчаянно и яро. И до нас им дела нет.

Их день и их ночь все равно были вне реального времени, поскольку время здесь не имело смысла. Сегодня походило на вчера или завтра; сорок лет назад, сорок лет спустя — все едино: пыль, барабаны, голод.

Ни надежд, ни будущего, одна лишь покорность судьбе. Они привыкли к своей болезни, они признательны за дары жизни, они упиваются этой жизнью, упиваются сексом, безразличны к недугу и безропотно приемлют смерть.

Мойо — цельный, замкнутый мир; он достаточно прост, потому что все в нем зримо, все на поверхности. И все неизменно. Ни стремления к совершенству, ни жажды перемен. Гость извне может принять Мойо за тюрьму, но на самом деле это дом, огромная семья, живущая по немудреным правилам, которые можно без опаски нарушить. Всего-то и надо: следить за огородом да плести корзины, другой работы нет. Но каждый здесь болен или ухаживает за больным, поэтому у каждого есть повод отлынивать даже от этой работы. В Мойо есть церковь, но службу посещают немногие. Сексом занимаются непрерывно, часто на виду. Там и сям одна картина: женщина на спине, мужчина нависает над ней, а мальчишки гоняются за девчонками, подражая взрослым. Жизнь прокаженных, секс прокаженных, безделье прокаженных — все здесь, на одном клочке земли; а потом — смерть. Теперь я это понял.

И понял значение неведомых мне прежде слов. Пусть голова моя работала еще не вполне четко и ноги подкашивались от слабости — я ясно видел людей. И люди наконец стали принимать меня всерьез: и прокаженные, и их семьи, и монахини, и Пташка. Амина начала со мной здороваться — украдкой, шепотом, пробормочет что-то и махнет рукой, а бабка услышит и требовательно спросит: "Кто это?"

Священники и брат Пит вели себя по-прежнему несколько отстраненно, обитали на своем поросшем чахлыми кустиками холме и занимались, как говорил отец де Восс, делами души. Они слу́жили мессу, и это было их единственное неизменное занятие. Поскольку африканцы мессу почти не посещали, она превратилась в личный ритуал белых людей, дневную европейскую альтернативу ночному барабанному бою.

Я снова стал после ужина играть в карты. Однажды вечером, когда мы с отцом де Воссом прошляпили взятку, я спросил, как чувствует себя Малинки. В период выздоровления мне хотелось слушать рассказы об исцеленных.

— Он очень болен. — Отец де Восс взял со стола сданные ему карты, раскрыл их веером и принялся тщательно раскладывать.

На следующий день, тоже за игрой в вист — словно очередная упущенная взятка напомнила ему о вчерашнем разговоре, — отец де Восс повернулся ко мне и сказал:

— Тот парень так и не выкарабкался.

— Pepani! — сказал брат Пит.

— Похороны завтра, — подал голос из своего угла отец Тушет. Он в карты не играл. Четвертым играл Симон, молча, со старательной осмотрительностью, и оттого все время проигрывал.

— А что бы вы сделали, если бы я заболел так же тяжело, как этот африканец?

— Мы бы о вас позаботились. — Расплывчатый ответ отца де Восса меня немало удивил.

— Я говорю о медицинской помощи, — уточнил я. — Куда бы вы позвонили?

— Здесь нет телефона.

— Нас никто не услышит, — сказал брат Пит по-чиньянджийски, грубо и просто. Palibe anthu senga! Игра возобновилась.

К утренней мессе ходили немногие, но над тяжелобольными совершали обычно таинство соборования. А во время похорон служили погребальную мессу и хоронили усопших на церковном кладбище, за каменной оградой, в тени мангового дерева, где я часто видел совокупляющиеся пары.

— Пол, не поможете ли нам завтра во время мессы?

— Хорошо.

Я давным-давно не прислуживал на мессе, но благодаря подсказкам священников быстро вспомнил, что делать, когда услышу "Introibo ad altare Dei", — я подойду к Божью алтарю, — и как благодарить, когда священник скажет: "Ite, missa est" — ступайте, месса окончена.

На похоронах Малинки африканцы слились в погребальной скорби: мужчины стенали, женщины завывали, все плакали. Покойника несли в изрядно потрепанном гробу, который потом используют снова и снова — после того как тело Малинки вывалят из гроба, засунут в джутовый мешок и забросают землей.

Позже в ризнице, когда я собрался переодеться в мирское платье, отец де Восс сказал:

— Вам идет сутана. — Он даже остановился, залюбовавшись. — Кстати, можете не снимать. Одежда просторная, в ней прохладно. Гораздо удобнее, чем в брюках. Попробуйте, не бойтесь.

Я задумался. Работать мне пока трудно, слишком слаб. Да и какая работа? От уроков английского я давно отказался — не кирпичи же на кухне класть? И я не снял сутану, так и пошел в ней вниз, в амбулаторию. Мне и вправду был нужен аспирин, но на самом деле хотелось пройтись среди африканцев в священническом облачении, в белых одеждах святого отца.

— Здравствуйте, отец, — говорили они.

Это было обычное вежливое приветствие: "Moni, bambo". Bwana — господин — было более уважительным, а achimwene — брат — более простым, интимным. Обращение "отец" я считал вполне уместным, хотя мне недавно исполнилось двадцать три года. Странно было другое: африканцы почтительно отступали, кланялись, хлопали в ладоши, а большинство женщин и детей опускались на колени.

Увидев меня возле больницы, монахини на веранде заулыбались: пускай я монах-самозванец, но все-таки их союзник. Пташка стояла на раздаче таблеток, к ней тянулась длинная очередь прокаженных. Когда я подошел ближе, она рассмеялась, громко и радостно, словно увидела старого друга.

— Ну вот! Что я говорила!

Она передала таблетки чернокожей помощнице и, улыбаясь, поспешила мне навстречу.

— Придает уверенности, верно? — Она дотронулась до моего рукава.

— Просто прохладнее.

— Конечно.

Мне сразу вспомнилось, как я увидел ее в одежде монахини и как она ждала моей реакции, сказав, что под сутаной она голая.

Теперь она смотрела иначе, более дружелюбно, была оживлена и хотела общаться. Она явно подобрела. Даже прикосновение к моему рукаву было каким-то нежным.

— Я рада, что вам лучше.

— Я тоже.

— Я уже начала скучать, — сказала она и, вероятно заметив мою скептическую усмешку, добавила: — Здесь так мало народу.

— Две тысячи человек? Не так уж мало.

— Я имею в виду mzungus.

На протяжении всего разговора она поглядывала на мою белую сутану. От этого придирчивого осмотра мне стало не по себе: все-таки я важнее, чем моя одежда! Я решил сменить тему.

— Лекарства раздаете?

— Сегодня уже по второму кругу. Они получают по сто миллиграммов в сутки, половину утром, половину днем.

— А что за лекарство?

— Дапсон. Это сульфапрепарат. Но наши запасы кончаются. Впрочем, больным и на это плевать. Беспокоиться — наше дело.

— Вы не выглядите слишком обеспокоенной.

— Какой от этого толк? — Она повернулась к прокаженным, которые терпеливо топтались в очереди за таблетками дапсона. Среди них были и дети. Какая покорность судьбе! В конце очереди я заметил Амину с бабушкой.

— Не все тут похожи на прокаженных.

— Внешность обманчива. А у ребенка может быть и скрытая форма проказы, она проявится, только когда он вырастет.

Почувствовав, что на них смотрят, некоторые больные, особенно те, что помоложе, потупились.

— Кое-кто тут почти здоров, — продолжала Пташка. — Но лекарства им придется принимать еще десять лет, чтобы совсем очиститься.

Она подняла глаза и заметила, что я улыбаюсь Амине. Пташка тут же подошла к Амине и, смерив ее коротким, безжалостным взглядом — словно оценивая соперницу, — взяла за тонкий локоть и оттянула кожу на запястье.

— Видите сухое, твердое пятно? Это мертвые ткани. Так реагирует организм на бациллу проказы. Пытается отгородиться, выстроить защитную стену. Это помогает, но отдельные части тела тем не менее отмирают.

Амина все равно была прехорошенькой; она что-то нашептывала на ухо слепой бабке, разумеется спросившей: "Ciani?" — что это? Пока Пташка не показала пятна на руке Амины, я и не подозревал, что девушка тоже больна проказой. Думал, просто помогает старухе.

— Руки и ноги могут совсем атрофироваться, — продолжала Пташка, разглядывая Амину в упор, и в голосе ее звенело победоносное злорадство. Или мне показалось? — Рука превратится в клешню.

Амина потрогала пятно на руке и, пятясь, отошла, скрылась в толпе, томившейся в ожидании лекарства. Бабка, потеряв плечо внучки, принялась шарить рукой в воздухе.

— Отмирают нервные окончания. — Пташка кивнула на мужчину, чья скукоженная рука действительно напоминала клешню. — Боли он не чувствует.

Но я все смотрел на Амину.

— Все-таки не пойму, разве проказа существует в скрытой форме?

Амина тихонько стояла среди прокаженных, скрестив на груди руки; лиловый тюрбан оттенял чистую, гладкую кожу ее лица; и вся она — обернутая в свое одеяние — походила на длинный, изящный кокон. А рядом,

чуть позади, опять стояла слепая старуха, вцепившись в ее плечо уродливой рукой.

— У некоторых проказа не проявляется годами. А тело обезображивается не в результате болезни, а в результате реакции на нее организма. Борясь с бациллой, организм уничтожает свои собственные ткани. Он их недокармливает, они твердеют и отмирают.

— Поэтому и отваливаются пальцы?

— Это миф. Пальцы ампутируют, когда они становятся бесполезны.

Я заметил Уилсона, африканца, который отказался строить со мной кухню. Потом увидел повара Симона, и Джонсона Магондве, и всех остальных бывших моих учеников, включая глухого и слабоумного. У одних конечности были в бинтах или искорежены болезнью, другие выглядели вполне здоровыми. Много здоровее меня.

— Изменение формы тела, в сущности, победа организма. Это значит, что бацилла остановлена. — Пташка отвернулась от очереди. — И жизнь тела тоже.

Прокаженные один за другим подходили к зарешеченному окошку, вроде билетной кассы, и получали от Пташкиной помощницы таблетки в бумажном стаканчике. Потом заталкивали таблетки за щеку или сразу глотали, а монахиня наливала в пустой стаканчик воды — запить лекарство.

— Та девушка, на которую вы смотрели... У нее на руке узелковое утолщение. Туберкулезная разновидность проказы. Этим страдают многие.

— Но не все, — уточнила монахиня с кувшином. И, наливая воду в стаканчик следующего больного, добавила: — Вот у Ятуты, например, лепроматоз.

У Ятуты было тяжелое лицо, сморщенный нос и грубая как кора, шершавая кожа в толстых задубевших складках. Монахиня пояснила, что при такой разновидности проказы организм не сопротивляется и это ведет к постепенному разрушению всего тела, начиная с конечностей — пальцев рук и ног, носа.

— Ужасно, — прошептал я.

Мужчина проглотил таблетки и медленно двинулся прочь, упирая палку в пыльный пол. Пташка улыбалась, словно посмеивалась над моей чувствительностью.

— Это не смертники, — произнесла она.

Я смерил ее цепким взглядом. Ни выражение ее лица, ни тон мне решительно не нравились. Впрочем, она знает больше, и, стало быть, не мне судить.

— От проказы не умирают, — сказала она. — Просто живут калеками всю жизнь. Без рук, без ног, в шрамах.

Мне было неловко обсуждать больных в их присутствии, а они все тянулись гуськом мимо нас получать лекарство. И посматривали в нашу сторону — как-то беспомощно, словно знали, что речь о них. Однако Пташка щебетала без умолку. Вообще, человек наг в любой больнице, а в колонии прокаженных нагота эта беспредельна.

— Ваша лихорадка была намного опаснее, — сказала вдруг Пташка.

Интересно, откуда она знает? И кто ей рассказал?

— Зато лихорадка не заразна.

— Проказу скоро излечат полностью. — Она говорила о проказе уничижительно, как и обо мне. — Но существуют и другие недуги. Некоторые даже не описаны в медицинских учебниках. Привозят, допустим,

больного. Мы думаем, у него туберкулез — все симптомы налицо. А лечению он не поддается. Вот такие и умирают. А нам остается стоять и смотреть, а потом хоронить, как сегодня Малинки. Мы ведь так и не выяснили, чем он болел.

Монахиня с кувшином сказала:

— Зато мы хорошо знаем, как распространяется проказа. Либо через слизистую оболочку, либо через раны и порезы. — Она наполнила водой еще один стаканчик.

— Поэтому и стараемся очищать раны, — заметила Пташка. Она стояла теперь почти вплотную ко мне и по-прежнему улыбалась. И улыбка ее не имела к теме нашего разговора никакого отношения. — Потом накладываем толстые повязки.

— Если у вас в Америке найдутся друзья, которые пришлют нам бинты или старые простыни, мы будем просто счастливы, — сказала монахиня.

— Ну а дети? — спросил я, заметив малышей меж материнских юбок. — У них тоже проказа?

— Неизвестно. Но если у прокаженной рождается ребенок, он заболеет почти наверняка.

Мне вспомнились роды, которые я подсмотрел перед тем, как заболел. Картина эта потом возвращалась в моих ночных кошмарах: изуродованная мать, складный здоровый ребенок... Мне и тогда показалось это чудом.

— Вы забираете детей?

— Нет, — сказала Пташка. — Матери не отдают. Мы даем детям mankhwala.

— У нас в Голландии когда-то давно тоже болели проказой, — сказала монахиня. — Вся Европа была наводнена прокаженными. Да и немудрено. Жили-то бедно и грязно. Теперь в такой бытовой грязи живут только в тропиках, особенно в Африке. Потому здесь и свирепствует проказа. Эта болезнь возникает от грязи, когда люди живут и дышат кучно, огромная семья в одной хижине.

Другая монахиня, которая скручивала бинты чуть поодаль, тоже вступила в разговор:

— Я приехала сюда в 1946 году, и больных мы тогда лечили маслом. Так всегда лечили в старые времена.

— Маслом?

— Шалмугровым маслом. И помогало! Теперь-то мы даем сульфапрепараты. Они лучше и сильнее. Когда-нибудь болезнь отступит.

Первая монахиня нахмурилась:

— Европа сначала избавилась от лачуг. От тесных грязных хижин.

Я шел по тропинке к обители и думал, какие же самоотверженные эти монахини и Пташка. Внезапно за спиной раздались шаги. Меня догоняла Пташка. Она спешила, почти бежала — редкая картина в этом знойном, неспешном мире.

— Чуть не забыла, — запыхавшись, сказала она. — Вот ваш аспирин, святой отец.

— Не издевайтесь.

— Ничуть, святой отец.

Она огляделась, точно хотела удостовериться, что на нас никто не смотрит. Она была в нерешительности. На таких открытых, уверенных

лицах нерешительность, даже тщательно скрываемая, отпечатывается особенно ярко.

— Вы были на озере, святой отец?

— Прекратите называть меня так.

— Но вы же в сутане, тут уж ничего не поделаешь. Давайте устроим на озере пикник.

Дел у меня не было: ни работы, ни чтения, ни сочинительства. Я мог заполнить эту пустоту чем угодно.

— А как мы туда доберемся?

— Отец де Восс даст вам свой мотоцикл.

Я двинулся дальше по тропе, считая, что она пойдет следом. Но она осталась стоять.

— Вам разве не сюда?

— Да, хотя... — Она улыбнулась, но фразу не закончила.

— Что-то не так?

— Лучше, чтобы нас не видели вместе, — сказала она. — Кстати, это еще один повод уехать на озеро.

И только после этих слов я осознал, что на протяжении всего нашего разговора о проказе она попросту со мной заигрывала.

7

Чем дольше я жил в Мойо, тем яснее понимал, что отец де Восс не очень-то религиозен. Я допускал даже, что он атеист. Обращаться к нему полагалось "отец настоятель". Над церемонным обращением он посмеивался, но, похоже, считал, что настоятель вправе властвовать всеми. Его собственный дух был всё, а религия рядом с ним — ничто. Во время мессы он откровенно скучал и даже выказывал нетерпение, какие-то слова проборматывал, на каких-то задумывался, словно забывал текст молитвы, а на алтарь опирался локтями, как на карточный столик. С облатками для причастия обращался небрежно, тыкал в них пальцем, сортировал, точно это не святые дары, а местные малавийские монеты по шесть пенсов. Несмотря на скучающий вид, на мессе он напоминал ученого, подметающего пол в лаборатории и при этом напряженно о чем-то думающего: на бесстрастном лице остро сверкали глаза. Он верил в себя, потому и не испытывал нужды в Боге. Именно он, отец де Восс, устанавливал законы в Мойо, и, когда он пребывал в хорошем настроении, его тепло согревало всех.

Как-то мне подумалось, что Божье расположение вроде погоды: то солнечно, то облачно, а временами гроза или зябкая пустота, которая может стать прелюдией к чему угодно — этакая неопределенность, которая испытывает веру. Когда отец де Восс бывал счастлив, счастье отпечатывалось на всех лицах. Его дух витал над лепрозорием, и в этом заключалась часть его власти.

Сегодня небеса были пасмурны. Еще за ужином я ощутил, что отец де Восс недоволен.

— Почему вы сняли сутану? — спросил он. Само слово "сутана" делало это одеяние еще более экзотичным. — Она вам к лицу.

Просто и ясно. Из уст отца де Восса это звучало как приказ свыше. Он словно почуял во мне некую нишу, внутреннюю незанятость и решил произвести в священники, избрал — как, говорят, избирает Бог.

— Я не хотел бы вводить людей в заблуждение, — ответил я.

— А может, наоборот, в этом облачении и есть ваша правда.

Итак, моя догадка верна. Он дарует мне сан одним своим словом и мановением руки, потому что он здесь — Бог.

— И на озеро в сутане ехать удобнее, — добавил отец де Восс. — Поверьте, в наши дни и на наших дорогах лучше одежды нет.

Разговор о мотоцикле я завел еще до ужина. И теперь — в том-то и заключалась сложность его натуры — отец де Восс выразил все: и недовольство моим обхождением с сутаной, и готовность одолжить мне мотоцикл. Раньше я никогда ни о чем не просил. Сдерживала его отстраненность. Я подозревал, что в душе он очень одинок. Он с радостью одолжил мне мотоцикл, это был способ приблизить меня, но — одновременно — и обречь на зависимость от его щедрот. Обратиться к нему с просьбой означало признать его власть.

— С парнями из саванны порой трудно поладить.

— Chipongwe, — сказал брат Пит. — Kwambiri.

Он пытался объяснить, что парни из саванны "дерзкие", но звучало это забавно — как, собственно, весь чиньянджийский язык в устах старого голландца.

— Значит, сутану они уважают?

Я проверял слова Пташки.

— Больше, чем вы думаете. — Отец де Восс отодвинулся от стола, чтобы Симон мог собрать грязную посуду.

— Мой черед сдавать, — сказал брат Пит.

Отец де Восс положил руку мне на плечо и чуть сжал его, мягко, но настойчиво.

— Поверьте, — сказал он с нежностью.

Я хотел ответить, что верю в него больше, чем когда-либо и в кого-либо, во всяком случае больше, чем в Бога. Мне нравилась эта обитель — в частности, отсутствием книг, даже религиозных. Картинок на стенах тоже не было — только простенькие деревянные распятия. И я верил в отца де Восса, в его терпение, в его сомнения, в его человечность. А еще в его отвагу и отстраненность. Я верил в его неверие.

— Если вы уверуете в Бога, вам суждена вечная жизнь, — промолвил отец Тушет.

Отец де Восс улыбнулся печальной своей улыбкой и сказал:

— Я просто предлагаю ему верить в сутану, она спасает от дорожных грабителей.

Но я решил ответить отцу Тушету:

— Как верить в то, чего нельзя увидеть?

— Но люди верили во все времена. Вера дает силы. — Отец Тушет побледнел, говорил возбужденно и выглядел каким-то затравленным.

— Только не мне, — сказал я.

— Вот вам-то вера нужна больше всех, — возразил отец Тушет. — Она сохраняет душу и дух. Вы же не дикарь.

— А я, пожалуй, дикарь, — живо откликнулся отец де Восс. Похоже, мой спор с отцом Тушетом его развеселил. — Да, точно, я дикарь.

По тому, что́ понимает тот или иной человек под словом "дикарь", можно безошибочно определить, давно ли он живет в Африке. Для отца Тушета дикарь был невежественным врагом и даже не вполне человеком. Для отца де Восса дикари — беззащитные люди, не враги, а союзники, вроде несмышленых младших братьев, от которых — по их незрелости — не всегда знаешь, чего ждать.

— Вы имеете в виду, что у дикарей нет веры? — спросил я отца Тушета.

— У них с этим проблемы.

— Решительно не согласен. Так называемые дикари славятся своими страхами. Они боятся всего, что не видно глазу. Их мир в основном невидим, и они принимают его на веру.

— Пол прав, — кивнул отец де Восс. — Здешние африканцы боятся mfiti, невидимых ведьм, которые таскают мертвецов из могил и пожирают. Еще они боятся mzumi, духа мертвых, он может вселиться в живого человека и свирепствовать там, изрыгать проклятия и прорицать будущее.

— Bwebweta, — сказал брат Пит и, поднеся руку ко рту, поболтал пальцами, мол, мелют невесть что. Мне было, как всегда, смешно от его дополнений к чиньянджийским словам, но отец Тушет смотрел на него с испугом.

А отец де Восс продолжал с улыбкой:

— Потому-то, отец Тушет, у вас что ни день крестины.

Я вдруг сообразил, что сам отец де Восс никогда не крестит.

— Так что вера — не признак цивилизации, — добавил я.

Глаза отца Тушета блеснули.

— Вы говорите не о вере, а о предрассудках. Предрассудки не есть Божественная истина.

— Но я хочу видеть то, во что верю. Хочу задавать вопросы. Хочу больше знать.

— Тогда вам грозит опасность. Здесь вы этого не найдете. Мне вас жаль.

— Прошу вас... — с мягкой улыбкой остановил его отец де Восс. Но, в общем-то, он не возражал. Ему нравился наш спор.

— Разве задавать вопросы не похвально? — продолжал я.

— Нет, — отрезал отец Тушет. — Вы поворачиваетесь спиной к Всевышнему.

— Сейчас вы скажете: "Ищите ответ в себе".

— Конечно.

— А я думаю, ответ там.

Я махнул рукой в сторону деревни прокаженных. Как всегда в это время суток, оттуда доносился гул голосов, выкрики и барабанный бой, точнее, стук палок о высокие чурбаки, которые использовались в качестве барабанов.

— Sewerendo masewera a ng'oma, — сказал брат Пит. Они танцуют танец с барабанами. Он дотронулся до сданных карт и продолжил: — Wopusa n'goma.

— Что это значит?

— Такая пословица. Идиот бьет в барабан. Умный танцует, — пояснил отец де Восс. — Давайте-ка играть.

— Тогда каков ваш ответ? — спросил я отца Тушета.

Он лишь зыркнул на меня и отвернулся, вцепившись в черную обложку требника. В глазах его крылась глубокая печаль — глубже злости или обиды. Пожалуй, это было отчаянье.

— Он уже и вопрос забыл. — Отец де Восс говорил нарочито серьезно, но в голосе его слышался смех. И мудрость.

И мне снова пришло в голову, что его грустный юмор тоже свидетельствует об отсутствии веры в Бога. Однако в этом юморе крылась своя, иная духовность: мирная, покойная, слегка жутковатая, как почте-

ние африканцев к высшим силам. Ведь свой страх перед ведьмами они не обсуждали, не взращивали в себе. Просто было понятно, что им страшно, — понятно даже по тому, как они молчат.

Мы начали играть в вист; моим партнером на этот раз был Симон. И вдруг за спиной у меня раздался детский всхлип. Плакал отец Тушет. Отец де Восс нашел взглядом молодого священника и так же, взглядом, приказал ему перестать.

— Вот здорово, — сказала Пташка.

— Ага. — Я завел мотор.

Мотоцикл отца де Восса, черный "нортон" старой модели с рифленой обшивкой на цилиндрах-близнецах, имел два широких, точно блюда, седла. Крылья загибались, словно поля испанских тропических шлемов; к седлам были пристегнуты вместительные кожаные сумки. Короче, вещь простая, практичная и ухоженная, как все основные предметы в жизни священников.

— А я не про мотоцикл, — сказала Пташка. — Про ваш наряд.

То есть про белую сутану. Правда, в ней я чувствовал себя скорее мальчиком-хористом, чем священником. А Пташка была в бермудах, гольфах и широкой блузе.

— Идея отца де Восса.

Недоверчиво усмехнувшись, Пташка уселась сзади и сразу ухватилась за меня, а не за предназначенные для этого кожаные петли. Пальцы ее сжались, выдавая нервное нетерпение.

Выехали мы поздно, в два часа пополудни, поскольку Пташке пришлось делать неожиданно много перевязок. Раскаленный воздух зыбко дрожал; улицы в самый пик жары опустели, даже мальчишки не шныряли меж лачуг.

Мы миновали амбулаторию, больницу, деревню и, выехав из лепрозория, покатили, подпрыгивая на колдобинах, среди тощих желтых деревьев. Перед железнодорожными путями я притормозил. Дальше, сколько видно глазу, ни хижин, ни людей, ни собак, ни огородов, только выжженная земля в пыльном мареве и узкая дорога. Перебравшись через пути, я поставил переднее колесо в колею и покатил дальше. На юге страны я уже гонял на мотоцикле — вот так же, пристроившись в колею, — но после долгих недель в лепрозории во всем этом было что-то ирреальное. Не только скорость. Я словно спешил прочь от того существования, которое только-только начал постигать.

Потому-то на этой дороге, с вцепившейся в меня сзади Пташкой, мне было неуютно, даже страшновато. Я не испытывал ни малейшего желания увидеть озеро или кордоны, о которых предупреждал отец де Восс. И еще что-то, совсем уж невнятное, присутствовало в снедавшем меня беспокойстве. За пределами лепрозория я оказался вдруг в огромном, шатком мире. Зной был недвижим, косые тени призрачны. Там и сям виднелись баобабы, похожие на монстров, которых дети часто рисуют вместо слонов: перекошенные, толстые, серые. Я уже предчувствовал, что обратно нам засветло не вернуться. А в темноте по саванне никто в этих краях не путешествует.

Пташка позади меня болтала без умолку, но слов я разобрать не мог, хлеставший в лицо ветер уносил их прочь. Еще первое ее замечание, когда она сказала "здорово" про сутану, резануло мне слух. А потом, уже на дороге, когда африканка, завидев меня, бухнулась на колени и пере-

крестилась, чуть не уронив с головы вязанку хвороста, Пташка прижалась ко мне еще крепче и издала ликующий вопль. И я снова внутренне содрогнулся.

Вскоре нам попалось селение: прилепившиеся друг к дружке мазанные глиной лачуги, а сразу за ними — железный брус поперек дороги. Опирался он на пустые канистры из-под бензина. Это и был пресловутый саванный кордон. По обе стороны дороги сидели человек восемь, исключительно парни, в выцветших красных рубахах и комбинезонах Малавийской молодежной лиги, разгоряченные и в прескверном расположении духа. Вооружены были кто чем: палками, зловещими кривыми ножами, грубыми увесистыми дубинами. Однако, разглядев мое одеяние, они встали и попятились. Они даже по-своему пытались выказать уважение, неуклюже переминались с ноги на ногу и смущенно прятали оружие за спину.

— Добрый день, сэр отец, — сказал один.

— Проезжайте с этой стороны, — сказал другой, приподнимая железный шлагбаум.

Так и предсказывал отец де Восс.

Зато они, жадно осклабившись, смотрели на Пташку.

— В чем дело? — спросил я.

— Наш помогать порядок держать, сэр отец.

Человек, который произнес эти слова, одеждой не отличался от остальных: в линялой красной рубахе, шортах цвета хаки, босиком, но волосы его были с проседью, а в лице проступало что-то гадкое; этакий гаденький старичок, переодетый мальчиком.

На самом деле эти наемники правительства отнюдь не поддерживали порядок, а занимались ровно обратным: перекрывали дороги и силой заставляли прохожий и проезжий люд покупать (за пять шиллингов) членство в Малавийской партии конгресса. Как и любые другие головорезы в этой однопартийной стране, они чинили разбой, притворяясь, что делают мирное дело. Живя в Мойо, я как-то подзабыл, что время в стране смутное.

Нам встретилось еще два кордона (щетинистые парни, покрытый слоем пыли железный шлагбаум, "проезжайте, сэр отец"), но в конце концов мы добрались до озера. Пташка жарко закричала мне сзади в шею, и я увидел за деревьями блеск озера, не холодный или голубой блеск, а самый настоящий металлический, вроде фольги. Передо мной раскинулась эта сверкающая рябь, и я ощутил полнейшую беспомощность. Пустоты оказалось слишком много, и мне захотелось быть вовсе не здесь. Эх, развернуться бы и сразу ехать в Мойо! Это я и выложил Пташке.

— Я же привезла еду!

Ну и что? Раз она привезла еду, значит, я обязан есть? Я поставил мотоцикл на прикол, но держался от него поблизости.

— Я не голоден.

— А я хочу есть. Ужасно.

Она сказала это весело, не обращая внимания на мой хмурый вид.

— Что за мерзость эти кордоны! И типы гнусные, и морды у них грязные.

— Но они уважают вашу сутану, святой отец. Правда, приятно чувствовать свою власть?

— Ничуть. Устроил маскарад и пугаю честной народ.

— Все так делают.

— Это жестоко.

— Люди и вправду жестоки. — Она пожала плечами и принялась рыться в притороченных к седлам мешках с провизией.

— Я уже думаю о том, как поедем назад.

— Знаю, святой отец. — Она развернула бутерброд и начала жевать.

— Перестаньте называть меня святым отцом.

Она промолчала, а потом сказала:

— Иногда я думаю, что нигде, кроме как здесь, мне места нет.

Она жевала хлеб, простодушная и беззащитная, а я думал, что, когда человек ест, характер его выявляется четче всего. И еще в поглощении пищи есть бездумность: человек превращается в голодного бессловесного зверька.

Возможно, Пташка почуяла мою жалость и, кажется, приняла ее за искреннее сопереживание; сглотнув, она благодарно взглянула на меня, нежнейшим образом дотронулась до моей руки и спросила:

— Что может сделать вас счастливым?

Хорошо, что вопрос оказался скроен именно так. Это оставило мне шанс сказать без обиняков, что на этом покатом берегу, среди валунов, под цветущими деревьями мне совсем неуютно. И плеск волн меня раздражает. А на часах уже почти половина пятого. Около шести будет совсем темно. Нельзя ли нам отсюда уехать?

— Жаль, я так хотела устроить пикник на озере. Но можно и в другом месте.

— Давайте вернемся в Мойо.

— В моей келье в монастыре припрятана бутылка сливочного ликера.

— Поехали домой.

8

Столь резкая перемена планов показалась мне чуть ли не отсрочкой смертного приговора, и настроение мое сразу улучшилось. Все стало вдруг просто. Мы не будем бессмысленно торчать на озере, забудем этот дурацкий пикник и вернемся домой. Больше месяца я не брал в рот алкоголя, и от этой новой, неожиданной перспективы и от того, как старалась порадовать меня Пташка, я воспрянул духом. Она сказала: "Ладно, поехали", и я начал бессознательно подчиняться, вплоть до того, что выбрал — согласно ее указаниям — более короткий путь в миссию. Мне вдруг понравилось быть с ней рядом, понравилась ее оживленность, да и наша сумбурная вылазка на озеро обернулась не так уж плохо, ибо доказывала, что не только Пташка, но и я чувствовал себя как дома только в Мойо.

Мы вернулись в сумерках, и пришлось включить фару. И главная дорога, и улочки были пусты, народ ужинал. Я медленно проехал за амбулаторией и повернул вверх к церкви, точнее, к сараю, где держали мотоцикл. Сарай стоял как раз между женским монастырем и обителью, где я жил со священниками.

С треском выдвинув ногой опору, я поставил мотоцикл на место.

— Пойду первая, проверю, ясно ли на горизонте, — сказала Пташка.

Я даже не задумался: что, собственно, она имеет в виду? Решил: это просто фигура речи, проявление ее нынешней бесшабашной веселости.

Угасающий свет дня делал все вокруг призрачным, как видение: то

ли оживет, то ли растает навсегда. Некоторое время фигура Пташки маячила впереди, потом исчезла.

Я ждал и, когда ожидание затянулось, стал размышлять, что делать. Но тут в одном из окон на верхнем этаже монастыря зажегся свет, и Пташка, ничего не говоря, подала мне знак подниматься.

Я повиновался, не раздумывая о том, какая цепь случайностей вела меня в тот вечер по задней лестнице женского монастыря в келью Пташки. Я вообще старался не принимать Пташку всерьез, потому что знал: иначе придется признаться самому себе, что она мне не очень-то приятна.

Она открыла и закрыла дверь так быстро, что, лишь оказавшись внутри, я понял, что она переоделась в белое монашеское одеяние и крахмальный чепец сестер из ордена Сердца Иисусова. Лампа была уже выключена. На туалетном столике горели две свечи, и столик от этого походил на алтарь, а вся комната — на сумрачную часовню.

— Шутка, — сказала она.

Люди часто называют шуткой то, что делают самозабвенно и искренне. Я не нашелся, что ответить.

— Вас кто-нибудь видел?

Я пожал плечами: какая, мол, разница?

— Вы забыли, что вам не положено находиться здесь, святой отец? — прошептала она.

Босая, с полубезумным взором, она походила на монахиню, которая готовится совершить святотатство. Монашескую одежду она, должно быть, натягивала впопыхах: из-под чепца торчал локон, а сквозь широкую пройму закатанного выше локтя рукава виднелась грудь.

Я повернулся — открыть дверь, уйти прочь, — но она быстро заступила мне путь и налегла на дверь всем телом. Она проделала это молниеносно и очень серьезно. Лишь когда она поднесла палец к губам, я расслышал за дверью голоса.

— Эту коробку надо рассортировать по длине бинтов.

— А где другая пачка, не видела?

В коридоре громко переговаривались монахини.

— Можно сейчас начать, а можно отложить. После ужина сделаем.

Уходите скорее. Я старался сдвинуть их с места одной лишь силой своей мысли.

— Я, пожалуй, начну. Пускай сестра Роза помоет зелень, а потом вместе приходите помогать.

Сортируют бинты, моют шпинат. Добрые, мирные занятия. Именно к этому я стремился, именно это ценил здесь: простоту и законченность каждого дела. Ради этого забросил, причем с радостью, свое сочинительство, похоронил книги. Потому-то мне было так неприютно в этой келье, где меж свечей стояла бутылка южноафриканского ликера, а мы с Пташкой оказались облачены в монашескую одежду.

Зажав язычок между зубами — пародия на сосредоточенность, — она задвинула тяжеленный засов и, ухватив меня за рукав, провела в другой конец комнаты и усадила на кровать. Сидеть тут больше было негде.

За дверью по-прежнему суетились, лопотали по-голландски монахини.

— Мне их жаль, — сказала Пташка. — Но порой они совершенно несносны. — Она на миг задумалась, прикусив губу, а потом добавила. — И я не лучше.

Меня не надо было убеждать, что уходить сейчас, когда по коридору

снуют монахини, просто неразумно. Но я уже осознал, какую совершил ошибку, придя сюда вообще. И убеждался в этом все больше, потому что Пташка распалялась на глазах, а мой энтузиазм ощутимо увядал. Ей нравилась эта игра в переодевание: она в сутане, я в сутане, монахиня и священник чокаются, а в стаканах у них густой ликер, и они сидят бок о бок на узкой монашеской кровати, а дверь кельи заперта на тяжелый засов.

Пташка была страшно возбуждена, словно мы на пару стали обладателями потрясающего секрета. Я же мрачнел и мрачнел.

В конце концов я тихо произнес:

— Это нелепо.

Она с готовностью открыла рот, словно безмолвно сказала "да". Больше всего ее привлекала как раз абсурдность происходящего. Потом она отпила из стакана и поцеловала меня, раздвинув языком мои зубы и выпустив ликер из своего рта в мой. От неожиданности я едва не подавился, с трудом проглотил, она же возбудилась еще больше.

— Святой отец, — прошептала она и поцеловала меня снова, запрокинув мне голову обеими руками. Язык ее исследовал закоулки моего рта. Потрясенный, я попытался было вырваться. Но ее дерзость бросала мне некий вызов. И еще меня ошеломил ее плотский голод.

— Двадцать минут десятого, — произнесла за дверью монахиня. — Все хорошие свернуты. Остальные грязные. Их надо прокипятить. Бинтов вечно не хватает.

Теперь Пташка исследовала языком мое ухо. И вдруг горячо выдохнула:

— Нет, святой отец, не заставляйте меня. Я так боюсь.

Между тем она обнимала меня все судорожней. Я же ослеп и оглох от накатившего желания.

Я попробовал снять сутану, запутался, и руки мои оказались внутри как в мешке; одежды наши перемешались; мы обнимались, затерявшись в этом белом хлопчатобумажном коме, и крахмальный чепец ее сбился набок, а внутри тряпичного сумбура светилась нагота. Разомкнув объятия, я добрался, коснулся этой наготы, мягкой и теплой, а потом, отняв губы от ее губ, подбородком столкнул развязавшийся чепец, и волосы заструились по нашим лицам.

— Не троньте меня, святой отец, — молила она, обдавая меня жарким, жадным дыханием.

Я испугался ее горячечной искренности. И вот уже ее руки на мне, повсюду, стремятся проникнуть глубже, сквозь распахнувшиеся полы сутаны. Я смутился. И, отстранившись, сказал:

— Погоди, — хотя настойчивые ее пальцы не унимались.

— Разумеется, нет, если вы считаете, что они грязные, — сказала монахиня в коридоре.

Пташка добралась до моего пениса, до этого вялого, равнодушного слизняка, и принялась работать обеими руками, словно пыталась круговым движением маленькой рукоятки завести какой-то странный примитивный мотор.

Стало больно. Я высвободился и, схватив ее за плечи, отодвинул — на длину вытянутых рук.

— Не насилуйте меня, святой отец, — прошептала она и, закатив глаза, откинулась на кровати, готовясь стать жертвой.

Я услышал барабанную дробь. Из деревни? Или это у меня в висках стучит? Как бы то ни было, стук меня отрезвил.

Я был смущен и перепуган. Все, что возбуждало ее, меня, наоборот, расхолаживало: одежда, притворство, уединение, голоса монахинь под дверью, риск быть застигнутым в женском монастыре посреди ночи. Я не мог ее взять. И не хотел. Я вообще не испытывал к ней интереса, она мне даже не очень-то нравилась. Я был слишком напуган, напряжен и далек от ее фантазий, чтобы участвовать в этой печальной комедии с переодеванием.

— Тогда обними меня просто, — сказала Пташка. Она вся дрожала.

Я же не мог выполнить и этой нехитрой просьбы. Меня занимала одна проблема: как бы поскорее смыться.

— Мне пора, — прошептал я, хотя ей этот шепот наверняка показался злобным шипением.

Она помолчала, потом сказала:

— Можешь уйти в любую минуту. Здесь тебе не место.

Лицо ее было в тени, за мятым ворохом волос и одежд.

Я встал и разделся, оставшись в футболке и плавках. Свернув сутану, я присел и положил ее себе на колени. Пташка скорбно, гротескно-трагически раскинулась поперек кровати, по ее белым одеждам плясали тени. Она плакала.

Ничто, даже смех, не убивает плотское желание быстрее, чем слезы. Чары рассеялись. Делать тут было больше нечего. Понять причину слез я тоже не мог: то ли она разочарована, то ли смущена.

Я обнял ее, и она вся напряглась под моими руками, притворяясь упрямой и неуступчивой. Пожалуй, она просто злилась.

— Это была плохая идея.

— Не думаю, — сказала она. — Но если тебе так кажется...

Я затаил дыхание, ожидая, чтобы она договорила — сквозь всхлипы и слезы.

— ... тогда ты безнадежен.

Лицо ее сморщилось, и она беззвучно зарыдала.

Но на этом дело не кончилось. Я пробыл там еще два часа, примерно до одиннадцати, когда в монастыре обычно отходили ко сну. Пташка немного поела — из приготовленной для пикника провизии. Я тоже пытался жевать, нашел еду безвкусной, с трудом проглотил кусок и понял, что не могу есть вовсе, не то настроение. Кровать скрипела, поэтому я смирно лежал возле Пташки, не касаясь ее тела, и мы шепотом рассказывали друг другу о себе.

Я был молод, и история моя была коротка. Она не заняла много времени. Пташка была на семь лет старше. Сюда ее прислали от католической церкви как квалифицированную медсестру, по программе милосердия. "Мне уже не вернуться. Я никуда не впишусь". Я вспомнил: то же самое она говорила о судьбе прокаженных. Родом она была из маленького городка на юге штата Индиана. Она рассказала о городке, о том, как старшеклассники вечно околачивались в кафе-мороженое, как праздновали в кабаке победу "Пантер", как гоняли субботними вечерами по главной улице — взад-вперед, взад-вперед; как болтались под кайфом у Мики Д., а потом парами расползались и укладывались на кладбищенские плиты.

После этого долгого, странного дня мы лежали точно старинные друзья и прислушивались, как шаркают по коридору монахини, закрывая шкафы и комоды. Наконец Пташка вдохнула поглубже. И когда вы-

дохнула, в ее выдохе было все: и разочарование, и тоска, и униженность.

— Я так этого хотела, — сказала она. — Теперь это уже никогда со мной не случится.

Я не стал вдумываться во все нюансы этой мысли.

— А ты разве ни о чем таком не мечтаешь? — спросила она.

— Только не здесь.

9

В лепрозории секретов нет, таков уж закон. Что бы ни случилось под покровом ночи, днем об этом узнают все; как бы тих ни был шепот, его обязательно услышат. В этом заключалась еще одна грань здешней реальности. Нет ничего сокрытого, всем все известно, никаких тонкостей, никаких подтекстов и символов. Прокаженный — всегда прокаженный, и это видно невооруженным глазом. И обжалованью не подлежит. Тут все голые.

И все-таки о том, что произошло в тот вечер в монастыре между мной и Пташкой, похоже, никто не знал. Видно, слишком уж абсурден, ирреален был этот эпизод — непредставим там, где нет места фантазии и даже малейшей на нее претензии. А может, mzungus — в отличие от прокаженных — все-таки вправе иметь секреты? Да и в чем, собственно, секрет? Ведь, по сути, между нами ничего и не было. Да, я, одетый в сутану, выбрался из монастыря крадучись, в темноте, но так ли уж это предосудительно?

В свое жилище я вернулся кружным путем. Священники уже спали. Если меня по дороге кто и заметил, то промолчал. Я забрался в постель, сам едва веря, что все это было на самом деле. Меня так измотало ощущение опасности, страх быть обнаруженным в женском монастыре, что теперь я провалился в сон и спал без просыпу, пока горячее солнце не взъерошило мне ресницы.

Наутро о моем приключении никто из священников не заговаривал. То ли правда ни о чем не знали, то ли проявляли такт — сказать не берусь. Однако я был уверен, что тайна останется тайной — возможно, потому, что ничего предосудительного так и не случилось. Да, мы лежали на тропе искушения, но потом встали, отрясли свои души и разошлись — более одинокие, чем прежде.

"Теперь это уже не случится", — сказала она.

Наверно, она права. Кстати, вчерашний эпизод излечил меня от игр с сутаной и вообще от всяческих притворств. Нет, разумеется, это не была пытка огнем. И я не стал сильнее оттого, что преодолел искушение. Но случись то, к чему она стремилась, я был бы вынужден сразу уехать.

Я же оказался не готов. И возбуждение мое — реальное, сильное — к Пташке отношения не имело.

Теперь дни мои вошли в свою колею. Я просыпался от солнца, щурился и моргал, как зверек, потом пожирал завтрак и занимал себя каким-нибудь делом до следующей еды. Вспоминая, что существует чтение и сочинительство, я испытывал сладкое, головокружительное счастье, благо знал, что не буду заниматься ни тем, ни другим. Такое же чувство возникало у меня обычно после сна, в котором меня обязывали совершить что-то трудное и важное, сделать дело, требующее внимания и ума и отнюдь не обреченное на успех. Сны эти обыкновенно кончались тем,

что огромная серая фигура нависала надо мной и называла последний, самый последний срок. И просыпался я с неизъяснимым облегчением, и впереди был целый длинный, пустой, залитый солнцем день. Я сбросил бремя сочинительства. Больше не надо было подмечать детали: не писать означало не запоминать. И я мог позволить себе эту роскошь.

Никогда прежде мои дни не были столь легки. С Пташкой мы здоровались как друзья, и я понимал ее теперь куда лучше. Видел ее особенности, слабости. Конечно же, она была почти монахиня, почти прокаженная, плоть от плоти этого места — настолько, что и представить трудно. Меня это занимало, но разговаривать с ней было не о чем. Ничто, кроме жизни в Мойо, нас не объединяло. Да я ее на самом деле никогда и не интересовал. Ее привлекла сутана, но сутану я больше не носил.

Единственным значимым для меня человеком был здесь отец де Восс. Но он молчал. В те дни на него свалились другие заботы.

Все началось со слез отца Тушета. Я помнил тот вечер: жаркий спор, всхлипы, слезы. Потом он плакал снова, чуть ли не каждый день. Плакал, словно истекал невидимой кровью. Играть в карты при этом было невозможно. Было неприятно, страшно, все сидели расстроенные, а сам он, казалось, терял силы. А однажды утром, после очередного такого вечера, я услышал, как африканцы, кряхтя и шаркая по цементному полу, двигают мебель, нет, пожалуй, не мебель — необъятный жестяной сундук, вполне еще новый, лишь слегка поцарапанный. Его с натугой тащили три человека.

— Katundu отца Тушета, — сказал Симон.

Я завтракал один. Стараясь не попадаться никому на глаза, провел утро в соответствии со своим новым образом жизни: почистил свечи мотоцикла, поговорил с каким-то старичком о ведьмах, убил пару змей. По дороге домой с пожухлого маисового поля я встретил отца де Восса.

— Что-нибудь случилось?

— Нет, — ответил он и посмотрел в сторону амбулатории, на веранду, где высилась громадина контейнера. — Но отец Тушет нас покидает.

Он говорил обыденно, словно отъезд отца Тушета был в порядке вещей, все как должно и винить в этом некого. Люди приходят и уходят. И вопрос мой праздный.

— В другом месте он будет счастливее, — добавил отец де Восс.

Старый священник не развил свою мысль, но я как-то разом понял, почему плакал отец Тушет, почему дрожал, стоя у окна и вслушиваясь в мерный барабанный бой, что доносился каждый вечер из деревни прокаженных.

Вечером в Мойо приехал на поезде строгий священник высокого сана; кремовое облачение не скрывало его дородного тела. Звали его отец Томас, и приехал он за отцом Тушетом. В карты в тот вечер не играли. Вместо этого отец Томас вел конфиденциальную беседу с отцом де Воссом. Наутро в церкви отслужили торжественную мессу — благодаря присутствию лишнего священника, объяснил отец де Восс. Я подозреваю, что нужно было вознести молитвы за смятенную душу отца Тушета. Сам он, смиренно сложив руки на коленях, сидел в первом ряду — скованный и пристыженный, словно падший ангел.

На мессе пели, били в барабаны, исполняли соло на местных африканских лирах; на эти звуки в церковь сбежалось много народу из дерев-

ни. Всю переднюю скамью занимали монахини, с краю примостилась Пташка. На меня она не смотрела. Пока священники пели, я молился возле самого престола, а когда было необходимо, прислуживал — не в сутане, а в мирском, в черных брюках и белой рубашке.

Я звонил в колокольчик, преклонял колена, произносил впопад нужные слова, носил поднос с потирами. И купался, растворялся в этой причудливой и безумной церемонии — в ее духоте, в пении, в барабанном бое, от которого сотрясались хлипкие церковные окна. Никто на свете не знал, что мы здесь, в Мойо, вообще существуем и что сейчас здесь происходит это действо. Я всегда ощущал Мойо местом вне времени и пространства, но именно в этой отъединенности и было счастье, потому что Мойо — это мой реальный мир.

Мессу служили на латыни, гимны пели по-чиньянджийски, а уж барабаны били совсем по-африкански и заполняли все паузы во время службы. От этих звуков отец Тушет снова напрягся. Маска скорби на его лице каменела с каждым ударом, а барабаны гремели все громче, и эхо возвращалось от беленых стен, и смешивалось с курившимся над кадилом ладаном, и обволакивало золоченую дароносицу, и клубами, словно наркотические пары, возносилось вверх, под купол, сквозь столбы лившегося из окон солнечного света.

Амина со слепой своей бабкой сидела на задней скамье. И я все время следил за ней: как она провожает глазами священников, как слушает пение, молитвы, мои ответы, как морщится от шума и шевеления по соседству.

Наверно, ритуал казался ей странным, пугающим, возможно даже колдовским, вроде ворожбы, которой занимались в деревне, чтобы навести порчу или изгнать из человека демонов. В каком-то смысле в этом очищении и состояла цель мессы, "священная жертва мессы", как научили меня ее правильно называть.

Потом я тушил свечи, собирал потиры и прибирал в ризнице, а отец де Восс шептался с отцом Томасом. И я точно знал о чем: о вещах вполне прозаических, о настроении отца Тушета и о расписании поездов до Балаки и Блантайра.

Обед проходил в гробовом молчании. Ели nsima с курицей, изнывали от жары, а отец Тушет мотался взад-вперед по веранде. Потом отец Томас отвел страдальца к машине и, поддерживая под локоть, помог сесть. Отец Тушет двигался медленно, как старый или очень больной человек; оказавшись в "лендровере", он сцепил руки на груди и, затравленно съежившись, ни на кого не глядя, стал ждать отъезда. Провалы его глаз были черны; мысль блуждала далеко-далеко. В толпе зевак кто-то произнес слово "mutu": прокаженные тоже считали, что у отца Тушета не все в порядке с головой. Голос слепой Амининой бабки перекрывал остальные, она требовательно расспрашивала: кто это? Куда он едет? Пришлют ли кого-то ему на смену? Чем он болен?

Когда старуха всецело завладела вниманием толпы, я пробрался к Амине и был рад, что она не шарахнулась прочь.

— Я видел тебя в церкви.

— Да.

— Но ведь ты мусульманка.

— Я хожу с бабушкой. Она христианка.

— А ты заметила, что я за тобой наблюдаю?

— Да. — Она нервно втянула воздух ноздрями. — Только не знаю почему.

— Потому что мне очень нравится на тебя смотреть.

Она снова сморщила нос, часто-часто заморгала. Мои слова ее явно смутили.

— Как ты поняла, что я на тебя смотрю?

— Потому что я смотрела на тебя.

Забавно. И хотя она отводит глаза, она не так робка, как я думал. Да и в сторону глядит, возможно, вовсе не из робости, а потому, что на "лендровер" в это время грузят, подтягивая на грязных веревках, огромный сундук с вещами отца Тушета. Отец де Восс уже заводил мотор, а отец Томас сидел с ним рядом, мрачноватый и надутый, словно родитель, недовольный тем, что его чадо исключили из школы. Отец Тушет сидел сзади как в воду опущенный, а прокаженные толпились вокруг машины и глазели на него: их, похоже, воодушевляло поражение этого несчастного mzungu.

Отец де Восс и рад был бы не придавать делу такую огласку, но в Мойо, где жизнь годами текла без перемен, отъезд отца Тушета стал значительным событием, которое будут вспоминать не год и не два.

— Alira, — пробормотал кто-то из прокаженных. Он плачет.

Было странно видеть, как взрослый человек, сидящий в машине, закрывает лицо руками и между пальцев его текут слезы. Толпа, все эти худые, убогие, увечные, босые, оборванные люди удивленно таращили глаза. Руки-ноги у большинства были в грязных бинтах. Они примолкли, только пялились, разглядывали его в упор. И от их безжалостного любопытства отца Тушета делалось еще жальче.

Меня всегда раздражало то, как он носится со своим требником, поминутно заглядывает в него и ведет с ним какой-то незримый диалог. Я возмутился, когда он отказался помочь мне таскать кирпичи, заявив, что ему надо крестить. Молитвенник в его руках был вроде талисмана, призванного уберечь хозяина от какой бы то ни было работы. Так прокаженные пользовались своей болезнью. А еще отец Тушет носил сандалии не на босу ногу, а с носками и выглядел от этого очень глупо. Мне вдруг подумалось, что безумца часто можно распознать по одежде.

— Он ваш друг? — спросила Амина.

— Нет.

— Но он ведь mzungu.

— Мне приятнее говорить с тобой.

Я хотел даже добавить, что рад, что он уезжает: мнительный, нервический человек, всеобщий крититель и обратитель в истинную веру. И к тому же брюзга. "Дикари", — говорил он каждый вечер, едва в деревне начинали бить в барабаны. Но, возможно, я и без того смутил Амину своей прямолинейностью, потому что, как только отъехал, взметнув клубы пыли, "лендровер", она незаметно исчезла.

В тот вечер барабаны бухали громче обычного, из деревни неслись крики, вопли и еще какие-то судорожные, панические звуки. Я помнил, что в бреду под барабанную дробь мне всегда мерещилась Амина, я представлял ее ярко, осязаемо: стройная фигура извивается, сияет, рот приоткрыт, глаза не видят, словно расширенные наркотическим дурманом.

Удовлетворение плотского желания всегда было для меня осуществлением фантазии, оно не должно было произойти внезапно, по наитию, наоборот, я загодя изучал, представлял, грезил и — тщательно подготавливал себя к этому счастью, к воплощению мечты в реальность. Жела-

ние созревало во мне исподволь, и я не удивлялся ему, я заранее чуял это томление — изначальное, глубинное, — оно уже имело во мне свою историю, проступало как смутное, но уже мелькавшее в фантазиях объятие. Точно подарок, которого давно и бесплодно ждешь. А потом, когда все становилось вдруг реальным и достижимым, я брал свое — уверенно и безошибочно.

Много вечеров назад буханье барабанов, сотрясая раскаленный воздух, долетало до моей одинокой спальни. Такой же звук получался, когда женщины толкли в ступе зерна маиса тяжелым каменным пестом. И если работали одновременно несколько женщин, удары, сопровождавшиеся слаженным оханьем и кряканьем, синкопировали в кронах деревьев.

— Сегодня в карты не играем, — объявил отец де Восс.

Не было нужды объяснять, что делается это из уважения к отцу Тушету, который карты ненавидел. Многое выводило его из себя, и не в последнюю очередь наши ежевечерние карточные баталии. Ладно, отложим карты до завтра.

— Никаких карт! — воскликнул брат Пит, принимаясь за шитье. — Pepani, palibe sewendo! Простите, никаких игр!

Мы словно чтили память усопшего. Собственно, покинуть Мойо и означало умереть, поскольку жизнь за пределами Мойо была совсем, совсем иной.

— Надеюсь, ему полегчает, — произнес я.

На что отец де Восс, прочитав мои истинные мысли, сказал:

— Он не вернется.

Из деревни донесся дикий вопль и вспышка света, как будто в костер бросили огромную охапку сухой соломы или маисовой шелухи и она занялась вся разом.

— Они никогда не возвращаются.

В этот миг казалось, что жизнь в Мойо сосредоточена там, внизу, в деревне прокаженных, и барабаны отбивали неровный, сбивчивый ритм этой жизни — стучало не дерево о дерево, а живая кровь в висках.

Брат Пит штопал при свете лампы, отец де Восс сидел рядом, и тени падали ему на лицо. В любом другом месте он бы читал, писал письма, рассматривал картинки. Но он жил в Мойо, пустом и голом, как сама саванна. Священники выглядели как старая супружеская пара.

Я пожелал им спокойной ночи и ушел к себе в комнату. Там я подошел к окну, взволнованный, нетерпеливый, готовый нырнуть во тьму. За тьмой начинались деревья, освещенные огнем костра. И на фоне пламени каждая ветка проступала черно и четко.

Выскользнув из дома с заднего крыльца, я устремился вниз без дороги — на огонь и гром барабанов.

Немногочисленные зрители образовали редкий круг, а остальные — почти вся деревня — танцевали: женщины с одной стороны, мужчины с другой; они шаркали, притопывали, трясли головами, размахивали руками, что-то выкрикивали. И тяжелая их поступь отдавалась в каждой клетке моего тела, словно танцевали прямо на мне.

Мужчины хлопали в ладоши, а женщины гортанными, пронзительными голосами выводили какую-то мелодию, вроде страшного и победного военного клича. Вырезанных из дерева масок не было, зато были раскрашенные лица, самым, впрочем, страшным из которых оказалось

лицо, обсыпанное белой мукой. Этот прокаженный напялил еще и белую простыню и держал впереди себя распятие. Женщина, что танцевала прямо против него, тоже была замотана в простыню. Выходило, священник и монахиня извиваются в двусмысленном танце, не то пародии на половой акт, не то настоящей ритуальной пляске, не то дикой смеси того и другого.

Прокаженные танцевали на своих омертвелых, толстых от бинтов ногах, издавая звуки гулкие, как удары деревяшек. Мальчишки, в собачьих или обезьяньих шелудивых шкурах, а в остальном совершенно голые, бегали на четвереньках среди вопящей и топочущей толпы.

Из тени, со стороны хижин, появилась другая группа. Эти люди тащили к костру какое-то сооружение вроде кукольного домика. Разглядев грубое подобие пирамидального купола, я понял, что это церковь. Домик покоился на небольшой платформе, а платформа опиралась на шесты, и получалось что-то вроде высоких носилок.

Стало ясно, что тут есть сюжет и я пропустил завязку. Танцевали-то уже больше часа. Я слышал барабаны и во время, и после ужина, когда тихо сидел в обители со священниками. Танец меж тем достиг такого накала, таких страстей, что в круг впрыгнули даже те, кто до этого стоял поодаль. И уже не различить было танцоров и бывших зрителей, все двигались, топали, хлопали и, содрав с себя одежду, размахивали лохмотьями.

Беснующуюся процессию возглавляли замотанные в простыни "монах" и "монашка". Сразу за ними несли шаткую церковь, сделанную из бумаги и палок. Не то избыточное почтение, не то искусное издевательство.

Многих танцоров я узнал: я познакомился с этими людьми за несколько недель моей жизни в Мойо. И странно было видеть их такими активными, подвижными. Прокаженный, переодетый монахом, походил на Джонсона, который посещал мои уроки английского. Сейчас он держал в руках книгу, не Библию и не требник, но идея была ясна и так. Он изображал отца Тушета. Зачем уж им понадобилось разыгрывать сцены из его жизни, не знаю, но именно это они и делали. "Отец Тушет" крестил мальчика, переодетого в собаку. Читал, выкатив глаза, свою "священную книгу". Держался высокомерно. Отвергал флиртующую "монашку". И все это — под бой барабанов, которые служили резким, сумбурным комментарием к происходящему.

Амину я нашел легко, чуть в стороне от пляшущих, едва ли не бьющихся в истерике прокаженных. Она стояла в тени тростниковой крыши, но лицо ее было высвечено пламенем. Бабка безучастно, как каменная, стояла позади, а Амина кивала и хлопала в такт звучному гулкому ритму.

Поднятая пыль клубилась в свете костра, тела танцующих дергались и отбрасывали на листву ломаные тени, там и сям проткнутые торчащими ветками. Некоторые танцоры почти рыдали, снедаемые неизъяснимой мукой. Я вдруг понял, что передо мной не отдельные пляшущие люди, а цельный организм — с единой волей и единым огромным, непомерно раздутым телом. И это существо дергалось в корчах, заполняя собой все пространство.

Амина по-прежнему оставалась в стороне. Окажись она среди танцующих, мне вряд ли удалось бы к ней пробраться. Но она стояла возле хижины и только кивала в такт. Я приблизился. Дотронулся до ее лок-

тя. Это получилось легко — благодаря плотской наготе танца. Амина не отшатнулась. Уже хорошо.

— Я хочу к тебе в гости, в твою хижину.

Она не повернулась, так и стояла лицом к толпе, к пыли, к столбу дыма над костром, к бегающим по-собачьи мальчишкам, к грязным ступням, к барабанщикам, дубасившим по бревнам и растянутым шкурам, к раскачивающейся на шестах "церкви". Стояла и застенчиво молчала. Но молчание ее означало "да".

— Только что скажет твоя бабушка, когда меня увидит?

— Она тебя не увидит. Она слепая.

10

Вокруг было так шумно, что я едва разобрал слова Амины. С самого первого вечера я слышал эти барабаны; помню, лежал в своей голой беленой комнатке и думал: как меня сюда занесло и что со мной будет? Потом барабаны стали частью моего лихорадочного бреда, спутником карточных игр, пульсирующим фоном всей жизни. Они, именно они свели с ума отца Тушета.

И я понимал почему. Бой барабанов Мойо проник и в меня, но иначе: я заразился их энергетикой. Ощущение было физическим, как наркотик или хмель. Бой барабанов тупо вбивался в мою кровь, и я сам тупел и делался невменяемым. Это он лишил меня желания писать — стихи и вообще что бы то ни было.

Я пытался продолжить разговор. Что дальше? Когда? Но по выражению ее лица понимал, что попытки мои зряшны. Она тоже меня не слышит. Может, оно и к лучшему. Самое разумное здесь — молчать, молчать как бессловесная тень.

Без всяких слов, лишь тронув бабку за руку — вместо команды, — Амина направилась прочь; старуха двинулась следом, вцепившись искалеченной проказой рукой в плечо внучки. Я пошел за ними, радуясь метанью теней, толпе, неразберихе, бликам костра и барабанному бою. Где уж тут меня заметить! Но если кто и заметит, что им до меня? Слишком все разгорячены, слишком невменяемы.

Хижина Амины — вернее, конечно, ее бабки — стояла во внешнем круге самых старых построек, тех, что граничили с окружавшей Мойо саванной. Возле хижины росло дерево, их личное дерево, более раскидистое и высокое, чем обычная здесь чахлая растительность. Из соседнего огорода несло запахом прелой маисовой шелухи, запах этот в моем представлении был связан со змеями, скорпионами и кусачими пауками — эти твари наверняка таились в теплых, полуразвалившихся лачугах.

Я глядел под ноги, отчаянно стараясь ни обо что не споткнуться, и, разумеется, ударился головой о шест, который поддерживал тростниковую крышу.

— Что за шум? — спросила старуха и протянула руку назад, ко мне. То есть я уверен, что спросила она именно это: все было понятно по жесту.

— Fisi, — сказала Амина. Гиена.

Старуха забормотала на каком-то наречии, наверно яо. Я знал лишь, что это язык мусульман саванны и распространен он в основном в Мозамбике. Но ответы Амины я понимал. Возможно, она и говорила-то по-чиньянджийски ради меня. Впрочем, жители лепрозория привыкли мешать языки. Бабка опять что-то сказала.

— Потому что я очень устала, — отозвалась Амина по-чиньянджийски. Она зажгла свечу и поставила ее в большую консервную банку с дырами в стенках.

Старуха проквакала новый вопрос, и Амина пояснила:

— Хочу отогнать гиен.

Теперь старуха, похоже, начала молиться. Она находилась в противоположном от меня конце просторной по местным понятиям хижины, состоявшей из одной большой прямоугольной комнаты с двумя циновками на полу. Старуха опустилась на дальнюю циновку, лицом к нам. Темнота была ей нипочем.

Кроме части, застланной циновками, пол был земляной, утоптанный; стены — из глины; с потолка, из тростниковой соломы, сыпалась пыль. Воняло грязью и термитами; по углам, где пол оставался рыхлым, виднелись вырытые червями ходы. Единственной мебелью служили картонные коробки. Были еще лампы и — вдруг, неожиданно — прислоненная к стене солидная деревянная рама, вероятно, фамильная драгоценность.

Старуха посмотрела затянутыми бельмом глазами в мою сторону и что-то пробормотала; я затаил дыхание.

— Расправляю циновку, — ответила Амина. Она жестом велела мне сесть рядом, и я, поджав под себя ноги, сел.

Я смотрел на Амину сбоку: профиль будто точеный — простая, совершенная линия, подсвеченная пламенем свечи. Длинные ресницы, торжественно-строгие губы. Она сидела очень прямо, слегка откинув голову, и шея ее казалась так хрупка, что я, не удержавшись, протянул руку, коснулся... Она почти не шелохнулась, а когда я погладил ее щеку, и вовсе застыла. Не от страха, не от покорного приятия неизбежного. От наслаждения. Я провел пальцем по ее губам, и она тут же приоткрыла рот и укусила палец своими хорошенькими зубками. Движение было молниеносным, укус — настоящим, голодным...

Старуха, так и сидевшая к нам лицом, снова что-то проквакала; рука моя, ища грудь Амины, скользнула под ее одежды.

Грохот и топот стали еще громче. Может, бабка говорит об этом? Я вдруг расслышал слова, которые распевали у костра:

— Sursum corda! Habemus ad Dominum!

Я накрыл ладонью грудь Амины, ее тепло, ее изгиб; придвинулся ближе, а Амина, вздохнув, прильнула ко мне, словно хотела помочь, облегчить задачу. Меня затрясло от возбуждения.

— Agnus Dei, qui tollis peccata mundi!

Я поцеловал ее, и пусть от земляного пола несло муравьями, потом, мышами, пусть из тростниковой крыши сыпалась пыль, губы Амины были сладки как сироп, как сок созревшего плода, а кожа — первобытно чувственна, как свежевспаханная земля. Она приблизила лицо, приняла мой поцелуй, и в глазах ее плясали отражения горящей свечки.

Наверно, мы все-таки шумели. Старуха снова забормотала.

— Это zinyao, — сказала Амина.

Старуха что-то проворчала, а я шепнул Амине:

— Пойдем на улицу.

Она помотала головой: нет.

Я сжал ее крепче, словно спросил: почему.

— Люди увидят, — прошептала она, глядя на слепую.

Мы легли на циновку, тесно-тесно, и я продолжал гладить ее груди,

и дышал коротко и часто, и боялся, что меня услышат. Старуха неотрывно глядела на нас невидящими, немигающими глазами. И все бормотала, только совсем невнятно. Я мечтал, чтобы она заснула, но не тут-то было.

В барабаны били теперь так оглушительно, что сотрясалась тростниковая крыша. Танцоры выкрикивали: "Christe, eleison! Kyrie, eleison!" и прочие обрывки мессы, ставшие в ту ночь африканскими песнопениями.

Груди Амины были малы, тело совсем худенькое. Как деревца в Мойо — с длинными сухощавыми ветками, мелкими листьями. Мои пальцы нашли и шрамы, затянувшиеся шрамы на коре молодого деревца. Амина была такой крошечной — я мог одной рукой ласкать ее всю. Такая гладкая. Как шелк.

Я сказал — губами в самое ее ухо:

— Как только я тебя увидел, на уроке, сразу захотел потрогать...

Наши глаза были совсем рядом, и я не увидел, а почувствовал, что выражение ее лица изменилось. Я знал: она улыбается. Но она ничего не ответила.

— А ты почему пришла на урок?

— Увидеть тебя.

— Ты тоже хотела меня потрогать?

Она помедлила, подергала носиком. Я уже знал: так она, смущаясь, говорит "да".

— Ну же, скажи. — Я повернул голову, чтобы ее губы оказались у моего уха.

— Я хотела с тобой поиграть, — произнесла она наконец. Местное слово "играть" означало все: и танцы, и любовные ласки.

Я гладил ее руку и не пугался, когда пальцы наталкивались на твердое пятно проказы, уплотнение мертвой кожи. Я пробыл в лепрозории достаточно долго и знал: для меня это не опасно. Я взял ее руку и провел вверх по своему бедру, желая научить, что делать. Но учить ее не пришлось. Она и без того все знала, и эта ее опытность — женская, не девичья — возбудила меня еще больше. Ее быстрые, маленькие пальцы вмиг завладели моим телом. Она потянулась к свече и сложила губы, словно целовала огонь.

Старуха опять квакнула.

— Я гашу свет, — сказала Амина и, выдохнув, убила пламя и погрузила нас в темноту.

Несколько мгновений спустя глаза мои снова различили комнату — всю в лунном свете и резких угловатых тенях. Нас достигали и отсветы костра, где танцевали zinyao. Захотелось уменьшиться, спрятаться от этих красноватых бликов, и мы обнялись, слились в поцелуе, сомкнулись. Но даже в этом восхитительном объятии я помнил о свидетеле, мне мешало беспокойное присутствие слепой старухи.

Она снова заговорила, раздраженно повысив голос.

Амина, схватив меня за руку, ответила:

— Ndiri ndi mphere kwabasi.

У меня очень сильно чешется. Kwabasi. Это слово я узнал от брата Пита. Я никогда не слышал ничего более сексуального. Произнося это слово, она направила мою руку между своих ног и помогла моим пальцам найти чудесную мякоть спелого плода.

Я ласкал ее, Амина улыбалась. Лицо ее попало в луч лунного света:

оживленное желанием, оно стало еще прекраснее. Рот ее приоткрылся в немом экстазе, а старуха в это время высказала что-то длинно и внятно, точно изрекла пословицу.

Амина прижала губы к моему уху и выдохнула:

— Она говорит: чешется — почеши.

Она закинула ногу мне на бедро и попыталась выпрямиться. Я приподнялся на локтях. Она выпуталась из своих одежд, я быстро расправился с шортами. И она, ловко меня оседлав, тут же оказалась сверху.

Старуха начала подвывать барабанному бою и крикам, доносившимся от костра, а Амина принялась раскачиваться взад-вперед, закрыв глаза и сжав зубы, чтобы не издать ни звука.

— Sursum corda!

— Deus meus!

Амина подтянулась вперед, провела ладонями по моему лицу, приникла ко мне всем телом, не прекращая ритмичного движения. Я все еще различал в дальнем углу комнаты старуху, свет и тени расплескивались на ней кляксами. Она походила на древнего африканского идола, могучего и равнодушного, который тем не менее может в любую секунду ожить и превратиться в демона.

Но страха не было. Я сжал бедра Амины, сообщая ей собственный, сильный и резкий, ритм. Она откинула голову, судорожно забилась. А когда снова наклонилась вперед и сжала мои плечи, мне послышалось: "Я не плачу". Я и не слышал плача, но ее слезы текли по моему лицу, соленые слезы — я проверил их на вкус.

Она прижималась ко мне так тесно, я проникал в нее так глубоко, что из двух людей мы превратились в одно дикое, плачущее существо. Она мяла и рвала свою грудь, а потом закусила кулак и зарыдала. Я же сосредоточился на одном — пульсирующем барабанном ритме. И если секс — в самом деле знание, а я всегда полагал, что так оно и есть, то мгновение спустя мне предстояло познать все.

Мешался зной, буханье барабанов, костер, дым и — шелк, шелк в каждой складке открывшегося мне тела. Был еще рев толпы и наша слепая свидетельница. Я продолжал схватку с Аминой, впивался в нее, как каннибал. И скоро тело мое всхлипнуло — в ужасе и безрассудном восторге обладания. А потом оба мы тоже ослепли.

После этого абсолютного соития мы снова превратились в двух людей, и я понял, что пора уходить, но сделать это было нелегко. Стоило мне встать, старуха что-то забормотала, наверно "не уходи", поскольку Амина тоже поднялась и медленно побрела к двери.

Я и не пытался выйти один, старуха бы непременно услышала. Только держась рядом с Аминой, снова двигаясь с ней воедино, я мог выскользнуть отсюда незамеченным, не вызвав подозрений.

Сквозь бой барабанов пробился еще один, хрюкающий звук.

— Fisi, — сказала старуха.

— Да. Гиена, — подтвердила Амина, и крупная горбатая собака, ощетинившись, выскочила из темноты возле самой хижины.

Так я и ушел: спугнув саванную лизоблюдку и прикрывшись ее звериным шумом. Мы оба были звери — и я и гиена. Она косилась на меня, была начеку, но, похоже, не очень-то боялась. Облезлая, ободранная, она скалила зубы, но не злобно, а раздраженно, словно я вторгся на ее законную территорию.

11

Когда любительница падали оскалила на меня зубы, я понял, что это конец. Мне придется уехать из Мойо, и лучше сделать это самому, чем ждать, когда меня вышлют. Снести изгнание было бы трудно, особенно же печальный взгляд отца де Восса. Я крался, как гиена, к дому и испытывал жуткий стыд. На цыпочках поднялся по ступеням, юркнул в комнату, но знал, что шаги мои слышны повсюду.

Наутро я сказал:

— Мне пора возвращаться, скоро начнутся занятия в школе.

И отец де Восс не стал возражать. Но и не съязвил. Просто кивнул, как кивал за картами, соглашаясь с любым доставшимся ему раскладом.

Итак, дело было решено. Молчание отца де Восса означало, что ехать надо не откладывая. Возможно, он был благодарен, что я избавил его от тягостной обязанности выгнать меня из Мойо.

Я потерял право оставаться здесь. Я все-таки вмешался в их жизнь. Я использовал Амину, и это было ошибкой, нарушением строжайшего запрета. О запрете я знал, но оказался слишком любопытен. Создал непорядок. Этого уже не исправишь. И отец де Восс все понял.

Еще тяжелее было сознавать, что знает не только он, знают все. Я не мог смотреть им в лицо, а когда искоса взглядывал, лица были иными, не дружелюбными, а чужими, и в них таилась угроза. А если так, значит, всем всё известно и дороги в Мойо мне больше нет. И это было хуже всего.

— Мне очень жаль отсюда уезжать, — сказал я отцу де Воссу.

Он не спросил почему. И от этого мне стало стыдно еще больше.

— Потому что это настоящий мир, — пояснил я.

— Верно. — Он улыбнулся. — Здесь есть всё.

Он не шутил. Это действительно был цельный, вполне законченный мир, возможно единственно реальный, а я покидал его ради немощного и хлипкого мира метафор, где слово "прокаженный" означает что-то совсем другое.

— Может, что-нибудь о нас напишете, — сказал он.

— Не умею я писать, — ответил я, вспомнив, как закопал книги и тетради, пытаясь очиститься от этой скверны. — Дело трудное.

— Papier is geduldig. — Прежде отец де Восс никогда не говорил со мной по-голландски. Теперь он улыбнулся, точно раскрыл большую тайну. И перевел: — Бумага все стерпит.

При слове "бумага" мне представились чистые листы: мы в школе получали их пачками из министерства, и на них-то я и пытался писать стихи. Только слепящая белизна бумаги всегда делала меня беспомощным и тупым.

На вокзале, провожая меня в семь утра, отец де Восс сказал:

— Вы уж нас не забывайте.

Сказал, наверно, из вежливости, но я твердо знал, что не забуду. А потом он коснулся моего локтя, и всю мою руку, до плеча, пронзило словно током.

Наконец к полустанку Нтакатака подкатил поезд, начался шум, суета погрузки, женщины лезли с корзинами, мужчины — с цыплятами в клетках. Поезд, недавно покинувший конечную станцию, недолго оставался чистым: уже через четыре перегона все проходы были заплеваны арахи-

совой скорлупой, жеваным сахарным тростником и апельсиновыми корками. И вагоны, увечные и неуютные, казались куда более обшарпанными, чем полтора месяца назад, словно постарели сразу на целый век.

Я опять сел во второй класс и, не успели мы отъехать от полустанка, принялся составлять мысленный перечень всего, что мне довелось увидеть в Мойо. Хотел было что-то записать, но потом снова почувствовал, что вряд ли когда-нибудь еще возьмусь за перо. Мне не суждено написать ни о Мойо, ни о чем ином.

Полноте, писатель ли я вообще? Писатель обязан примечать, и — не вмешиваться, оставаться только свидетелем. А я дал волю страстям. Но неужели следовало держаться в тени и хладнокровно наблюдать? Не слишком ли строго я себя осудил? Этого я тогда не знал. Как не знал, что смогу вернуться к этим воспоминаниям, лишь пройдя огромный путь во времени и пространстве. А тогда мне просто было грустно, потому что я не знал, как жить дальше.

Перелески, пожелтелые листья, великанья трава, пыль, мазанные глиной хижины, неизменная саванна — все малые части единого пейзажа, казалось, поворачивались ко мне спиной на пути из Мойо.

Я знал, что буду тосковать, и тяжкое чувство усугублялось оттого, что там, в Мойо, тоску эту никто не понимал и никто не желал находиться в каком-то ином месте. Своего рода рай...

Чтобы утешиться, я стал высматривать девушку, хотя бы отдаленно напоминавшую Амину. Искал среди пассажиров, среди людей у дороги. Похожих не было. И от этого я разом и обрадовался и погрустнел.

Деревня прокаженных тоже ничем не походила на лепившиеся к железной дороге деревушки. В Мойо была незыблемость, непоколебимость, упорядоченность — и никакой драмы. Там не таилось темной угрозы. Мойо противоречило всем моим представлениям об Африке. Да — змеи, да — насекомые, да — болезни, но болезни излечимые. Приняв это за данность, человек легко отказывался от любых притязаний.

Прокаженные, священники, монахини — все эти люди были счастливее всех, кого я знал прежде. Они нашли то, что искали. Повезло. Жаль, я не вписался — по собственной глупости оказался изгоем. И теперь, покинув это место, обречен скитаться всю жизнь в поисках точно такого же. И всю жизнь буду мысленно возвращаться в Мойо.

Мне вдруг вспомнилось, как говорили в лепрозории: такой страшной болезни никогда больше не будет, не будет ни чумы, ни чахотки — ничего, во всяком случае в этой части Африки, худо-бедно очищенной от скверны... Ни чумы, ни чахотки, ни лепры; даже слова эти будут казаться архаизмами, когда от проказы не останется и следа.

Но мне было как-то не по себе, я снова чувствовал, что наг и беззащитен, потому что уезжал: от знания — в никуда.

Перевод Ольги Варшавер

Писатель и его читатель

1

Энтони Бёрджессу очень понравилась история, которую я рассказал ему об Уильяме Эмпсоне. Известный поэт и критик, автор “Семи типов двусмысленности”, как-то раз говорил с моим знакомым об одном

забытом метафизическом поэте. Внезапно он опустился на колени и произнес без тени двусмысленности: "Я хочу взять в рот вашу чудесную штучку". Мой знакомый, заядлый читатель и поклонник творчества Эмпсона, заикаясь пробормотал: "Спасибо, не надо" и помог профессору подняться на ноги.

Разговор о поэзии продолжался еще около часа, а затем появилась домработница Эмпсона. Она принесла чай с печеньем.

— Он не хочет, чтобы я поцеловал его чудесную штучку, — сообщил ей Эмпсон.

Домработница снисходительно улыбнулась и, разливая чай, заметила:

— Ох уж эти янки!

Профессору Эмпсону было уже за семьдесят. Это был лохматый, небритый толстяк с серой кожей в бесформенном шерстяном свитере. Он уставился на моего знакомого, растянув тонкие губы в улыбке, обнажившей желтоватые зубы. У него был вид человека, сильно озабоченного.

Тогда-то мой знакомый и двинулся к двери. Он был просто ошарашен и не смог этого скрыть. Эмпсон рассмеялся ему вслед. Бёрджесс, когда я ему это рассказал, тоже рассмеялся, и я понял почему только несколько лет спустя, прочитав его автобиографию, из которой узнал, что в первые годы брака Бёрджесс и его тогдашняя супруга экспериментировали с ménage à trois[1]. "Тогда я перепробовал практически все, о чем позже писал".

Я рассказал историю про Эмпсона и Сэму Летфишу. На него это не произвело ни малейшего впечатления.

— Эмпсона я не собираю, — сообщил он тоном, свидетельствовавшим, что мой рассказ поверг его в скуку. — Но я великий поклонник Бёрджесса. И вообще я обожаю книги. Наверное, звучит банально?

— Нет. Но очень по-американски.

Сэм сообщил, что привез в Лондон три коробки книг Бёрджесса, чтобы тот их ему подписал.

— Я человек с причудами...

Это произошло в Лондоне, когда в Фестивал-холле была устроена литературная встреча. Бёрджесс был почетным гостем, и я задавал ему разные вопросы. После чего многие из собравшихся стали совать Бёрджессу его книги, чтобы он их подписал. Больше всех книг — три коробки — было у этого самого Летфиша, и его попросили встать в конец очереди, чтобы не задерживать остальных. Летфиш нанял человека, чтобы таскать коробки, и то, как с ним обошлись устроители, не привело его в восторг.

Тогда-то Летфиш и сообщил мне, что является великим поклонником Бёрджесса, а затем добавил:

— Я сам, так сказать, маленький Бёрджесс...

Мы стояли возле очереди любителей автографов. Нас с Бёрджессом затем ожидал ланч на Южном берегу, где я хотел познакомить Бёрджесса с моим сыном, который начал учить русский.

— Бёрджесс — из самых внятных писателей современности. Я уже много лет собираю все, что он пишет. Куча материалов! — Сэм Летфиш говорил с явным возбуждением. — У меня крупнейший частный архив по Бёрджессу. Я такой же безумец, как и он.

1. Жизнь втроем (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Собирать первые издания современных авторов было очень модно в начале восьмидесятых. Эти книги считались отличным коллекционным материалом — наряду с вышедшими из обращения облигациями, старинными картами и японскими нэцке. Книгам полагалось быть в суперобложках, без пятен, потеков и библиотечных штампов.

— У вас, кстати, тоже, наверное, есть кое-что Бёрджесса, — предположил Сэм Летфиш, оглядывая меня так, словно до него вдруг дошло, что я собой тоже кое-что представляю. — Я очень даже интересуюсь экземплярами коллег-писателей...

Это также было предметом внимания библиофилов тех лет — например, "коллекционный экземпляр "Четырех квартетов" Элиота, принадлежавший Стивену Спендеру, с пометками последнего на полях карандашом или шариковой ручкой.

— Занятно, что вы упомянули Эмпсона, — бормотал Летфиш. — У меня есть гранки книги Бёрджесса "Ничто, как солнце" — экземпляр Уильяма Эмпсона. Ему дали на рецензию. Переплетенный экземпляр. Большая ценность.

— Я читаю издания в бумажных обложках, а потом их выбрасываю, — сказал я Летфишу, чтобы его немножко поддеть.

— Письма, записные книжки, рукописи, — говорил он. — У меня есть машинописный экземпляр "Больного доктора" с авторской правкой. Выложил семь тысяч. Слушайте, если вдруг захотите продать какие-нибудь материалы по Бёрджессу, дайте знать.

Летфиш сунул мне свою карточку и жестом велел носильщику встать в хвост. Когда настал его черед, он выложил гору первых изданий, и пока Бёрджесс ставил на шмуцтитуле свой очередной элегантный и четкий автограф, Летфиш осыпал его вопросами.

— Меня считают психом, — говорил он. — Но мне все равно. Я еще хуже, чем вы!

Бёрджесс, склонившись над своими изданиями, в поте лица работал пером. Он ничего не слышал. Я прочитал карточку Летфиша: он был адвокатом и представлял фирму "Литлер и Летфиш" с офисом в Нью-Йорке, а также с филиалом в Лондоне — в Линкольнс-инн-филдс.

Покончив с автографами, Бёрджесс встал, потянулся, запустил пятерню в шевелюру и повернулся спиной к Летфишу и прочим почитателям.

— Что-то я проголодался, — сказал он им, когда они взяли его в кольцо. — Вы уж меня извините.

— Помните того последнего типа с коробками книг, — спросил я Бёрджесса во время ланча. — Он вас собирает. Владелец крупнейшего частного архива Энтони Бёрджесса.

— Вы о ком?

— Его зовут Сэм Летфиш. Он уверял меня, что вы из самых внятных писателей современности.

— Чушь!

После этого Сэм Летфиш регулярно атаковал меня вежливыми, но настойчивыми письмами и телефонными звонками. Он приглашал меня на ланчи и интересовался, не желаю ли я продать какие-нибудь письма или открытки от Бёрджесса. Летфиш добивался моего общества, ибо знал, что я нахожусь с Бёрджессом в дружеских отношениях, а в Лондоне Бёрджесс бывает нечасто. Поначалу я отбивался как мог, но затем в минуту слабости попросил его о помощи. Летфиш дал мне ряд полезных

советов юридического свойства и быстро уладил проблему с налогами, которая могла бы доставить мне много неприятностей. В знак благодарности я подарил ему открытку от Бёрджесса, написанную наполовину по-малайски, в яванской графике.

Этот обмен любезностями укрепил наше знакомство, причем я преисполнился к Летфишу уважения.

— Это был великий *моменто*, — сказал Летфиш; он всегда так произносил это слово. — Боже, вы еще хуже, чем я.

Интуиция настоятельно рекомендовала мне быть учтивым с банкирами или деловыми людьми вроде Летфиша и ни в коем случае не отпугивать их. В конце концов, у них имелись обширные связи, а я толком никого не знал. То, что они не хвастались своим могуществом, только подчеркивало мое собственное бессилие. Наши встречи с Летфишем стали носить достаточно регулярный характер, но я чувствовал, что моя персона не вызывает у него интереса. Однажды, когда после ланча мы пили кофе, Летфиш попросил меня не курить. Он был тогда хозяином, и потому я покорно затушил трубку, после чего беседа продолжалась. Говорили мы, как всегда, о Бёрджессе. Это сильно возбуждало Летфиша, а мне начинало не хватать моего старшего коллеги по перу.

Я ценил знакомство с Бёрджессом, потому как мне казалось, что я чем-то на него похож. Мы оба получили католическое воспитание, когда еще месса шла на латыни. Когда же литургия стала английской и простонародной, когда после освящения хлеба и вина вместо "Agnus Dei" стали исполняться какие-то популярные мелодии, Бёрджесс отошел от церкви — и я тоже. Но церковь сделала свое дело, во мне поселилась совесть, этакий неугомонный черный червячок, и теперь я — и Бёрджесс — жили в убеждении, что души наши запятнаны грехом.

Молодой провинциальный грешник, вырвавшийся из большой шумной семьи, — знакомая фигура в великой литературной традиции: и как автор, и как главный герой. Так, собственно, обстояло дело с Бёрджессом, родившимся и выросшим в Манчестере, и со мной, чье детство прошло в Медфорде, США. Но вместо того чтобы найти свое счастье в метрополии — ему в Лондоне, мне в Нью-Йорке, — мы стали экспатриантами, отправились куда глаза глядят — в Европу, в экваториальные страны. Он написал свою первую сильную вещь в тропиках, и это вдохновило на творческие подвиги и меня, оказавшегося в похожих краях. Помню, как дождливым субботним днем я приобрел изданное в "Пингвине" бёрджессовское "Время тигра". Это было в Ньясаленде, и я заплатил за книгу три шиллинга и шесть пенсов.

Когда я ее прочитал, то решил, что не зря уехал в такую глушь. И еще меня обрадовало, что Бёрджесс нашел, о чем писать в своей глуши. Его книга убедила меня: я способен на нечто подобное. Ничто не мешает мне описать бывшую колонию, получившую теперь независимость. В те годы мало кто из писателей обращался к этой теме — разве что Бёрджесс и Найпол. Мне нужно было заручиться их поддержкой: я ведь был совсем один. С 1963 по 1965 год только я в маленькой центральноафриканской стране под названием Ньясаленд писал роман — а потом то же самое делал в полном одиночестве и в Уганде.

Бёрджесс был плодовит, нетерпелив, забавен, скромен, обладал способностью к самоиронии и мимикрии. Он писал обо всем на свете. Писал обеими руками. В отличие от него, я не был полиглотом и ничего не смыслил в музыке, но его пример меня вдохновлял. Это был путеше-

ственник, учитель, настоящий экспатриант, тонкий и остроумный критик. Он не принадлежал ни к одному литературному кружку. Бёрджесс годился мне в отцы. Все это тогда было для меня крайне важно. Меня восхищало то, что он был великим уклонистом. Из его сочинений я прочитал всё, что мог достать, — с десяток романов.

Я и потом много писал и много путешествовал. Когда я женился на Алисон, мы переехали в Юго-Восточную Азию. Тогда, в 1969 году, я и мои коллеги по английскому отделению Сингапурского университета встретились с Бёрджессом в китайском ресторанчике. Он сделал остановку по пути в Австралию. Из-за разницы в часовых поясах у него был невыспавшийся, усталый вид и опухшее лицо, как у человека, принимающего сильные лекарства. Он был пьян и страдал от несварения желудка, но искренне возмущался тем, как к нам относились сингапурские власти, неоднократно утверждавшие, что изучение английской литературы — занятие совершенно бесполезное.

— Английская литература, наверное, величайшая в мире, — говорил Бёрджесс, попивая джин и покачиваясь на деревянном табурете. Над головой у него трещал вентилятор, вокруг висели вяленые утиные тушки и стояли подносы с куриными ножками. — Ну а поскольку литература связана с проблемами морали, это одна из самых цивилизованных сфер человеческой деятельности. Неудивительно, что политики так против вас ополчились.

— Мне плевать, — сказал я на это. — Я хочу стать писателем.

— Я вас читал, — отозвался Бёрджесс. — Вы уже писатель.

— Я хочу сказать — профессиональным писателем, — уточнил я.

— Только держитесь подальше от Голливуда. Скотт Фицджеральд говорил: "Кино до добра не доводит, и надо упираться до последнего". Вот, полюбуйтесь на меня. Мои отношения с Голливудом — типичный пример любви без взаимности. А "Заводной апельсин" принес мне всего пятнадцать тысяч сингапурских долларов.

— Я отсюда уеду, — произнес я доверительным тоном.

— Оставайтесь в Сингапуре, пока можете писать. Не подцепите только москитовую лихорадку. Она сначала превратила мою первую жену в алкоголичку, а потом и вовсе убила ее. Вы почувствуете, когда настанет пора уезжать.

Вскоре я уволился из университета с тем, чтобы давать частные уроки поэзии Гарри Лазарду[1]. Это был прыжок в неизвестность, и приземлился я в Лондоне. Словно беженец, я год жил на правах "иностранца, временно проживающего в Соединенном Королевстве", а потом получил разрешение на постоянное жительство с женой Алисон и двумя сыновьями.

С тех пор прошло пять лет. И вот, принимая участие во встрече с Бёрджессом, я впервые встретился с Сэмом Летфишем. Уже потом, во время одного из наших совместных ланчей, я упомянул о своем пребывании в Сингапуре.

— Мне нравятся куски про Сингапур в "Малайской трилогии" Бёрджесса, — отозвался на это Летфиш. — У меня в Сингапуре был приятель, Гарри Лазард.

— Я его тоже знал.

— Я был его адвокатом в крупном деле о фальшивых сертификатах на грузы военного назначения.

1. См. рассказ П. Теру "Уроки поэзии" ("ИЛ", 1996, № 10).

— А я давал ему уроки поэзии.

— С Файетт познакомились? — поинтересовался Летфиш.

— Конечно, — кивнул я и подумал, стоит ли рассказывать об этом знакомстве подробнее.

— В шестидесятых у нее был бурный роман с президентом Индонезии Сукарно, — сказал Летфиш.

Я попытался представить себе, как эта крупная блондинка, еврейка из Южной Каролины, ведет наступление на диктатора, получившего у себя на родине прозвище Большой Трах.

— Она ничем не лучше меня, — сказал Летфиш. — Даже хуже. — И добавил: — Мужьям от таких штучек делается сильно не по себе.

— Гарри познакомил меня с Натаном Леопольдом. С тем самым убийцей, — сказал я.

— Гарри — такой же псих, как и я, — отозвался Летфиш.

— Интересно, где он теперь?

— В Израиле, наверное, — ответил Летфиш. — Он тяжело перенес уход Файетт. Вы, кажется, сказали про уроки поэзии?

Я рассказал, как было дело.

— Он еще хуже, чем я!

Я подумал, что Сэма Летфиша знаю не лучше, чем знал Гарри Лазарда. И его бывшую жену. Сэм Летфиш знал меня весьма поверхностно. Я плохо знал Бёрджесса, Летфиш и вовсе его не знал. Тем не менее мы барахтались в мелком пруду знакомых имен и сплетен и притворялись, что это и есть настоящая жизнь.

Бёрджесс тогда еще жил в Англии. Я полагал, что он поселился то ли в Фулеме, то ли в Патни, короче, в одном из западных лондонских пригородов у реки. Тогда мы оба занимались критикой, наши рецензии появлялись в еженедельниках и воскресных приложениях, мы продавали свои рецензии в "Гастон". Но после того как Летфиш стал проявлять настойчивость — ему до зарезу хотелось увидеться с Бёрджессом в частной обстановке, — я выяснил, что тот живет в Брайтоне, "там, где неба не видно из-за чаек".

— Наверное, он поселился в Хоуве, — предположил Летфиш. — Там у него жил Эндерби. — Речь шла о персонаже из романа Бёрджесса. — Помните, когда его навещает Веста Бейнбридж?

Я решил, что Летфиш опять путает жизнь и искусство, но оказалось, он прав. Когда я снова увиделся с Бёрджессом в "Гастоне", я спросил его насчет этого, и он подтвердил, что действительно живет в Хоуве, на южном побережье, но думает в ближайшее время оттуда уехать.

— Ненавижу здешнее освещение, — сказал он. — Мне нужно больше солнца. Не могу работать в этих чертовых потемках.

И еще он ненавидел британские налоги. "Хватит, надоело", — говорил он. Одно время Бёрджесс подумывал, не переехать ли в Ирландию, но он был слишком ирландец, чтобы обрести там покой и уют. Он отправился на Мальту, но она показалась ему гнетущей и напичканной священниками. Тогда он переехал в Монако, потом посетил Италию и вообще неплохо попутешествовал. Он ездил с лекциями по Соединенным Штатам и возил с собой ролики "Заводного апельсина". Он показывал этот фильм, чтобы произвести впечатление или просто позабавить свою аудиторию.

После отъезда Бёрджесса Летфиш стал чаще и настойчивей искать моего общества — именно потому, что Бёрджесса в Англии не было.

Когда же Бёрджесс оказывался в Лондоне проездом, мы встречались и выпивали. Как-то раз я случайно столкнулся с ним в Нью-Йорке, а в Страсбуре мы прочитали совместную лекцию. К тому времени разница в возрасте уже перестала иметь значение. Я был его знакомым, а не протеже. И вообще это был человек, избегавший близких отношений с кем бы то ни было.

У английских писателей была среди прочих одна отличительная черта: они проводили немало времени на Граб-стрит, причем многие подолгу там жили[1]. В общей своей массе это были люди работящие, лишенные снобизма, очень демократичные и не агрессивные. Когда занятие литературой не связано с классовой принадлежностью и не приносит особых доходов, жизнь литератора делается в чем-то трудней, а в чем-то проще. Мы читали друг друга, мы рецензировали друг друга, и даже наши великие не гнушались выступать в роли литературных критиков. Все шло отлично, пока у английского автора не выходил бестселлер в Америке или по его книге не снимался фильм. Деньги отделяли его от коллег, над ним смеялись, ему завидовали, его осуждали. Он становился "куском дерьма в шикарном шато". Ему не могли простить успеха и новой, беззаботной жизни.

Бёрджесс был добр со мной, но порой мог и рассердиться, и, глядя, как он попыхивает своей зловонной трубкой или держит ее в дрожащих пальцах, словно дымящийся карандаш, я чувствовал, что душа у меня уходит в пятки. Он на дух не переносил английский средний класс и очень резко реагировал на то, что, по его мнению, было проявлением мещанства. Даже в обычном разговоре он употреблял такие слова, как кудесник, боговдохновенный, идиолект, которые использовал в своих текстах. Он всегда останавливался в лучших отелях — в Лондоне это был "Кларидж", — хотя постоянно жаловался на бедность, — возможно, стеснялся того, что так много пишет и так много публикуется. Притом что Бёрджесс старался жить экономно, он всегда щедро давал на чай. Этим вообще порой грешат те, кто рос в стесненных обстоятельствах. Они так поступают из страха и сочувствия, отлично понимая состояние тех, кто их обслуживает. Хорошие чаевые — неловкая попытка задобрить слабых и завистливых.

— А он пьет? — поинтересовался у меня Летфиш, который сам в этом отношении проявлял, я бы сказал, чрезмерную осторожность. Он мог долго сидеть над полпинтой пива, которое ошибочно именовал "горьким".

— В известном смысле, — дипломатично отозвался я.

— Готов поспорить, он еще хуже меня! Я-то всегда что-то там лакаю.

Бёрджесс пил довольно много, хотя алкоголиком не был. Он был слишком поглощен своей работой, чтобы огрублять или принижать литературный процесс употреблением спиртного. Только завершив трудовой день, Бёрджесс налегал на джин, ублажал себя вином, накачивался пивом. "Вы уже всё?" — поинтересовался он, когда однажды в лондонском ресторане я отставил бокал с вином, допить который не было сил. После чего преспокойно взял бокал и одним глотком осушил его. Я не переставал дивиться его неугомонному уму. Алкоголь снова делал его настоящим ирландцем — и заставлял многое ему прощать. В те несколько раз, что я видел Бёрджесса пьяным, на его лице появлялось выраже-

1. На улице Граб-стрит (ныне Милтон-стрит) в XVIII в. жили неимущие литераторы: название ассоциируется с литературной поденщиной, низкооплачиваемым литературным трудом.

ние той крайней незащищенности и страдания, какое бывает у людей, отождествляющих состояние опьянения с чем-то позорным, — выражение муки и виноватого удивления.

Я не знаю писателя, который превосходил бы его в трудолюбии или щедрости. Разумеется, он имел право выбирать для рецензирования лучшее из появившегося за неделю, а выскочкам, вроде меня и Иэна Маспрата, доставались остатки. Но именно Бёрджесс обладал интеллектом, стилем и самоуверенностью, позволявшими ему браться за рецензирование нового издания Британской энциклопедии, Оксфордского словаря английского языка или одиннадцатого тома "Дневника" Пипса. При этом у него оставалось время на знакомых, студентов, начинающих писателей. Он написал предисловие к французскому изданию моего романа "Les conspirateurs"[1] и в виде шутки подписался Антуан Буржуа.

Бёрджесс писал прозу и сочинял музыку. "Что касается литературы, — как-то сказал он, — я откликаюсь на все разумные предложения. — И, помолчав, добавил: — И на неразумные тоже". Возможно, стать великим писателем ему мешали его непоседливость, нетерпеливость, сверхпродуктивность. Но он и не помышлял о величии; он только хотел писать качественно и оригинально. Он не был жесток. В его великодушии была большая мудрость. На мой взгляд, это было его главным достоинством. Он мог выключиться на какое-то время, забыть о своем и оценить то, что делают другие.

— Однажды я решил написать книгу путевых очерков, — как-то сказал Бёрджесс. — Мы сели в наш "дормобиль" и покатили на юг Италии. Точнее, в Калабрию. Все шло отлично. Нас замечательно кормили. Каждый день я садился и записывал свои впечатления. Думал, получится книга. Но недели две спустя понял, что все это жуткая чушь.

— С удовольствием почитаю вашу книгу о южной Италии, — заметил я.

— У меня так ничего и не вышло, — отозвался Бёрджесс. — Но я вот что вам скажу. Раз в год я перечитываю ваш "Железнодорожный базар".

Это был типичный бёрджессовский комплимент. Причем по-бёрджессовски очень щедрый, однако я знал — ему действительно понравился "Базар". И я начал понимать, почему он относится ко мне с симпатией. Я сумел написать так, как ему не удалось. Он стал моим читателем. Но именно по этой причине я восхищался Бёрджессом и многими другими. Они делали то, на что я оказался не способен. Не понимая, как именно возникает книга, я ценил по достоинству умение прекрасного писателя проникнуть в читательскую душу. Это было самое главное. Как такое удается?

Простой читатель восхищается писателем, но только его коллега по перу в силах оценить волшебство. Порой мне казалось, что я — единственный читатель Бёрджесса. Потому-то появление Летфиша сначала озадачило, а затем и рассмешило меня. Летфиш вбил себе в голову, что владеет частью Бёрджесса, — на том основании, что собирает его книги. Меня обижало, что Летфиш не видит творческих мук, скрывающихся за страницей печатного текста. Самонадеянность, сквозившая в его словах "Я его собираю", выводила меня из себя.

Я благоговейно относился к достижениям прекрасных писателей и мучился неспособностью понять их жизнь. Я открыл для себя истину, известную очень немногим читателям: написать ту или иную конкрет-

1. "Заговорщики" (*франц.*).

ную книгу может тот или иной конкретный писатель и больше никто. Мое восхищение их победами вырастало из недоумения — как же им такое удавалось?! Такие писатели вдохновляли меня тем, что сначала заставляли почувствовать себя глупцом, а потом вдруг рождали во мне ощущение, что я кое-что все-таки понимаю.

Тот, кто читает замечательную книгу, исполняется вдохновением и сознанием собственного невежества, недоумением и верой, превращается в послушного, завороженного ученика, ковыляющего за величественной фигурой автора.

Мне было понятно, как пишут книги обычные писатели. Это добротная столярная работа, ремесло, доступное другим писателям, но все-таки не искусство. Тебе ясно, где и как все подогнано, как навешено на петли. Люди, не имевшие отношения к литературному творчеству, нередко советовали мне почитать то-то и то-то. Я упоминал Нью-Йорк и слышал: "Обязательно прочтите..." Называли очередную недавно вышедшую книгу, но я никак не мог втолковать тем, кто сам не пишет, что эти книги, возможно, обладают энергией и заслуживают успеха, но меня они не вдохновляют, и вообще их явно перехвалили. Я просматривал такие тексты и понимал, как они устроены. Без тени иронии я говорил, что и сам так могу, — собственно, и делал что-то похожее.

Но зато было много блестящих писателей, читая которых я испытывал тягу к процессу писания, надеялся, что и меня посетит вдохновение, не боялся потерпеть неудачу. Я не сравнивал наши книги, зато сопоставлял наши судьбы. Я не знал ни одного хорошего писателя, которому писалось бы легко.

Бёрджесс, как и я, сражался вовсю. Стремление одолеть все преграды сделало его эксцентричным и щедрым, а его книгам придало энергию, вдохнуло в них жизнь. Бёрджесс был слишком влюблен в язык, отчего тексты его порой делались манерными. Я видел в этой буйной словесной игре не проявление красноречия, но, скорее, неуклюжесть — что-то вроде милого дефекта речи, легкой шепелявости...

Мне нравилась его проза, возможно, в ней не было блеска, но тем не менее она будоражила меня и, бросая вызов закону гравитации, парила, сохраняя свою тяжеловесность — словно подушка, набитая парадоксами. Бёрджесс любил сводить воедино добро и зло. Он был из числа авторов, которыми я восхищался. Хотя я не мог воспроизвести его почерк, я понимал, что это в принципе достижимо. Он был талантом, хотя и не гением. И это стало еще одной причиной, по которой я внимательно его читал: я мог у него кое-чему научиться. Такие авторы вдохновляли меня — только не на подражание, а на самоосуществление, они внушали мне желание писать свое.

Бёрджесс жил за границей — скорее всего, из-за нежелания платить налоги, хотя время от времени отпускал реплики в духе Джойса насчет искусства и изгнания. Сэм Летфиш все активнее домогался моего общества, и половину его приглашений на ланч или выпивку в баре я принимал. Меня смущало, что я не отвечаю ему тем же. Летфиша это, напротив, совершенно не волновало. Ему даже скорее нравилось, что я как бы перед ним в долгу. Я все удивлялся, почему терплю его общество. Потом решил, что не иначе как меня завораживает его собирательство, его внимание к мелочам, терпение, жажда приобретать, а главное, что это все — свидетельство его богатства и власти.

Кстати, лишним подтверждением последнего обстоятельства служило то, что Летфиш коллекционировал вроде бы несущественные, но дорогостоящие предметы, имеющие отношение к жизни Бёрджесса, — именно в силу того, что они являлись раритетами. У Летфиша имелись: один из старых паспортов Бёрджесса, оловянная кружка из Кота-Бару, подаренная Бёрджессу султаном, кожаная сумка, принадлежавшая некогда Бёрджессу, бумажная салфетка, на которой он однажды набросал не слова, не рисунки, а ноты, англо-русский словарь с экслибрисом Бёрджесса, а также авиабилет "Нью-Йорк — Лондон" на его имя.

Летфиш не хвастался своими приобретениями.

— Я всегда покупаю эти безумные штуки, — говорил он.

Будь он коллекционером, и только, я, конечно, ни за что не стал бы с ним общаться, но он был еще и читателем. Летфиш прочитал все, что написал Бёрджесс. Читать для него было столь же важно, как и обладать. Он мог цитировать целые абзацы, дословно повторять диалоги. Он помнил по именам всех персонажей, мог сказать, что́ они ели, как одевались, как жили. Как-то мы с ним сидели в ресторанчике, где нас не торопились обслуживать, и Летфиш сказал.

— Я знаю, что сказал бы по этому поводу Виктор Крэбб.

По поводу бармена в одном из баров, где мы с ним оказались, он высказался так:

— Удивительно похож на Пола Хасси.

Это был еще один персонаж Бёрджесса.

Мне было приятно услышать от Летфиша, что книги Бёрджесса научили его чувствовать язык и привили вкус к географии. Россия в "Мёде для медведей", Англия в "Эндерби", Малайя в "Конце долгого дня".

— Скажите, как вам Африка в "Дьявольском государстве"? — однажды поинтересовался он у меня. — Вы ведь жили в Африке, верно?

— Это все придумано. Бёрджесс не хотел, чтобы на него подали в суд за клевету. Он перенес действие в Африку, хотя на самом деле это Бруней, — объяснил я.

— Вы можете не курить? — вдруг сказал Летфиш.

Я перестал пыхтеть трубкой, взял ее в ладонь, внутренне полыхая от необходимости подчиняться его капризам.

— О чем я говорил? — вдруг спросил меня Летфиш.

— Понятия не имею, — ответил я, уставясь на него в упор.

Летфиш посопел и сказал:

— Значит, нет такой страны — Дуния?

— По-малайски "дуния" означает "мир", — пояснил я. — И по-арабски, кажется, тоже.

Такие пустячки делали меня в глазах Летфиша эрудитом, и он начал меня ценить.

"Я сам маленький Бёрджесс", — сказал Летфиш, когда мы с ним только познакомились. Что он имел в виду? Может, он отождествлял себя с бёрджессовским антигероем, которого терроризировали женщины, который много пил, жаловался на здоровье, постоянно за все переплачивал и получал оскорбления? Мужчины у Бёрджесса испытывали хронический дискомфорт, они были начитанны, романтичны, и у них постоянно возникали проблемы с зубными протезами. Они чувствовали себя неуютно в городах, особенно американских, они боялись преступников — и особенно молодых, они много странствовали — и терпеть этого не могли. Они были людьми нравственными, порой даже очень,

хотя часто трусили перед лицом опасности. С ними вечно что-то случалось, они разорялись или становились инвалидами, но выживали. Они посмеивались над собой, и даже самые серые из них знали несколько языков.

Короче, в каждом из них сидел Энтони Бёрджесс.

Книги Бёрджесса стали университетами для Сэма Летфиша. Они облегчали ему адаптацию к Англии, а поскольку Бёрджесс — провинциал, католик, прозаик, заработавший свои литературные эполеты в колониях, — отлично описывал, как трудно жить в Лондоне и вообще как непросто быть англичанином, Летфиш видел в его прозе оправдание своих собственных мучений.

Во время одного из наших ланчей Летфиш — а он всегда был приглашающей стороной — осведомился, как мне живется в Лондоне. Я сказал, что я счастлив, — и не покривил душой. Потом уже я стал размышлять о том, что означает это счастье. Так, в лондонском метро я порой замечал прелестное женское личико и, разглядывая очевидное, изучая нос, глаза, волосы, кожу, губы, ноги прекрасной незнакомки, задавался вопросом: какие компоненты или их сочетание создают эту красоту?

Мое лондонское счастье состояло из большого кирпичного дома, тихой улицы в южном Лондоне, письменного стола перед викторианским окном, огромного платана возле дома. И главное, из моей семьи. Я жил не столько в Лондоне, сколько в этом самом доме. И был членом семьи. Работал, не покидая свой крепости. Город был там, за платаном, за оградой сада: крытые черепицей крыши, черные улицы, красные автобусы. Все, что попадало в поле моего зрения, было частным, личным, спокойным, омытым любовью и теплом, пахло цветами и хорошей едой. Мой Лондон, мой дом...

Книги Бёрджесса помогали Летфишу лучше оценить Англию. Они внушали ему чувство стиля, иначе говоря, подтверждали, что с его индивидуальным стилем все в порядке. Персонажи Бёрджесса были очень живые, как и сам их создатель. Но за поверхностью его прозы, где насмешка перетекала в любовь, ощущалась симпатия автора к Америке и американцам и неприятие Англии. Бёрджесс был из числа тех англичан, которые терпеть не могут классовых разграничений и чувствуют себя гораздо свободнее среди американцев, поскольку те снисходительны и не выносят категорических суждений; тем не менее, как ни странно, именно общаясь с американцами, он держался насмешливо — даже надменно.

Лексикон Летфиша изобиловал словечками Бёрджесса. Ну кто еще мог бы сказать: пролапс, пелагический или паралексия? Летфиш также правильно употреблял такие слова, как хабитус и лексема. Порой, правда, он увлекался и не к месту пускал в ход нечто вроде брахицефальный. Я пришел к выводу, что чтение Бёрджесса явно шло Летфишу на пользу, да и читая то, что Бёрджесс рецензировал, он заметно расширял свой кругозор. Теперь он лучше ориентировался в жизни Лондона, стал разговорчивее, веселей. Бёрджесс, неумолимый педагог (не случайно среди его героев так много учителей английского языка и литературы), оказался наставником и Летфиша.

Летфиш умолял меня организовать обед с участием нас троих — Бёрджесса, его и меня. Он давно уже приступал ко мне с этой идеей, но я, как уже говорил, и сам редко видел Бёрджесса в Лондоне. После его отъезда из Англии мы встречались считанные разы. Возникал он без

предварительного уведомления, поймать его было трудно. Как и многие писатели, Бёрджесс держался в тени и стремительно исчезал. Мне совершенно не хотелось с ним обедать. Меня вполне устраивало, что мы знакомы и что я остаюсь его читателем.

Примерно тогда же я перестал читать Алисон по вечерам то, что написал за день. Дети всю неделю проводили в интернате, и это внесло в нашу жизнь серьезные перемены. Мы оба работали гораздо больше и дольше, обедать могли когда угодно. Как-никак нас было теперь только двое. Когда-то вечера получались длинными и полными разных событий. Сначала садились обедать дети — и заканчивали уже после того, как успевали поесть мы. Я же читал Алисон те две страницы, которые получились за день. Теперь жизнь стала другой, более пустой. Алисон приходила с работы гораздо позже обычного, иногда мы обедали порознь, и время от времени кто-то — или Алисон, или я — засыпал в одиночестве. Хотя она по-прежнему просматривала законченную рукопись, я перестал читать ей вслух куски. У меня возникло ощущение, что из наших отношений ушло что-то очень важное, только не мог сказать, что именно.

Одиночество сделало меня более податливым к проявлениям гостеприимства. Я все чаще виделся с Летфишем, и при каждой встрече он неизменно напоминал, что непрочь пообедать с Бёрджессом. Я был готов это устроить. Я чувствовал себя должником Летфиша. Но, к сожалению, остановка была за самим Бёрджессом, который жил то в Италии, то в Лос-Анджелесе.

Время от времени я старался внушить Летфишу простую истину (что он пропускал мимо ушей): Бёрджесс мне не друг, но знакомый, с которым я впервые встретился в Сингапуре в 1969 году. Сейчас же был год 1981-й. В Англии у меня не было друзей, хотя знакомых хватало. Впрочем, у меня вообще не было друзей. То же самое любил говорить о себе Бёрджесс. Дружба — с умением любить, идти на жертвы, проявлять бесконечную готовность к откровенности — не для писателя. У моих знакомых-литераторов (взять того же Иэна Маспрата) тоже не было друзей.

Но тем не менее Сэм Летфиш, коллекционер, юрист, уменьшенная копия Бёрджесса, твердо вознамерился увидеть своего любимого писателя в неофициальной обстановке. Я пообещал ему это устроить. И вот однажды меня попросили выступить вместе с Бёрджессом в телепередаче, посвященной творчеству Грэма Грина по случаю выхода в свет его нового романа. Бёрджесс прилетел из Монако. Запись проходила днем на Би-би-си в Уайт-сити, и пока мы с Бёрджессом ждали ее начала в псевдобиблиотеке, созданной декораторами в студии, я спросил его:

— Как насчет обеда? У вас с Лианой вечер не занят?

Бёрджесс сказал, что лично он свободен, а Лиана осталась в Монако — оказалось, она сломала ногу в лодыжке, поскользнувшись на ступеньках отеля в Монте-Карло. Бёрджесс сказал, что все это самый настоящий кошмар, что он попытался потребовать компенсацию за понесенный ущерб, поскольку бедняжка утратила возможность работать, но они не только не получили денег, но еще и сами оказались жертвами происков адвоката, нанятого администрацией отеля.

— Приходите ко мне. Надо немного отвлечься, — сказал я.

— Это очень любезно с вашей стороны.

После записи я позвонил Летфишу.

— Извините, что все получилось так внезапно, но не хотели бы вы прийти ко мне сегодня вечером?

— Увы, — отозвался Летфиш. — У меня очень важная встреча. Клиент специально прилетел из Женевы. У него проблема с налогами.

— Какая жалость! Просто у меня будет Бёрджесс. Я понимаю, что безумие звонить вам так поздно, но...

Да, это был неплохой ход. Мне показалось, что телефонная трубка сейчас лопнет от разряда электричества. Она затрещала и только что не засветилась.

— Я буду, — сказал Летфиш.

2

В качестве хозяина дома, пригласившего на обед Бёрджесса и Летфиша, писателя и читателя, я испытывал тревогу. Взяв на себя роль брачного маклера, я, конечно, должен правильно все рассчитать. При том что обе стороны формально находятся в равном положении, один будет в основном говорить, а другой слушать. Меня особенно озадачивал чисто физический аспект проблемы — я всегда считал, что писатель и читатель ведут принципиально сепаратное существование. Это не просто двое взрослых мужчин, оказавшихся в одной комнате. Возможно, потому-то раньше я избегал подобных ситуаций. Это было проявлением не лени, но страха.

Из студии, где мы записывали программу о Грине, я позвонил Алисон. Это произошло через несколько минут после того, как Летфиш сказал, что придет. Алисон издала звук, обозначавший недовольство, нежелание, обиду. Это был взрыв эмоций, который телефонный кабель сделал еще более ощутимым, хотя внешне он проявился в коротком вздохе, в односложном восклицании, понятном только супругу, да и то после многих лет совместной жизни. Люди, давно скрепленные брачными узами, отлично расшифровывают подобные сигналы.

— В чем дело? — встревожился я, восприняв этот звук как серьезное возражение.

— Это обязательно нужно сделать сегодня?

— Да. — Объяснять, что к чему, пришлось бы долго, но месяцы и годы нашего с Летфишем знакомства неизбежно вели к этому моменту. — Хочешь, я расскажу, в чем дело?

— Не трудись понапрасну. Если тебе непременно нужно принять этих людей, давай валяй. Но от меня помощи не жди. У нас тут весь день сплошные неприятности. Я надеялась, что приду домой и отдохну. Лягу пораньше спать...

— Я и не просил тебя о помощи, — возразил я, и Алисон издала новый звук, похожий на вопль в зародыше.

— Прошу тебя, — произнес я, желая сказать этими двумя словами следующее: выручи меня, завтра ругайся сколько угодно, но сегодня проглоти свой гнев, пойди мне навстречу и не опозорь меня перед гостями.

— Сегодня же будний день!

— Я должен их принять.

— Ладно, — буркнула Алисон, и — хотя в интонации слышалось недовольство, согласие, вырванное силой, — я понял, что она сменила гнев на милость. Она уловила нотки отчаяния в моей реплике.

Я сказал спасибо и услышал:

— Почему ты так со мной обращаешься? — И не успел я ответить, как Алисон сказала: — Это *твой* обед! — и бросила трубку.

Слова эти были частью нашего давнего спора, реплики хорошо выученной роли. В супружеской жизни разговоры часто повторяются. Этот диалог стал происходить между нами особенно часто после того, как я прекратил читать Алисон написанное мной за день. То была очень важная часть нашего вечера: как писатель, читающий вслух то, что он написал, я возводил ее в ранг своего читателя.

Твой обед. Ну что ж, меня это вполне устраивало. Я сам заварил кашу и теперь должен ее расхлебать. И я понимал, что в какой-то момент, после обеда, возможно, когда я спрошу насчет кофе, Алисон встанет со словами "Ну, а теперь я поведу себя грубо и некультурно. Завтра мне рано вставать. Не буду даже извиняться. Спокойной ночи!"

Я еще раньше подозревал, что обед может обернуться провалом. Разговор с Алисон укрепил мои опасения.

Мы редко принимали гостей. Как я уже сказал, у меня не было друзей в Лондоне. Двери нашего лондонского дома были всегда закрыты. Никто не забредал к нам на огонек. В доме не бывали посторонние. После женитьбы я так ни с кем и не подружился. В силу особенностей моего характера, которые за прошедшие годы только усугубились, я рассматривал окружающих как угрозу своему миру и очень высоко ценил одиночество.

Обо всем этом я размышлял, готовя обед. Поскольку в своих малайских романах Бёрджесс одобрительно отзывался о карри, я решил подать креветки с карри плюс дал[1]. Возвращаясь домой после записи программы о Грине, я вышел на Клапам-джанкшн, купил два фунта креветок и пошел домой пешком под дождем.

Малайский колорит требовал кокосового молока. Я отыскал банку в ямайской бакалее на Норткот-роуд. Придя домой, я поставил вариться рис, почистил креветки, порезал лук, чеснок и зеленый перец и положил в кастрюлю тушиться, затем смешал карри с мукой и влил туда овощной бульон. Получилось с полгаллона соуса карри. Половина с добавкой кокосового молока пойдет на креветки, половина на дал. Ко второй половине соуса я добавил еще красный перец, два нарезанных помидора, а также кардамон и всыпал три банки турецкого гороха.

Пока кипел на медленном огне соус, я порезал огурец для райты[2], потом приготовил самбал[3] — гарнир, который должен напомнить Бёрджессу о его пребывании в Кота-Бару. Было около семи. Если мы сядем за стол в половине девятого, то соус как следует прокипит и загустеет. Еда была вполне простая, но сильный аромат добавлял изыска. Главное, не переварить креветки. Я собирался их бросить в соус незадолго до подачи на стол, чтобы они не скукожились и не сделались безвкусными и резиновыми.

Когда я закончил работать ножом, на кухне возникла Алисон.

Она налила себе вина и спросила:

— А что они будут пить?

— Есть вино и пиво, — ответил я.

— А вдруг они захотят виски?

— Придется обойтись вином.

— О боже!

— Тогда, может, ты сходишь за виски?

1. Блюдо из гороха, бобов или фасоли с помидорами, перцем и специями.
2. Салат из огурцов, помидоров, картофеля (или бананов) с йогуртом.
3. Острая приправа к блюдам из риса, фасоли и др.

— Это не мои гости, — произнесла Алисон с истерическими нотками в голосе, отчего мне сделалось не по себе.

— Да, ты права, — поспешил согласиться я. — Пойду схожу за бутылочкой.

— Боже, как я устала!

Она говорила как человек, ставший жертвой преследования. Да, похоже, она собиралась лечь спать пораньше и предоставить мне одному разбираться с гостями.

Дожди в Лондоне тогда были какими-то грязными, окутывали город запахом сажи и копоти. Я быстро прошел под моросящим дождиком к угловому магазинчику, известному как "пакистанский", хотя владели им индийцы из Гуджарата. Он работал 24 часа в сутки, и там продавали бакалейные товары, сигареты, газеты, спиртное, причем втридорога, а также давали напрокат телевизоры. Владельцы были молоды, имели толстого крикливого младенца и слюнявого пса. Новое поколение английских лавочников.

Я купил бутылку "скотча" и побрел назад. Проходя мимо пивной "Герб рыбника", я глянул в окно и с тоской подумал, что мог бы сидеть себе там, не зная заботы, и читать вечернюю газету, попивая "гиннесс".

У свой двери я застал Летфиша.

— Никто не открывает, — посетовал он, нервно жестикулируя.

— Наверно, жена не расслышала звонка, — промямлил я. *Это твои гости.* — Но хорошо хоть, что вы не заблудились.

— Мне раньше не случалось бывать в этой части Лондона, — отозвался он, и в его голосе мне послышался упрек.

Впуская его, я вспомнил, что завтра должны забирать мусор, и потому вынес баки.

— Как тут называют эти штуки? — поинтересовался гость.

— Коллекторы. Для мусора.

— Коллекторы? Ох уж эти англичане.

Лицо у меня было в каплях дождя, рубашка в пятнах от карри, волосы намокли. Я тяжело дышал.

Оказавшись в доме, Летфиш стал озираться по сторонам, потом двинулся к книжным полкам. Он провел быструю разведку, затем принялся хватать книги, открывал, смотрел на оборот титула, поглаживал суперобложку, словно устанавливая стоимость экземпляра.

— Виски? — осведомился я, сжимая под мышкой бутылку.

— Как насчет джина с тоником?

— Увы, отсутствует, — вздохнул я.

— Тогда красного вина... Каберне.

— Это можно.

Я налил ему божоле и подал с улыбкой, как бы предлагая заявить протест.

Летфиш явно нервничал. Он все спрашивал, где Бёрджесс. Алисон была наверху, и я не мог начать накрывать на стол. Летфиш никак не желал со мной расстаться.

Этикет требовал от гостя умения понять, что́ собирается делать хозяин, и либо предложить свою помощь, либо постараться не путаться под ногами. Предполагалось, что все гости знают эти правила. Но Летфиш так свыкся с тем, что принимает он, что оказался никудышным гостем и не понимал, в чем состоят обязанности последнего, не подозревал, сколь необходимо добиваться разумного сочетания противопо-

ложностей: стремления помочь и желания удовлетворить свои интересы. Гость обязан проявлять такт, великодушие, интуицию и готовность к содействию. Летфишу всего этого явно не хватало. Он слишком долго играл роль хозяина, отчего стал законченным эгоистом.

Когда наконец появилась Алисон, я представил их друг другу и, принеся необходимые извинения, отправился на кухню. Я бросил креветки в кипящий соус карри, светлый от добавки кокосового молока, и стал мешать ложкой, пока креветки не порозовели. У креветок такое нежное мясо, что стоит зазеваться, и они перевариваются и становятся резиновыми. Я снял кастрюлю с плиты и стал перекладывать креветки в другую посуду.

Когда я вернулся в гостиную, мой гость как заведенный перечислял непривычные американскому уху английские словечки. Видно, я своим "коллектором" выпустил джинна из бутылки, и Летфиш оседлал любимого конька. Эти слова казались ему жутко забавными. По затуманившемуся взору Алисон я понял, что еще немного, и она заявит, что хочет есть.

— Сэм собирает книги, — сообщил я Алисон в надежде сменить тему.

— Пол еще хуже, чем я, — ухмыльнулся Летфиш. — Значит, сегодня мы обедаем с Энтони Бёрджессом? Неплохо, неплохо...

— Я, честно говоря, не большая его поклонница, — сказала Алисон.

— Какие сильные слова! — воскликнул Летфиш.

— Я отлично понимаю силу слов, — отрезала Алисон. — И ничего особенного не сказала. Эти героини Бёрджесса! Они просто кошмарны.

— Я люблю сумасбродных женщин.

— Если бы они были только сумасбродными, их можно было бы пожалеть. Но они жутко противные, — отозвалась Алисон.

— Женщины бывают разные. Это в порядке вещей.

— Но те, кто хочет кое-что отрезать у мужчины, опасны.

— Может, я глуп, но мне книги Бёрджесса нравятся, — сообщил Летфиш.

— Вы меня не поняли, — сказала Алисон с улыбкой, какой пытаются успокоить простака. — Любите его на здоровье, но только не пытайтесь завербовать меня в его поклонницы.

— Я, наверное, реагирую на конечный результат.

— Что бы это могло означать?

— Реагировать в данном случае — это понимать.

— Я имела в виду "конечный результат".

— Вы мне напоминаете мою супругу, — вздохнул Летфиш.

Алисон снова улыбнулась, но улыбка свидетельствовала не о веселье, а об отвращении.

— Вы еще хуже, чем она, — добавил Летфиш.

Глядя на Летфиша в упор, с застывшей улыбкой, словно боясь не сдержаться и прокомментировать последнее замечание, Алисон произнесла:

— Пол говорит, вы юрист...

Этой репликой Алисон явно давала понять, что теряется в догадках, как такой болван в состоянии заниматься столь серьезным делом. Я же решил, что Летфиш говорит как несмышленый ребенок исключительно от волнения.

— Я, так сказать, солиситор, — сказал Летфиш. — Адвокат, хотя мало занимаюсь собственно адвокатской практикой. — Он сделал паузу, чтобы собеседники могли как-то на это отреагировать, но поскольку ника-

кой реакции не последовало, продолжил: — В основном имею дело с налогами, слиянием корпораций, недвижимостью, лицензированием. Теперь уже мы в наших странах не живем замкнутой жизнью. Мы часть единой налоговой и банковской системы.

Он все говорил, а мы с Алисон слушали и думали о своем. Она о том, как хорошо бы поскорее поесть, а я — что не дай бог Бёрджесс вообще не появится или сильно опоздает и креветки станут резиновыми оттого, что слишком долго пролежали в горячем соусе. Говоря о своей профессии, Летфиш делался крайне серьезен, но серьезность не добавляла его речи содержательности и лишь наводила скуку.

— Я хочу есть, — брякнула Алисон.

Но Летфиш ее не услышал. Он все твердил свое:

— Я помогаю налаживать работу совместных предприятий по добыче и переработке угля. Эта отрасль в Британии на подъеме, хотя про это пока мало кому известно.

— Могу догадаться почему, — на лице Алисон снова появилась улыбка.

На улице раздался грохот. Судя по всему, один из мусорных баков опрокинулся и с него слетела крышка. За этими внезапно нарушившими тишину звуками послышалось отчетливое, хотя и приглушенное ругательство.

— Это еще что такое? — испуганно спросил Летфиш.

— Похоже, пришел Бёрджесс.

Не успел Бёрджесс нажать кнопку звонка, как я открыл ему дверь. Он стоял и тер платком свой твидовый пиджак. Волосы его были всклокочены, лицо мокрое от дождя, галстук сполз, а на колене брючины виднелись пятно и дырка.

— Ушиб ногу, — сообщил Бёрджесс. Это была типичная черта его героев — и самого автора: с ними вечно что-то случалось. — Какой-то кретин поставил баки на дороге. Когда я жил в Англии, мусорщики сами выносили их из моего сада, а потом приносили назад пустыми.

— Такого больше не увидишь в Англии миссис Тэтчер, — сказал я. — Входите и выпейте виски.

— Отлично. — Бёрджесс вошел, все еще оттирая запачканный пиджак. — Чудный дом. Викторианские окна!.. Очень мило. А вот и привет из Малакки, — заметил он, проходя мимо резного диванчика. — Обязательно взгляну на эти акватинты при дневном освещении. Пол, у вас прекрасный дом! А мы живем в жуткой хибаре, хотя и пытаемся привести ее в порядок. — Он столкнулся лицом к лицу с Летфишем. — А вы кто будете?

Не успел я открыть рот, как Летфиш выпалил:

— Я, так сказать, из числа ваших фанов!

— Боже мой! Какое жуткое слово! — поморщился Бёрджесс. — Фан. Фанатик. Кошмар!

— Тогда, если угодно, я из числа ваших читателей.

— Уже лучше, — произнес Бёрджесс, жуя губами.

Он все еще не высох после дождя, не опомнился от падения, никак не мог сосредоточиться, и, наверное, его ослепил яркий свет в доме, куда он попал с темной зимней улицы. Он спотыкался, он заикался, и я подумал, что, похоже, он уже успел прилично выпить. Бёрджесс тем временем продолжал свое безостановочное движение, переходя из комнаты в комнату.

— Хелло! — воскликнул он, увидев Алисон, выходившую с кухни. —

Вы приготовили что-то очень вкусное! Обожаю карри. В Монте-Карло его днем с огнем не найти.

— Это Пол приготовил, — сообщила Алисон.

Летфиш путался у нас под ногами, стараясь не упустить возможности включиться в разговор.

— Это Сэм Летфиш, — сказал я, вручая Бёрджессу стакан с виски. — Вы познакомились давно, в Фестивал-холле.

— Летфиш? — переспросил Бёрджесс, прищуриваясь, будто ему задали вопрос с подковыркой. Он пожевал губами, словно произнося еще раз фамилию про себя. — Летфиш, вы часом не латыш?

— Он такой же псих, как и я, — отозвался Летфиш.

— Значит, Летфиш — не латыш, — сказал Бёрджесс. — И не малыш.

— Даже хуже!

— Он Простофиш, — бубнил Бёрджесс. — Или Литфиш — литературный фиш...

— Я еврей, — сказал Летфиш.

— Нееврею сразу все становится ясно, — кивнул Бёрджесс. — Но еврею это не говорит ровным счетом ничего.

Я пошел на кухню посмотреть, как там обед. Алисон стояла у стола и наливала себе еще вина.

— Я умираю с голоду, — сообщила она мне.

— Подожди нас немножко. Будет глупо, если ты начнешь есть одна.

— Пол, сколько у меня книг Бёрджесса? — услышал я голос Летфиша из гостиной.

— Приходи к нам, — шепнул я Алисон и обнял ее за плечи, но она отодвинулась, давая понять, что это ей неприятно. Я оставил ее дуться на кухне, а сам вернулся к гостям.

— Сэм — коллекционер, — пояснил я Бёрджессу. — У него неплохая библиотека.

— Для юриста неплохая, — согласился Летфиш. — Я уже устал заниматься тяжбами в связи с ликвидацией нерентабельных отраслей промышленности.

Бёрджесс навострил уши.

— Мне нравится сомон, — сказал вдруг Летфиш.

— Это сколько же будет в переводе на наличные? — осведомился Бёрджесс с ворчливым американским акцентом.

— У вас галстук цвета сомон, — сказал Летфиш.

Бёрджесс глотнул виски и облизал свои тонкие губы. Он показался мне каким-то хрупким, и на лице его появилось то самое отсутствующее выражение, которое я заметил еще тогда, в Сингапуре, и понял, что в каждом писателе сосуществуют два человека.

— Акротизм, — сказал Летфиш.

— Не будем о религии, — буркнул с тем же американским акцентом Бёрджесс.

— У меня акротический пульс, — сказал Летфиш. — А у вас паралексия.

— Как только начинаешь употреблять подобные слова, потому что они тебе нравятся, считай, все кончено, — сказал Бёрджесс. — Мир утрачивает к тебе интерес. Никому неохота читать такое. — Он устремил взгляд на Алисон, которая появилась из кухни с видом голодным и затравленным, и произнес: — Транспондер...

— Рис переварился, — доложила Алисон.

— Пока у нас не ввели контроль качества, — сказал Летфиш, — рынок транспондеров не позволял нам скучать без работы.

— Волны с ограниченной амплитудой, — сказал Бёрджесс.

Услышав это, Летфиш просиял:

— Однажды я занимался делом о нарушении копирайта... это было связано с электронным мониторингом — как раз на таких волнах. У нас возникли проблемы с доведением дела до суда, так как нарушитель проживал в Монте-Карло. Но он не знал, что у нас есть в княжестве партнер. По фамилии Кляйнфогель. В общем, он пошел на наши условия.

Бёрджесс поднес стакан к губам, но пить не стал.

— Нерентабельные отрасли промышленности, — произнес он.

— Ваши военные пользуются другими очками — с титановыми винтами в местах соединения...

— Ну, это уж вы забрались в область высоких технологий, — сказал Бёрджесс.

Алисон поставила на стол тарелки с карри и все прочее, относившееся к обеду.

— Может, сядем? — предложила она.

— Все эти высокие технологии — сплошное филистерство. А юриспруденция порождает ненависть к книгам, — произнес Бёрджесс.

— Мне нравятся ваши книги, — сказал Летфиш.

— Чушь, — буркнул Бёрджесс и, усаживаясь за стол, наклонился к Алисон со словами: — По-моему, все идет отлично!

Да, он был пьян. Я видел это по тому, как он садился, как учащенно дышал, как сидел. А Летфиш пристально смотрел на него со смесью осторожной почтительности и искреннего недоумения — невинность и недоверие.

Я испытал прилив благодарности к Алисон, когда она по собственному почину стала обносить гостей блюдами с рисом, а потом с далом и креветками с карри.

— Жаль, не приехала ваша жена, — сказала Алисон.

— У Линды перелом лодыжки, — пояснил Бёрджесс. — Поскользнулась на детской игрушке, которая валялась на мраморной лестнице одного из наших главных отелей. Полетела кубарем. Мы попытались подать в суд. Но администрация отеля пригрозила нам расправой.

— Я мог бы помочь? — поинтересовался Летфиш.

— Вы и так помогли достаточно, — произнес Бёрджесс с каким-то взвизгом, от которого Летфиш покривился.

Затем Бёрджесс совершенно утратил интерес к собравшимся, допил виски, зачерпнул ложкой резаные бананы, буркнул "самбал", после чего, глядя в пространство, стал нащупывать рукой бокал с вином. Пятерня его ползла по столу по-крабьи, пока пальцы не ухватились за ножку. Он поднял бокал, выпил, потом принялся за еду. Он не обратил внимания на то, что его последняя реплика повергла стол в молчание. Он так энергично работал челюстями, словно пища была невообразимо горячей, но виной тому были его плохо пригнанные зубные протезы.

— Значит, пописываете, — заговорил Бёрджесс сочным голосом, изображая кого-то, полного самомнения. — Поразительно, сколько писателей изучали медицину: Джойс, Моэм, Чехов, Уильям Карлос Уильямс, Вольтер — можно продолжать и продолжать. А кто сумеет назвать хотя бы одного писателя с юридическим образованием?

— Роберт Луис Стивенсон, — напомнил я.

— А! Просто он хотел сделать приятное отцу. А сам презирал юриспруденцию. Но кроме него, никого нет...

— Энтони Троллоп, кажется, тоже недурно разбирался в праве... Например, в своем романе "Юстас даймондс" он дает неплохое определение понятия "предмет личной собственности, наследуемой с недвижимостью".

Летфиш, благодарный моему заступничеству, выжидательно посмотрел на Бёрджесса.

— Троллоп был государственный служащий, работал в почтовом ведомстве. Ему полагалось разбираться в законах, поскольку он составлял почтовые декларации. Нет, вы назовите писателя, который был бы профессиональным юристом — как Чехов врачом. Никого и не вспомните.

Бёрджесс смотрел на Летфиша, двигал челюстями, пил вино. Интенсивная работа по пережевыванию пищи казалась проявлением агрессивности, и даже в его запачканных едой губах ощущалась угроза.

— По-моему, он просто над вами подшучивает, мистер Летфиш, — заметила Алисон.

Летфиш сидел, выпучив глаза, и молча глядел в тарелку. Его распирало от ярости и разочарования.

— Никто не возражает, если я закурю? — осведомился Бёрджесс.

Задавая этот вопрос, он щелкнул зажигалкой и выпустил над столом клуб сигарного дыма. Сэм Летфиш закрыл рот и опустил голову еще ниже, как человек, попавший в грозу.

— Я сварю кофе, — сказал я.

— А чая у вас нет? — спросил Бёрджесс. — Я бы выпил крепкого чая. Два пакетика. И два куска сахару. И еще капельку молока. То, что надо.

— Мне — ничего, — сказал Летфиш.

— Значит, пописываете, — снова произнес чужим голосом Бёрджесс и улыбнулся Летфишу жуткой улыбкой.

Алисон отодвинула стул и встала со словами:

— Не хочу портить компанию, но если я сейчас не лягу, то завтра просто не доберусь до работы. Спокойной ночи.

Она улыбнулась, но это мало походило на улыбку.

Мне вспомнилось: "Почему ты так со мной обращаешься?"

Бёрджесс и Летфиш пожелали ей спокойной ночи. Я пошел на кухню вскипятить воду. Я услышал, как Бёрджесс сказал:

— Значит, Кляйнфогель — ваш партнер в княжестве?

Они обменивались короткими, резкими, словно пощечины, репликами, пока не закипел чайник и я не заварил чай для Бёрджесса. Когда я вернулся в столовую, Летфиш говорил:

— Я думал, вы выше этого.

— Конечно выше, — отозвался Бёрджесс. — У меня хорошая высокая башня из слоновой кости. Я там сижу, привожу в порядок ногти и не обращаю внимания на иски, выдвинутые против моей персоны.

— Если бы Кляйнфогель знал о вашем положении в литературном мире, то не затеял бы тяжбы.

— Ерунда! "Значит, пописываете". Его точные слова. — Произнося это, Бёрджесс брызгал слюной.

— Кляйнфогель — великий мастер тяжбы́.

— Кляйнфогель — cauchemaresque...[1]

Я поставил перед Бёрджессом его чай.

1. Кошмарный (*франц.*).

— Все идет отлично, — заверил меня Бёрджесс, улыбнулся, подул на чай, поднес чашку к губам и начал всасывать жидкость, не спуская глаз с Летфиша. Потом отвинтил колпачок у бутылки с виски и налил в чашку.

— Какие же мои книги вам особенно нравятся? — обратился он к Летфишу.

— "Ничто, как солнце", — ответил Летфиш странно тонким голосом.

— Это салонный пустячок. Самый неудачный из моих романов. Слабенькая идея, украшенная елизаветинскими фразочками, которые я списал из старых словарей. Опять мимо, Макс.

— А еще первый —"Эндерби"?

— Показуха. Мишура.

— "Дьявольское государство"?

— Жертва потенциального судебного разбирательства. Адвокаты заставили меня переписать книгу.

— Пол говорил мне... — начал было Летфиш, но Бёрджесс его перебил.

— Вот видите? — Бёрджесс подмигнул мне, затем повернулся к Летфишу. — Значит, вы тут поторговываете, а чем? Военными железками и детскими игрушками? Да, невелика разница... А вы мне вот что лучше скажите: не скучаете ли вы тут по американской еде? Чизкейк "Сара Ли" и так далее, а?

Летфиш покачал головой из стороны в сторону, как человек, получивший плохие известия и горюющий по этому поводу.

— С удовольствием едал чизкейк, — продолжал Бёрджесс. — И не потерплю никаких возражений, Макс.

— Мое имя — Сэм. Это Кляйнфогеля зовут Макс.

— Скажите, почему у вас багровая шея? — вдруг спросил Бёрджесс.

Лицо Летфиша исказилось. У него сделался жалкий вид. Разговор его ранил, от сигарного дыма тошнило. Он мужался, но на лице отражались мучения, которые он был вынужден сносить. Это была гримаса, в которой главное место занимала даже не боль, но нечто более глубокое — печаль разочарования.

Бёрджесс сжал губы и стал что-то напевать, отчего его щеки заколыхались. Он отхлебнул своего алкогольного чая, а затем добавил в чашку еще виски.

— Ты не умеешь читать, Макс, — сказал он воинственно, выставив вперед челюсть, а я, глядя на его рот, думал только о его вставных зубах. Он затушил сигару, закурил новую и, выпустив клуб дыма, сощурился, словно замышляя атаку.

Летфиш поднял голову и, уже с трудом сдерживая гнев, произнес:

— Наверное, вы шутите.

Бёрджесс почмокал губами, вынул авторучку, провел на бумажной салфетке несколько параллельных линий, потом быстро, словно вешая на ветки яблоки или груши, набросал ряд нот.

— Ну, прошу. Что это?

— Это музыка, — ответил Летфиш, скрестив руки на груди.

— Такое скажет и четырехлетний малыш. Ну-ка, напойте.

— И не подумаю.

— Одних гнев делает грубыми, других — надменными, — изрек Бёрджесс. — Итак, вы не в состоянии прочитать простейшую фразу?

— Это что, экзамен?

— В известном смысле. Это Джезуальдо. Знаете такого?

— Не читал. Виноват, я не могу все прочесть.

— Это музыкант. Шестнадцатый век. Но по тональности очень современный. Это начало его мадригала: "Moro, lasso..."

Летфиш снова явно загоревал.

— Знание серьезной музыки необходимо для понимания моего творчества, Макс. — Бёрджесс стал напевать мелодию, и, хотя он был пьян, голос звучал четко, словно напоминая, что сам он в полном порядке.

— У меня есть все книги, которые вы написали, — произнес Летфиш, пока Бёрджесс напевал.

— Жаль, ты не умеешь читать, Макс.

Летфиш безнадежно улыбнулся и встал.

— Я не напрашивался на ваше хорошее отношение, — сказал он.

— Cauchemaresque, cauchemaresque, — пробормотал Бёрджесс, а я пошел проводить Летфиша до двери.

Напоследок Летфиш сказал мне:

— Мне всегда казалось, что в его прозе чего-то не хватает. Теперь я понял, в чем дело. Он очень грустный человек.

Но у него самого был безутешный вид. Бёрджесс заулыбался, когда я вернулся.

— Все прошло отлично, — сказал он и стал напевать очень сложную мелодию.

Больше я его не видел. И Летфиш перестал мне звонить.

А Алисон сказала:

— Больше так со мной не поступай.

Перевод Сергея Белова

Самый короткий день в году

1

Писатели частенько выбрасывают из книг главу-другую. Меня всегда завораживала бесстыдная нагота отца и дочери в скабрезной сцене, которую Эдит Уортон изъяла из романа "Беатрис Палмато" (смотри приложение к биографии Э. У., написанной профессором Льюисом). А описание сонной реки — глава, которую Марк Твен вычеркнул из "Гекльберри Финна"! А пронизанная эротикой неопределенность, которую Дж. Р. Экерли убрал из "Отпуска в Индии"! В сущности, таких примеров тысячи и тысячи. Мне в выброшенных отрывках мерещатся всякого рода откровения, но, возможно, авторы отказываются от них по совершенно иным причинам: какие-то куски оскорбляют общепринятые вкусы, другие кажутся надуманными, третьи — неуместными. А может, они попросту неудачны? Так или иначе, их публикация — дело времени, ибо писатель никогда не выбросит в корзину ни единой сколько-нибудь ценной бумажки. Какой бы странной или скандальной ни была якобы пропавшая глава, она неминуемо явится на свет божий, можете в этом не сомневаться.

Весной и летом 1982 года я путешествовал по побережью Британии. А потом, работая над "Королевством у моря", изредка возвращался в какое-либо приморское местечко, чтобы проверить достоверность факта или освежить впечатления. Несколько летних дней мы с Антоном провели в Саутуолде, на родине Оруэлла; Уилл катался со мной на вело-

сипеде и сверял названия всех деревушек острова Уайт. С наступлением осени курорты опустели; потом их оголили враз налетевшие шквальные ветры, а к концу ноября они почернели от проливных дождей. Море подступило к берегам, выдававшиеся в воду мысы и отмели сузились, а прибой рокотал все громче. Впрочем, это были лишь сезонные перемены, и пускай запахи и высота небес стали иными, в рукопись, которую я таскал за собой из городка в городок, никаких существенных изменений это не вносило.

За четыре дня до Рождества я оказался в Йоркшире: надо было обследовать отрезок побережья к северу от Уитби, который я пропустил весной. Тогда — следуя логике книги — я поехал из Мидлсборо по боковой ветке железной дороги. Теперь же отправился пешком. Вышел вроде бы достаточно рано, но сумеречные тени сгустились так быстро, что меня вдруг осенило: сегодня же самый короткий день в году.

В вечернем полумраке я поневоле замедлил шаг, а добравшись до Кетлнесса и залива Рансуик, понял, что не вижу не только дороги, но и собственных ног. Было то неопределенное время суток, которое наступает зимой сразу после заката, когда путь можно различить лишь по отблескам бледного неба в лужах на размытой тропе.

А потом меня накрыла кромешная тьма, но я ковылял по кочкам и колдобинам, пока вдали не мелькнул огонек. Так я попал в Черную Яму.

Самой деревни видно не было. Но я чувствовал, что где-то поблизости в темноте скрываются дома: веяло словно бы подгоревшим хлебом, а на самом деле — дымком из протопленных углем печек. В те времена угольный дым непременно висел над английскими деревушками в морозные ночи. Еще несколько сот ярдов я брел во мраке, явственно чуя запах жилья, а потом в лицо мне ударила волна сырого тумана. И когда огонек, на который я шел, снова вынырнул из мглы, полустертый свет его зарябил в этих зыбких волнах.

Типичный английский север. Я ожидал на Рождество снегопада, но морской туман оказался даже причудливей, а до костей пронизывал не хуже снега. Казалось, будто я лежу лицом вниз на мраморной плите, а полоса прибоя подступает все ближе, рокочет и вздымается внизу под скалами, изрыгая угрозы и проклятия. Мне вдруг привиделось, будто не то я оступился, не то край утеса осыпался у меня под ногой, и вот уже я лечу вниз вместе с обломками скал — в зияющую черноту Северного моря. Туман осел, уплотнился, заволок весь берег, заглушил все звуки, кроме стонов моря.

Я уже жалел, что отправился в дорогу. Англия — одна из тех благополучных, чересчур развитых стран, где путешественнику вроде меня никогда ничто не угрожает — если только специально не постараться. Однако мне повезло: я победил эту заведомо безопасную, почти ручную, кливлендскую "тропу", а точнее, дорогу, что вьется здесь вдоль самой кромки моря. Мне удалось наконец забрести в глушь, в кромешную тьму, причем с немалым риском для жизни. Кроме того, Рождество создавало еще одну своеобразную сложность: ведь любой праздник — поток, который подхватывает своих, а чужих оставляет на обочине. Возможно, мне даже не удастся выбраться из этих мест, покуда следующий поток не устремится в обратном направлении, покуда не наступят нормальные трудовые будни, но до этого еще не меньше недели, а то и с гаком: до первых рабочих дней января.

А Алисон, помнится, сказала: "Не вернешься до Рождества..."

Она нарочно не закончила фразу, предложив мне самому представить ужасные последствия такого поступка, поскольку — не без оснований — считала, что я подводил ее в жизни слишком часто.

Плавающий в тумане огонек высветил изгородь с перелазом. Я одолел ее и попал на узкую дорожку. Услышал скрип раскачивающейся на ветру вывески и тут же увидел саму харчевню. Называлась она "Скрещенные ключи". Деревенские домики тоже выступили из мрака, вернее, не домики, а слабый намек на жилье: волглые, с потеками стены, скособоченные окна. Грязный, промокший, я думал: не отогреться ли в "Ключах". В одном окошке торчала картонка с надписью: "Есть койки". Однако я колебался. Если здесь ходит автобус или кто-нибудь подкинет меня в город, я уеду немедленно. Вряд ли в Черной Яме обнаружится что-то более любопытное, чем я уже увидел. Местечко-то крохотное. Надо двигаться дальше, решил я про себя. Но — в камине "Скрещенных ключей" потрескивал огонь.

Людей я сперва не заметил. Только спутанные гирлянды елочных лампочек-светлячков да ленты серпантина. С балок вместе с конской упряжью свисали веночки из остролиста, на стене топорщился еще один большой круглый венок, а над дверью — пучок белой омелы. Поскольку вся эта зелень была еще живой, но на глазах умирала, праздничного настроения не прибавлялось. Потом я увидел людей: двоих мужчин за столом и женщину — на дальнем конце подковообразной стойки бара. Когда я вошел, они даже не шелохнулись. Вот я и отнесся к ним как к мебели. Впрочем, с какой стати им обращать на меня внимание? Их деревню пересекает натоптанный тракт, так что они наверняка перевидали на своем веку немало грязных, промокших путников. А я был именно таков: за две недели скрупулезной проверки фактов, да еще в тяжелых и нелепых походных ботинках, я совсем вымотался и отрастил бороду — мне надоело отражение собственного лица в гостиничных зеркалах.

Ну и какой, скажите на милость, собеседник может быть тоскливее небритого мужчины средних лет с потрепанным рюкзаком за плечами? От него так и веет влажным духом скупости и одержимости некой навязчивой идеей. За твой счет он, разумеется, выпьет, но вряд ли угостит тебя в ответ. Так что занимайся своим делом, старайся не встретиться с ним взглядом — и он скоро отправится восвояси. И никогда не вернется. И вообще, вдруг он лунатик? Или извращенец, похититель детей? С чего бы ему шататься тут в темноте под самое Рождество? Будь у него дом, там бы и сидел. Так, верно, думали обо мне — а то и почище. Короче, никто мне не кивнул и со мной не заговорил.

Значит, мне предстояло заговорить первым, только надо было дождаться подходящего момента. Тут над дверью звякнул колокольчик, и вошла старушка в шуршащем пластиковом плаще с насквозь промокшей собачонкой.

— Банку пива и чипсы с луком и сыром ну вот хороший мальчик, — произнесла она без пауз.

Это ли не вознаграждение?! Ради такой замечательной английской фразы можно месить грязь и не один день. Я тут же достал блокнот.

На звон колокольчика из задней комнаты вышел хозяин. Крякнув, он подал старушке то, что она просила, а деньги взял как-то странно, всеми пальцами сразу. Руки были грязные, а большие пальцы — огромные и оттопыренные; принято считать, что такие лапы бывают у душителей.

Чипсы старушка скормила песику и все время при этом приговаривала: поучала животное, как следует себя вести. Скормила и тут же ушла. Тут-то я и открыл рот.

— Никогда не видел, чтоб собака такое ела.

Едва я заговорил, мужчины встали из-за стола, натянули вязаные свитера, надвинули картузы и вышли вон.

— Ей, верно, трудно глотать чипсы.

— Да чего там трудного.

Это подал голос хозяин заведения, лысеющий круглоглазый мужик в чересчур просторном, не по размеру, свитере. Он искоса взглянул на меня и прибавил:

— Пойду чай допью.

И вышел.

— Они не любят обсуждать миссис Пикеринг, — послышался еще один голос. Говорила женщина с другого края стойки. — Они из-за вас ушли.

— Да, есть у меня такое свойство — выгонять людей, — ответил я и, услышав смешок, продолжил:— Может, пересядете ко мне? Здесь, у огня, намного теплее.

К моему удивлению, она села рядом.

— Никогда не знаю, можно ли сюда садиться, — проговорила она. — Тут обычно завсегдатаи. Наверно, из-за тумана не пришли.

У нее были красивые зубы, лучистые глаза, светлые, коротко стриженные волосы и присущая домоседам бледность. Я пристально изучал ее, болтая о чем попало — лишь бы подольше удержать собеседницу возле очага. Я ведь за целый день ни с кем и словом не перекинулся. Такие затяжные периоды молчания всегда словно бы превращали меня в невидимку; теперь, разговаривая с этой женщиной, я потихоньку обретал плоть. Более того, я преисполнялся надеждой.

— Разве с миссис Пикеринг связана какая-то тайна?

— Никакой тайны. Все всем прекрасно известно. — Под ее строгим взглядом я устыдился собственной болтливости. — Она убила своего жениха.

Я попытался представить лицо миссис Пикеринг. Напрягся. Припомнил печальную закутанную фигурку, ботиночки. Шуршащий плащ, шерстяные митенки, да еще фразу про банку пива, которую записал в блокнот. Но лица вспомнить не мог. Отчетливей всего мне виделся мокрый терьер: как он облизывался и, давясь, глотал картофельные чипсы.

— Люди часто производят обманчивое впечатление.

— С виду она очень мила, — отозвался я.

— А я все думаю про ее жениха. Деловой такой, нахрапистый. Как многие мужчины с сексуальными проблемами, страшно агрессивный и жестокий. Местные-то знали ему цену, знали, с чем ей приходится мириться. На его счет заблуждались только чужаки. Она убила его однажды ночью, кривым садовым ножом. Сам заслужил. Ее осудили условно — судья вынес самый легкий приговор. Но говорить о ней не любят. Считают, что ни скажешь — вроде как сплетня. Да так и есть. Ну а вы откуда?

Объяснение ее было одновременно и предупреждением. Я внял и ответил на вопрос. Сказал, что я из Уитби.

Она держалась так откровенно и дружелюбно, что хотелось избежать обычных выдумок про издательское предприятие, хотелось даже назвать ей мое настоящее, а не первое попавшееся имя. Я хотел рассказать, что написал черновой вариант книги о путешествии вдоль побе-

режья Британии и обхожу теперь места, в которые не попал в предыдущий раз.

— Кстати, меня зовут Эдвард Медфорд.

Вымышленное имя выпорхнуло само собой, вопреки моему желанию быть правдивым. До чего нелепо! Я чуть не расхохотался. Но тут же понял, что Эдвард Медфорд и есть мое имя: что бы я ни сказал — раз уж сказал, — и есть правда. Как с литературой: процесс написания слов превращает их в истину.

— Можно предложить вам что-нибудь выпить?

— Да, я бы с удовольствием выпила еще, — ответила она. — Я пью виски с лимоном. Дома спиртного не оказалось, вот и пришла: пытаюсь одолеть простуду.

Когда я вернулся со стаканами, она подбрасывала угли в огонь, вытаскивая их щипцами из корзины. Поблагодарив за виски, она сказала:

— Меня зовут Люси Хейвен.

По ее улыбке я понял, что она хочет что-то добавить.

— Люси? — ободряюще переспросил я.

— Сегодня у меня день рожденья. День святой Лючии. Лючия — Люси. Так меня и зовут.

— Поздравляю.

— Только я не святая. — Она тихонько засмеялась.

Ей было, вероятно, около сорока или чуть больше, и держалась она очень достойно. Улыбалась слегка устало, с коротким глубоким вдохом. Независимая, бесстрашная и какая-то отдельная — если не одинокая. Мне нравилась ее разумная, по погоде, одежда: крепкие башмаки, вязаный шарф и толстое пальто. Меня она не боялась. Самодостаточная, откровенная женщина. Чертовски привлекательная.

Поговорили о тумане, о крошащихся под ногами утесах, о "Скрещенных ключах", о том, сколько миль отсюда до железнодорожной станции в Солбурне. Потом я спросил:

— И чем же тут занимаются на досуге?

— Я слушаю по вечерам радио или завожу граммофон. Вяжу.

Эти старомодные слова были проникнуты безмерным одиночеством — едва ли я встречал такое где-то еще на британском побережье.

— Еще я читаю.

Я опечалился и даже не пытался продолжить беседу. Сидел, поглаживал бороду и почувствовал вдруг, что она смущена моим молчаньем.

— Конечно, тихая жизнь, однообразная. Но мне подходит. — Она наклонилась вперед и спросила: — Что означают буквы на вашем галстуке?

— Королевское географическое общество. Я всегда надеваю его в поход. Помогает блюсти нравственность.

Подцепив золотую эмблемку большим пальцем, я наклонился к Люси, чтобы она могла получше разглядеть буквы.

— Галстук — фаллический символ, — сказала она вдруг.

Мой галстук тут же опустился на прежнее место. *Галстук?*

— Это же очевидно, разве нет? — Она явно хотела, чтобы я высказался. — Я где-то читала, что галстуки вошли в моду только в шестнадцатом веке. Как раз когда устарели подкладные гульфики на панталонах.

Неужели такое можно произносить без улыбки? Но ее лицо не меняло выражения. Я же выпрямился, чтобы галстук не оттопыривался и не болтался. Даже разгладил его на рубашке.

— В таком случае, борода тоже, — отважился я, — фаллический символ.

— Ваша — да.

Бороду я отрастил впервые в жизни. И теперь казался себе похожим на бобра, во всяком случае, лицо стало круглым и толстым. Но услышав от Люси это потрясающее заявление, я почувствовал: вот она, победа, о которой я и не помышлял. Я-то никогда не хотел отращивать бороду, считал, что бороды в корне меняют личность, и мог привести тому много примеров. Однако Люси мою бороду явно одобряла.

— Некоторые пенисы тоже своего рода фаллосы, — произнес я.

— Вы ведь американец?

— Верно. Приехал сюда, чтобы затеряться.

— Самое место.

Мы выпили еще, потом еще и продолжали по-дружески болтать. Ее замечания были интересны и неожиданны. Ветер гулял по дымоходу и ворошил огонь в очаге. Ночь сгустилась, пасмурная и угрюмая, в харчевню так больше никто и не заглянул.

— Когда закрывается это заведение?

— В половине одиннадцатого. Но если мы уйдем раньше, хозяин, наверно, сразу закроет. Погода мерзкая.

— А если уйдем, то куда?

Она улыбнулась, внезапно и чудесно: лицо не просто поменяло выражение, на нем — в глазах, в изгибе губ — отразилась мысль о прекрасном.

— Мой дом совсем близко, — сказала она. — Можем еще выпить. Вы ведь так и не позволили мне вас угостить.

— Люси, сегодня же ваш день рожденья.

Интересно, как закончится этот вечер? Я думал об этом почти с самого начала. Ответа пока не знал, но у меня появилась надежда. Не просто надежда усталого путника на кров, тепло и добрую сказку. Я надеялся на большее. Люси мне очень нравилась, и я был благодарен ей за опеку.

Когда мы уходили, хозяин куда-то отлучился. Оно и к лучшему. Меня обуяла глупая, вороватая робость, точно мы с Люси задумали побег. Одновременно я стыдился, что ухожу украдкой.

— Понавешали сорняков, — сказала она, проходя в дверь под пучком омелы.

Она вывела меня на узкую дорогу; туман клубился и оседал в мутноватом свете, который лился из украшенных рождественскими гирляндами окошек "Ключей". Потом мы свернули на проселок, похожий на глубокую траншею. Несмотря на темноту, Люси шла уверенно; я же следовал за звуком ее шагов: под ногами похрустывала мокрая галька. Невидимая деревушка осталась позади. Мы шли к утесам. Снизу, из глубоких провалов меж скал, доносилось пенное уханье волн.

— Мне всегда кажется, будто там люди, — сказала она, вслушиваясь в жалобы волн.

— Вероятно, очень замерзшие, — заметил я.

— Очень мертвые, — отозвалась она и чуть погодя добавила: — Уже совсем близко.

Шаги ее мгновенно смолкли: теперь под ногами была не галька, а раскисшая от воды тропинка.

Замечание о мертвых людях меня немало озадачило, я все пытался угнаться за сменой ее настроений.

— Вот и пришли.

В трех-четырех оконцах тлел размытый туманом свет; благодаря ему я разглядел контуры домика, косую низкую крышу, кривоватые стены. Дыхание моря слышалось здесь явственно: волны бились о скалы прямо под нами, изнемогая от муки и тоски.

Дом стоял уединенно, совсем на отшибе. Я, пожалуй, побоялся бы жить здесь один. Но прийти сюда вдвоем с Люси Хейвен — дело совсем иное, уединенности дома это сообщало особую, волнующую прелесть. Мне вот-вот приоткроется чужая жизнь, и я войду. В этом одна из главных радостей путешественника: заглянуть, окунуться и двинуться дальше — словно на миг ступить из темноты в лужицу света.

— Я никогда не гашу электричество, — сказала Люси, отпирая дверь. — Терпеть не могу возвращаться в темный дом.

Пока мы шли сюда из "Скрещенных ключей", я забавлялся выдумкой, будто Люси Хейвен — ведьма или убийца. Мне виделось что-то зловещее и в истории миссис Пикеринг, и в случайном знакомстве с Люси. *Она убила своего мужа, люди часто производят обманчивое впечатление*, а потом внезапное приглашение в домик на скалах и эта реплика: *Очень мертвые люди.*

Однако внутри зловещая таинственность рассеялась. В чистеньком, ухоженном доме стоял дух свежевыпеченного хлеба, опрятных кошек и цветов на окнах. Запахи эти от тепла стали острее, благоуханнее, само же тепло расслабляло, располагало к покою. Окажись в домике холодно, я бы насторожился. Но здесь было лишь сумрачно, горели только торшеры возле окон; я различил горшки с вьющимися растениями, корзинку с фруктами на выскобленном сосновом столе; на диване у камина спала кошка, торопливо тикали часы. Вдоль одной стены тянулись стеллажи с книгами, на другой висели какие-то картинки. Но они были в тени — не разглядеть. Да я и не хотел разглядывать, не хотел, чтобы света было больше, мне нравился огонь в камине, тусклый свет торшеров, глубокий мягкий диван, ворсистый ковер.

— Я вяжу джемпер, — сказала Люси. Наверно, подумала, что я рассматриваю вязальные принадлежности, лежавшие на высоком табурете, который одновременно служил лестницей: доставать книги. — Собиралась к Рождеству закончить, но, видно, не успею, Рождество-то в субботу.

— Кому-нибудь в подарок? Джемпер...

— Да. — Она ответила очень серьезно, с каким-то напором. — В Африку. Я вроде крестной матери для одной девочки в Лесото. То есть теперь-то она совсем большая. Я много вяжу для нее и отсылаю. В Африке бывает иногда очень холодно.

Она налила мне белого вина, мы подняли бокалы.

— С днем рождения, — произнес я.

Она нахмурилась и сказала:

— Счастливого Рождества.

Я уселся на диван, оставив для нее местечко рядом, но она села на ковер, ближе к огню. Кошка тут же перебралась к ней; Люси устроила ее у себя на коленях и принялась гладить.

— Она называет меня "мамочкой", — сказала Люси и улыбнулась. Увы, не мне. — Она уже пятиклассница.

Мы продолжали болтать: о деятельности миссионеров в Африке, о погоде в Йоркшире, о радостях, которые привносит в жизнь радио, о вкусе травяного чая, но я неотступно думал об одном: как же сильно мне

хочется заняться с ней любовью. Я мог бы для начала пересесть к ней на ковер, но это было бы слишком явно. Мы беседовали, она подливала мне вина, и голова моя с каждой минутой все больше кружилась от желания. Время шло; я чутко ждал своего часа.

— Похоже, эта глупая кошка с кем-то повздорила. Ухо порвано.

— Ну-ка, глянем. — Я тут же очутился на ковре рядом с ней.

Порванное ухо занимало нас некоторое время; у огня лицо мое разгорелось, от выпитого вина клонило в сон. Осоловев окончательно и чувствуя, что вот-вот упаду, я положил руку ей на плечо, сжал, привлек к себе и потянулся поцеловать.

Она выгнула спину и напряглась, точно я воткнул в ее тело острие копья.

— Что вы делаете? — В голосе — холодное презрение.

Я не знал, что сказать.

— Вы что же, возомнили, будто я тут же улягусь с вами в постель?

Она сказала это с такой издевкой, что я вскочил прежде, чем она закончила фразу. Было жутко стыдно. Я пятился, неловко спотыкался, словно меня выкинули из постели. *Нет, конечно нет, у меня и в мыслях не было, господи, и час уже такой поздний!*

— Мне пора. Где тут мой рюкзак?

Она щелкнула выключателем, прибавила света; я пошел к двери, мечтая смыться как можно скорее. При ярком свете дом выглядел менее дружелюбно; он оказался тесным и захламленным. Зато видны стали книги на полках. Надевая рюкзак, я разглядывал корешки и — поскольку терять было уже нечего — исполнил снедавшее меня злобное желание.

— Вы его читали? — спросил я. И остановился у полки, ожидая ответа.

— Пола Теру? — уточнила она и просияла. — Еще бы. Я его обожаю. Он потрясающий.

2

Я помедлил у двери, улыбнулся Люси Хейвен, погладил бороду. Она же не знает, кто я на самом деле! Она оттолкнула мужчину по имени Эдвард Медфорд. Но Пол Теру? "Он потрясающий!" Смешно. Конечно же мне захотелось остаться. И захотелось сообщить ей мое настоящее имя.

— Вам вовсе не обязательно бежать сломя голову, — проговорила она.

Звучит гостеприимно, но произносится для приличия. На самом деле мне следует убраться побыстрее.

— Я, должно быть, вас обидела.

— Ничуть, — уверил я ее горячо и искренне. Меня так и подмывало подразнить ее еще немного, а потом спросить: "А знаете, кто я на самом деле?"

— Я имею в виду, что я уязвила вашу мужскую гордость.

Ответ вертелся на языке, но я сдержался — с немалым, хотя, надеюсь, незаметным трудом.

— По-моему, вы меня неправильно поняли, — добавила она.

Хорошенькая незамужняя женщина приглашает подвыпившего незнакомого мужчину в свой одинокий домик, чтобы провести вместе самую длинную ночь в году, приглашает распить с ней бутылку вина по случаю ее дня рождения — чего уж тут не понять? Что это, если не приглашение к сексу, бесшабашное и совершенно недвусмысленное?

Или я все-таки неверно трактовал ее поведение и поспешил с выводами? Поэтому она и говорит теперь об уязвленной мужской гордости? Она-то лишь проявила участие к одинокому путнику. Неужели не знает, что в Англии, как, впрочем, и во многих других частях света, слова "Не хотите ли зайти ко мне выпить" говорят о жажде вполне определенного толка?

— Останьтесь, побудьте еще, — сказала она. — Надо хотя бы допить.

Да, я вскочил так резво, что допить действительно не успел. Она протянула мне бокал. Я тут же сбросил рюкзак, всем своим видом демонстрируя, что охотно задержусь.

— У вас, наверно, создалось обо мне ложное впечатление, — сказала она. — Когда живешь одна, отвыкаешь от людей. Сама того не зная, рассылаешь вокруг самые противоречивые сигналы. Деревенские вообще думают, что я ненормальная. И, уверена, сплетничают у меня за спиной: "И чем она там одна занимается?"

— И чем же?

— Слушаю радио и граммофон, — затянула она знакомую песню. — У меня много книг. — Она обвела рукой полки, где тесными рядами стояло не меньше тысячи томов в мягких обложках.

Она прошла обратно к камину. Я остался где был, возле полки с собственными книгами.

Она подбросила в камин несколько кусков угля, подтолкнула их щипцами ближе к огню. В этом была определенность: пусть сгорят дотла, и побыстрее; сгорят и погаснут; тогда он уйдет. Она не хочет выставлять меня за дверь, но всячески намекает, что гостеприимство ее формально, вроде филантропических порывов, заставляющих ее посылать в Африку шерстяные вещи. В ней нет бесшабашности, а приглашение в дом — лишь робкая попытка доброты. Остальное я просто придумал.

Но она все же заслуживает правды. Надо сказать ей мое настоящее имя.

Я бы и сказал, не испытывай она такой неприязни к Эдварду Медфорду. И дело было не только в моей уязвленной мужской гордости — что за идиотское выражение! — просто я ей не очень-то нравился, я сам, моя внешняя оболочка. Свалился вдруг ей на голову, этакий невежда-американец. Даже не весельчак — как положено путешественнику. Просто нескладный дурень.

Поэтому я и удержался, не выпалил мое истинное имя. И был теперь даже рад, что соврал при знакомстве. Экое выдумал имячко: Эдвард Медфорд! Что ж, пускай издевается, а его на самом деле и нету! *У этих американцев такие странные имена...* Чушь!

— Знаете, там, в "Ключах", вам не следовало приглашать меня в гости.

— Вы выглядели таким потерянным. К тому же канун Рождества.

— Значит, я — ваша рождественская благотворительная акция?

— Еще у меня день рождения. Может, это был маленький подарок самой себе?

— Так все-таки что? Решите наконец.

— Вы сердитесь.

Мне показалось — возможно, без всяких на то оснований, — что она говорит со мной свысока. Видно, жало отказа засело очень глубоко, один этот дешевый театральный наигрыш чего стоил: *Вы что же, возомнили, будто я тут же улягусь с вами в постель?* Но самое ужасное, что рядом с ней я был не самим собой, а просто грязным путником, случайно забредшим в эту Черную Яму.

— Я не сержусь. И ценю, что вы меня приютили. — Заметив, какое впечатление произвели мои слова, я тут же добавил: — Не беспокойтесь, скоро уйду. — Она промолчала. — Мне-то, откровенно говоря, показалось, что вам хочется с кем-то пообщаться.

— Решили, что я подыхаю от одиночества? — Она тихонько засмеялась. — Забавно.

— Вам что же, никогда не бывает одиноко?

— Мне некогда. Я страшно занята! — И словно в объяснение выпалила одно лишь слово: — Рождество!

— Вы были замужем?

— Нет, — резко ответила она.

— А помолв...

— Вопросики! — оборвала она меня и отвернулась. — У меня был когда-то жених. Умер, к несчастью.

— На свете немало хороших мужчин, — произнес я как бы в утешение.

Она оскорбилась, напряглась, точь-в-точь как от моего давешнего прикосновения.

— Я не воспринимала его как одного из многих мужчин.

Я промолчал — из уважения к памяти этого неизвестного мне человека.

— Несколько лет назад я встречалась с одним... — Она говорила как-то неуверенно. "Встречалась" означает, что между ними было все, подумал я. — Только он уехал.

Слова сами по себе печальные, но произнесла она их без горечи или сожаления, лишь чуть задумчиво. Это меня и привлекло в ней: кураж и внутренняя свобода; и еще я вообразил, будто она не случайно выбрала именно меня. Что ж, зато теперь все прояснилось. Ей просто вздумалось поболтать. Отлично, буду болтать.

— Вы, должно быть, много читаете?

— А вы полагаете это странным?

Я разозлился. С чего вдруг я "полагаю это странным"? Напротив, я безмерно счастлив. Но так уж она самоутверждалась, ничего не поделаешь.

— Не только вам, многим кажется это странным. Люди не понимают, что я нахожу в той или иной книге, в авторе. А я не могу объяснить... Это такое чувство... полет воображения... Буйство фантазии. — Она снисходительно улыбнулась мне со своих интеллектуальных высот. — Взгляните на это иначе. Вы ходите в походы, а я путешествую по книгам. Новые тропы, новые сцены, новые люди. Вы странствуете, а я читаю. Это — как глоток свежего воздуха.

Продолжая разыгрывать туриста-простака, я задал невинный вопрос.

— Может, порекомендуете мне что-то из этих книг?

— Из этих — любую. Я храню только те книги, которые стоит перечитывать. От остальных избавляюсь.

— Значит, все ваши книги равноценны? — Я обвел рукой полки. — И среди них нет любимых?

Какое-то садистское чувство во мне требовало, чтобы она произнесла мое имя: лишь тогда наши отношения, возможно, сдвинутся с мертвой точки.

— Я люблю читать о далеких странах, — сказала она.

— Что именно? Это? — Мои пальцы задержались на "Комарином берегу", "Большом железнодорожном базаре" и других книгах автора, стоявшего между Теккереем и Томасом.

— Все, что питает мои фантазии.

— Какие же у вас фантазии? Расскажите...

— Они в основном связаны с путешествиями. Я мечтаю о солнечных странах и голубых небесах. Стейнбек... Какие чудесные городки он описывает! Монтерей, Фресно, Пасифик-Гров — одни названия чего стоят. Фруктовые сады. Читаю "апельсиновая роща" — и вздыхаю. Представляю, как солнце освещает ровные ряды деревьев, опаляет дороги и крыши. Веселые домики, пятна тени под деревьями, виноградники. Еще я мечтаю о Мексике. Там очень жарко и сухо и ничем не пахнет. Вам известно, что в пустыне нет запахов? Ни гнили, ни прели: все высыхает, засушивается, как заложенный в книгу прекрасный цветок. Маленькие городки в пыли бесконечного лета...

Она описывала то, о чем отродясь не ведали в Черной Яме, где декабрьский ветер завывал под стрехой и бился в окна, а лохматое море, в котором ей мстились бормочущие духи умерших, выплескивало холодную пену на твердые каменные уступы.

Люси Хейвен все говорила, теперь о городках в центре Америки: свежий воздух, сытная еда, дружелюбные люди и — жаркое солнце. Ее уносило то под солнце Африки, то в бунгало в Малайзии, то в Китай. Фантазии ее оказались непритязательны и тем странны: в них не было ни намека на роскошь. Она не мечтала о дорогом или экстравагантном — ни о пятизвездочных отелях, ни о блюдах для гурманов, ни о носилках под балдахином.

— Представьте, мы едем на пикник, — продолжала она. — Сидим на солнышке на берегу речки, трава зеленая-презеленая, еды вдоволь — я наделала кучу бутербродов, но всех уже клонит в сон, и тут кто-то говорит: "Давайте завтра приедем сюда снова!"

Мне вдруг тоже все представилось очень живо: мы вместе, Люси Хейвен и я, в Калифорнии или Мексике набиваем корзинку для пикника и отправляемся в путь под голубым небом. Безмерная простота этой картины пронзила меня будто током. Все возможно, более того — все легко осуществимо. Она даже не знает, насколько легко. Но я призна́юсь. Я столько раз покупал билеты, перебывал в стольких местах, но повсюду — один, и мне всегда было неуютно, и, уезжая, я загадывал: когда-нибудь вернусь сюда не один и стану счастливым.

Люси встала с дивана. Я улыбнулся ей и приготовился изложить все, что было у меня на уме; мне не терпелось увидеть ее изумление.

Но не успел. Она тоже улыбнулась — с видимым усилием — и процедила:

— Туристские ботинки.

Мы оба посмотрели на мои ноги.

— В желобки набивается грязь, потом, в доме, она высыхает и осыпается. Видите?

Я топтался на зеленом квадрате ковра, а вокруг меня, точно маленькие шоколадки, темнели аккуратные комочки засохшей глины.

— Мне, право, очень стыдно. — Я поднял одну ногу и стоял теперь, с трудом удерживая равновесие. — Натащил вам столько грязи.

— Пожалуйста, не двигайтесь, будет только хуже.

— Может, снять обувь вовсе?

— Не знаю. — Она расстроилась до отчаянья и смотрела на ковер с неподдельной болью. — Я сама его выткала. На ручном ткацком станке. Училась в Йорке на курсах. Это такое кропотливое дело. Рисунок сейчас виден нечетко, но в основе его лежит кашмирский узор. Виноградные лозы и лотосы.

— Опороченные грязью лотосы.

— Боюсь, что да.

Голос упавший, печальный. Она мечтает, чтобы я вышел вон: за дверь и дальше, дальше — прочь из ее жизни. Она даже не спросила, где я собираюсь ночевать. А ночевать-то негде! Но она всячески старается показать, что здесь мне места нет. Я выпил все вино, задал слишком много вопросов и заляпал грязью ковры ручной работы.

Жизнь людей, привыкших обитать в одиночестве, подчинена церемонным ритуалам и строгим правилам. Я нарушил множество правил. И она хочет, чтобы я ушел. И жалеет, что вообще со мной познакомилась.

В ответ во мне взыграло задорное упрямство. Я одарил ее улыбкой. Наклонился, расшнуровал один грязный ботинок, потом второй, выпростал ноги и, поглаживая бороду, прошелся по комнате, выдерживая паузу. Потом вернулся к полкам и спросил:

— Но что вы все-таки о нем думаете?

— О Дилане Томасе?

— Нет. — Я никак не мог произнести вслух собственное имя. Казалось, скажу — и сразу выдам себя с головой. Буднично, как бы между прочим, я постучал по корешкам костяшками пальцев. — О нем.

— О Поле Теру?

Я сгреб бороду в горсть, чтобы склонить голову и укрыться от взгляда Люси.

— Я читала практически все его вещи, всё, что выходило в мягком переплете. Романы, рассказы, путевые заметки. Как прочла "Большой железнодорожный базар", так пропала. Вроде бы путевые заметки, но необычные, с секретом. Он весь в этой книге, и под конец кажется, будто знаешь его очень хорошо. А как людей описывает! Мужчины такие живые, смешные. А женщины, как на подбор, ужасны. Ой, у вас же носки совсем мокрые! Смотрите, на полу следы остаются.

Пол был каменный, и ноги мои так закоченели, что пальцы загнулись вверх, как носы турецких тапочек. Ей же и в голову не приходит спросить, удобно ли мне. Даже сесть не предлагает. Болтает об этом потрясающем писателе, который так живо описывает людей.

— Они и до завтра не высохнут. — Она все смотрела на мои следы на каменных плитках — теперь уже не с раздражением, а с отвращением. — Ненавижу ноги. — Она поморщилась. — Жители Таиланда абсолютно правы. В ногах есть что-то тошнотворное. Если на тайца указать ногой, он и убить может. Это настоящее оскорбление.

— Вы шутите? Я не знал! — воскликнул я. Надо записать в блокнот при первой же возможности.

— Я прочитала об этом у Теру.

— Вы уверены? — Я-то был уверен, что нет.

— Не выношу такие вопросы и никогда на них не отвечаю. — Она все хмурилась, глядя на мои ноги.

И хотя говорила она о ногах вообще, сейчас ее не устраивали именно мои ноги, и она этого ничуть не скрывала.

За окном висела предрождественская ночь, с моря наволокло туману, и берег лежал под его густой пеленой; я же был здесь абсолютно чужим и ненужным. Если б Люси меня обогрела, приветила, выказала ко мне хоть какой-то интерес, я поступил бы очень просто. Открыл ей свое имя и — ушел. А выкажи она неприязнь, сделал бы то же самое, хоть и по иной причине. Но я был ей безразличен. И поскольку теперь я твердо решил свое имя скрыть — иначе потом выйдет совсем неловко, — я спросил про этого автора, чьи книжки она так самозабвенно любит. Что же он из себя представляет?

Вместо ответа, она сказала:

— Был такой таинственный писатель — Б. Травен.

Она говорила снисходительно, снова и снова ставя меня на место: я турист-простофиля, а она — искушенная читательница редких книг.

— Никто не знал, кто на самом деле этот Травен. Вы, возможно, видели фильм "Клад Сьерра-Мадре". Он — автор книги, на основе которой сделан этот фильм, и еще многих других. Но никто, положа руку на сердце, не мог сказать, что когда-либо встречал этого человека. Он скрывался от публики, причем весьма ловко.

— Да, любопытно. А фильм я, кажется, смотрел по телевизору.

— Я же знала Травена очень хорошо, — продолжала она, не обращая на меня внимания. — Потому что прочла все его книги. А между строк прочитала, каков он с виду, откуда родом, что ест, как одевается, знала его привычки, его точку зрения по многим вопросам. — Она взглянула на меня в упор. — Я знала цвет его глаз. В книгах есть все.

Она самодовольно усмехнулась, а потом вдруг подмигнула мне, несчастному невежде: где уж мне, бедному, понять тонкую логику ее мысли...

— И я оказалась права, — продолжала она. — Несколько лет назад о Травене издали книгу. И там было все, как я предсказывала, точь-в-точь. И глаза у него лазурно-голубые.

— И вы так же вычислили и этого парня?

— Пола Теру? Да. Я знаю его как облупленного.

— Значит, он потрясающий, очень сексуальный, очень...

Она вспыхнула:

— Вы издеваетесь?

Ну, разумеется, я издевался. Оттого что нервничал, почти паниковал. Но издевался-то я больше над собой, чем над ней. И ужасно хотел ее прервать.

— Мне он представляется высоким, довольно робким... Мягким... — Она улыбнулась, отвела глаза. — И смешным. Нет, он не шутник, а сам по себе забавный, чудаковатый человек. И немного несчастный. Иначе зачем бы ему все время бродить по миру? Довольные жизнью люди сидят дома.

— Скажу вам из опыта: путешественники по большей части оптимисты.

— Оптимисты тоже бывают несчастны.

Тут уж возразить было нечего.

— Еще у него не очень удачный брак.

Возмущению моему не было предела.

— Вы и это знаете? — спросил я резко.

— Конечно. Книги выдают все. Сам он об этом, возможно, и не подозревает. — Она смотрела мимо меня: на книги этого замечательного американского писателя, стоявшие рядком на третьей полке. — Мне бы очень хотелось с ним познакомиться.

Я снова погладил бороду, на этот раз — чтобы унять дрожь в руках.

— Ну, познакомитесь. И что дальше?

— Мы бы потрясающе провели время, — ответила она вызывающе. — Я могла бы сделать его очень счастливым.

Она снова взглянула на мои ноги в мокрых носках, потом посмотрела мне в лицо с откровенной ненавистью. В огромных темно-карих глазах ее горел яркий, холодный огонь вражды. Глаза говорили: убирайся из моего дома!

Я захотел уйти. Направился к двери. Люси уступила мне дорогу, отошла подальше, как от прокаженного. Но двигалась она неспешно, задумчиво. Потом заговорила, не со мной даже, а в пространство, словно продолжая начатую мысль.

— Но, разумеется, мне с ним никогда не встретиться. И Калифорнии мне не видать, и Африки тоже. Мне не учиться в медицинском училище, и в теннис не играть, и верхом не ездить. Бридж так и останется для меня тайной за семью печатями. Королева не посетит мою свадьбу, а если я и выйду замуж, супруг станет скорее компаньоном, чем возлюбленным, и у меня никогда не будет детей. Мне не получить приза на конкурсе лучших хозяек года. У меня не будет компьютера, мотоцикла, "роллс-ройса". Я вряд ли овладею иностранным языком. Ничего не открою, не изобрету. Ничто в мире не назовут в мою честь.

Она смотрела мне прямо в глаза. Я тем временем надел ботинки. Теперь я ни за что не скажу ей свое имя. Ее слова были продиктованы не просто дурным настроением, а уверенностью в собственной обреченности — одной из самых мрачных разновидностей типичного английского пессимизма: "Ничего великого или хорошего со мной никогда не случится". И обреченность эта сковала ее, точно паралич.

В ее голосе такая грусть. И если она узнает, кто я на самом деле, загрустит еще больше. Признайся я раньше, в начале вечера, еще куда ни шло, теперь же слишком поздно. Сам я тоже приуныл: ведь меня по-прежнему влечет к ней, она же мною ни чуточки не интересуется.

— С другой стороны, ничего ужасного мне тоже не грозит, — продолжала она. — Я уже попадала в разные передряги и отделывалась сравнительно легко. Так что катастрофы мне нипочем. Уж не знаю, зачем я вам все это рассказываю. Но я выживу. Вот так. По правде говоря, я вполне счастлива.

— Вы были ко мне очень добры.

— Нет, не была. — Она засмеялась беспечно и слегка истерически. — Я вас измучила и разочаровала. — Она подняла и всучила мне рюкзак. — Впрочем, вы ничегошеньки обо мне не знаете.

На лице ее отразилась какая-то неприятная мысль, в глазах мелькнуло безумие, но она тут же отвернулась.

Мне снова захотелось сказать ей, как меня зовут, но — после стольких часов, стольких слов — поверит ли она теперь? Да и какая разница: поверит — не поверит? Признание уже не принесет мне победы, а прозвучит скорее как насмешка.

— Лучше уходите. — В ее голосе слышалась угроза.

Я окунулся в белесую тьму; туман ослепил меня и мгновенно вымочил до нитки. Медленно, осторожно я шел по чавкающей под ногами тропе, а внизу, совсем близко, бились об утес волны. Я смог перевести дух, лишь выбравшись на дорогу, что вела к тусклым огням и угольному дымку Черной Ямы.

Дверь "Скрещенных ключей" была заперта, но я забарабанил в нее и быстро разбудил хозяина. *А-а, комнату? Имеется. Пять фунтов, деньги вперед, и хороший завтрак поутру – хозяйка, жена моя, подаст в столовой. До Солсбери? Рукой подать, а оттуда прямиком в Лондон, поезда ходят часто.*

– Простите, что побеспокоил вас в такую поздноту, – сказал я.

– Мы привычные, нам в любой час стучат, трактир-то на прибрежной дороге. – Он вел меня наверх по узкой лестнице. – Всякий путник к нам завернет.

Мы очутились под лампой на верхней площадке лестницы. Внезапно он вгляделся в мое лицо пристально, словно обнаружил в нем что-то подозрительное.

– Я вас знаю, – озадаченно сказал он.

Неужели тоже читатель?

– Я уже заглядывал к вам сегодня, пропустил рюмочку.

– А, помню. – Но он не улыбнулся, не добавил дружеского словца. – Тогда еще в баре была эта... Черт, как увижу, мурашки по коже. Жуть.

"Все, что говорят о ней, – сплетня", – так сказала Люси Хейвен о миссис Пикеринг. Но хозяин трактира смотрел на меня по-прежнему хмуро.

– Ну, та женщина, которая своего любовника порешила, – пояснил он.

– Да-да, – кивнул я понимающе. – Бедняжка миссис Пикеринг, с собачкой.

– Миссис Пикеринг мухи не обидит! Я про эту ведьму, Люси Хейвен. Да откуда вам-то знать, вы же не из наших мест. Люси Хейвен убила своего жениха. Давненько уже. Ее тогда сумасшедшей признали, и все ей с рук сошло. Она заявила, что парень с ней жестоко обращался. Она, мол, и обезумела, набросилась на него с секачом. – Он распахнул дверь, щелкнул выключателем, и моему взору предстала крохотная комнатенка. – Хрясь прямо в грудь! А потом еще и еще раз! Господи-спаси-сохрани!

Болтая без умолку, он взбивал матрац, показывал мне полотенце и мыло. Я тщетно пытался его прервать – не вопросом, вопросов у меня не было. Я просто хотел, чтобы он замолчал: я боялся слушать дальше.

– Люси Хейвен! – говорил он, задергивая занавески. – Был ведь и другой любовник. Никто из наших его не знал. Так этот парень и вовсе исчез. Утопила небось. Да его никто и не хватился. – Он задумчиво покачал головой и медленно произнес: – Меня-то она не трогает, не нравлюсь я ей. Но мужикам, которых полюбит, верная смерть.

А потом со свойственным северянам радушием, то есть чуть ли не сквозь зубы, он пожелал мне спокойной ночи.

Перевод Ольги Варшавер

Прикосновение королевы

1

В тот вечер я сократил путь, поехав через Бостон, и это было ошибкой: от гнусного ощущения краха никакая спешка не избавит. Зимние скитальцы и бездомные ветераны, мелькавшие призрачными тенями на узких пригородных улочках, походили на исследователей Арктики с истертых фотографий и старых гравюр: закутанные в сто одежек, об-

мороженные, обреченные. Они едва переставляли негнущиеся ноги — этакие кустарного изготовления марионетки. Мороз кусал лица; вдоль пропаханных снегоочистителями улиц высились горы снега. Тротуары черно посверкивали, покрытые коркой льда. Я сидел в машине, но одновременно был одним из бродяг. Жизненный крах, он вроде похорон, а человек, бегущий прочь от разрушенного брака, — разом и покойник и плакальщик на этих похоронах.

Радиоприемник вдруг очнулся, и надтреснутый тенорок болвана-ведущего произнес: "Если вас не волнует, где вы находитесь, значит, вы не сбились с пути". Я злобно рассмеялся.

Я был безлик и безымянен — как все эти скитальцы; то есть наоборот, все они были точь-в-точь как я: брели, ссутулившись, в несуразных бесформенных шапках, засунув руки в карманы, поддавая ногой комья грязного снега. Все мы — сбившиеся с пути первооткрыватели и ждем теперь, когда кто-нибудь придет нам на выручку. Мы необразованны, безграмотны, больны; нас снедает смутное желание иной жизни. Единственный способ исцелиться от этой потерянности — уехать куда подальше и начать жизнь заново. Здесь мне не спастись.

К полуночи я добрался к себе домой на Кейп-Код, но облегчения это не принесло. В доме было зябко, и влажный воздух казался от холода скользким и сальным. Я зажег свет, включил термостат. В тот же миг щелкнул, приняв сообщение, автоответчик. Итого два — мигнула в окошечке желтая циферка. За три дня, что меня не было, всего два звонка. И первый начинался словами: "Ты, сволочь, если еще раз осмелишься..." Я нажал кнопку "дальше", и голос заверещал ускоренно и невнятно.

После этого потока брани второе сообщение прозвучало изысканно вежливо. Словно на другом языке. По британскому щебетанью и характерным паузам, да еще по треску в трубке я понял, что звонили скорее всего из-за океана.

Сообщение для Пола Теру от мистера и миссис Лейрд Бёрдвуд. — Женский, по-секретарски сдержанный голос. — *Не сможете ли Вы прибыть в Лондон на обед, который они дают в собственном доме двенадцатого февраля? Несколько деталей. Необходим черный галстук. Приехать надо ровно в семь тридцать, опоздание, к сожалению, недопустимо. Как только Вы подтвердите возможность Вашего приезда, мы вышлем факсом официальное приглашение. Очень надеемся Вас увидеть. Пожалуйста, позвоните при первой возможности.*

Ни убавить, ни прибавить: все четко, уверенно, лаконично и определенно.

Сидя в спальне перед зеркалом, я снова прослушал сообщение. Бледный, небритый, с покрасневшим кончиком носа, с засохшей соплей в левой ноздре. Волосы стоят торчком — такими всклокоченными они вылезли из-под шерстяной шапки исследователя Арктики. Одежду я не менял трое суток, в ней и спал.

Необходим черный галстук. Приехать надо ровно в семь тридцать...

В моем нынешнем положении существовала еще одна определенность: я умел отличить возможное от невозможного. Обед в Лондоне был вне пределов возможного. Я не мог привести ни единого довода "за". Осталось только отзвонить в офис Бёрдвуду — с учетом разницы во времени между Кейпом и Лондоном — и выразить свое сожаление.

Я принял ванну. Побрился. Выпил зеленого чаю. Забрался в постель и прочитал несколько страниц из книги Малиновского "Коралловые сады и их магия". Заледеневший дождь, мелкий, словно песок, бараба-

нил в окно. Вот бы исчезнуть и очутиться в Новой Гвинее: ни тебе многослойной одежды, ни перчаток, ни кусачего мороза. Я наконец согрелся — от чая и чтения, — сомлел и заснул.

С утра набрал лондонский номер Бёрдвуда, чтобы сказать, что прибыть, увы, не смогу. Ответила его секретарша, вежливая женщина, которая вчера и оставила сообщение.

— Очень жаль, — сказала она. — Мистер и миссис Бёрдвуд будут расстроены. Они так хотели, чтобы вы приехали. А что это за шум?

— Ветер. — Буран, поднявшийся накануне, все еще завывал и терзал обшивку дома. — Отсюда до Лондона путь, сами понимаете, неблизкий, и съездить просто на обед, который состоится к тому же совсем скоро...

— Разумеется. Но у обеда особый повод.

— Конечно, конечно, но...

— Я полагаю, вам следует знать, что обед дается в честь Ее Величества королевы.

— Да-да... — произнес я. Я не мог соотнести свое лицо в зеркале со словами, которые только что услышал. Королева?

— Будет, разумеется, и принц Филипп. Они впервые посетят дом Бёрдвудов. Все, естественно, весьма взволнованы.

— Королева, — повторил я.

Я стоял совершенно голый перед зеркалом и улыбался, а снятая вчера одежда валялась в углу, точно шкура крупного животного. Мне представилось лицо королевы с почтовой марки: длинная шея, изящный подбородок, задорно вздернутый носик, мило прилаженная на затылке корона.

— Из соображений безопасности мы должны представить окончательный список гостей безотлагательно.

— Я приеду. Один.

Билет в Лондон достался мне дешево: во-первых, не сезон; во-вторых, за частые полеты полагалась скидка. Весь мой багаж — смокинг — помещался в сумке. Я сидел в самолете и размышлял: единственное, что мне сейчас нужно, чтобы обрести покой, так это забиться куда-нибудь, где меня никто не знает. На душе у меня было как у могильщика по дороге на работу: идет этакий мистер Харон, тащит под мышкой свою жалкую униформу. Однако я ехал не куда-то, а на встречу с Ее Величеством Елизаветой II, королевой Великобритании и Северной Ирландии, Защитницей Святой веры.

Я летел туристическим классом. Карл Льюис — первым. Начальственный толстозадый стюард со слезящимися глазами подобострастно вертелся, оттирая простых пассажиров — меня в том числе, — чтобы лучший бегун Олимпиады мог беспрепятственно покинуть самолет. С моего скромного хвостового места в очереди на выход я разглядел уши Льюиса — самые крохотные ушки, какие я когда-либо видел у человеческого существа.

В подземке я сообразил, что был в Лондоне всего год назад, а поскольку хороших новостей не припас, то и видеть в этом городе никого не хочу. Начнут ведь спрашивать: как дела? Над чем я сейчас работаю? А ответов-то и нет. Я мечтал попасть в компанию, где никто никого не знает. Я с удовольствием представлял, как широко улыбаются мне нагие и неграмотные островитяне и вовсе не принимают меня (так, во всяком случае, обещал Малиновский) за представителя человеческой расы.

Бёрдвудов я едва знал. Чармиан — англичанка и, как говорят, кузина королевы; впрочем, так говорят о многих представителях ТЕХ, особых семей. Но, может, в данном случае это и правда, и королевский визит тому подтверждение. Лейрд — состоятельный американец, конезаводчик, который специально перебрался в Англию — поближе к Ньюмаркету[1]. Он гордился своими конюшнями (дважды выиграл Большие национальные скачки), а еще уникальной библиотекой первых изданий: под буквой "Т" на его полках вы обнаружите книжки Теру, которых нет у меня самого. Много лет назад во время скачек в Аскоте[2] он пригласил меня на обед в честь принцессы Анны и усадил прямо рядом с ней. "Папеньку просто вынудили скакать на Дейли ", — заявила принцесса крови. После обеда ее муж, "капитан", как она его называла, пожаловался, что жена повадилась в Африку кормить голодных. "Хочешь быть благодетельницей — начинай дома", — назидательно сказал он. Помнится, нога у него была в гипсе: повредил, упав с лошади. Что, впрочем, не мешало ему ерничать и, стуча гипсом, танцевать джигу, а принцесса крови вздыхала и страдала. Теперь они в разводе.

Гостей тогда разместили за столом как нельзя удачнее. Во-первых, я американец, да еще писатель, существо благодарное и вежливое; я абсолютно безопасен. К тому же меня не отнесешь ни к какой социальной группе, а значит, я замечательно подхожу для роли соседа королевской особы. Приличного вида американец не создает классовых конфликтов. Хорошо и то, что я никому не известен, и вообще все гости мало или вовсе не знакомы друг с другом, даже с хозяевами. Вот и сейчас мне легче возвращаться в Лондон именно так: не визит, а пародия на визит, и я — одетый официантом гость.

За восемнадцать прожитых в Лондоне лет я ни разу не останавливался в лондонских гостиницах. Только обитателям других городов известны все прелести гостиничной жизни. Впрочем, сейчас это значения не имело: денег у меня не было и выбора, соответственно, тоже. Я вышел из подземки на Эрлс-корт и высмотрел в окне гостиницы "Сандрингем хаус" объявление, что у них есть свободные номера. Дом был таким же холодным, грязным и плохо освещенным, как мой собственный, недавно покинутый.

Восемь утра, зима, Лондон; вестибюль, едва подсвеченный сорокаваттными лампочками, такими слабыми, что предметы не отбрасывают теней. Индус, сидевший за кассой, занес необходимые сведения в большую амбарную книгу, взял задаток и снова меня приветствовал — уже как постояльца гостиницы. На пластиковой карточке значилось его имя: Р. Дж. Пиллай.

Затем он сказал:

— Комната 22. Только она не готова.

— А готовые есть?

— Пока нет.

— Но я летел всю ночь.

— Гости выезжают к полудню. Комнаты освободятся, — сказал он и, не дав мне возмутиться, добавил: — Пока позавтракайте в гостиной.

На гостиную это ничуть не походило. В задней комнате на втором

1. Город в Суффолке, на юго-востоке Англии, центр бегового и скакового коневодства уже более 300 лет.

2. Ежегодные конные соревнования, наиболее популярные в Англии. Проводятся в июне в течение четырех дней; на них непременно присутствуют члены королевской семьи.

этаже гуляли сквозняки и было даже холоднее, чем в вестибюле. Здесь висели бархатные шторы, столы стояли чересчур тесно, а из каминной ниши торчал электрообогреватель. На искусственном, бутафорском бревне помигивал красный огонек, но сами спирали оказались отключены.

Все без исключения официанты были индусы, в грязных, с пятнами, белых пиджаках. Я посидел, понаблюдал, как обслуживают людей за соседними столиками. Вскоре мне тоже принесли все что положено: пустую банку с пыльной крышкой — когда-то в ней был джем; блюдце с двумя кружочками масла; тарелочку с поджаренным хлебом (два куска); сахарницу; кувшинчик с молоком; чайник с заваркой и отдельно кипяток; ситечко, надеваемое на носик чайника, и зажим, который его там удерживает; ложки, вилки и щипцы для сахара. Посуда эта была, вероятно, остатками фамильного серебра и траченного временем фарфора и напоминала неуклюжие допотопные инструменты старого брадобрея. Выкладывая их на стол, официант долго извинялся. Когда же он закончил, чай был едва теплым, а тосты совсем холодными и клеклыми. В комнате никто не беседовал, только позвякивали приборы о тарелки и чашки.

Мимо прошла женщина с тяжелым английским подбородком и бросила на меня сердитый взгляд. Это оказалась Бетти, жена господина Пиллая. Ее вставные зубы были очень белыми, но во рту стояли кривовато. Волосы стягивала прозрачная сетка-невидимка. Заметив мой нетерпеливый жест, она сжала свои собачьи челюсти и заиграла желваками.

— Чего вам?

— А джема нет?

— Раз не видите, значит, нет.

Сколько раз я слышал эту фразу от английских лавочников, но знал, что она далека от истины: английское общество стоит как раз на том, что не видно глазу, да и культура здешняя соткана из невидимых нитей. Все таится под спудом: отношения, чувства. Жизнь в Англии загадочна почти по-восточному. Иными словами, малиновый джем здесь, конечно, имеется, но — как все ценное — он спрятан, и надо знать, как попросить. На то она и Англия.

Я завидовал людям за соседними столиками: сидят парами, как голубки, читают утренние газеты или переговариваются — не словами, а взглядами. А я лишен бессловесной интимности супружества. Впрочем, теперь меня все это угнетало: тихие нежности, жизнь рука-в-руке, выразительные взоры, непомерная близость... Я больше в этом не нуждался. Я нуждался в чужих и, желательно, диких людях.

Я сидел один, ковырял ужасный мой завтрак, горевал об утраченном прошлом и ненавидел себя за то, что потрудился — по глупости — пересечь океан, то есть предпринял еще одну отчаянную и никчемную попытку побороть одиночество.

Наконец молчаливый слуга-индус провел меня по вонючей лестнице и коридору в отведенную мне комнату. Половицы гуляли и скрипели под ковровой дорожкой от каждого шага. Проходя мимо чьей-то спальни, я услышал разъяренный женский голос:

– *Убирайся прочь!*

В ответ неразличимое бормотание мужчины, потом снова женщина:

– *За все это время ничего, кроме жалоб, я от тебя не слышала!*

Я напрягся, но индус даже ухом не повел. Через пять дверей он су-

нул ключ в замочную скважину, подергал, покрутил и распахнул дверь в тесную комнатенку. Жестом пригласив меня внутрь, сам он остался за порогом, как надзиратель, препроводивший в камеру нового заключенного. Я тут же задернул шторы, улегся в полутьме и уснул.

Мой отдых был внезапно прерван криками из-за перегородки:

– Больше я этого не потерплю!

Женский голос, пронзительный, почти истерический.

– Если ты только позволишь... — Мужской голос, много тише, рассудительней.

Может, женщины во время ссор кричат потому, что мужчины угрожают им физической расправой? Во всяком случае, в этом заведении женщины вопили, а мужчины невнятно лепетали. Последние голоса были явно новые, не те, что я слышал, когда шел по коридору.

– Не потерплю, чтобы эта стерва разрушила наш брак. Если бы ты любил меня по-настоящему, ты бы так не поступил. И надо же, выбрал!

– Дело не в ней. Разве ты не понимаешь, вскрылись более глубокие...

– Чушь свинячья! Вали к своей шлюшке. Еще пожалеешь! Поймешь, что совершил самую большую ошибку в жизни.

Мужчина забормотал. Он явно пытался ее успокоить, хотя слов было не различить.

– Не прикасайся ко мне! — заверещала женщина.

Низким глухим голосом мужчина сказал:

– Запакуй это тоже.

– Оставь меня в покое, подлец!

Потом опять бормотание, слезы; потом хлопнула дверь. У меня к этому моменту сна не было ни в одном глазу, но когда все затихло, я умудрился снова заснуть. Увы, ненадолго. Теперь голоса доносились уже из-за другой стены, там шла перебранка.

– Ты сам вечно так поступаешь. Значит, эти игры позволительны обоим.

Я подумал: извинись, и все кончится. Скажи: “Прости, я тебя обидел, но это больше не повторится”.

Но мужчина сказал:

– Ты бьешь на жалость. На себя посмотри. Сама не знаешь, что мелешь.

А ты скажи: “Я так настрадалась, так изболелась сердцем. Но вместе мы это преодолеем”.

Вместо этого женщина сказала:

– Я тебя ненавижу. Боже, как я тебя ненавижу!

Я зажал уши, зажмурился. Темнота придавала комнате некий дополнительный, мерзкий запах: шерсти, пота и не ног даже, а копыт. Наверно, так воняет в аду. Я снова заснул. За ночь все повторилось неоднократно: вопли, обвинения, брань, мольбы, мужчины хватались за телефон, хлопали двери; но к утру — а проснулся я рано, вспомнив, что мне сегодня обедать с королевой, — воцарилась полная тишина.

Итак, снова утро, гостиная, завтрак. Только слова эти приблизительны, ими не опишешь именно этого утра, помещения, еды. Серое небо висело чуть выше труб на соседней крыше; допотопные настенные светильники желто мерцали, отбрасывая размытые тени на обшарпанную обстановку. Сегодня джем подали, но при этом тусклом свете невозможно было определить, из чего он сделан: любая ягода обретала здесь черный цвет.

Та же чайная церемония: стол, заваленный орудиями средневековых алхимиков, едва теплый чай, клеклые тосты.

Еду подавала Бетти. Принесла большую кастрюлю на коричневом пластмассовом подносе. Спросила:

— Хотите фруктового компота?

Я сказал "да". И получил в ответ моченый чернослив.

Тихие пары ели аккуратно, и молчание их свидетельствовало разом о голоде, благодарности и послушании. За двумя столами читали газеты, никто не разговаривал. Ночная темнота полнилась криками и бормотанием, руганью и проклятьями, скрипом дверных петель, ревом воды в трубах. Когда я зажигал лампу у изголовья кровати, говорила даже картина на стене: йоркширские долы, бурный ручей, голый каменистый холм, сосны — великолепный пейзаж и на его фоне озлобленная, ссорящаяся пара. Однако здесь, в бледном свете дня, бывшие ночные призраки, обитатели гостиницы "Сандрингем хаус", молча жевали, читали газеты, и мне снова почудился ад — не католический, с полыхающими кострами, раскаленной лавой и гогочущими чертями, а светский английский ад, с вонью, стыдом и тесными комнатами, где даже воздух — липкий. Звон-лязг-грохот.

По пути к автобусной остановке меня чуть не задавил огромный зеленый "рейнджровер".

Снова она, вечно она, эта женщина с длинным скуластым лицом, которую я всегда встречаю на дорогах Лондона: чудесные волосы, легкий шейный платок, стеганая непромокаемая безрукавка. Она одета не по-городскому, ей не терпится вырваться с узких улиц западного Лондона на волю, и на меня она даже не смотрит, ей это не нужно, она и так знает, что в этот миг я ступаю с тротуара на мостовую. И дело не только в том, что она торопится выехать на шоссе, главное — она говорит по телефону, прижимает эту радиоштуковину к уху, а рулит свободной рукой. Она проделывает это со мной уже много лет. Чуть не сбив, чертыхнется себе под нос и катит дальше, по-прежнему болтая по телефону. Вот и сейчас — не сбила конечно, но обрызгала с головы до пят.

Я доехал автобусом до Кингс-роуд, потом пешком по Боуфорт-стрит спустился к реке. Направлялся я в Клапам, но на середине моста Баттерси понял, что взглянуть на покинутое фамильное гнездо нет сил. Собственно, я заранее знал, что в доме никого нет, знал, что я давно здесь чужой. Войти все равно не удастся, придется стоять перед домом и глядеть на старую кирпичную кладку, на бывшие мои окна. Мой Лондон состоял из моего дома и моей семьи, ничего другого у меня тут не было. Теперь я и вовсе непрошеный гость, призрак, без друзей, без близких. Я никогда не жил здесь по-настоящему. Поставил когда-то палатку, но теперь она сложена. Я вовремя смылся.

Я все шагал под дождем, однако кураж прошел. Из любопытства я заглянул только в "Герб рыбника", пропустить кружечку. Запрет на потребление алкоголя по утрам наконец отменили, и лондонские кабачки открыты теперь весь день. Табачный дым, влажный ковер, клейкий запах пролитого пива, бульканье соковыжималки. Возле стойки сидел мужчина с трубкой в зубах и потягивал пиво из огромной кружки. Рядом стоял мальчик в школьной форме: наверно, сын.

Я с радостью вспомнил, как зовут бармена: Дермот. Он заулыбался.

— Давненько вас не было видно.

— Уезжал.

— Хорошо съездили?

— Ссоры и споры.

— Ссоры лучше, чем одиночество, — заметил Дермот.

Вот и все. После года отлучки. В этом ирландском кабачке собрался простой, приветливый народ, но пивное братство еще не дружба. И бармен знал меня не так близко, чтобы задавать новые вопросы. Я заказал полпинты сцеженного "гиннесса".

— Пап, ну пойдем же... — ныл мальчик и тянул отца прочь от стойки.

— Черт возьми, Кевин! Жди! — прорычал отец. Пьяный и раздраженный, он потягивал пиво понемногу, всячески стараясь показать, что никто и ничто не сдвинет его с места.

Я обратился к мальчику:

— В какую школу ходишь?

— В школу Эммануэля.

— К экзаменам готовишься?

— В следующем году, — вздохнул он.

— И какие ты выбрал предметы?

— Английский, историю и французский.

Отец его, прищурившись, смерил меня взглядом.

— Тогда ответь-ка мне на вопрос по истории, — сказал я. — Что ты знаешь о божественном праве королей?

— Все началось с Якова Первого[1], то есть он об этом писал. Французская монархия тут английскую обскакала, но кое во что и англичане верили. Вы знаете про "королевское прикосновение"?

— Расскажи.

— Король мог излечивать некоторые болезни, — пояснил Кевин. — Золотуху, например. Чаще всего говорят о золотухе.

— Что это за дрянь? — подал голос его отец.

— Чирьи. — Кевин ухмыльнулся. — А еще это угасание, на латыни.

— А вот интересно, — не унимался я, — возьмем, допустим, нынешнюю королеву. У нее тоже есть божественный дар?

— Она — глава церкви, — ответил Кевин.

— Чертова церковь чертовой Англии! Протестанты проклятые! — Его отец смачно сплюнул на пол.

Кевин продолжал:

— Королева умеет излечивать одним касанием руки. В молитвеннике на каждый день есть особые молитвы, обращенные к королю и членам королевской семьи. "Король королей, Царь царей, единственный правитель принцев". И тому подобное. Исцеляющее прикосновение — свойство всех монархов.

— Всех хренархов, — уточнил отец.

— А эти молитвы в ходу? — спросил я.

— Мы сами читали в часовне на прошлой неделе.

— Только попадись, я тебе задам! — Отец Кевина уже лыка не вязал.

— Пап, ну хватит, пойдем.

Отец продолжал отпихиваться. Кевин украдкой мне подмигнул.

Остаток дня я провел, гуляя под моросящим дождем по Клапам джанкшн. Купил в магазине "Маркс энд Спенсер" пару черных носков и черный галстук, потом снова прошел к реке — напрямик, через двор церкви Святой Марии на Баттерси. Согнувшись пополам навстречу дождю и ветру, я высмотрел наконец автобус на углу Фулем-роуд, добрался на нем

1. Английский король из династии Стюартов, правил с 1603 по 1625 год.

до Эрлс-корт и нырнул в гостиницу. Вечерней зари не было, просто небо, по-прежнему низкое, серое, вязкое, как каша, опустилось на крыши. День, запоздало родившийся из утренней мглы, в ней и кончался: быстрые сумерки упали черным занавесом, и при свете уличных фонарей виден остался лишь холодный, скользкий блеск мокрых тротуаров, мерцание пропитанных влагой кирпичных стен и скатов крыш. Фонари, впрочем, горели весь день, и тусклый их свет лишь напоминал о непобедимости мрака.

Проходя по коридору к своей комнате, я услышал новые голоса.

– Я не знаю, за что ты вообще меня любишь. Я – ужасный человек.

– Перестань, надоело.

Рубашка и смокинг благополучно доехали сюда в перевязанной веревкой коробке. Носки и галстук я хоть и позабыл, но, вспомнив об этом, купил сегодня новые. Однако, надев рубашку, я сообразил, что у меня нет запонок. Позвонил вниз.

– Администратор слушает.

– Господин Пиллай, я, похоже, забыл дома запонки. Вы не могли бы одолжить?

– А в комнате смотрели?

– Нет.

– Если в комнате нет, значит, у нас этого нет вовсе.

– Вы знаете, что такое запонки?

– Нет.

– Тогда почему вы говорите, что у вас их нет?

– Такая услуга не предоставляется, – сказал он, потом послышался визг Бетти, и он повесил трубку.

В соседней комнате раздался женский голос:

– Я не желаю продолжать этот разговор. И видеть тебя не желаю. Понимаешь? Вон из моей жизни! Вон!

Ее никто не прерывал, должно быть, разговор велся по телефону.

– Кстати, ты прав, я мечтаю, чтобы у тебя все лопнуло. Мечтаю, чтобы ты страдал, как страдала я. Чтобы почувствовал все на собственной шкуре.

Идти в магазин за запонками было поздно. Я нашел в ящике скрепки и приладил их вместо запонок. Все равно манжеты рубашки будут скрыты в рукавах смокинга.

Смокинг меня совсем не красил, я убедился в этом, едва взглянув в зеркало в холле. Мимо улыбаясь прошла женщина. Не она ли только что вопила в телефонную трубку? Выходя из гостиницы с намерением поймать такси, я вдруг подумал: ничего из этой затеи не выйдет. Да и с какой стати? Я просто рисуюсь, прикидываюсь перед самим собой. Прилетел вот из Бостона в Лондон на обед с королевой, придумал от отчаянья, что это меня взбодрит и даст материал для рассказа.

Дохлое дело. Гостиница моя ужасна. Ее обитатели – злобные, двуличные люди – обвиняют меня, тычут пальцем из каждой стены. От перемены часовых поясов до сих пор мутит. Туфли после утренней прогулки насквозь мокрые, пусть этого не видно, но это так. А пресловутый обед просто не состоится. Даже если я вовремя доберусь до Бёрдвудов, там не будет ни обеда, ни королевы. Все это какой-то бред, недоразумение, страшный сон – мой постоянный кошмар унижения и преследования. И я вот-вот проснусь – в своей постели на Кейп-Коде, проснусь со

стоном и буду слушать, как ветер задувает под обшивку из кедрача, как шурует в кустах можжевельника, точно шваброй.

Такси мигом доставило меня на набережную в Челси, где совсем рядом с Лебяжьей аллеей за высокой оградой стоял особняк, и парадный подъезд его был залит светом прожекторов. Перед ним — я разглядел это сквозь мерное мотание дворников на лобовом стекле — мигали репортерские вспышки, стояли полицейские машины, толпились сами полицейские.

Опустив стеклянную перегородку, мой водитель спросил:

— Вы случаем адрес не перепутали?

— Нет, это здесь.

— А что тут за представление? Аж земля ходуном ходит.

— Сюда прибудет на обед королева.

— Благослови Ее Господь. С вас ровно шесть фунтов. — Однако, получив еще и на чай, он устыдился. — Спасибо, начальник. Идите осторожно.

2

Внутри дома, казалось, готовились к спиритическому сеансу высшего пошиба. Всех трясло как в лихорадке, все высказывались по любому поводу, но никто никого не слушал. Сначала со мной поздоровался швейцар, видимо нанятый ради высокого визита, затем меня натянуто приветствовали хозяева дома. Гости — лощеные, разодетые — пребывали в тревожном ожидании. Мне вручили карточку. На ней в виде четырех кругов были изображены столы. Мое место обозначалось красной точкой. Все были начеку, все к чему-то прислушивались, но накал ожидания не позволял ничего расслышать. Преобладали в этом обществе американцы: называли друг друга по имени, сияли улыбками, скользили поверх голов блестящими беспокойными взглядами.

В зеркале просторной залы я выглядел все-таки лучше, чем ожидал: вполне пристойный гость на званом обеде. Кроме Лейрда Бёрдвуда и его жены Чармиан мне пока не встретилось ни одного знакомого лица. Стоявший возле меня мужчина приветливо улыбнулся. Я попробовал с ним заговорить. Но он был так напряжен, что в буквальном смысле оглох. Я двинулся дальше, и тут же какой-то человек обратился ко мне с бурной, почти истерической речью; такая словоохотливость, очевидно, тоже объяснялась невыносимостью ожидания. Так, наверно, ведут себя пассажиры застрявшего лифта: все признаки клаустрофобии, тревоги, страха. Королеву никто не упоминал.

Кто-то спросил:

— Над чем вы сейчас работаете?

Я стал, по обыкновению, выкручиваться и с облегчением увидел, что спросивший меня не слушает.

— Весьма неожиданно, — говорил в это время Бёрдвуд, а какая-то дама отвечала ему:

— Пожалуй, лучше об этом не думать.

О чем? О королевском визите? Размышлять тут, на мой взгляд, было особенно не о чем, но все, разумеется, только об этом и думали. Мы были участниками спиритического сеанса, и поскольку он должен был вот-вот начаться, все до обморока боялись упомянуть предмет нашей встречи, упомянуть "дух", который мы должны вызвать верчением стола.

Драматизм момента порождал банальнейший треп. Все жаждали лицезреть венценосную эктоплазму[1], но болтали взахлеб, притворяясь, что она нас ничуть не интересует. Гости-англичане были еще болтливее, чем американцы.

— По-моему, солнце порывалось сегодня выглянуть из-за туч.

— Нам чрезвычайно повезло этой зимой.

— А поездка в Гудвуд оказалась чистейшим безумием.

Официанты, более спокойные и одетые лучше гостей, разносили напитки. Они предлагали их, как мне показалось, несколько надменно, чуть ли не издевательски.

Мужчина с мертвенно-бледным лицом и, видимо, очень тесным воротничком рубашки произнес неестественно высоко и неискренне:

— Только пил и ел — показал себя совершеннейшей свиньей!..

— Послушайте, над чем вы сейчас работаете? — спросил меня еще кто-то.

Главный принцип жизни — всегда быть на коне. А уж признаться, что у тебя плохие новости, — это вовсе дурной тон, особенно когда впереди маячит призрак королевы. Да, все мы страшно волновались, но все ощущали свою избранность: именно нам выпали честь и счастье встретиться с королевой в частном доме.

— Так над чем вы сейчас работаете?

Мы стояли под хрустальными канделябрами — мужчины в черном, женщины в нарядных платьях, — сеансу пора было бы начаться, и мы беспомощно ждали хоть какого-то сигнала. Ну пусть, пусть произойдет хоть что-нибудь! Однако на огромные распашные двери никто не смотрел: подглядывать — против правил.

— Как-то не пишется... — ответил я.

Никто не слушает. Никто не слышит.

Мужчина произнес:

— Ведь так всегда бывает, верно?

О чем он? Стоя ко мне лицом, он продолжал свою туманную мысль, а я по-прежнему его не понимал, да это было и не важно, потому что смотрел он мимо.

Вдруг все смолкли.

Я обернулся, проследил за взглядом мужчины. Чуть в стороне какую-то даму знакомили с группой гостей. По количеству бриллиантов и размерам головы я понял, что это королева.

— О, кстати, надо купить марки, — произнес я.

Шутка моя не удалась. Ее просто никто не услышал.

Но королева не была той, с почтовой марки. Она оказалась маленькой женщиной с невыразительным личиком, в синем платье из жесткой кисеи. Улыбалась она робко и мило — ничего похожего на заученную улыбку политика. На голове — тиара с бриллиантами, на шее — бриллиантовое ожерелье. На одном запястье — бриллиантовый браслет, на другом — часы, тоже с бриллиантами. Сияние драгоценностей завораживало, камни были мелкие, но в таком количестве, что мне пришло на ум сравнение со вспышкой замыкания в электросети. А вот очки — самые обычные, в тонкой металлической оправе — казались на ее лице несуразными: все-таки королева... В зале воцарилась тишина: беседовать в присутствии королевы никто не отваживался; сама же она говорила очень мало.

1. Субстанция, якобы вырывающаяся из уст медиума.

Позади нее выпячивал грудь герцог Эдинбургский. Пока что визит венценосных особ проходил в основном в молчании. Она была Ее Величеством, он — Его Королевским Высочеством. Герцог оказался выше, чем я ожидал, даже выше меня; когда его знакомили с гостями, он кивал, руки же держал за спиной. Здесь вообще никто не подавал и не пожимал рук; прикосновений не допускалось — правила спиритического сеанса заключались отчасти и в этом. Воздух сгустился, нам явилось видение королевы, но никому не дано было проверить, реальна или воображаема данная эктоплазма.

Я снова взглянул на схему, нашел за одним из столов свою красную точку. Проверил, надежно ли упрятаны скрепки в рукава смокинга. Удостоверился, что туфли мокры не настолько, чтобы это кто-то заметил. А в итоге убедился, что я — нелепый и возмутительный самозванец, и рассердился на Бёрдвуда за то, что он в меня верит и тешит нас обоих иллюзией, будто я что-то значу. На самом деле я — предатель и плохой муж, который использовал свой последний льготный перелет, чтобы постоять с бокалом вина в присутствии королевы. Подошвы у меня дырявые, вместо запонок — скрепки, и сильно щемит сердце. И ничегошеньки я не пишу, уже больше полугода. И гостиница мне попалась отвратительная, в ней заправляет пара нерадивых распустех, а из-за стен доносятся ругань и ссоры. И эти крики не дают мне спать по ночам. А я ведь мечтал уехать в Новую Гвинею, бродить там, раздвигая заросли, поднимая пальмовый полог, и слушать крики какаду, и в конце концов скрыться в сумеречных джунглях, исчезнуть, навсегда покончив со своими несчастьями.

— А это Пол Теру, писатель.

Вот и произошло то, чего я всегда боялся: я превратился в мелкого, пустого человечишку. Прозябать в безвестности — полбеды. Самое парадоксальное и страшное — быть известным миру, но — в качестве жалкого, убежавшего от трудностей себялюбца, который, стремясь доказать свою правоту, превратился в старого зануду. И дело уже не в том, простят меня или не простят. Мне необходимо было уехать, причем совсем не сюда, а я оказался здесь — самозванец на чужом пиру, гость в официантской одежде. От волнения и напряжения я пукнул и тут же, чтобы прикрыть этот трубный сигнал, повысил голос:

— Очень рад знакомству, Ваше Величество.

Королева улыбнулась и, кажется, что-то пробормотала. За сиянием бриллиантов скрывалось невзрачное, с кулачок, старческое личико, и я вдруг понял, что мне и сказать-то ей больше нечего. Впрочем, это не имело значения. Ее, по-прежнему улыбающуюся, повели дальше. Улыбалась она очень мило.

За королевой, в свите, тянулись еще какие-то люди, в том числе граф и графиня Эйрли.

Напитков венценосным особам не предлагали. Когда закончилась церемония знакомств и представлений, они медленно прошли в столовую, и все остальные — следом; дамы шуршали длинными юбками, мужчины тихо переговаривались. Я затесался в шаркающую толпу; приглушенность происходящего доставляла мне немалое удовольствие. Обычно на званых обедах все стремятся быть замеченными, и чем никчемнее человек, тем больше он старается. Здесь же выскочек не было определенно, мне это не привиделось. Мы шли гуськом, точно дети, боясь сделать неточное движение. Процессию возглавляли королева с гер-

цогом, а мы послушно и почтительно ступали след в след. Никогда прежде я не видел столько трепетного уважения — самый воздух, казалось, наполняется от этого теплом и светом.

Я снова заглянул в схему. Моя красная точка значилась за столом королевы. Ее усадили рядом с Лейрдом Бёрдвудом, справа от нее занял место еще один мужчина, возле меня, по обе руки, две дамы, итого шестеро — включая Ее Величество.

Еду подали мгновенно. Начали с рулета из морского окуня с шампанским и икорным соусом (я определил это по лежавшему на столе меню).

Женщина, сидевшая справа, обратилась ко мне с улыбкой:

— Над чем вы сейчас работаете?

— Как-то не очень работается.

— Это замечательно. Я всегда мечтала писать книги.

— Я тоже, — отозвался я.

Она отвернулась, прислушиваясь к разговору Лейрда Бёрдвуда с королевой. Слов было не различить, но, сидя за небольшим столом, мы были вправе беспрепятственно смотреть на королеву — смотреть, глазеть, пялиться, и эта бесцеремонность могла сойти за простую вежливость.

Вскоре я почувствовал себя непринужденнее: сидеть за столом с королевой уже казалось совсем обычным делом. Она почти не ела, почти не пила, ее действия были почти ритуальны: ритуальная беседа, ритуальные тосты, — и она аккуратно выполняла все, что предписано, хотя, по всей видимости, немного скучала. Когда она стояла, в глаза бросалась некоторая диспропорция фигуры; сидя, она походила на человека, страдающего геморроем, но, так или иначе, ей можно было доверять.

— Вполне, — проговорила Ее Величество.

Бёрдвуд произнес энергичную тираду. Беседовали о лошадях.

— Неужели? — сказала Ее Величество.

Поскольку она была так величественна — едва ли не божественно величественна, — в ней чувствовался некий налет нездешности, словно она говорила на языке, которым никто не владел в совершенстве — ни мы, да и никто на этом свете. Бёрдвуд прилагал большие усилия, чтобы с ней объясниться.

— Да, — сказала Ее Величество.

Говорят, всем британцам периодически снится королева. Это один из тех стандартных, жутких или дерзких снов, в которых ты вдруг оказываешься в общественном месте голым или, хлопая руками, летишь над верхушками деревьев. В одном из романов я уже описывал сон о королеве. В этом сне мы с ней сидели одни на диване во дворцовой гостиной. Она была еще молода — та самая узколицая королева с английской почтовой марки, чей лаконичный портрет так располагал к фантазиям. "Похоже, вы очень несчастны", — сказала мне королева. Лицо ее было бледно, как на марке. Я же стеснялся признать, что действительно очень несчастен. На королеве было жесткое платье из зеленой парчи с глубоким вырезом. Двумя руками — со сверкающими на пальцах перстнями — она раздвинула декольте еще шире, высвободила груди, и я уткнулся лицом в ложбинку между ними, ощущая прохладные соски где-то возле ушей. «Ну что, так лучше?» — спросила королева в моем сне. А я всхлипывал в мягкую грудь и не мог ответить.

— Над чем вы сейчас работаете? — спросила дама, сидевшая от меня слева.

Я взял меню. *Филе барашка под лимонно-тимьяновым соусом. Свежие овощи. Запеченная брокколи. Жареный картофель в сухарях.*

— Полагаю, да, — произносила в это время Ее Величество.

Я не мог утихомирить звучавшие у меня в голове дьявольские голоса, они хихикали и сплетничали, нашептывали мне скандальные истории: про принца Филиппа, который якобы крутил роман с принцессой Маргаритой, когда королева была беременна Анной; про принца Эндрю, якобы прижитого королевой от одного из любовников и потому столь непохожего на остальных детей; про нынешнего любовника королевы и целую череду актрисочек, любовниц принца Филиппа, которые регулярно появляются на телеэкране, и знающие люди, усмехнувшись, говорят: "Его красотка".

Ну и ладно. Как сказал мне в кабачке мальчик Кевин, королева свята, не подобна Богу, а божественна по происхождению, она сама — полубог, потомок Создателя. И ее предок — не какой-нибудь забавный идол из политеистического пантеона, а настоящий бородатый Бог, которого пишут с большой буквы, Отче в белых одеждах, Санта Клаус с нимбом, в которого все мы верим. Вот она, английская дилемма. Разумеется, наличие королевы способствует развитию туризма, но если ты англичанин, и к тому же англичанин верующий, тебе следует верить не только в Бога, но и в своего монарха, который приходится этому Богу дальним родственником.

Ее Величество промокнула губы крошечным кружевным платочком.

— Это, должно быть, очень мило.

Она смотрела прямо перед собой, не на меня, а куда-то в пространство. Лейрд Бёрдвуд все говорил: тихо, серьезно. Мужчина, сидевший слева от королевы, был начеку, но вставить слово ему пока не удавалось. Он улыбнулся мне через стол. И без слов, жестом задал все тот же недвусмысленный вопрос: "Работаете над чем-нибудь?"

Я беспомощно улыбнулся в ответ; в это время подавали десерт: шоколадный мусс "ройаль" со свежей малиной. Бокалы наши к этому блюду наполнили (опять же судя по меню) белым шрамсбергским.

Мы улыбались, жевали, потягивали вино. Случай не располагал к беседе. Это было своего рода испытание. Главное — выдержать его с честью и остаться незамеченным, не привлечь к себе внимание. Неопытного человека опасности подстерегают тут на каждом шагу, потому болтать лучше поменьше. Если молчать на подобном обеде, когда в четырех футах от вас сидит сам Бог в королевском обличье, никто не упрекнет вас в излишней сдержанности. А вот излишняя болтливость может обойтись дорого. Я оплошал, вспомнив при появлении королевы о почтовых марках. Хорошо, что мою шутку никто не услышал.

В зале возникло движение: королева поднималась из-за стола, а за ней — все остальные. И вот мы уже кружим по гостиной с вежливыми улыбками и стараемся не думать о том, как Ее Величество восседает на толчке Лейрда Бёрдвуда. Но мне как раз было совершенно необходимо это представить, чтобы в ее образе проступило хоть что-то человеческое.

Вскоре она вернулась, более расслабленная и оживленная, и даже дышала глубже — как все люди, удачно опорожнившие кишечник. Но она находилась далеко от меня, на другом конце гостиной. Я же разговаривал с ее фрейлиной, графиней Эйрли, которая только что поинтересовалась, над чем я в данное время работаю.

— Подумываю поехать на острова в Тихом океане, — ответил я, а про себя добавил: "Чтобы там сгинуть".

— Ее Величество весьма удачно съездила туда несколько лет назад. Мне посчастливилось быть в свите. Потрясающие места. Забавнее всего в Новой Гвинее. — У графини была широкая улыбка и лукавый взгляд. — Ее Величество там чуть речь не произнесла. Представляете!

— Расскажите подробнее, — попросил я.

Королева стояла в дальнем конце гостиной в окружении четырехпяти человек; все они были выше ее ростом, поэтому я различал только проблески сияния королевской тиары.

— Ее Величество рассказывает эту историю куда лучше меня.

Я принялся дрейфовать в сторону королевы. В обступившей ее группе кто-то говорил, она же внимательно слушала; она в совершенстве владела искусством слушать с неподдельным интересом, впрочем, так ей и положено — согласно божественному предназначению. Она не просто умела соблюдать приличия, но была истинно вежлива. В ее присутствии не могло произойти ничего неподобающего — ни свар, ни препирательств. Все пребывало в согласии и гармонии. Она была Богиня Мать.

Но напряжение начинало сказываться и на ней: королевам тяжело быть на людях слишком долго.

— ... он оторвался всем корпусом, —запинаясь говорил какой-то мужчина, — и совсем было взял барьер, но тут оркестр грянул туш, и он испугался, дернулся...

— Понимаю, — прочувствованно сказала королева.

— Он получил незначительные ушибы.

— Это случается, — сказала королева. — Я знаю.

О чем речь? Снова о лошадях? Нельзя же так злоупотреблять всем известной любовью Ее Величества к животным, ее терпение явно начало иссякать. Да и что оно, немереное? Королева за этот вечер не услышала ничего нового, я сам тому свидетель.

— Ваше Величество, — произнес я, — я планирую поехать в Новую Гвинею. Как я понимаю, вы были там несколько лет назад.

— Папуа Новая Гвинея, — уточнила она официальное название страны. — Замечательное место. Их премьер-министр был с визитом во дворце на прошлой неделе. Чудные у него волосы. Такие кудряшки-кучеряшки.

Все с готовностью, истерически подвизгивая, засмеялись; помещение буквально содрогалось от нашего нервного напряжения.

— Да-да, — наставительно произнесла королева, хотя прекрасно понимала, что все и без того обратились в слух. — Иначе их и не опишешь. А его жена! Ни слова не говорит по-английски. Просто сидит рядом и улыбается. Платье — великолепное. А волосы тоже прекурчавенькие.

— Его, кажется, зовут Рэбби Намалиу, — вставил кто-то.

— Да, верно, — кивнула королева.

— Шотландское имя, — заметил я. — Откуда бы?

Она пожала плечами.

— Возможно, в те края когда-то занесло шотландских миссионеров.

Народ недоверчиво засмеялся, а я продолжал, перекрывая смех:

— А ваша речь...

Она внезапно окатила меня холодным, как душ, взглядом. Может, я нарушил правила? Не добавил "Ваше Величество"? Как в детской игре, где к каждой фразе надо прибавлять "чурики", а забудешь — изволь возвращаться к исходной черте. А может, дело вовсе не в этом. Ведь при-

вычная для нее форма общения — монолог. С Ее Величеством не ведут беседу, Ее Величество не обременяют информацией, Ее Величество не торопят... А мои скрепки наверняка торчат из рукавов, да и туфли все еще мокрые.

— В рамках официального визита нам пришлось посетить горные районы, — продолжала королева. — Нас привезли на открытое место далеко за городом. Там собрались люди, несколько тысяч. Некоторые добирались туда пешком три-четыре дня. В волосах у них были понатыканы перья. Одеяния очень милы. Лица раскрашены. Они пришли целыми семьями. Чтобы произнести речь, я поднялась на помост.

— Ваше Величество, а как они к вам обращались? Миссис королева?

Ну, разумеется, Ее Величество не прерывают. Она едва заметно моргнула и продолжала, проигнорировав мой вопрос:

— Я познакомилась со всеми семьями. Глинистый клан. Перьевой клан. Ракушечный клан. Дети, жены, ветхие старушонки — все с размалеванными лицами. Удивительное зрелище.

Мы заулыбались, представив, как раскрашенные подданные глядят на свою королеву.

— Едва я открыла рот, прогремел гром. И люди тут же разбежались, укрылись под деревьями. Я и слова сказать не успела. А потом хлынул дождь. Наверно, они испугались за свои перья. И костюмы — действительно прелестные, было бы жаль их испортить. Короче, продолжать не имело смысла. Мы кое-как добрались до машины, и тут пошел град. Градины колоссальной величины, настоящий обстрел — даже стекла треснули. Потрясающе. Мы тронулись, но далеко не уехали. Этот огромный тяжелый "роллс-ройс" был совершенно не приспособлен для таких условий и тут же завяз в грязи. Водитель жмет на газ, а колеса прокручиваются, и машина кренится набок. Так мы и сидели: ни взад, ни вперед, а в окна хлещет град.

— Я бы пришла в полный ужас, Ваше Величество, — наигранно воскликнула какая-то дама.

— В ужас никто не пришел, но было неприятно.

Она смаковала эффект, произведенный ее словами, а мы ждали продолжения.

— К нам подошел мокрый насквозь человек, судя по внешности, австралиец. Он улыбался. На голове у него была такая смешная австралийская шляпа. Он был изрядно выпивши. Наклонился к самому стеклу, посмотрел на меня в упор... — Тут она сделала паузу и вдруг, поджав губы, произнесла с вульгарнейшим австралийским акцентом: "Хвала кралеве!"

Услышать такие звуки из уст Ее Величества! От блистающей бриллиантами королевы! Все взревели от неожиданности и удовольствия.

— Я его чуть не задушила, — добавила она.

Что ж, размышлял тем временем я, Богиня Мать именно так и должна выглядеть: невзрачное личико, морщинки, лукавый глаз, крохотность. Но при этом — бриллианты, хозяйский вид, умение слушать и делать людям приятное. Она не в силах контролировать все, поэтому люди порой поступают сообразно собственным желаниям. А вообще, сними с нее бриллианты — превратится в старую тетю Бетти. Мы со старыми тетушками обычно не разговариваем, а они нам беспрестанно дают советы.

— Похоже, Ваше Величество объездили все тихоокеанские острова? — сказал я.

Она не ответила впрямую, но мне удалось спровоцировать ее на продолжение монолога. Разговаривать не следует, следует подкидывать темы.

— Я как-то сидела в Лондоне на конференции премьер-министров стран Содружества и заглянула в повестку дня. На обратной стороне был список Содружества. Я достала ручку. И пометила все страны, где побывала. — Взяв в одну руку воображаемый список, в другую — воображаемую ручку, она начала ставить воображаемые галочки: — Здесь была. Здесь была. Здесь была. Здесь не была. Здесь была. Здесь не была. Здесь не была. Так я просмотрела весь список. Потом отдала своему секретарю и сказала: "Я хочу поехать во все страны, где еще не была". Так все и вышло.

— Лучший способ быть в курсе событий, — заметил кто-то.

Ее Величество явно не согласилась, но прямо этого не выразила. Вместо этого она сказала:

— На Самоа прошел жуткий шторм.

— При вас, Ваше Величество?

— Нет, вчера! — ответила она довольно резко. Впервые за вечер она хоть как-то выдала свое раздражение. И добавила: — Западному Самоа вечно достается. А до вас, до американского Самоа, эти страшные шторма не докатывают.

— Я бы очень хотел съездить на тихоокеанские острова, — сказал я.

— Так поезжайте.

Мне хотелось продолжить разговор. Но чей-то голос — как оказалось, Бёрдвуда — шепнул мне на ухо:

— С принцем Филиппом никто не разговаривает. Пожалуйста, подойдите к нему.

Бёрдвуд представил меня высокому человеку, стоявшему в стороне от всех, заложив руки за спину. Представил и тут же удалился. Филипп, герцог Эдинбургский, не спросил меня, над чем я сейчас работаю. Он вообще ничего не сказал. Он улыбался, но так улыбаются люди, которым не по себе. Или у него тоже геморрой? Я попытался завязать беседу:

— Королева как раз рассказывала нам о поездке в Новую Гвинею.

Герцог промолчал.

— Когда хлынул ливень, — напомнил я. Никакой реакции. — И град. И, помните, этот австралиец, "хвала кралеве"? Так забавно!

Он слушал недоверчиво. А потом произнес с глубочайшим скептицизмом:

— Вы и вправду так думаете?

— Но ведь и вы наверняка присутствовали...

— Меня там и близко не было. — В голосе — капризная обида.

— Но в Новой Гвинее-то вы бывали, Ваше Высочество?

Он пожал плечами и фыркнул, раздув ноздри, что, по всей видимости, означало: "Разумеется".

— Потрясающее место.

Он снова пожал плечами. Воистину этот человек отменно умел показать, насколько ему скучно. Чтобы продемонстрировать, как неинтересен ему наш разговор, он произвел жевательное движение челюстями, потом, словно распробовав нечто неудобоваримое, поморщился и изобразил процесс глотания этой гадости.

— Первый раз меня привезли в какую-то деревню, — неохотно процедил он. — Девицы выстроились танцевать. Все, конечно, с голой гру-

дью, зубы сияют. Восторг. Туда я в следующий раз и вернулся. В ту же деревню. А они все в рюшечках-оборочках, в дурацких платьях. Ужас.

— Не одобряете, Ваше Высочество?

— Зачем одеваться в такой жаркой стране? Всё миссионеры проклятые...

— Говорят, Вануату — очень интересное место.

— Вы так считаете? —спросил он укоризненно.

— Я, собственно, не знаю. Но говорят, в Вануату есть целое племя, где в каждой хижине висят ваши портреты.

— Знать ничего не хочу.

— Они вас обожают.

— Я не хочу об этом слышать. — Он уже не улыбался. Потом из его рта исторгся еще какой-то звук.

Это был смех, унылый и лающий. Похоже, герцог смеялся, чтобы меня напугать. Он по-прежнему стоял, глядя мимо, и я по-прежнему смотрел на него в профиль, и нос его торчал на лице, как ручка.

— Я подумываю туда съездить, Ваше Высочество.

— Ну и что вас останавливает? — требовательно спросил он.

— Далековато.

— Вы полагаете? — уточнил он недоверчиво.

— Около десяти тысяч миль.

— Глупости, — пробормотал он, не повернув головы.

Мне захотелось открутить ему нос.

— Значит, вы считаете — надо поехать?

— Да какого черта вас туда несет?

Его безжалостное всеотрицание смутило меня окончательно. О чем же с ним говорить, чтобы не навлечь на себя критики, причем в самой грубой и резкой форме?

— А куда бы вы посоветовали мне поехать, Ваше Высочество?

— Откуда я знаю?

— Я просто спросил, сэр. Я рассчитывал, что вы — кладезь такого рода информации:

— Да ну?

Он нахмурился и снова фыркнул, раздув ноздри. Теперь ясно, отчего никто не желал с ним разговаривать и зачем Бёрдвуд притащил меня к нему знакомиться.

— У меня, знаете ли, есть эта штука новомодная, компьютер. Такие вопросы я обычно задаю ему.

— Отвечает?

— Естественно, нет. Совершенно бесполезная вещь. Толком не знаю, как включать. По старой привычке обхожусь карандашом.

— Я никогда не пользовался компьютером.

— Значит, понятия не имеете, какая это дрянь.

Эту реплику я пропустил мимо ушей. Пора было кончать беседу. Но тут я вспомнил, что герцог — президент Всемирного фонда защиты дикой природы.

— Должно быть, Фонд защиты дикой природы устраивает вам интереснейшие поездки.

— Впервые о нем слышу.

— Вы — президент этого Фонда, сэр.

— Бредни.

— Разве это не так?

— Откуда вы взяли?

На меня он по-прежнему не смотрел.

— По-моему, я это где-то читал. Разве вы не ездили в Африку? Понаблюдать за животными на воле?

— Впервые слышу.

— Так вы не президент Фонда?

— Ну, раз вы читали...

Сказав это, он повернулся ко мне спиной и засигналил своим носом, как семафор. Но Ее Величества в гуще поклонников уже не было.

Герцогу помог рост: Лейрд Бёрдвуд заметил его сигналы, тут же подскочил и принялся многословно благодарить за визит. Герцог улыбался — с прежним недоверчивым неодобрением. Я боком-боком отошел и, стремясь побыстрее скрыться от этого жуткого типа, оказался в соседней комнате, лицом к лицу с королевой. Она поправляла платье. Вздрогнув от неожиданности, она вздернула подбородок — точь-в-точь как на почтовой марке — и, похоже, вспомнила, кто я такой.

— Судя по всему, вы попали в жуткий переплет, — сказала она.

— Вы правы, — кивнул я, да и был ли смысл отрицать? Она, конечно же, все знала.

Мне, непонятно отчего, стало очень страшно, а когда она приблизилась, я задрожал.

— Если просто слоняться, себя жалеючи, ничего хорошего не выйдет. — Она склонила голову, сердито насупив брови, непослушная тугая грудь ее натянула жесткую кисею шитого бисером платья, и взору моему на миг явилась заветная ложбинка. — Вам, молодой человек, нужна цель в жизни.

— Да, мадам, — выдохнул я, с трудом удерживаясь от безрассудства: мне безумно хотелось коснуться этой груди.

— То, что происходит с вами, происходит со многими. Уж я-то знаю. И не воображайте, что ваши горести дают вам какие-то особые права.

Я не смел взглянуть ей в глаза, но смотреть на распирающую платье грудь было еще страшнее.

— Вы, кажется, пишете книги?

— Да, мадам.

— Вот и займитесь своими книгами.

И протянув руку к моей ручонке, дрожащей возле выреза ее платья, она прикоснулась, просто прикоснулась — я ощутил что-то наподобие укуса пчелы и невольно распрямил пальцы.

— Хорошо, мадам.

Сильная рука герцога распахнула дверь. За ним вошли лорд и леди Эйрли, следом — Бёрдвуды.

— О господи! — сказал герцог.

— Я как раз прощался, — поспешно произнес я.

— Он пишет книги, — сказала Ее Величество.

— Доброй ночи, Ваше Величество. Доброй ночи, Ваше Высочество.

— Чего ж тут доброго? — возмутился герцог. Я растерялся. А он добавил, с ужасной своей улыбкой: — Вы нам мешаете!

Проходя мимо меня, королева сказала с изысканным британским акцентом:

— Не откладывайте, поезжайте на острова.

Я пообещал, что поеду непременно. А себе сказал: хоть это-то обещание сдержи.

— Может, и не вернетесь, — добавила она.

А потом напряжение в комнате вдруг спало, точно на потолке открылся невидимый клапан. Королевская чета бок о бок прошествовала к дверям. Маленькая миссис Бог и ее высокий супруг, принц-консорт, — целая процессия. Со спины они выглядели немного глупо и как-то беззащитно. Облеченные высшей властью и одновременно простые смертные. С ними следует обращаться бережно, а то еще разобьются, точно хрупкие античные вазы. Ее я полюбил, а над ним чувствовал превосходство.

Больше никто ни с кем не прощался. Бёрдвуды поблагодарили меня за то, что приехал. Я вышел, поискал остановку автобуса, но снова заморосил дождь, и я сдался. Взял такси до Эрлс-корт и Букингемского, то бишь Сандрингемского дворца, где, пока я шел по коридору, из-за каждой двери неслись жалобы. А в моей комнате опять разговаривали стены.

– Разве ты не понимаешь? Уже поздно. Я не хочу, чтобы ты возвращался, – из комнаты справа.

– Потому что мне от тебя тошно, вот почему, — из комнаты слева.

Лежа в кровати, я услышал знакомый голос:

– Я не хочу, чтобы все так кончалось.

– Заткнись. Убирайся из моей жизни. Посмотрим, как тебе это понравится. Еще пожалеешь.

– Ничего, справлюсь.

За другой стеной женщина говорила по телефону. Этот голос я тоже узнал.

– Ты, подонок, не смей мне больше звонить, никогда!

Она повесила трубку. Послышался приглушенный смех — мужской. Значит, она не одна. Голос ее звучал уверенно, но по остальным признакам — бормотанию и шепотам — я определил, что ей с этом мужиком не очень-то уютно.

Вскоре стены притихли. И в этой тишине была какая-то законченность. Наутро я уехал, прямиком в аэропорт. А в том месте, где королева коснулась моих привычных к перу пальцев, осталось теплое пятнышко. Пощипывало, как от недавнего укуса пчелы. Не больно, даже нежно. А еще казалось, что мои пальцы стали чувствительнее: они обрели память, словно плоть и вправду умеет помнить...

Перевод Ольги Варшавер

Эпилог: *Личные вещи*

На ящиках, доставленных из Лондона, значилось “Личные вещи”. Я открывал их наугад, разрывал упаковку, расставлял освобожденные предметы на залитом солнцем газоне.

Большой медный самовар. Москва, 1968 год. На боку вмятина, оттого что я пытался запихать его ногой под сиденье, когда летел из Москвы в Дели, чтобы оттуда уже отправиться в Сингапур. Помню, как я волновался, не поинтересуется ли советский таможенник, где я менял валюту, чтобы сделать эту покупку. Менял я доллары нелегально, на черном рынке, по курсу один к восьми. Самовар обошелся мне в десять долларов. Но таможенник содрал бумагу, в которую самовар был завернут, и увидев, что это такое, улыбнулся и заметил: “Чай, значит, любите”.

Деревянный чайник — красный лак, Токио, 1976 год. Подарок от моих хозяев. Мне понравился такой чайник в кафе, где мы ели лапшу. Я задержался возле него и сказал: "Какая прелесть!" На следующий день мне вручили точно такой же — без комментариев.

Толстая керамическая чашка. На донышке карандашная надпись: "Папе. Изготовлено Уиллом летом 1984 года под строгим надзором м-с Уэйлен".

Пенковая трубка. Чашечка — голова бородатого турка в тюрбане. Стамбул, 1973 год. Приобретена во время поездки, описанной в "Железнодорожном базаре". Серебряная пивная кружка с крышкой (сделано в Англии) — Уитбредовская литературная премия 1978 года за "Дворец изображений". Медальон с надписью "Журнал "Плейбой". Лучший рассказ 1975 года". Премия Массачусетского университета "Асошиейтед алумни" 1984 года — тарелка с надписью "За выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности". Ее мне вручил губернатор Массачусетса Майкл Дукакис, неудачник президентской кампании 1990 года.

Сделанная в Индии металлическая шкатулка, изнутри инкрустированная серебром. На донышке надпись: "Алисон и Полу с любовью. Счастливого брака! От Барбары и Раджата, декабрь 1967 года. Кампала".

Половинка минерала пурпурного цвета. Подарено в Лондоне в 1972 году женщиной, которая сказала: "Это жеода. Неужели вы не знали?"

Ожерелье из собачьих зубов. Новая Гвинея. "Пожалуйста, приезжайте, Мистер Пол. Поедем опять ловить рыбу и много наловим". Медная черепаха — сосуд для курения фимиама, из Южной Индии, приобретено в 1986 году, когда Антон работал в лагере "SOS—дети!" неподалеку от Мадраса. В тот год он поступил в Кембридж.

Человеческий череп с откидывающейся пластиной наверху. Куплен за 150 фунтов у моей бывшей студентки из Сингапура Чен Е Чун. Она называла его "Генри".

Китайская светло-зеленая чашка из нефрита. Маленькая рыбка из горного хрусталя, купленная в Ченду, Сычуань. Большой медный храмовый сосуд, купленный на базаре в Лхасе, Тибет. Золотая Тара[1], тоже из Тибета. Чаша из человеческого черепа, отделанная серебром. Набор деревянных мисок, тоже отделанных серебром. Напоминание о путешествии 1986—1987 годов, описанном в "Железном петухе". Как заявил мне тибетский проводник: "Должен предупредить, что все это воспрещается вывозить из Китая. Можете, конечно, попробовать, но мое дело — поставить вас в известность".

Набор тростей. Одна из хребта акулы (с продетым внутри стальным стержнем), а рукоятка из клюва додо; другая — из эбонита, рукоятка — тигровый клык. Уэльс, 1982 год, поездка описана в "Королевстве у моря". Две малаккские трости — одна из ротанга с серебряным набалдашником, вторая — бамбуковая, трость-шпага.

Кожаная шкатулка из Флоренции, мамин подарок (1976 год), внутри морская раковина из Флориды. Медная керосиновая лампа, купленная на блошином рынке в Сингапуре в 1969 году. Череп маленького крокодильчика, купленный в Зимбабве во время визита к Уиллу, где он преподавал в Гуруве, 1988 год. В тот год он поступил в Оксфорд. Коровья челюсть, найденная в поле близ Эдлстона (Шотландия) во время семей-

1. Буддийская богиня.

ной прогулки в 1982 году. В тот же день мы повстречали овцу, так сильно обросшую шерстью, что, упав, она никак не могла подняться — беспомощная, словно черепаха на спине.

Мощный микроскоп, приобретенный на аукционе в Патни (юго-запад Лондона) в 1975 году. Свой первый микроскоп я купил, когда учился в шестом классе и решил стать врачом. Я всегда жалел, что не связал свою жизнь с медициной, но с двенадцати лет обзавелся и вовсю пользовался самыми разными микроскопами.

Иголка дикобраза из Малави, 1964 год. Этот предмет, считающийся талисманом на счастье, был куплен мною на базаре в Лилонгве у мганги, знахаря, который исцелял тех, в кого вселялась нечистая сила. Он сказал: "Это стоит шестьдесят шиллингов". "Два", — ответил я. "Хорошо, хорошо", — отозвался знахарь и вручил мне иглу.

Кинжал с роговой рукояткой в форме льва. Приобретен в Коломбо, Шри Ланка, 1973 год. Я вскрывал им конверты. Зубастые челюсти барракуды из Момбасы, 1985 год.

Рог антилопы куду, обнаруженный мною в лондонском магазинчике (1974 год). Прямоугольное мраморное пресс-папье. Лондон, 1978 год. Большой овал, керамика с глазурью, — феникс на пне. Кунминь, Китай, 1986 год.

Оловянный чайничек с ручкой из нефрита, Сучжоу, Китай. Большая резная лакированная рыба — из поездки по Янцзы, 1979 год. Металлическая чернильница в форме лягушки. Гонконг, 1987 год.

Маленькие деревянные ступка и пестик, чтобы смешивать бетель и лайм. Два резных деревянных борта от каноэ, два деревянных носа от каноэ в форме крокодилов, Новая Гвинея, 1991 год.

Две бронзовые буддийские Тары. Дарджиллинг, 1984 год. Голова китайской куклы-демона. Янгу, 1986 год. Бинокль. Трубка для опиума, Сингапур, 1970 год. Большой круглый аквариум с орнаментом из карпов. XVIII век, Шанхай. Африканский топорик из Малави, 1965 год. Картина на деревянной доске: мандарин и двое слуг — из вьетнамского храма, частично разрушенного при авиабомбежке, приобретена у китайского торговца антиквариатом, устроившего свой магазин на чердаке. Сайгон, 1973 год.

Деревянное кресло, купленное в Фулеме (Лондон, 1976 год) с двумя потертыми бархатными подушками. Квадратный ярд ткани из Гватемалы (ручная работа), портрет святого Доминика из Перу (XVIII век) — путешествие, описанное в "Старом патагонском экспрессе", 1978 год. Топографическая карта побережья Гондураса. Коврик из Ирана с орнаментом — мужчины с автоматами. Викторианская садовая статуя (свинец), вариация на тему "Освобожденного раба" Микеланджело.

Сборник стихов Фроста "На вырубке" с надписью "Полу Теру — от Роберта Фроста", 1962 год.

Тиковый письменный стол с большими оригинальными ножками и тиковое кресло. И то и другое изготовлено на заказ плотником-китайцем в Сингапуре по моему рисунку. Я сделал эскиз идеального стола писателя. Тогда я писал "Любовники в джунглях" на шатком обеденном столе и страшно страдал.

Картины, книги, папки, чемодан с рукописями. Небольшая сумма денег.

И еще большая стеклянная миска (на дне надпись "Сделано в Польше"). Куплена мною в 1964 году в Ньясаленде. Уж не знаю, как со-

хранилась за столько лет эта простая посудина. Это было одно из первых моих приобретений, но не потому дорога мне миска. В ней мой африканский повар Джулиус Могойа подавал фруктовый салат. Собственно, по его настоянию я и приобрел миску, и в тот же день Джулиус доверху наполнил ее ломтиками бананов, груш, апельсинов, мандаринов, добавил туда папайи и винограда. Салата оказалось слишком много. Прошла неделя, а я одолел только полмиски. Но Джулиус и не подумал ничего выбросить. Он только добавил еще фруктов, и миска снова наполнилась до краев. Так он поступал и впредь: перемешивал новое со старым, сладкое с кислым, твердое с размякшим. Джулиус никогда не опорожнял миски, даже если в ней оставалось всего ничего. Раз в неделю миска опять наполнялась, и год за годом я питался таким салатом. Теперь, в свои пятьдесят лет, я обрадовался салатнице, ибо понял, что это такое. Никогда не кончавшийся фруктовый салат Джулиуса стал для меня воплощением смысла жизни и символом искусства.

Перевод Сергея Белова

Сергей Белов

Большой литературный базар, или Старый экспресс фантазии

Творческий путь Пола Теру

Выход в свет автобиографии писателя, которому не так давно исполнилось пятьдесят, может всерьез насторожить его поклонников: тяготение прозаика к подведению итогов — тревожный симптом угасания творческого импульса. Однако в случае с американцем Полом Теру (р. 1941) причин подозревать его в творческой немощи вроде бы нет. Теру написал книгу весьма оригинальную, где документальное, мемуарное, автобиографическое пропущено сквозь призму художественной фантазии, и эффект получился впечатляющий, как и следовало ожидать от писателя такого калибра.

"Лирический герой" "Моей другой жизни" только преодолел полувековой рубеж и переживает личный и творческий кризис. Любопытно, однако, что этот кризис был уже как бы спрогнозирован и проанализирован Теру в романе "Святой Джек" (1973), когда автору едва перевалило за тридцать. "Пятьдесят -— опасный возраст... — рассуждает о себе герой-повествователь. — Он несет в себе все страхи, которые одолевают того, кто оказался застигнут врасплох, переходя улицу с оживленным движением, и уже не понимает, куда идет; или того, кто стоит в темной комнате, заставленной мебелью, и боится увидеть тараканов, присутствие которых чует нутром. Человеку пятидесяти лет есть много что сказать, но никто не желает его слушать. Его страхи кажутся невероятными — то ли в силу их новизны, то ли потому, что он их выдумал... Он испытывает неодолимую усталость. Ему хочется быть молодым, но (он понимает, что ему положено уже быть старым. Но он не молод и не стар, и это его не на шутку пугает. Друзья все на него похожи, а значит, от них нельзя ждать помощи. Плохо прожить столько лет и, проделав долгий путь, понимать, что ничего не вышло и тебя может спасти только чудо, на которое,

© С. Белов (наследники), 2000

чем, нет смысла надеяться. Смотреть же в будущее и считать, сколько пустых лет тебе еще осталось, — значит поддаваться какому-нибудь криминальному искусу или начать воссылать молитвы Всевышнему. Успех гадок, говорят преуспевшие, но им внемлют лишь неудачники, изведавшие мерзости жизни и без помощи денег. И тогда тебе становится вдруг ясно: корабль идет ко дну, и удел пятидесятилетнего — вплавь добираться до островка, где его ждет не спасение, но поражение — в самых разных обличьях".

Цитата длинновата, но в ней при желании можно отыскать ключ к пониманию не только грустной "Моей другой жизни", но и к тому сложному узору, который образуют жизнь и творчество Пола Теру.

Пол Теру успел зарекомендовать себя большим искусником в деле превращения повседневного факта в художественную фикцию, каковая может выглядеть реальней самой реальности и, уж конечно же, куда занимательней и содержательней последней. Впрочем, относительность понятий "реальное" и "мнимое" теперь уже ни для кого не секрет, и — к прискорбию поборников диалектического материализма — реальность и становится реальностью исключительно благодаря усилиям созерцающего ее субъекта, а, "отражая жизнь", настоящий художник должен уметь творчески деформировать ее, пытаясь в результате "сдвига пластов" явить миру некие любопытные сущности.

Надо сказать, жизненный путь Пола Теру весьма способствовал взращиванию в нем отношения к факту лишь как к плодотворному материалу. В 60 — 70-е годы он успел повидать мир во всем его разнообразии. В составе "Корпуса мира" он работал в Африке, преподавал в Уганде. Потом был исключен из этой организации, когда в Ньясаленде оказался замешан в политическом заговоре. Из Африки "заговорщик поневоле" перекочевал в Азию, преподавал в Сингапуре, а в 70-е годы совершил "железнодорожную кругосветку", сначала прокатившись по маршруту Лондон — Токио и обратно, а затем по обеим Америкам. Результатом стали два бестселлера: "Большой железнодорожный базар" и "Старый патагонский экспресс". Эти книги не только убедительно показали, что и отчеты о путешествиях могут быть изящной словесностью, но и заставили читающую публику пристальней присмотреться к ранее написанному Теру — к его новеллам и романам.

В первых вещах, построенных на экзотическом африканском и азиатском материале, критики не преминули усмотреть "влияние Конрада": Теру снова и снова обыгрывал ситуацию, когда представитель западной цивилизации вдруг оказывается в джунглях чужой — чуждой — культуры. Хотя "влияние", наверное, не самый точный термин. Теру не только плодовитый писатель, он еще и заядлый читатель, который с удовольствием и изыском вплетает мотивы полюбившихся ему авторов в повествовательную ткань своих новелл и романов. В "Моей другой жизни" есть характернейший эпизод: двадцатитрехлетний Пол едет по африканской глуши в жутком вагоне какого-то немыслимого поезда; он держит путь в колонию прокаженных, с интересом поглядывает в окно и время от времени углубляется в лежащий у него на коленях том — "Дневники" Кафки. У него отличное настроение, и он проверяет "на аутентичность" и кафкианские образы, и картины Африки. Жизнь и литература активно участвуют в творческом конкурсе. В эпоху всеобщего падения интереса к чисто художественному вымыслу такой прием оказывается эффективным: он не только заставляет внимательней вчитываться в текст, но и напоминает о потенциальной художественности "объективной реальности".

Пол Теру — не из тех авторов, кто врывается в литературу словно комета, вызывая бурные пересуды критиков и ажиотаж читателей. Он медленно, но верно осваи-

вал ремесло прозаика, пока не превратился в одного из наиболее интересных и "внятных" — если воспользоваться формулой его персонажа из "Моей другой жизни" — писателей современности (глава "Писатель и читатель"). Уже ранние вещи говорили об отличных задатках автора, о его безусловной одаренности и влюбленности в процесс писания, но они оставались скорее эскизами, обещанием будущих свершений, которые, к счастью, из туманных сфер вероятного объективировались в тексты, увидевшие свет в 70 — 80-е годы. Впрочем, и произведения конца 60-х — начала 70-х радовали вниманием автора к деталям, звукам, краскам реальности, которая при всей своей колоритности, самодостаточности оказывается также и метафорой, формой для передачи определенного, важного для Теру содержания.

О чем может писать просвещенный западный интеллектуал, решивший попробовать себя в изящной словесности? О непростых взаимоотношениях личности и общества, о сложных процессах, происходящих внутри этой беспокойной личности? В известном смысле да, хотя за подобными клише индивидуальный почерк художника как-то блекнет, утрачивает неповторимость. В своих "афро-азиатских" вещах Теру не просто рассказал о том, как чувствуют себя экспатрианты, не только напомнил западной читательской аудитории о том, что современный мир широк и, по сути дела, еще плохо изучен, по крайней мере в рамках художественного анализа. Удачно сочетая в себе иронического наблюдателя, социолога и живописца, Теру воспользовался экзотической моделью в качестве "механизма очуждения", позволившего увидеть антитезу "личность — общество" под неожиданным углом и, следовательно, разглядеть "обратную сторону Луны", обычно недоступную взорам, иначе говоря, обратить внимание на то, что заслоняется суетой будничности. Кроме того, даже повествуя о людях, вроде бы никак не связанных с литературным творчеством, Теру сумел сохранить в пределах повествования фигуру автора, создателя текстов, укрыв его, правда, за фабульными коллизиями. Отношения героев Теру с реальностью нередко отражают борьбу художника с материалом, упрямо отказывающимся подчиняться воле писателя и норовящего выкинуть фокус-другой. Порой, однако, тема художника и укрощаемого им хаоса вырывается на первый план. Так, повидавший виды герой-повествователь "Святого Джека" вдруг садится за роман. Дело у него идет неважно: описания природы выглядят банальными, персонажи получаются "то скотами, то ангелами", но герой продолжает начатое, ибо чувствует: "Литература обещала мне шанс, в котором отказала жизнь". И это станет лейтмотивом всего творчества Теру.

И в "Женских играх" (1968), и в "Святом Джеке" было немало локальных удач, но первый настоящий успех к Теру-прозаику пришел с публикацией "Семейного арсенала" (1976). Теперь действие перенесено из жарких стран в туманный и дождливый Лондон, но и этот оплот западной цивилизации в интерпретации Теру выглядит местом не менее опасным, зловещим и непредсказуемым, чем экзотические дали, описанные им ранее. Тема насилия, всегда присутствовавшая в сюжетах Теру, здесь прочно занимает главенствующие позиции. "Семейный арсенал" посвящен проблеме терроризма в его британской разновидности. Сохраняя верность идее "привлечения к работе" видных литературных авторитетов, Теру при построении "Семейного арсенала" активно использует мотивы "Секретного агента" Конрада, "Тихого американца" Грэма Грина, но в первую очередь — "Княгини Казамассима" Генри Джеймса. Этому роману, посвященному, по словам Джеймса, "зловещему анархическому подполью, вздымающемуся в муках ненависти", к моменту выхода "Семейного арсенала" исполнилось девяносто лет, но проблемы конца XIX века, как оказалось, не утратили своей актуальности.

Главный герой интеллектуального триллера Теру, тридцатилетний американец Валентин Худ, — выходец из состоятельной семьи, выпускник Гарварда, а в прошлом дипломат. В соответствии с давней традицией американской прозы, где всегда есть место бунту против устоявшегося, социально и официально одобренного, в один прекрасный день Худ восстает против рутины, рвет с истеблишментом.

Худ обладает талантом нести гибель и разрушение всему, с чем и с кем сводит его судьба (не случайно Худ в переводе может означать и "бандит"; имя же его, Валентин, вызывает ассоциацию с любовью). Антагонист Олдена Пайла из гриновского "Тихого американца", он не менее опасен для человечества. Пайл страшен своей комиссарской убежденностью в правоте собственных идеалов, Худ — полным отсутствием таковых. В известном смысле Теру идет на творческий эксперимент, пытаясь понять, что было бы, если бы за оружие взялся гриновский Фаулер.

Есть у романа Теру еще один источник питания — "Бесы" Достоевского. На страницах "Семейного арсенала" возникает целое сборище современных британских бесов. Это и путающая секс и революцию любовница Худа Майо, и актриса Араба Найтуинг, в театре играющая "вечного мальчика" Питера Пэна, а в жизни охотно помогающая террористам. В центре же колоритной, прихотливо выписанной композиции — богачка и суперрадикалка леди Эрроу, в модном салоне которой можно встретить и министра внутренних дел, и только что освободившегося "бомбиста". В поисках острых ощущений эта светская львица коллекционирует не только картины, но и людей, "тех, кто в моде", превращая их в "живые игрушки" для утоления своей непомерной скуки. "Она хотела бы быть и террористкой, и жертвой террора", — пишет Теру.

"Семейный арсенал" радует не только изяществом построения и письма (уроки мастерства таких стилистов, как Джеймс и Конрад, вполне усвоены Теру). В отличие от многих коллег по перу, Теру не поддавался влияниям литературной и политической моды. Как и Ивлин Во, он никогда не приспосабливался и не угождал "прогрессивному общественному мнению", и 70-е годы в этом плане ничего не изменили. Любопытно, что выпущенный в 1979 году роман о терроризме политкорректнейшей Мэри Маккарти читается после "Семейного арсенала" как неловкая пародия. Маккарти очень боится идти не в ногу со временем и своим романом пытается "просветить" читателя, уберечь его от ретроградных суждений и осуждений. Теру же играет — и исследует. Примечательно, кстати, что в обоих романах сопрягается тема терроризма и искусства. Майо крадет из музея картину. Левацкая группировка, захватив "капиталистов", в качестве гарантии безопасности держит в доме, где томятся их узники, и принадлежащие последним холсты старых мастеров. У Маккарти в финале грянет взрыв, который уничтожит дом, а с ним и террористов, и заложников, и картины. Это символическое "убиение культуры", в ненависти к которой охотно признавались "новые левые" 70-х, видя в ней оплот буржуазности. "Что касается Моны Лизы, я позволил бы ее сжечь, не раздумывая и минуты", — кокетничал Жан-Поль Сартр, лихо бунтовавший против истеблишмента, если это было безопасно и приносило политические баллы.

Сжигать и уничтожать, однако, дело нехитрое. К счастью, талант Теру имеет подчеркнуто конструктивно-созидательную направленность, и школа документалистики тут, конечно же, сослужила ему хорошую службу. Что же касается середины 70-х — начала 80-х — это самый плодотворный пока что период его литературной активности. В 1978 году он выпускает "Дворец изображений". Поставив в центр сюжета знаменитого мастера художественной фотографии Мод Коффин Пратт, от лица которой и ведется повествование, Теру тем самым получил отлич-

ную возможность для подробного анализа творческой индивидуальности, а также взаимоотношений искусства, реальности и судьбы художника. Семидесятилетняя Мод в преддверии выставки, посвященной пятидесятилетию ее творческой работы, подводит некоторые итоги, возвращаясь памятью к ключевым моментам своей жизни и карьеры. Похоже, этот роман — еще одна невольная репетиция "Моей другой жизни", и если Теру не очень органично удалось вписаться в психологию пожилой, хоть и энергичной американки, он, во всяком случае, сумел войти в образ американского художника XX столетия, преодолевающего соблазны легкого коммерческого успеха, пробивающего себе дорогу к славе и самоосуществлению наперекор интригам законодателей моды, а главное, преодолевающего сопротивление капризного жизненного материала и придающего этим вырванным из потока жизни "мимолетностям" художественную ценность.

Если в размышлениях Мод слово "фотография" заменить на "литература", получается творческий манифест самого Теру, согласного со своей героиней в том, что "нюансы — это все". Зоркий и остраненный созерцатель, он не случайно заставит *своего персонажа* Грэма Грина произнести фразу: "Ясно видят только посторонние. Чтобы верно описать ситуацию, надо находиться вне ее". Когда же Грин и Мод Пратт заговорят о путешествиях, это Теру скажет устами героини: "Путешествия открыли мне глаза". Когда Грин поинтересуется, почему Мод решила сделать его портрет, в ее ответе послышатся знакомые нотки Теру: "Потому что... потому что люди увидят изображение моего лица поверх вашего, — и докончила: — Потому что это самый близкий путь к тому, чтобы создать свой собственный портрет".

Вопросы психологии творчества, внутренней мотивации художника всегда трудно поддавались научному анализу. Систематичность подхода тут легко оборачивается упрощением и даже вульгаризацией волшебных хитросплетений стимулов и поощрений. Однако косвенное исследование — от частного к общему, через историю жизни вымышленной Мод Пратт — вызывает доверие самых придирчивых читателей и пробуждает работу их мысли. Ее творческие победы вызваны душевной травмой — безответной любовью, а творчество, в свою очередь, безжалостно: первый успех Мод связан с серией фотографий, кладущих конец деловой карьере ее отца.

Теру не случайно "заказывает" своей героине серию портретов мастеров англоязычной словесности. Это дает ему повод создать — в слове — свою портретную галерею современных классиков, где человеческое и творческое тесно связаны. Похоже, Теру немножко завидует собственным персонажам. Они-то оказались "увидены" — и запечатлены для вечности, а вот ему самому приходится пока пребывать в безликости (как, кстати, в сюжете оказалась "без лица" и запечатлевшая столько чужих лиц Мод). Этот изъян, однако, он с блеском исправляет в "Моей другой жизни". Кто же лучше создаст художественный образ Теру, чем сам Теру?

Пол Теру удачно сочетает в себе тягу к эксперименту и любовь к традиции. Его сюжеты оригинальны, трактовки неожиданны, но творения "старых мастеров" остаются если не эталонами, то, по крайней мере, материалом, к которому он постоянно обращается как к реальности, не менее значимой, чем повседневность. Более того, Теру очень ценит и отлично исполняет роль Рассказчика — он из тех повествователей старой закалки, что, существуя в русле устной традиции, собирали вокруг себя у костра или камина слушателей, жадно внимающих каждому их слову и с нетерпением ожидающих развязки.

В "Моей другой жизни" Теру решил поэкспериментировать с таким уважаемым на Западе жанром, как автобиография. Собственно, то, чему он успел стать свиде-

телем, само по себе весьма любопытно, и, двинься он по проторенному руслу мемуаров, его книга, вне всякого сомнения, тоже имела бы успех.

Но Теру не спешит отдаться чистой мемуаристике. Его увлекают иные задачи, волнуют свои, особые проблемы. Похоже, он и впрямь испытал насущную необходимость выговориться, пойти с читателем — или с самим собой — на откровенность. Но при этом выбрал "окольный путь". Теру разглядывает себя в хитроумном зеркале, где отражается лик персонажа по имени Пол Теру. Писатель пробует себя в роли героя своего произведения. Дополнительное своеобразие ситуации состоит в том, что читатель лишен возможности проверить, насколько соответствуют приведенные в книге факты действительности. Это позволяет автору быть откровенным и не стесняться своей незащищенности перед публикой. Последней остается лишь гадать, действительно ли украл, а затем и выгодно продал герой китайский раритет, принадлежавший жене химика-американца, которому он давал уроки поэзии ("Уроки поэзии"). Мало кто, наверное, поверит, что автор и впрямь решил написать новеллу о пришедшей брать у него интервью журналистке и не узнал в ней ту австралийку, которую уже сделал персонажем главы "Железнодорожного базара" ("Рассказ путешественника"). Приходится принять на веру историю Теру о том, как в одном лондонском доме на приеме он встретил Елизавету II ("Прикосновение королевы"). Не исключено, что у него никогда не было школьного друга, чернокожего Джорджа Дэвиса ("Джорджия"), который после школы двигался курсом, параллельным авторскому, посещая те же места и страны, что и Пол, но если последний оставался созерцателем, регистратором чужих поступков, то он, Джордж, был деятелем, делателем, поставщиком авантюрных сюжетов — не хуже тех, что рождала фантазия Теру. И лишь в "Предшественниках" даже самый доверчивый читатель воскликнет: "Не верю!", когда ему предложат "правдивый отчет" о встрече с Андреасом Форлауфеном, писателем из Восточной Германии, таинственным образом написавшим все то, что сочинил сам Теру, причем задолго до последнего. Такая "внезапная встреча" — ироническая вариация на тему литературных влияний и ехидный ответ критикам, слишком четко представляющим себе, "кто от кого произошел". Увы, естественное человеческое желание узнать, "как это реально случилось", никак не удовлетворить в рамках "Моей другой жизни", где факты подвергаются "спецобработке". За образной структурой "псевдоавтобиографии", написанной с нарочитой простотой, тяготеющей к афористичности ("Я давно понял, что газетная страница — это не зеркало и редко окно в мир"), открывается сложно организованный содержательный пласт — вполне откровенный разговор о себе, своей жизни и творчестве. Что касается последнего, то Теру не отказывает себе в удовольствии высказаться кое о чем без обиняков, открытым текстом. Существует давнее заблуждение, будто прозаику весьма полезен "разбор критика (анализ литературоведа), якобы выявляющий некие существенные моменты", которые сторона созидающая, действуя, так сказать, по наитию, в творческом порыве, и сама толком не осознала. Это вызывает у автора "Моей другой жизни" следующую тираду: "Литературно-критические отклики лично мне никогда не помогают и всегда утомляют. Если уж вы, друзья, не в силах меня воодушевить, то лучше уж оставьте в покое. От критиков я хочу того же, что и большинство писателей, — безоговорочных похвал".

Разумеется, это мелочь, почти что случайная оговорка, но тем не менее сказанное заставляет усомниться в том, что для Теру существует треугольник "писатель — критик — читатель". Сплошь и рядом контакты носят "бинарный" характер ("писатель — читатель" или даже "критик — читатель"), но между критиком

и писателем пролегает пространство, через которое нелегко провести линии коммуникации.

В довольно сложном узоре "Моей другой жизни" тема взаимоотношений частного существования литератора и того, что создает его творческое воображение, занимает очень важное место. "Моим откликом было сочинительство, — признается автор. — Я самовыражался через своих героев, я получал удовлетворение от того, что мог перестраивать в своих писаниях свой мир, делая его полнее, интенсивнее, содержательней и тем самым стремясь подчинить себе поток бытия... Наверное, во мне говорило некое вечное, вневременное начало, реализующееся через литературу вымысла".

Роман "Москитовый берег" (1981), ставший бестселлером и не без успеха экранизированный, представил читателям, пожалуй, одного из самых колоритных персонажей американской словесности последних двух десятилетий. Элли Фокс энергичен, красноречив и изобретателен. В отличие от героев ранних романов Теру, порядком маявшихся на чужбине и тщетно пытавшихся отыскать дорогу домой, Фокс чувствует себя не в своей тарелке в родной Америке, которая, по его глубокому убеждению, поклоняется лжекумирам, погрязла в пороках и вообще катится в пропасть. Его бесит тупоумие погруженных в апатию соотечественников, которые, как он говорит, "едят, когда не голодны, пьют, когда не испытывают жажды, покупают то, что им ни к чему, а нужное выбрасывают". Он с насмешкой отзывается об индейцах, прибывших из Центральной Америки в Северную в поисках лучшей жизни. Он-то как раз намерен идти против течения и, покинув с семьей США, навсегда обосноваться в гондурасской глуши и там попытаться построить жизнь в полном соответствии со своими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Фокс — стопроцентный американец и действует в полном соответствии с традициями того доброго старого индивидуализма, который вдохновлял разочарованных непосед, покидавших Старый Свет ради "страны безграничных возможностей", а в Америке уходивших с насиженных мест, когда порядки начинали казаться им дурными, и покорявших Дикий Запад.

Создавая новейшую американскую утопию, Теру отказался от литературных изысков "Семейного арсенала" и "Дворца изображений" и использовал стратегию "наивного взгляда". Доверив повествование четырнадцатилетнему сыну Фокса — Чарли, Теру подключился к славной американской литературной традиции, идущей от твеновского Гека Финна через юных героев Хемингуэя и Шервуда Андерсона к сэлинджеровскому Холдену Колфилду. Неискушенные, только вступающие в жизнь герои смотрели на мир с удивлением и недоумением, помогая читателю отрешаться от стереотипов восприятия и не путать привычное с истинным. Чарли слепо верит в отца, охотно выполняет все его распоряжения, но — ирония номер один, хитрость Кандида — вместе с другими детьми в часы досуга строит свою утопию, заповедное местечко Акр, где невинные души играют во все, что объявлено Фоксом-старшим вне закона: в школу, в СМИ и в церковь.

Господь Бог — один из главных антагонистов Фокса, который видит во Всевышнем нерадивого мастерового; ведь он, создавая этот мир, порядком напортачил и затем преспокойно удалился, предоставив разбираться во всем простым смертным. Собственно, "освоение" гондурасской глуши происходит в обстановке жесточайшей конкуренции. Фокс, вроде бы олицетворяющий деловитость, прагматизм и веру в себя, состязается с миссионерами, которые, по его словам, "улучшают Бога, а не обстоятельства", не давая "дикарям" стать разумными творцами своей судьбы.

Поначалу все идет как по маслу. Строится новая жизнь, обитатели поселка получили удобные дома, отличные семена, а кроме того, и "Толстячка" — минизавод по изготовлению "льда из огня" без помощи электричества, благодаря хитроумному использованию аммиака и водорода. Лед, столь нужный и дефицитный в тропиках, становится "амбивалентным символом" торжества изобретательства и эфемерности человеческих планов и конструкций в нашем сложном, чреватом потрясениями мире.

Первое потрясение Фокс получит, когда в его отсутствие в лагерь вторгнется враг-миссионер и уведет часть Фоксовой "паствы". Второе потрясение будет связано с появлением трех белых бродяг с оружием. Трудно сказать, насколько опасны они были для благополучия поселка, но Фокс, недовольный посягательством на его права властелина, заманит их в холодильник, надеясь превратить в глыбы льда. Увы, человек лишь предполагает. Незваные гости погибнут, правда в огне, но и "Толстячок" взлетит на воздух, а вырвавшийся на волю аммиак сделает поселок непригодным для жилья. Борец за экологию станет виновником экологической катастрофы.

Теперь изобретатель в Фоксе уступает место политику-демагогу. Как изобретатель он был безукоризненно честен — иначе нельзя добиться поставленных целей в борьбе с неодушевленной, не внемлющей перлам красноречия материей. Как политик он вынужден лгать — именно ради реализации своих задач. Чтобы удержать в подчинении маленький отряд, он сообщает, что Соединенные Штаты погибли, сгинули в катастрофе и они — последняя американская семья. Ему верят — возможно, чтобы отринуть ужасные сомнения. Но удача отвернулась от Фокса. Новое поселение сметено могучей стихией, и теперь лодка-хижина с полубезумным капитаном — пародия на мелвилловского Ахава — отправляется вверх по течению реки, в самую глушь.

Но — очередная ирония обстоятельств — чем дальше в глушь, тем ближе к проклятой цивилизации. Конец пути окончательно выбившегося из сил экипажа — индейский поселок, где берег усыпан банками из-под кока-колы, где играет радио и где стоит церковь миссионера Спелгуда. В довершение всего выясняется, что Америка никуда не исчезла, продолжает процветать и Спелгуды недавно прилетели оттуда на новенькой "сессне". В порыве отчаяния Элли Фокс выводит из строя электрический движок в поселке, поджигает самолет — и получает пулю от Спелгуда.

Теперь уже лодка-хижина меняет курс и движется вниз по течению, хотя тяжелораненый капитан уверен, что они продолжают двигаться вверх, бросая вызов обстоятельствам. Но последние одержали безоговорочную победу. Элли Фоксу уготована гибель от птиц-стервятников, а его семье — после долгих мытарств — возвращение на родину. Чарли с матерью и другими детьми катит в разбитом такси по ухабистому гондурасскому шоссе, слушает радио и радуется жизни.

"Москитовый берег" при всей простоте конструкции и изложения обретает сложность и многозначность притчи, сопоставимой с голдинговским "Повелителем мух". Помимо оригинального диспута о проблемах западного постиндустриализма, религии, потребительского общества, роман, как нередко бывает у Теру, затрагивает и тему "Писатель и его материал". Вряд ли следует так уж однозначно видеть в Элли Фоксе автора-демиурга, потерпевшего неудачу, когда он отвернулся от реальности и изменил своему правилу "выявлять то, что существует в скрытом виде", да и в конечном успехе Чарли необязательно отразился верный, по Теру, "подход путешественника", наделенного даром остраненного наблюдения, но тому, кто желает поразмыслить и над этим, роман дает богатую пищу.

Романы середины 80-х — начала 90-х не смогли повторить успех книг, о которых шла речь. Эта вполне естественная для творческой деятельности ситуация, конечно, огорчительна для автора. "Моя другая жизнь", явно спровоцированная ощущением того, что реальность "перестала слушаться", — некий иероглиф, который при всем своем внешнем изяществе несет весьма печальный смысл. Стилистически безупречные, полные иронии и даже комизма фрагменты складываются в монолог писателя, которому не пишется (только фрагменты), путешественника, который перестал путешествовать (только передвижение по давно знакомым, сверхблагоустроенным, совершенно безопасным точкам западной цивилизации), частного лица, которое, создав себе имя в профессиональной сфере, потерпело сокрушительное поражение в сфере личной. Брошенный женой, с которой прожил много лет, герой "Моей другой жизни" не упустит из виду психологический парадокс: он обладает притягательностью в глазах непосвященных, причем в основе такого магнетизма — его писательский статус. Кому-то кажется, что через интимное общение с Писателем можно превратить свое унылое, лишенное смысла и цели существование в нечто содержательное и полнокровное. "Ты разумен, отзывчив, щедр", — говорит герою влюбленная в него Ванда, но слова эти вызывают у Пола лишь горькую иронию. "Опять ты ошибаешься, Ванда, — размышляет он. — Сама посуди, с какой стати человеку, наделенному такими прекрасными качествами, испытывать настоятельную потребность писать то, что писал я?"

Это ни в коем случае не кокетство. Это искреннее стремление разобраться в любопытном факте психологии творчества и обыденного существования и уловить, сформулировать то, что постоянно ускользает от внимания интерпретаторов, анализирующих тексты и личности, эти тексты сочиняющие.

В свое время Скотт Фицджеральд испытал необходимость самоисповеди и создал на бумаге образ человека, который, будучи наделенным всем необходимым для успеха, оказался у разбитого корыта. Текст впоследствии был опубликован под названием "Crack-up" (что в дословном переводе означает "трещина", "надлом"). Пол Теру, испытав надлом в середине своего жизненного пути и также почувствовав желание выговориться, пошел иным путем. "Моя другая жизнь", по сути перекликаясь со многими моментами книги Фицджеральда, построена по совершенно противоположному принципу. Вместо обжигающей исповедальности Фицджеральда — здесь сложная, вызывающая ассоциации с Набоковым, система защитных фильтров, проходя через которые искренность преобразуется в иронию, исповедальное теснится, уступая место игровому, рассказ о себе можно прочитать как универсальную историю, параболу сложного существования западного интеллигента XX столетия, обладающего творческим даром.

Любопытна и финальная глава псевдоавтобиографии — "Личные вещи", не без подтекста названная автором "Эпилог". Разрыв с женой обрел окончательность и бесповоротность. Из Англии приходит контейнер с личными вещами героя. Глава являет собой подробное перечисление того, что снова вернулось к хозяину, ныне оказавшемуся в Новой Англии. Предлагая читательскому вниманию этот каталог, Теру коротко его комментирует, поясняя, когда и при каких обстоятельствах стал владельцем очередного предмета. Можно предположить, что, заостряя читательское внимание на этих вещах, Теру как бы дает понять: жизнь его героя — уже не органическое сцепление разных факторов, не динамическая целостность, но скопище разрозненных фрагментов, утративших "валентность", то есть способность соединяться с себе подобными, создавая живую последовательность, — своеобразный аналог "разбитого корыта". Можно также

предположить, что писатель демонстрирует читателям материал, из которого, одолевая апатию и удрученность, он со временем создаст новые увлекательные литературные фикции.

Можно, однако, и подумать, что это лишь подготовка для эффектной концовки. Последним экспонатом необычного "музея ненужных вещей" окажется приобретенная героем в Ньясаленде в 1964 году стеклянная миска, в которой повар Джулиус делал хозяину фруктовый салат, причем в чрезмерных количествах. За неделю была съедена лишь половина. "Но Джулиус ничего и не подумал выбросить. Он только добавил еще фруктов, и миска снова наполнилась до краев. Так он поступал и впредь: перемешивал новое со старым, сладкое с кислым, твердое с размякшим. Джулиус никогда не опорожнял миски, даже если в ней оставалось всего ничего. Раз в неделю миска опять наполнялась, и год за годом я питался таким салатом. Теперь, в свои пятьдесят лет, я с удовольствием увидел салатницу, ибо понял, что это такое. Никогда не иссякавший фруктовый салат Джулиуса стал для меня воплощением смысла жизни и символом искусства".

Красиво? Для ироничного, стилистически безупречного Теру даже слишком. Возможно, это очередная приманка для доверчивого читателя, возможно, насмешка над собственной писательской многозначительностью. А может быть, и что-то третье, неуловимое, из числа того, что так часто пускал в ход Теру, ныне написавший весьма оригинальную книгу о кризисе в жизни человека, похожего и на автора, и на многих читателей. Как заметил рецензент "Индепендент он санди" Блейк Моррисон, "книга выглядит искренней. А если она неискренна, то правдива". Формула, точно передающая суть документалистики Теру.

Милан Рихтер

Стихи

Перевод со словацкого О. Малевича

От переводчика

Милан Рихтер — своего рода министр иностранных дел словацкой литературы. В братиславском Литературном информационном центре он ведает связями с зарубежными странами. Переводит стихи и прозу с английского, немецкого, со скандинавских языков (за свои переводы он удостоился наград в Австрии и Швеции). В его книгах мы найдем посвящения Гейне и Рильке, у него есть стихи, в основе которых лежат разговоры с Алленом Гинзбергом и израильским поэтом Иегудой Амихаем (в Хайфе Милан Рихтер получил звание почетного доктора Всемирной академии искусства и культуры).

Теперешний прозаизированный стих Рихтера не утратил связи с мелодикой словацкой народной песни, явственно ощущавшейся в его первых, преимущественно лирических сборниках 70-х годов. В 1977—1986 годах оригинальное творчество поэта по политическим причинам находилось под негласным запретом. В книгах последнего десятилетия он предстал как поэт с острым ощущением современности, склонный к философским обобщениям.

© Milan Richter, 1987, 1992
© О. Малевич. Перевод, вступление, 2000

Корни в воздухе

В воздухе, там остаются твои корни,
там, в воздухе.

Пауль Целан

— Куда, пан инженер, собрались? Навестить
родные могилы?
— Родные могилы, пан сосед. У меня там мама,
и брат там лежит, и племянница жены,
в прошлом году мы ее схоронили,
ей было всего семнадцать, что поделаешь,
лейкемия. А вы, пан сосед?
— Иду домой. Теперь рано смеркается.
Вот я и спешу домой.
— А родные могилы вы уже навестили?
— Нет у меня родных могил. Жена,
как изволите знать, давно от меня ушла,
сыновья еще живы,
но живут далеко — в Канаде...
Нет у меня родных могил...
— А мама, отец, братья,
дедушки и бабушки, где они лежат?
— В воздухе Освенцима,
там они лежат, в воздухе.

Испорченное стихотворение

Там, в самом начале, ты что-то испортил,
гласную, слово, слог,
и теперь стихотворение несъедобно,
как клубника в банке
со шляпкой плесени.

Там, в самом начале, кто-то все испортил,
Господь Бог, двадцать четвертая пара хромосом,
и теперь стихотворение погребено,
как молитвенное покрывало
в общей могиле.

Там, в самом начале, ты что-то испортил,
женился, развелся,
и теперь стихотворение у тебя украли,
как сына у отца
и отца у сына.

Там, в самом начале, кто-то тебя подпортил,
не дал острые локти, глухую совесть,
и теперь стихотворению приходится туго,
как шуту,
говорившему царю правду.

Стихотворение испорчено,
чего-то ему не хватает,
его не исправишь,
как свою жизнь, предков, историю,
оно остается таким, какое есть.

Клубничина в забродившем сиропе.

В морозном марте

Отец уже оставил за собой все беды,
когда в тот вечер
достал из дырявого кармана шоколадки
и погладил нас с сестрой по голове.
Возможно, он хотел сказать: вам будет легче,
когда-нибудь вы будете дышать свободней...
Сам он задыхался,
всю ночь хрипел.
К утру умер.

Этот морозный март все длится и длится.

Я еще не оставил за собой все беды,
но перед сном глажу по головке двух своих дочерей
и желаю им атмосферы,
в которой можно свободно дышать,
лета без дыр в озоне,
жизни без дыр в истории
и мира без черной дыры в будущем.

В морозном марте все самое лучшее
еще перед нами.

Включая смерть.

Эрих Мария Ремарк

Земля обетованная

Роман

Перевод с немецкого и вступление М. Рудницкого

Считается, что в нашей стране у книг Ремарка счастливая судьба. И это при том, что, прорвавшись к нашему читателю еще в конце двадцатых своим знаменитым антивоенным романом "На Западном фронте без перемен", а позже, уже в середине тридцатых, и его продолжением ("Возвращение"), автор затем на двадцать с лишним лет начисто исчез из нашего поля зрения, будто ничего больше не писал и не издавал. Нынешним поколениям не сразу и растолкуешь, чем не угодил коммунистическим правителям немецкий писатель-антифашист, чьи романы гитлеровцы сжигали на книжных кострах.

Ремарк с большим трудом снова стал пробиваться через "железный занавес" только в конце пятидесятых, когда — не в последнюю очередь благодаря усилиям журнала "Иностранная литература" — в читательский обиход всерьез и надолго вошли и "Три товарища", и "Триумфальная арка", и другие его романы.

Надо думать, душеприказчики и издатели Ремарка долго не решались выпустить в свет его посмертный, незавершенный роман. Их можно понять. Дело в том, что в свое время роль последнего слова писателя сыграл, и с успехом, роман "Тени в раю", опубликованный в 1971 году, лишь через год после смерти автора, и как бы поставивший точку в его послужном списке. "Земля обетованная", книга, так и не доведенная до конца, сохранившаяся в трех черновых редакциях, превращает эту красивую точку в лучшем случае в многоточие. Однако всякий, кто прочтет роман, согласится: в данном случае многоточие оказывается даже уместней, потому что открывает в привычном, давно знакомом нам облике автора новые черты, заставляя и на некоторые прежние его темы взглянуть иначе, в свете нового исторического опыта.

© Estate of Erich Maria Remarque, 1998
© Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1998
© М. Рудницкий. Перевод, вступление, 2000
Журнальный вариант. Полностью роман публикуется издательством "Вагриус" в новом двухтомнике Ремарка, составленном из произведений, прежде не переводившихся на русский язык.

Взять хотя бы тему изгнания, которая в пору наших первых знакомств с книгами Ремарка трогала мало, казалась почти экзотической, условной: нам, в нашей советской действительности, что Германия, откуда вынужден был бежать автор, что Франция, Испания и Португалия, а тем паче Америка, куда привели его эмигрантские маршруты, виделись одинаково недоступными мирами. Совсем иное чувство возникает при чтении последнего романа, где тема изгнания звучит пронзительно и неожиданно близко, ибо за это время если не родственники за границей (о которых прежде необходимо было сообщать в анкете), то уж друзья, приятели или просто знакомые появились почти у всех, да и пребывание за рубежом перестало быть редкостью.

По-новому оцениваешь и чуткость Ремарка к веяниям времени, его природный, Богом данный "нюх" на все, что читателю по-настоящему интересно. В конце шестидесятых, когда создавался роман, модельный шоу-бизнес только-только зарождался, но живой и любознательный глаз автора (трудно поверить, что книгу эту писал умирающий, истерзанный раком человек) мгновенно разглядел и выставленную напоказ эротичность, и удивительную ирреальность мира, в котором обитала героиня, тогдашняя манекенщица, нынче предпочитающая именоваться моделью. А сколь увлекательной сферой человеческой деятельности оказывается под пером Ремарка торговля искусством, мир антикваров и коллекционеров!

Невольно напрашивается сравнение из области живописи, о которой в книге так часто и так увлеченно ведет речь писатель. Да, "Земля обетованная" — это незавершенное полотно, в котором даже композиция лишь угадывается, а кое-где проплешинами пустоты зияют пятна загрунтованного холста, но замысел в целом безусловно захватывает, а отдельные лица и мотивы выписаны с такой мощью, с такой азартной экспрессией, с таким неподдельным любопытством к материалу, к фактуре, а иной раз и с таким веселым озорством, что прорехи и огрехи только оттеняют несомненную силу живой и узнаваемой художественной манеры.

Роман обрывается, по сути, на полуслове, так что на последней странице этой журнальной публикации читатель не найдет привычного уведомления в скобках: не будет ни продолжения, ни окончания. Боюсь, что эта наша встреча с творчеством Ремарка действительно последняя. Впрочем, в ближайших номерах "Иностранной литературы" можно будет познакомиться с фрагментами созданной Вильгельмом фон Штернбургом биографии писателя, дабы убедиться в том, что жизнь Ремарка увлекательностью и крутизной сюжетных поворотов временами не уступала его романам.

М. Рудницкий

I

ТРЕТЬЮ неделю я смотрел на этот город: он лежал передо мной как на ладони — и словно на другой планете. Всего лишь в нескольких километрах от меня, отделенный узким рукавом морского залива, который я, пожалуй, мог бы и переплыть, — и все же недосягаемый и недоступный, будто окруженный армадой танков. Он был защищен самыми надежными бастионами, какие изобрело двадцатое столетие, — крепостными стенами бумаг, паспортных предписаний и бесчеловечных законов непрошибаемо бездушной бюрократии. Я был на острове Эллис-Айленд, было лето 1944 года, и передо мной лежал город Нью-Йорк.

Из всех лагерей для интернированных лиц, какие мне доводилось видеть, Эллис-Айленд был самый гуманный. Тут никого не били, не пытали, не истязали до смерти непосильной работой и не травили в газовых камерах. Здешним обитателям даже предоставлялось хорошее питание, причем бесплатно, и постели, в которых разрешалось спать. Повсюду, правда, торчали часовые, но они были почти любезны. На Эллис-Айленде содержались прибывшие в Америку иностранцы, чьи бумаги либо внушали подозрение, либо просто были не в порядке. Дело в том, что одной только въездной визы, выданной американским консульством в европейской стране, для Америки было недостаточно — для въезда в страну надо было еще раз пройти проверку нью-йоркского иммиграционного бюро и получить разрешение. Только тогда тебя впускали — либо, наоборот, объявляли нежелательным лицом и с первым же кораблем высылали обратно. Впрочем, с отправкой обратно все давно уже обстояло совсем не так просто, как раньше. В Европе шла война, Америка тоже увязла в этой войне по уши, немецкие подлодки рыскали по всей Атлантике, так что пассажирские суда к европейским портам назначения отплывали отсюда крайне редко. Для иных бедолаг, которым было отказано во въезде, это означало пусть крохотное, но счастье: они, давно уже привыкшие исчислять свою жизнь только днями и неделями, обретали надежду хоть какое-то время побыть на Эллис-Айленде еще. Впрочем, вокруг ходило слишком много всяких других слухов, чтобы такой надеждой себя тешить, — слухов о битком набитых евреями кораблях-призраках, которые месяцами бороздят океан и которым нигде, куда бы они ни приплыли, не дают причалить. Некоторые из эмигрантов уверяли, будто своими глазами видели, кто на подходе к Кубе, кто возле портов Южной Америки, эти толпы отчаявшихся, молящих о спасении, теснящихся к поручням людей на заброшенных кораблях перед входом в закрытые для них гавани — этих горестных "летучих голландцах" наших дней, уставших удирать от вражеских подлодок и людского жестокосердия, перевозчиков живых мертвецов и проклятых душ, чья единственная вина заключалась лишь в том, что они люди и жаждут жизни.

Разумеется, не обходилось и без нервных срывов. Странным образом здесь, на Эллис-Айленде, они случались даже чаще, чем во французских лагерях, когда немецкие войска и гестапо стояли совсем рядом, в нескольких километрах. Вероятно, во Франции эта сопротивляемость собственным нервам была как-то связана с умением человека приспосабливаться к смертельной опасности. Там эта опасность ощущалась столь явно, что, должно быть, заставляла человека держать себя в руках, зато здесь люди, только-только расслабившись при виде столь близкого спасения, после, когда спасение вдруг начинало снова от них ускользать, теряли самообладание начисто. Впрочем, в отличие от Франции, здесь не случалось самоубийств — наверно, все-таки еще слишком сильна была в людях надежда, пусть и пронизанная отчаянием. Хотя первый же невинный допрос у самого безобидного инспектора мог повлечь за собой истерику. Как обычно, у мужчин нервные срывы случались чаще, чем у женщин.

Город, лежавший столь близко и при этом столь недоступный, становился чем-то вроде морока — он мучил, манил, издевался, все суля и ничего

не исполняя. То, окруженный стайками клочковатых облаков и сиплыми, будто рев стальных ихтиозавров, гудками кораблей, он представал громадным расплывчатым чудищем, то, глубокой ночью, ощетиниваясь сотней башен бесшумного и призрачного Вавилона, превращался в белый и неприступный лунный ландшафт, а то, поздним вечером, утопая в буране искусственных огней, он становился искрометным ковром, распростертым от горизонта до горизонта, чуждым и ошеломляющим после непроглядных военных ночей Европы, — об эту пору многие беженцы в спальном зале вставали, разбуженные всхлипами и вскриками, стонами и хрипом своих беспокойных соседей, тех, кого все еще преследовали во сне гестаповцы, жандармы и головорезы-эсэсовцы, и, сбиваясь темными людскими горстками, тихо переговариваясь или молча, вперив горящий взгляд в зыбкое марево на том берегу, в ослепительную световую панораму земли обетованной — Америки, застывали возле окон в немом братстве чувств, в которое сводит людей только горе, счастье — никогда.

У меня был немецкий паспорт, годный еще на целых четыре месяца. Этот почти подлинный документ был выдан на имя Людвига Зоммера. Я унаследовал его от друга, умершего два года назад в Бордо; поскольку указанные в паспорте внешние приметы — рост, цвет волос и глаз — совпадали, некто Бауэр, лучший в Марселе специалист по подделке документов, а в прошлом профессор математики, посоветовал мне фамилию и имя в паспорте не менять; и хотя среди тамошних эмигрантов было несколько отличных литографов, сумевших уже не одному беспаспортному беженцу выправить вполне сносные бумаги, я все-таки предпочел последовать совету Бауэра и отказаться от собственного имени, тем более что толку от него все равно уже почти никакого. Наоборот, имя это уже значилось в списках гестапо, поэтому самое время было ему испариться. Так что паспорт у меня был почти подлинный, зато фото и сам я — малость фальшивые. Умелец Бауэр растолковал мне выгоды моего положения: сильно подделанный паспорт, как бы замечательно он ни был сработан, годен только на случай беглой и небрежной проверки — всякой сколько-нибудь дельной криминалистической экспертизе он противостоять не в силах и неминуемо все свои тайны выдаст; тюрьма, депортация, если не что похуже, мне в этом случае обеспечены. А вот проверка подлинного паспорта при фальшивом обладателе — это история куда более длинная и хлопотная: по идее надо направлять запрос по месту выдачи, но сейчас, когда идет война, об этом и речи быть не может. С Германией никаких связей нету. С тех пор все знатоки решительно советуют менять не паспорта, а личность; подлинность штемпелей стало проверять легче, чем подлинность имен. Единственное, что в моем паспорте не сходилось, так это вероисповедание. У Зоммера оно было иудейское, у меня — нет. Но Бауэр посчитал, что это несущественно.

— Если вас немцы схватят, вы паспорт просто выбросите, — учил он меня. — Поскольку вы не обрезаны, то глядишь, как-нибудь вывернетесь и не сразу в газовую камеру угодите. Зато, пока вы от немцев убегаете, то, что вы еврей, вам даже на пользу. А невежество по части обычаев объясняйте тем, что ваш отец и сам был вольнодумцем, и вас так воспитал.

На Эллис-Айленде я повстречал двух эмигрантов, которых мельком знал и прежде. Случалось нам несколько раз повидаться на страстном пути. Так назывался маршрут, по которому беженцы спасались от гитлеровс-

кого режима. Через Голландию, Бельгию и Северную Францию он вел в Париж и там разделялся. Из Парижа одна его линия направлялась через Лион к побережью Средиземного моря; вторая, проскочив Бордо, Марсель и перевалив Пиренеи, убегала в Испанию, Португалию и утыкалась в лисабонский порт. Вот этот-то маршрут и окрестили страстным путем. Тем, кто по нему шел, приходилось спасаться не только от гестапо — надо было еще не угодить в лапы местным жандармам. У большинства ведь не было ни паспортов, ни тем более виз. Их остановками на этом пути были главпочтамты в городах и стены вдоль дорог. На главпочтамтах они надеялись получить корреспонденцию от родных и друзей; стены домов и оград вдоль шоссе служили им газетами. Мелом и углем запечатлевались на них имена потерявшихся и искавших друг друга, предостережения, наставления, вопли в пустоту — все эти горькие приметы эпохи людского равнодушия, за которой вскоре последовала эпоха бесчеловечности, то бишь война.

Несчастным, однако, я себя здесь не чувствовал. За несколько лет до того, в брюссельском музее, я научился сидеть неподвижно часами, сохраняя каменную невозмутимость. Я погружался в абсолютно бездумное состояние, граничившее с полной отрешенностью. Глядя на себя как бы со стороны, я впадал в тихий транс, который смягчал неослабную судорогу долгого ожидания: в этой странной шизофренической иллюзии мне под конец даже начинало чудиться, что это жду вовсе не я, а кто-то другой. И тогда одиночество и теснота крошечной кладовки без света уже не казались непереносимыми. В эту кладовку меня спрятал директор музея, когда гестаповцы в ходе очередной облавы на эмигрантов прочесывали квартал за кварталом весь Брюссель. Мы с ним виделись считанные секунды, только утром и вечером: он приносил мне что-нибудь поесть, а вечером, когда музей закрывался, он меня выпускал. В течение дня кладовка была заперта; ключ был только у директора. Конечно, когда кто-то шел по коридору, мне нельзя было кашлять, чихать и громко шевелиться. Это было нетрудно, но щекотка страха, донимавшая меня поначалу, легко могла перейти в панический ужас при приближении действительно серьезной опасности. Вот почему в деле накопления психической устойчивости я на первых порах зашел, пожалуй, даже дальше чем нужно.

Неделю спустя со мной вдруг заговорил тощий, покойницкого вида господин. При себе он имел плоский чемоданчик-дипломат зеленой крокодиловой кожи и смахивал на одного из тех адвокатов, что стаями ненасытного воронья кружили по нашему просторному дневному залу.

— Вы случайно не Людвиг Зоммер?

Я недоверчиво оглядел незнакомца. Говорил он по-немецки.

— А вам-то что?

— Вы не знаете, Людвиг Зоммер вы или кто-то еще? — переспросил он и хохотнул своим коротким, каркающим смехом. Поразительно белые крупные зубы плохо вязались с его серым помятым лицом.

Я тем временем успел прикинуть, что особых причин утаивать свое имя у меня вроде бы нет.

— Это-то я знаю, — отозвался я. — Только вам зачем это знать?

Незнакомец несколько раз сморгнул, как сова.

— Я по поручению Роберта Хирша, — объявил он наконец.

Я изумленно вскинул глаза.

— Роберт Хирш умер, — сказал я.

Теперь уже незнакомец глянул на меня озадаченно.

— Роберт Хирш в Нью-Йорке, — заявил он. — Не далее как два часа назад я с ним беседовал.

Я тряхнул головой.

— Исключено. Тут какая-то ошибка. Роберта Хирша расстреляли в Марселе.

— Глупости. Это Хирш послал меня помочь вам отсюда выбраться. — Незнакомец достал из кармана визитную карточку. — Я Левин от "Левина и Уотсона". Адвокатская контора. Мы оба адвокаты. Этого, надеюсь, вам достаточно? Вы чертовски недоверчивы. С чего это вдруг? Неужто столько всего скрываете?

Я перевел дух. Теперь я ему поверил.

— Всему Марселю было известно, что Роберта Хирша расстреляли в гестапо, — повторил я.

— Подумаешь, Марсель! — презрительно хмыкнул Левин. — Мы тут в Америке!

— В самом деле? — Я выразительно оглядел наш огромный дневной зал с его решетками на окнах и эмигрантами вдоль стен.

Левин снова издал свой каркающий смешок.

— Ну, пока еще не совсем. Как вижу, чувство юмора вы еще не утратили. Господин Хирш уже успел кое-что о вас порассказать. Вы ведь были вместе с ним в лагере для интернированных во Франции. Это так?

Я кивнул.

— Да, это так, — сказал я. — Могу я взглянуть на бумаги, которые Хирш вам дал?

Левин секунду поколебался.

— Да, конечно. Только зачем вам?

Я не ответил. Я хотел убедиться, совпадает ли то, что написал обо мне Роберт, с тем, что сообщил о себе инспекторам я. Я внимательно прочел листок и вернул его Левину.

— Все так? — спросил он снова.

— Так, — ответил я и огляделся. Как же мгновенно все вокруг изменилось! Я больше не один. Роберт Хирш жив. До меня вдруг долетел голос, который я считал умолкнувшим навсегда. Теперь все по-другому. И ничто еще не потеряно.

— Сколько у вас денег? — поинтересовался адвокат.

— Сто пятьдесят долларов, — осторожно ответил я.

Левин покачал своей лысиной.

— Маловато, даже для самой краткосрочной транзитно-гостевой визы, проездом в Мексику или Канаду. Но ничего, это еще можно уладить. Вы чего-то не понимаете?

— Не понимаю. Зачем мне в Канаду или в Мексику?

Левин снова осклабил свои лошадиные зубы.

— Совершенно незачем, господин Зоммер. Главное для начала вас в Нью-Йорк переправить. Краткосрочную транзитную визу запросить легче всего. А уж оказавшись в стране, вы ведь можете и заболеть. Да так, что не в силах будете продолжить путешествие. И придется подавать запрос на продление визы, а потом еще. Ситуация может измениться. Ногу в дверь просунуть — вот что покамест самое главное! Теперь понимаете?

— Да.

Адвокат достал огромный пестрый носовой платок и оглушительно высморкался. Потом аккуратно сложил платок и сунул обратно в карман.

— Сколько вам лет?

— Тридцать два.

— И сколько из них вы уже в бегах?

— Пять лет скоро.

Это было не так. Я-то скитался значительно дольше; но Людвиг Зоммер, по чьему паспорту я жил, — только с 1939-го.

— Еврей?

Я кивнул.

— А внешность не сказать чтобы особенно еврейская, — заметил Левин.

— Возможно. Но вам не кажется, что у Гитлера, Геббельса, Гиммлера и Гесса тоже не особенно арийская внешность?

Левин опять издал свой короткий каркающий смешок.

— Чего нет, того нет! Да мне и безразлично. К тому же с какой стати человеку выдавать себя за еврея, раз он не еврей. Особенно в наше-то время? Верно?

— Может быть.

— В немецком концлагере были?

— Да, — неохотно вспомнил я. — Четыре месяца.

— Документы какие-нибудь есть оттуда? — спросил Левин, и в голосе его послышалось нечто вроде алчности.

— Не было никаких документов. Меня просто выпустили, а потом я из Германии сбежал.

— Жаль. Они бы нам сейчас очень пригодились.

Левин открыл свой чемоданчик и достал оттуда несколько листков.

— Тут у меня еще кое-какие бумаги: господин Хирш дал мне с собой показания и заявления людей, которые вас знают. Все уже нотариально заверено. Моим партнером Уотсоном, удобства ради. Может, и на них хотите взглянуть?

Я покачал головой. Показания эти я знал еще с Парижа. Роберт Хирш в таких делах был дока. Не хотел я сейчас на них смотреть.

Адвокат принялся удовлетворенно засовывать бумаги обратно.

— Теперь нам надо отыскать кого-нибудь, кто готов поручиться, что за время вашего пребывания в Америке вы не обремените государственную казну. У вас тут есть знакомые?

— Нет.

— Тогда, может, Роберт Хирш кого-нибудь знает?

— Этого я не знаю.

— Уж кто-нибудь да найдется, — сказал Левин со странной уверенностью. — Он в этих делах очень надежен. Где вы собираетесь в Нью-Йорке жить? Господин Хирш предлагает вам гостиницу "Мираж". Он сам там раньше жил.

Секунду я молчал.

— Господин Левин, — сказал я затем, — уж не хотите ли вы этим сказать, что я и вправду выберусь отсюда?

— А почему нет? Иначе зачем я здесь?

— Вы и правда в это верите?

— Конечно. А вы нет?

На мгновение я закрыл глаза.

— Верю, — сказал я. — Я тоже верю.

— Ну и прекрасно! Главное не терять надежду! Или эмигранты думают иначе?

Я покачал головой.

— Вот видите. Не терять надежду — это старый, испытанный американский принцип! Вы меня поняли?

Я кивнул. Не было у меня ни малейшего желания объяснять этому невинному дитяти легитимного права, сколь губительна иной раз бывает надежда. Она пожирает все ресурсы ослабленного сердца, его способность к сопротивлению, как неточные удары боксера, который безнадежно проигрывает. На моей памяти обманутые надежды погубили гораздо больше людей, чем людская покорность судьбе, когда ежиком свернувшаяся душа все силы сосредоточивает на том, чтобы выжить, и ни для чего больше в ней просто не остается места.

Левин закрыл и запер свой чемоданчик.

— Все эти вещи я сейчас вручу инспекторам для приобщения к делу. И через несколько дней приеду снова. Выше голову! Все у нас получится!

Мне плохо спалось этой ночью. Я подолгу слонялся возле окон, за которыми, подрагивая, полыхало северное сияние Нью-Йорка, и думал о своей порушенной жизни. Под утро с каким-то стариком случился приступ. Я видел тени, тревожно метавшиеся вокруг его постели. Кто-то шепотом спрашивал нитроглицерин. Видно, свои таблетки старик потерял.

— Ему нельзя заболевать! — шушукались родственники. — Иначе все пропало! К утру он должен быть на ногах!

Таблеток они так и не нашли; но меланхоличный турок с длинными усами одолжил им свои. Утром старик с грехом пополам поплелся в дневной зал.

II

Через три дня адвокат явился снова.

— У вас жуткий вид, — закаркал он. — Что с вами?

— Надежда, — с усмешкой ответил я. — Надежда доканывает человека вернее всякого несчастья. Вам ли этого не знать, господин Левин.

— Опять эти ваши эмигрантские шуточки! У вас нет поводов скисать до такой степени. У меня для вас новости. Мы нашли для вас поручителя! — объявил он. — Человека, который поручится, что государству не придется нести из-за вас расходы. Спонсора! Ну, что теперь скажете?

— Хирш, что ли? — спросил я, сам не веря своему вопросу.

Левин покачал лысиной.

— Откуда у Хирша такие деньги. Вы знаете банкира Танненбаума?

Я молчал. Я не знал, как отвечать.

— Возможно, — пробормотал я наконец.

— Возможно? Что значит "возможно"?! Вечно вы увиливаете! Конечно вы его знаете! Он же за вас поручился!

Внезапно над беспокойно мерцающим морем возле самых окон с криками пронеслась стая чаек. Никакого банкира Танненбаума я не знал. Я вообще никого в Нью-Йорке не знал, кроме Роберта Хирша. Наверно, это он все и устроил. Как устраивал во Франции, прикидываясь испанским консулом.

— Очень может быть, что я его и знаю, — сказал я уклончиво. — Когда ты в бегах, столько людей встречаешь; а фамилии легко забываются.

Левин смотрел на меня скептически.

— Даже такая рождественская, как Танненбаум?

Я рассмеялся.

— Даже такая, как Танненбаум. А почему нет? Как раз Танненбаум и забывается! Кому в наши дни охота вспоминать о немецком Рождестве?

Левин фыркнул своим бугристым носом.

— Не имеет значения, знаете вы его или нет. Главное, чтобы он за вас поручился. И он готов это сделать.

Он раскрыл чемоданчик. Оттуда тут же вывалилось несколько газет. Он протянул их мне.

— Утренние. Уже читали?

— Нет.

— Как? Еще не читали? Здесь что, нет газет?

— Есть. Но я их еще не читал. Да и не настолько я английский знаю.

Левин покачал головой.

— Своеобразная вы личность.

— Очень может быть, — буркнул я. Я даже пытаться не стал растолковать этому любителю прямых ответов, почему стараюсь не следить за сообщениями с фронтов, покуда сижу здесь взаперти. Для меня куда важнее сберечь скудные остатки внутренних резервов, а не транжирить их на пустые эмоции. А расскажи я ему, что вместо газет по ночам читаю антологию немецкой поэзии, с которой не расставался на протяжении всех скитаний, он, чего доброго, вообще откажется представлять мои интересы, сочтя меня душевнобольным.

— Большое спасибо, — сказал я, забирая газеты.

Левин продолжал рыться в папке с бумагами.

— Вот двести долларов, которые мне передал для вас Хирш, — объявил он. — Первая выплата моего гонорара. — Он извлек на свет четыре зеленых купюры, разложил их карточным веером, помахал и мгновенно снова припрятал.

Я проводил купюры взглядом.

— Господин Хирш передал мне эти деньги только для того, чтобы я выплатил вам аванс? — поинтересовался я.

— Не то чтобы так прямо, но ведь вы мне их отдадите, не так ли? — Левин опять улыбался, но теперь уже не только всеми своими зубами и каждой морщинкой лица, но, казалось, даже ушами. — Вы же не хотите, чтобы я работал на вас бесплатно? — кротко спросил он.

— Конечно нет. Но не вы ли сами утверждали, что для допуска в Америку моих ста пятидесяти долларов слишком мало?

— Без спонсора — да! Но Танненбаум все меняет.

Левин буквально сиял. Он сиял до того нестерпимо, что я всерьез начал опасаться и за мои оставшиеся полторы сотни. И решил стоять за них до последнего, пока не получу в руки паспорт с въездной визой. Похоже, однако, Левин и сам это почувствовал.

— Теперь со всеми документами я иду к инспекторам, — деловито заявил он. — И если все пойдет как надо, то через несколько дней к вам пожалует мой партнер Уотсон. Он уладит все остальное.

— А почему не вы? — спросил я настороженно.

К немалому моему изумлению, Левин смутился.

— Уотсон из семьи потомственных американцев. Самых первых, —

пояснил он. — Его предки прибыли в страну на "Мейфлауэре". В Америке это все равно что принадлежать к высшей знати. Безобидный предрассудок, но просто грех им не воспользоваться. Особенно в вашем случае. Вы меня понимаете?

— Понимаю, — оторопело ответил я. Видимо, Уотсон не еврей. Значит, и здесь это тоже имеет значение.

— Он придаст нашему делу надлежащий вес, — сказал Левин солидно. — И другим нашим запросам, на будущее. — Протягивая мне костлявую руку, он встал. — Всего хорошего! Скоро вы будете в Нью-Йорке!

Я не ответил. Все в нем мне не нравилось. Суеверный, как все, кто живет волей случая, я видел дурное предзнаменование в беспечной уверенности, с какой этот человек смотрит в будущее. Он выказал эту уверенность в первый же день, когда спросил меня, где я собираюсь жить в Нью-Йорке. У нас, эмигрантов, это не принято, боимся сглазить. Слишком часто на моем веку такие вот надежды оборачивались самым худым концом. И деньги от Роберта Хирша этот адвокатишка мигом прикарманил! Двести долларов! Целое состояние! Немного успокаивало меня только одно: эту зубастую гиену все-таки послал ко мне Роберт Хирш.

Из всех, кого я знал, Хирш был единственным истинным маккавейцем[1]. Однажды, вскоре после перемирия, он вдруг объявился во Франции в роли испанского вице-консула. Он откуда-то раздобыл дипломатический паспорт на имя Рауля Тенье и выдавал себя за такового с поразительной наглостью. Никто не знал, фальшивый у него паспорт или подлинный, а если подлинный, то насколько. Поговаривали даже, что он получил его чуть ли не от французского Сопротивления. Сам Хирш хранил на сей счет полную непроницаемость, но всем и так было известно, что в кометном шлейфе его карьеры были эпизоды, когда он работал и на французское подполье. Как бы там ни было, но он имел в распоряжении автомобиль с испанскими номерами и эмблемой дипкорпуса, носил элегантные костюмы и во времена, когда горючее было на вес золота, на трудности с бензином не жаловался. Добыть все это он мог только через подпольщиков. Он и работал на них: перевозил оружие, литературу — листовки и маленькие двухстраничные памфлеты. Всех, кого мог, Хирш пытался спасти. Его выручали автомобиль, паспорт — и отвага. Когда его все же останавливали на дорогах для проверки, он в роли полномочного представителя другого, дружественного Германии диктатора не знал к проверяющим ни пощады, ни снисхождения. Он отчитывал постовых, кричал о своем дипломатическом иммунитете и чуть что грозил жаловаться лично Франко, а через того — самому Гитлеру. Опасаясь нарваться на неприятности, немецкие патрули предпочитали пропускать его сразу. Врожденный верноподданнический страх заставлял их трепетать перед громким титулом и паспортом, а выработанная годами муштры привычка к послушанию сочеталась, особенно у низших чинов, с боязнью ответственности. Но даже офицеры СС теряли лицо, когда Хирш принимался на них орать. Весь его расчет при этом был на страх, который порождает в собственных рядах всякая диктатура.

1. Маккавеец — последователь Маккавеев, династии иудейских священников, а затем и царей, возглавивших в 167 г. до н.э. освободительную борьбу иудеев против иноземных захватчиков. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

На несколько месяцев Хирш стал для эмигрантов чем-то вроде ходячей легенды. Некоторым он спасал жизнь неведомо где раздобытыми бланками удостоверений, которые заполнял на их имя. Благодаря этим бумажкам людям, за которыми уже охотилось гестапо, удавалось улизнуть за Пиренеи. Других он прятал в провинции по монастырям, пока не предоставлялась возможность переправить их через границу. Двоих он сумел освободить даже из-под ареста и потом помог бежать. Подпольную литературу он возил в своей машине почти открыто и чуть ли не кипами. Это тогда он и меня — к двум политикам в придачу — из лагеря вытащил, на сей раз в форме офицера СС. Все с замиранием сердца следили за этой отчаянной вылазкой одиночки против несметных сил противника, с ужасом ожидая неминуемой гибели смельчака. И вдруг он сразу исчез, как в воду канул. Прошел слух, что его расстреляли гестаповцы. И, как всегда, нашлись люди, которые вроде бы даже видели, как его арестовали.

Я взял газеты, которые дал мне Левин. По-английски я понимал плохо, так что читал с трудом. Еще на корабле я у одного сирийца одолжил французский учебник английской грамматики; какое-то время он даже давал мне уроки. Уже здесь, когда его выпустили, он оставил мне книгу в подарок, и я продолжал занятия. Произношение я с грехом пополам осваивал при помощи портативного граммофона, который привезла с собой на Эллис-Айленд семья польских эмигрантов. Там было около дюжины пластинок, которые все вместе составляли курс английского. Граммофон по утрам выносился из спального в дневной зал, и вся семья усаживалась перед ним где-нибудь в уголке и учила английский. Они рьяно и почти подобострастно вслушивались в неторопливый, сытый голос диктора, пока тот нудно рассказывал про жизнь воображаемой четы англичан, мистера и миссис Браун, у которых был дом, сад, сыновья и дочери, которые исправно ходили в школу и делали домашние задания, в то время как сам мистер Браун, у которого имелся еще и велосипед, ездил на этом велосипеде в контору, где он служил, покуда миссис Браун поливала цветы, готовила обед, носила передник и густые черные волосы. Несчастные эмигранты каждый день истово жили вместе с семьей Браунов этой сонной жизнью, их уста раскрывались и закрывались в такт речениям диктора, как при замедленной киносъемке, а вокруг, кто стоя, кто сидя, грудились все, кому тоже хотелось поживиться знаниями. Со стороны, особенно в сумерки, казалось, будто сидишь возле пруда со старыми карпами, которые лениво всплывают на поверхность, раскрывая и закрывая рты в ожидании подкормки.

Были среди эмигрантов и такие, кто мог бегло объясниться по-английски. В свое время у их родителей хватило ума определить чад в реальные училища, где вместо латыни и греческого им преподавали английский. Теперь эти чада сами превратились в авторитетных учителей и время от времени консультировали тех, кто, склонившись над газетой, по складам разбирал фронтовые сводки с полей всемирной бойни, попутно упражняясь в числительных: десять тысяч убитых, двадцать тысяч раненых, пятьдесят тысяч пропавших без вести, сто тысяч пленных, — благодаря чему бедствия планеты на какое-то время сводились для них к трудностям школьного урока, на котором, допустим, непременно надо освоить произношение звука th в слове thousand. Знатоки

снова и снова терпеливо демонстрировали им этот каверзный звук, которого в немецком нет и по скверному произношению которого в тебе мигом распознают иностранца, — th как thousand, fifty thousand убитых в Берлине и Гамбурге, — покуда кто-то из учеников, внезапно побледнев и поперхнувшись на полуслове, не выпадал вдруг из роли школяра, с ужасом бормоча:

— Гамбург? Да у меня же мама еще в Гамбурге!

Я не очень представлял себе, какой именно акцент вырабатывается у меня на Эллис-Айленде; зато я люто возненавидел войну в качестве материала для букваря. Уж лучше вверить себя нудному идиотизму моей английской грамматики и зазубривать, что Карл носит зеленую шляпу, что его сестренке двенадцать лет и она любит пирожные, а его бабушка все еще катается на коньках. Эти высокоумные измышления нафталинной педагогической премудрости по крайней мере образовывали что-то вроде островков идиллической банальности в кровавых морях газетного чтива. А на душе и без того было тошно от одного вида всех этих беженцев, которые стыдились — которых жизнь заставила стыдиться своего родного языка, языка палачей и изуверов, и которые теперь не столько даже обучения ради, а словно лихорадочно торопясь позабыть последние привезенные с собой остатки родной речи, беспомощно коверкали чужеземные слова, норовя даже между собой изъясняться по-английски. Дня за два до моего освобождения томик немецких стихов, с которым я не разлучался, вдруг исчез. Утром я на секунду оставил его в дневном зале — а нашел только после обеда, в уборной, разорванным в клочки и перепачканным в дерьме. И поделом мне, подумал я: все чарующие красоты немецкой лирики выглядели здесь чудовищной издевкой над страданиями, которые всем этим несчастным пришлось принять от той же самой Германии.

Уотсон, партнер Левина, через несколько дней и вправду явился. Это был помпезного вида мужчина с крупным мясистым лицом и пышными седыми усами. Как я и предполагал, он не был евреем и не обладал ни любопытством Левина, ни его интеллигентной сообразительностью. Он не говорил ни по-немецки, ни по-французски, зато широко жестикулировал и расплывался в глуповатой, но успокоительной улыбке. Худобедно, но как-то мы с ним объяснились. Он, впрочем, ни о чем особенно и не спрашивал, только императорским жестом повелел мне ждать, а сам отправился в администрацию беседовать с инспекторами.

В это время в женском отделении возникла какая-то тихая сумятица. Туда сразу же устремились надзиратели. Все женщины сгрудились вокруг еще одной — та лежала на полу и постанывала.

— Что там стряслось? — спросил я у старика, который одним из первых метнулся на шум и уже возвращался. — Опять с кем-то истерика?

Старик мотнул головой.

— Похоже, какая-то чудачка рожать надумала.

— Что? Рожать? Здесь?

— Похоже на то. Любопытно, что скажут на это инспектора. — Мужчина невесело хмыкнул.

— Преждевременные роды! — объявила дама в красной панбархатной блузке. — На месяц раньше срока. Немудрено, при такой-то нервотрепке.

— Если ребенок родится здесь — он будет американцем? — поинтересовался вдруг старик.

— А кем же еще? — опешила женщина в красной блузке.

— Я имею в виду — здесь, на Эллис-Айленде. Все-таки это всего лишь карантинная зона, вроде как еще не настоящая Америка. Америка вон она где.

— Здесь тоже Америка! — выпалила дама. — Охранники вон американцы. И инспектора тоже.

— Если так, то матери крупно повезет, — заметил старик. — У нее нежданно-негаданно объявится родственник в Америке, ее собственный ребенок! Ее легче будет пропустить! Эмигрантов, у кого в Америке родственники, впускают почти сразу. — Старик обвел нас несмелым взглядом и смущенно улыбнулся.

— Если его не признают американцем, значит, это будет первый истинный гражданин мира, — сказал я.

— Второй, — возразил старик. — Первого мне довелось повстречать еще в тридцать седьмом на мосту между Австрией и Чехословакией. На этот мост полиция обеих стран согнала тогда немецких эмигрантов. Податься было некуда, кордон стоял с двух концов. Целых три дня между границами прокуковали. Вот одна и родила.

— И что же стало с ребенком? — взволнованно спросила женщина в красной блузке.

— Умер задолго до того, как между двумя странами успела начаться война по этому поводу, — проронил старик. — Это было еще в гуманные времена до их присоединения к Германии, — добавил он почти извиняющимся тоном. — Потом-то эту мамашу вместе с ее младенцем попросту прибили бы, как котят.

Я увидел, что Уотсон уже возвращается из инспекторского бюро. В своем светлом клетчатом костюме он возвышался над согбенными спинами жмущихся у дверей беженцев будто великан. Я поспешил ему навстречу. Сердце у меня вдруг бешено забилось. Уотсон помахал моим паспортом.

— Считайте, что вам повезло, — объявил он мне. — Тут какая-то женщина рожает, инспектора совсем одурели. Вот ваша виза.

Я взял паспорт. Руки у меня дрожали.

— И на какой срок?

Уотсон от удовольствия даже рассмеялся.

— Собирались дать вам транзитную и только на четыре недели; а дали туристическую на два месяца. Можете этой роженице спасибо сказать. Так они торопились от нее, а заодно и от меня избавиться. Для нее, кстати, уже заказана моторка — сразу в больницу повезут. Заодно и нас могут прихватить. Ну, как вам это?

Уотсон крепко хлопнул меня по спине.

— Это что же, выходит, я свободен?

— Конечно! На ближайших два месяца. А потом мы придумаем что-нибудь еще.

— Два месяца! — пробормотал я. — Целая вечность.

Уотсон мотнул своей львиной шевелюрой.

— Вовсе не вечность! Только два месяца! Нам надо сразу же обсудить наши следующие шаги.

— Только на берегу! — сказал я. — Не сейчас!

— Хорошо. Только особенно не затягивайте. Тут еще кое-какие расходы остались — за проезд, за визу, ну и прочее. Всего пятьдесят долларов. Лучше сразу же это уладить. А уж остаток гонорара отдадите, когда обживетесь.

— Остаток — это сколько?

— Сто долларов. Очень недорого. Мы не злодеи какие-нибудь.

Я ничего ему на это не ответил. Мне вдруг страстно захотелось только одного — как можно скорее выбраться из этого зала. Прочь с Эллис-Айленда! Я боялся, что в последний миг дверь инспекторского бюро вдруг распахнется и меня вызовут, вернут. Я торопливо достал свой тощий бумажник и выдернул оттуда пятьдесят долларов. Оставалось у меня еще сто. Это не считая сотни долга. "Теперь всю оставшуюся жизнь плати этим адвокатам проценты", — пронеслось у меня в голове. Но мне уже было все равно — я ничего не чувствовал, кроме яростного, ознобом накатывающего нетерпения.

— Мы можем идти? — спросил я Уотсона.

Тот кивнул. Женщина в панбархатной блузке пожала мне руку. Тут же подошел и старик, чтобы меня поздравить. Мы пошли к выходу. В дверях я предъявил полицейскому свой паспорт. Он тут же мне его вернул.

— Счастья вам! — пожелал он мне и тоже протянул руку.

Впервые в жизни мне жал руку полицейский, да еще и желал счастья. На меня это весьма своеобразно подействовало: только тут я понял, что я действительно свободен.

Нас погрузили в моторку, больше похожую на солидный баркас. Роженицу в сопровождении двух охранников уложили на корме; Уотсон, я и еще несколько выпущенных на волю счастливцев теснились на носу. Рев мотора и гудки окружающих кораблей заглушили стоны женщины. Солнце и ветер со всех сторон охватили лодку искристой зыбью подрагивающих солнечных бликов, так что казалось, наша моторка не плывет, а парит между небом и водой. Я стоял не оглядываясь. Паспорт был спрятан во внутреннем кармане, я прижимал его к себе. Небоскребы Манхэттена исполинскими стражами вырастали в ослепительно-голубом небе. Вся переправа заняла лишь несколько минут.

Когда мы уже причаливали, один из пассажиров не смог удержаться от слез. Это был тщедушный старичок на тонких ножках и в старомодной велюровой шляпе. Бородка его затряслась, и он упал на колени, простирая руки к небу в истовом и бесцельном жесте. При ярком свете утреннего солнца это выглядело и трогательно и комично. Супруга старичка, маленькая, смуглая, как орех, вся в морщинах, досадливо стала его поднимать.

— Костюм перепачкаешь! А он у тебя только один!

— Мы в Америке! — лепетал старичок.

— Ну да, да, мы в Америке, — крикливым голосом ответила ему жена. — А где наш Иосиф? Где Самуил? Где они? Где наша Мириам, где они все? Мы в Америке, — повторила она. — А все остальные где? Поднимайся и помни о костюме! — Своими мертвыми, неподвижными, словно у жука, глазами она теперь смотрела на всех нас. — Мы-то в Америке! А где остальные? Дети где?

— Что она говорит? — поинтересовался Уотсон.

— Радуется, что она наконец-то в Америке.

— Ах вот оно что. Еще бы. Тут у нас земля обетованная. Вы ведь тоже рады, не так ли?

— Очень! Большое вам спасибо за помощь.

Я осмотрелся. Вокруг меня, казалось, бушует автомобильная битва. Никогда прежде не доводилось мне видеть столько машин одновременно. В Европе до войны машин было немного, да и бензина почти не было.

— А где же солдаты? — удивился я.

— Солдаты? Какие солдаты?

— Но Америка ведь ведет войну!

Уотсон широко улыбнулся.

— Война в Европе и в Атлантике, — доброжелательно растолковал он мне. — А здесь нет. В Америке войны нет. Здесь у нас мир.

На секунду я даже об этом забыл. Враг далеко, где-то на краю света. Здесь не надо оборонять от него границы. Не надо стрелять. Здесь нет руин. Нет бомб. Вообще никаких разрушений.

— Мир, — повторил я.

— Не похоже на Европу, верно? — с гордостью спросил Уотсон.

Я кивнул.

— Совсем не похоже.

Уотсон показал на другую сторону улицы.

— Вон там стоянка такси. А напротив остановка омнибуса. Не пешком же вы пойдете?

— Отчего же? Именно пешком. Я вдоволь насиделся взаперти.

— Ах вот что. Ну, как хотите. Кстати, в Нью-Йорке вы не заблудитесь. Почти все улицы здесь по номерам. Очень удобно.

Я брел по улицам как пятилетний мальчуган — как раз настолько, должно быть, хватало моих знаний английского. Я брел сквозь ошеломляющий поток звуков, слов, смеха, криков, клаксонов, сквозь все это взбудораженное кипение жизни, которому пока что не было до меня никакого дела, хоть оно слепой силой прибоя и рвалось во все мои чувства. Я слышал вокруг себя только шум, не понимая отдельных звуков, я видел вокруг себя только свет, не понимая, из чего он возникает и во что составляется. Все вокруг полнилось изобилием возможностей, мне неведомых, ибо я не знал их языка. Все было иначе, чем в европейских странах, где знакомая жизнь поддавалась толкованию легко и сразу. Здесь же мне все время чудилось, будто я шагаю по гигантской арене, на которой все эти прохожие, официанты, шоферы играют друг с дружкой в какую-то непонятную мне игру, а я, хоть и нахожусь в самом центре событий, из игры напрочь выключен, ибо не знаю правил. Я понимал, что эти вот мгновения — единственные и никогда больше не повторятся. Уже завтра, да нет, уже сегодня, как только дойду до гостиницы, я вольюсь в эту жизнь, и вечная борьба, полная уловок и утаек, выгадываний и грошовых сделок, а еще скопища мелких полуправд, из которых складываются мои будни, начнется снова-здорово, — но сейчас, в этот вот единственный миг, город, еще не успевший меня заметить, распахивал мне навстречу свое лицо, неистовое и громогласное, безучастное и чуждое. Мне показалось, что даже время на несколько минут остановилось в некоей судьбоносной цезуре, когда все вдруг возможно, любое решение подвластно, когда вся твоя жизнь замерла в бездвижной невесомости и только от одного тебя зависит, рухнет она или нет.

Я брел все дальше, брел по улицам, которые вместо названий носили просто номера и становились все обшарпанней и у́же, покуда с фасада чуть в глубине стоящего дома на меня не глянула вывеска гостиницы "Мираж". Подъезд был облицован искусственным мрамором, одна из плиток успела треснуть. Я вошел и тут же остановился. После яркого света улицы в тесном холле с трудом угадывалось подобие стойки, несколько плюшевых кресел и такой же диван, а еще кресло-качалка, с которой в темноте лениво поднялось что-то, силуэтом сильно напоминая медведя.

— Вы Людвиг Зоммер? — поинтересовался медведь по-французски.

— Да, — удивленно подтвердил я. — Откуда вы знаете?

— Роберт Хирш предупреждал, что вы на днях можете приехать. Меня зовут Владимир Мойков. Я тут и за управляющего, и за горничную, и официант, и мальчик на побегушках.

— Мне повезло, что вы говорите по-французски. Молчал бы тут как рыба.

Мойков пожал мне руку.

— Говорят, под водой рыбы весьма общительные создания, — заявил он. — Кто угодно, только не молчуны. Согласно новейшим научным разысканиям. Можете, кстати, говорить со мной и по-немецки.

— Вы немец?

Лицо Мойкова сморщилось множеством борозд и складочек — это была улыбка.

— Нет. Я остаточный продукт многих революций. Сейчас я американец. Прежде побывал чехом, русским, поляком, австрийцем, смотря по тому, кто стоял в городишке, откуда родом моя мать. Даже немцем побывал — в оккупации. Что-то вид у вас какой-то жаждущий. Хотите рюмку водки?

Я замялся, подумав о моих стремительно тающих финансах.

— А сколько у вас стоит комната? — спросил я.

— Самая дешевая два доллара за ночь. — Мойков направился к доске с ключами. — Правда, это скорее каморка. Без роскоши и без удобств. Но ванная в том же коридоре.

— Я ее беру. А на месяц не дешевле?

— Пятьдесят долларов. И сорок пять, если платите вперед.

— Хорошо.

Мойков осклабился в ухмылке старого павиана.

— Рюмка водки при заключении договора обязательна. За счет отеля. Водка, кстати, очень хорошая. Я сам ее делаю.

— Мы когда-то тоже делали, в Швейцарии, разводили пятьдесят на пятьдесят с добавлением кусочка сахара и наперстка смородиновых почек. Спиртом нас снабжал аптекарь. Водка получалась отменная, и дешевле самого отвратного магазинного шнапса. Да, блаженное было времечко, зимой сорок второго.

— В тюрьме?

— В тюрьме в Беллинцоне. К сожалению, только одну неделю. Нелегальное пересечение границы.

— Смородиновые почки, — повторил Мойков задумчиво. — А что, хорошая идея! Только где найти в Нью-Йорке смородиновых почек?

— Они все равно почти не дают вкуса, — утешил я его. — А идею подарил мне один белорус. Водка у вас и правда очень хорошая.

— Вот и замечательно. В шахматы играете?

— Да, но в тюремные. Не в гроссмейстерские. Беженские шахматы, только чтобы отвлечься от прочих мыслей.

Мойков кивнул.

— Пойдемте, я покажу вам вашу комнату.

Комната действительно оказалась каморкой, выходила на задний двор, и света в ней было немного. Я заплатил сорок пять долларов и с облегчением поставил чемодан. Освещалась комната из-под потолка парой чугунных светильников, но имелась здесь и маленькая настольная лампа с зеленым абажуром. Я удостоверился, что лампа работает, значит, можно будет оставлять ее на ночь. После кладовки брюссельского музея ненавижу спать впотьмах. Потом я пересчитал свои деньги. Я понятия не имел, как долго можно прожить в Нью-Йорке на пятьдесят пять долларов, но меня это нисколько не угнетало. У меня слишком часто не было за душой и сотой доли этой суммы.

— Вот вам письмо от Роберта Хирша, — сказал мне Мойков, когда я снова спустился вниз. — Он не знал точно, когда вы приедете. Вам лучше всего просто сходить к нему ближе к вечеру. Днем он работает, как и почти всякий здесь.

Работа, подумал я. Легальная! Счастье-то какое! Вот бы и мне так... Мне если и случалось работать, то только по-черному, украдкой, в вечном страхе перед полицией.

III

К Хиршу я отправился уже в полдень. Я легко нашел небольшой магазинчик, в двух окнах которого были выставлены радиоприемники, электрические утюги, фены для сушки волос и кипятильники; все это горделиво посверкивало сталью и хромом — но дверь была заперта. Я подождал немного, а потом сообразил, что Роберт Хирш, наверное, ушел на обед. Я разочарованно отвернулся от двери. Я вдруг и сам испытал острый приступ голода. Не зная, как быть, я смотрел по сторонам. Очень хотелось поесть, не убухав на это кучу денег. На ближайшем углу я углядел магазинчик, с виду похожий на аптеку. В витрине красовались клизмы, флаконы с туалетной водой и реклама аспирина, но за раскрытой дверью виднелось что-то вроде бара, за стойкой сидели люди и явно что-то ели. Я вошел.

Парень в белой куртке нетерпеливо спросил меня из-за стойки:

— Что вам?

Я растерялся, не зная, что ответить. Впервые в Америке мне приходилось самому заказывать себе еду. Я показал на тарелку соседа.

— Гамбургер? — рявкнул парень.

— Гамбургер, — ответил я изумленно. Вот уж не ожидал, что мое первое слово по-английски окажется немецким.

Гамбургер оказался сочным и вкусным. Я съел к нему две булочки. Парень опять что-то рявкнул. Я напрочь не понимал, чего он от меня добивается, но увидел, что на тарелке у соседа уже мороженое. Я снова ткнул в его сторону. Сто лет мороженого не ел. Однако парню этого оказалось недостаточно. Он показал на длиннющее табло у себя за спиной и рявкнул еще громче.

Сосед взглянул на меня. У него была лысина и жесткие, будто из конского волоса, усы.

— Какой сорт? — сказал он мне почти по складам, точно ребенку.

— Самый обычный, — ответил я, лишь бы выпутаться.

Усач рассмеялся.

— Тут мороженое сорока двух сортов.

— Что?

Усач показал на табло.

— Выбирайте.

Я разглядел слово "фисташки". В Париже бродячие торговцы продавали фисташки, обходя в кафе столик за столиком. Но мороженого такого я не знал.

— Фисташки, — сказал я. — И кокос.

Я расплатился и не торопясь вышел. Впервые в жизни я ел в аптеке. По дороге к выходу я успел заметить прилавки с лекарствами и рецептурный отдел. Здесь также можно было купить резиновые перчатки, книги и даже золотых рыбок. "Что за страна! — думал я, выходя на улицу. — Сорок два сорта мороженого, война и ни одного солдата на улице!"

Перед магазином Роберта Хирша толпились люди. "Несчастье! — подумал я. — Или полиция!" Это первое, о чем наш брат думает. Я уже начал было продираться сквозь толпу, как вдруг услышал чей-то неестественно громкий голос. В окне теперь были выставлены три репродуктора, дверь в магазин распахнута настежь. Голос шел из репродукторов. В самом магазине было пусто и темно.

И тут я увидел Хирша. Он стоял на улице среди других слушателей. Я сразу узнал его рыжую макушку. Он не изменился.

— Роберт! — тихо сказал я, вплотную подойдя к нему сзади и забыв о раскатах репродукторного трио.

Он меня не услышал.

— Роберт! — крикнул я. — Роберт!

Он вздрогнул, оглянулся, изменился в лице.

— Людвиг! Ты? Ты когда приехал?

— Утром сегодня. Я уже приходил сюда, но никого не было.

Мы пожали друг другу руки.

— Хорошо, что ты здесь, — сказал он. — Это чертовски здорово, Людвиг! Я уж думал, тебя нет в живых.

— А я то же самое думал о тебе, Роберт. В Марселе все тебя похоронили. Нашлись даже очевидцы твоего расстрела.

Хирш рассмеялся.

— Эмигрантские сплетни! Ну ничего, говорят, это к долгой жизни. Хорошо, что ты здесь, Людвиг. — Он кивнул в сторону репродукторов и пояснил: — Рузвельт! Твой спаситель говорит. Давай-ка послушаем.

Я кивнул. Мощный, раскатистый голос и так перекрывал любое изъявление чувств. Я был взволнован; кроме того, я почти ни слова не мог разобрать из того, что говорит президент.

Я заметил, что и Хирш слушает не слишком внимательно. Он пристально наблюдал за собравшимися. Большинство слушали безучастно; но некоторые отпускали замечания. Толстуха блондинка с башней волос на голове презрительно рассмеялась, недвусмысленно постучала себя по лбу и удалилась, покачивая пышными бедрами.

Репродукторы вдруг умолкли. Люди быстро разошлись. Только мужчина в спортивном пиджаке остался.

— По-каковски это вы говорите? — буркнул он вопросительно. — Немецкий, что ли?

— По-французски, — невозмутимо ответил Хирш. (Мы говорили по-немецки.) — Язык ваших союзников.

— Тоже мне союзнички. Мы за них воюем! Все из-за Рузвельта этого!

Мужчина вразвалку удалился.

— Вечно одно и то же, — вздохнул Хирш. — Ненависть к иностранцам — вернейший признак невежества. — Потом взглянул на меня. — А ты похудел, Людвиг. И постарел.

Хирш был примерно моих лет — ему тридцать два. Но выглядел гораздо моложе. И фигурой пощуплей, и ростом поменьше.

— Я был твердо уверен, что тебя убили, — проронил я.

— Да я сам распустил этот слух, чтобы легче смыться, — объяснил он. — Было уже пора, самое время.

Мы вошли в магазин, где радио теперь взахлеб что-то расхваливало. Оказалось, это реклама кладбища. "Сухая песчаная почва! — разобрал я. — Изумительный вид!" Хирш выключил звук и извлек из маленького холодильника бутылку, стаканы и лед.

— Последний мой абсент, — объявил он. — И самый подходящий повод его откупорить.

— Абсент? — не поверил я. — Настоящий?

— Да нет, не настоящий. Эрзац, как и всё. Перно. Но еще из Парижа. Будь здоров, Людвиг! За то, что мы еще живы!

— Будь здоров, Роберт!

— Левин вытянул из тебя все деньги?

— Нет. Но те, что ты мне послал, вытянул.

— Отлично! Для того я их тебе с ним и посылал, — Хирш рассмеялся. — А вот тебе то, что я от него зажал. Иначе он и их бы захапал.

Он достал две пятидесятидолларовые купюры и сунул мне в карман.

— Мне пока не надо! — сопротивлялся я. — У меня своих пока достаточно. Больше, чем когда-либо бывало в Европе! Для начала дай мне попробовать выкручиваться самому.

— Не дури, Людвиг! Мне ли твоих финансов не знать. К тому же один доллар в Америке — это половина того, что он стоит в Европе; а значит, и бедняком быть здесь вдвое тяжелей. Кстати, ты что-нибудь слышал о Йозефе Рихтере? Он еще был в Марселе, когда я в Испанию перебрался.

Я кивнул.

— В Марселе его и взяли. Прямо перед американским консульством. Не успел в двери забежать. Сам знаешь, как это бывало.

— Да, знаю, — отозвался он.

Я не спросил Роберта Хирша, как ему самому удалось из Франции выбраться. И он меня не спросил. По привычке сработало давнее конспиративное правило: чего не знаешь, того не выдашь. А сможешь ли ты выдержать последние достижения современной пытки — это еще большой вопрос.

Мы помолчали.

— Роберт, — наконец спросил я. — Кто такой Танненбаум?

Роберт очнулся от своих невеселых мыслей.

— Танненбаум — это еврейский банкир. Уже много лет как здесь обосновался. Богач. И очень великодушен, если его подтолкнуть.

— Понятно. Но кто подтолкнул его помогать мне? Ты, Роберт?

— Нет, Людвиг. Это был не я, а добрейшая эмигрантская душа на свете — Джесси Штайн.

— Джесси? Она тоже здесь? Ее-то кто сюда переправил?

Хирш рассмеялся.

— Она сама себя переправила. Причем без чьей-либо помощи. И к тому же с удобствами. Даже с шиком. Она прибыла в Америку, как когда-то Фольберг в Испанию. Ты еще встретишь здесь много других знакомых. Даже в "Мираже". Не все сгинули, и поймали не всех.

Два года назад Фольберг несколько недель держал в осаде франко-испанскую границу. Ни выездную визу из Франции, ни въездную в Испанию он получить не смог. И пока другие эмигранты пересекали границу, карабкаясь глухими контрабандистскими тропами через горы, Фольберг, которому альпинизм был уже не по летам, от отчаяния на последние деньги взял напрокат допотопный, но шикарный "роллс-ройс", в бензобаке которого еще оставалось бензина километров на тридцать, и покатил к границе прямиком по автостраде. Владелец "роллс-ройса" изображал шофера. По такому случаю он дал Фольбергу напрокат не только авто, но и свой парадный костюм со всеми военными орденами, которые тот, восседая на заднем сиденье, гордо выпячивал. Расчет оправдался. Ни один из пограничников не додумался побеспокоить липового владельца "роллс-ройса" вопросами о какой-то там визе. Зато все, как мальчишки, толклись вокруг мотора, достоинства которого Фольберг им охотно разъяснял.

— Что, Джесси Штайн прибыла в Нью-Йорк тоже на "роллс-ройсе"? — поинтересовался я.

— Да нет. Но с последним рейсом "Королевы Мэри" перед самой войной. У нее виза через два дня истекала, когда она на берег сошла. Но ей продлили на шесть месяцев. И уже который раз продлевают еще на полгода.

У меня даже дыхание перехватило.

— Брось, Роберт. Неужто такое бывает? — не поверил я. — Неужто здесь можно продлить визу? Даже туристическую?

— Только туристическую и можно. Другие продлевать просто не нужно. Это настоящие въездные визы по так называемым квотным номерам, дающие через пять лет право на получение гражданства. Их выписывают сроком на десять и даже на двадцать лет! С такой квотной визой ты даже имеешь право работать; с туристической нет. На сколько она у тебя, кстати?

— Восемь недель. Ты что, правда думаешь, что ее можно продлить?

— Почему нет? Левин и Уотсон довольно надежные ребята.

Я откинулся на спинку стула. Как-то я вдруг весь размяк. Впервые за много лет. Хирш взглянул на меня. Потом рассмеялся.

— Давай-ка отметим твое вступление в мещанскую стадию эмигрантской жизни, — заявил он. — Мы пойдем ужинать. Все, Людвиг, кончились этапы страстного пути.

— До завтрашнего утра, — возразил я. — А завтра я отправлюсь на поиски работы и тут же опять вступлю в конфликт с законом. Каково, кстати, в здешних тюрьмах?

— Очень демократично. В некоторых даже радио в камерах. Если в твоей не будет, я тебе пришлю.

— А лагеря для интернированных в Америке есть?

— Да. Но в порядке исключения только для подозреваемых в нацизме.

— Вот это фортель! — Я встал. — И куда же мы пойдем ужинать? В американскую аптеку? Я сегодня в одной такой обедал. Очень здорово. Там тебе и презервативы, и мороженое сорока двух сортов.

Хирш засмеялся.

— Это был дрогстер. Нет, сегодня мы пойдем в другое место.

Он запер двери магазина.

— Это твоя, что ли, лавочка? — спросил я.

Он покачал головой.

— Я здесь только обычный рядовой продавец, — сказал он с внезапной горечью в голосе. — Невзрачный лавочник с утра до вечера.

Я ничего не ответил. Я-то бы счастлив был, позволь мне кто-нибудь продавцом поработать. Мы вышли на улицу. Стылый закатный багрянец робко заглядывал между домами, будто заблудившийся и вконец продрогший бродяга. Два самолета с мерным жужжанием плыли по ясному небу. Никто не обращал на них внимания; никто не разбегался по подворотням, не падал ничком на асфальт. Двойная цепочка фонарей разом зажглась по всей длине улицы. По стенам домов обезумевшими обезьянами метались вверх-вниз разноцветные вспышки неоновых реклам. В Европе в это время уже стояла бы кромешная тьма, как в угольной шахте.

— Подумать только, тут и в самом деле нет войны, — сказал я.

— Да, — отозвался Хирш. — Войны нет. Опасности никакой, зато от бездеятельного ожидания выть хочется.

Я глянул на него. Лицо его снова было замкнуто и ничего не выражало.

— Ну, что-что, а уж это я бы смог выносить довольно долго, — сказал я.

Мы вышли на большую улицу, по всей длине которой красными, желтыми, зелеными бликами весело перемигивались светофоры.

— Мы пойдем в рыбный ресторан, — решил Хирш. — Ты не забыл, как мы последний раз ели рыбу во Франции?

Я рассмеялся.

— Нет, это я хорошо помню. В Марселе в ресторанчике Бассо в старом порту. Я ел рыбную похлебку с чесноком и шафраном, а ты салат из крабов. Угощал ты. Это была наша последняя совместная трапеза. К сожалению, нам помешали ее завершить: оказалось, в ресторане полиция, и нам пришлось смываться.

Хирш кивнул.

— На сей раз, Людвиг, обойдется без помех. Здесь ты не каждый миг балансируешь между жизнью и смертью.

— И слава богу!

Мы остановились перед двумя большими, ярко освещенными окнами. Оказалось, это витрина. Рыба и прочая морская живность были выложены здесь на мерцающем насте дробленого льда. Аккуратные шеренги рыб живо поблескивали серебром чешуи, но смотрели тусклыми, мертвыми глазами; разлапистые крабы отливали розовым — уже сварены; зато огромные омары, походившие в своих черных панцирях на средневековых рыцарей, были еще живы. Поначалу это было не видно, и лишь потом ты замечал слабые подрагивания усов и черных, пуговицами выпученных глаз. Эти глаза смотрели; они смотрели и двигались. Огромные клешни лежали почти неподвижно: в их сочленения были воткнуты деревянные шпеньки, дабы хищники не покалечили друг друга.

— Ну разве это жизнь, — сказал я. — На льду, распятые, и даже пикнуть не смей. Прямо как эмигранты беспаспортные.

— Я тебе закажу одного. Самого крупного.

Я отказался.

— Не сегодня, Роберт. Не хочу свой первый же день ознаменовывать убийством. Сохраним жизнь этим несчастным. Даже столь жалкое существование им, наверно, кажется жизнью, и они готовы ее защищать. Закажу-ка я лучше крабов. Они уже сварены. А ты что будешь?

— Омара! Хочу избавить его от мук.

— Два мировоззрения, — заметил я. — У тебя более жизненное. Мое недостаточно критично.

— Ничего, скоро это изменится.

Мы вошли в ресторан. Нас обдало волной тепла и одуряющим запахом рыбы. Почти все столики были заняты. По залу носились официанты с огромными блюдами, из которых, словно кости после людоедского пиршества, торчали огромные крабьи клешни. За одним из столиков, выпятив локти, восседали двое полицейских, присосавшись к крабьим клешням, точно к губным гармошкам. Я непроизвольно попятился, ища глазами выход. Роберт Хирш подтолкнул меня в спину.

— Бегать больше незачем, Людвиг, — сказал он со смешком. — Правда, легальная жизнь тоже требует мужества. Иногда даже большего, чем бегство.

Сидя в красном плюшевом будуаре, который именовался в "Мираже" салоном, я учил английскую грамматику. Было уже поздно, но спать идти не хотелось. В комнатенке по соседству, именовавшейся приемной, тихо хозяйничал Мойков. Спустя некоторое время я услышал, как к дверям кто-то подходит; походка была прихрамывающая. Эта странная, как бы запинающаяся в синкопе хромота сразу напомнила мне о ком-то, кого я знал еще в Европе. Но в полутьме разглядеть пришельца не удавалось.

— Лахман! — окликнул я наугад.

Человек остановился.

— Лахман! — повторил я, включая верхний свет. Нехотя, тусклым желтоватым маревом он полился из-под потолка с трехрожковой люстры в стиле модерн. Человек уставился на меня, недоуменно мигая.

— Господи, Людвиг! — воскликнул он наконец. — Давно ли ты здесь?

— Три дня уже. Я тебя по походке узнал.

— По моей проклятой поступи амфибрахием?

— По твоему вальсирующему шагу, Курт.

— Как же ты сюда перебрался? Уж не по визе ли Рузвельта? Или по спискам наиболее ценных, подлежащих спасению представителей европейской интеллигенции?

Я покачал головой.

— Наш брат в этих списках не значится. Не настолько мы, бедолаги, знамениты.

— Я-то уж точно, — подтвердил Лахман.

Вошел Мойков.

— Так вы знакомы?

— Да, — ответил я. — Знакомы. Давно. И по многим тюрьмам.

Мойков снова выключил верхний свет и принес бутылку.

— Самый подходящий повод пропустить рюмашку, — заметил он. —

Праздники надо отмечать в порядке их поступления. Водка за счет отеля. У нас тут гостеприимство.

— Я не пью, — отказался Лахман.

— И очень правильно! — одобрил Мойков, наливая только мне. — Одно из преимуществ эмиграции в том, что приходится часто прощаться и часто праздновать встречи, — заявил он. — К тому же это дарит иллюзию долгой жизни.

Ни Лахман, ни я ничего на это не ответили. Мойков был другого поколения — из тех, кто в семнадцатом бежал из России. То, что в нас еще полыхало пламенем, в нем давно уже улеглось пеплом легенды.

— Ваше здоровье, Мойков! — сказал я. — И почему мы не родились йогами? Или в Швейцарии?

Лахман горько усмехнулся.

— Да хотя бы не евреями в Германии, и то хорошо!

— Вы передовой отряд граждан мира, — невозмутимо возразил Мойков. — Вот и ведите себя как настоящие первопроходцы. Вам еще памятники будут ставить.

И пошел к стойке выдать кому-то ключ.

— Остряк, — сказал Лахман, глядя ему вслед. — Ты для него что-нибудь делаешь?

— В каком смысле?

— Водка, героин, тотализатор, ну и прочее?

— Он этим занимается?

— Говорят.

— Ты за этим и пришел?

— Нет. Но прежде я тоже тут ютился. Как и почти всякий новоприбывший.

Подарив мне взгляд заговорщика, Лахман уселся рядом.

— Понимаешь, все дело в одной женщине, она тут живет, — зашептал он. — Представь себе: пуэрториканка, сорок пять лет, одна нога не ходит, она под машину попала. У нее сожитель есть, сутенер-мексиканец. Так вот, этот мексиканец готов за пять долларов предоставить нам ложе. У меня больше есть! Так она не хочет! Слишком набожная. Прямо беда! Она верна ему. Он ее за это колотит, а она все равно не соглашается. Она уверена, что Бог смотрит на нее из облака. Даже ночью. Я ей внушаю, что у Бога близорукость, причем давно. Какой там! Но деньги берет! И все обещает! Деньги отдает сутенеру. А обещанного не исполняет и смеется. И обещает снова. Я с ума от нее сойду! Просто наказание!

Лахман страдал комплексом своей хромоты. Говорят, в свою прежнюю бытность в Берлине он был по части женщин большой ходок. Так вот, боевая группа штурмовиков, прослышав про это, однажды затащила его в свой кабак, намереваясь оскопить, чему, по счастью, — это было еще в тридцать третьем — помешала подоспевшая полиция. Лахман отделался выбитыми зубами, шрамами на мошонке и переломами ноги в четырех местах, которые неправильно срослись, потому что больницы в ту пору уже отказывались принимать евреев. С тех пор он хромал и питал слабость к женщинам, страдающим, как и он, легкими физическими изъянами.

— Ты ничуть не изменился, Курт, — сказал я.

— Человек вообще не меняется, — мрачно возразил Лахман. — Когда его совсем прижмет, он клянется начать праведную жизнь, но дай ему

хоть чуток вздохнуть, и он разом забывает все свои клятвы. — Лахман и сам вздохнул. — Одного не пойму, геройство это или идиотизм?

— Геройство, — утешил я его. — В нашем положении надо украшать себя только доблестями.

Лахман отер пот со лба.

— Ты тоже все тот же. — Он снова вздохнул и достал из кармана нечто, завернутое в подарочную бумагу. — Четки, — пояснил он. — Я этим торгую. Реликвии и амулеты. А также иконки и фигурки святых, лампадки, освященные свечи. Вхож в самые узкие католические круги. — Он приподнял четки. — Чистое серебро и слоновая кость, — похвастался он. — Освящены самим Папой. Как ты думаешь, это ее сломит?

— Каким Папой?

Он растерялся.

— Как каким? Пием. Пием Двенадцатым, кем же еще?

— Лучше бы Бенедиктом Пятнадцатым. Во-первых, он умер, а это всегда повышает ценность, как с почтовыми марками. Во-вторых, он не был фашистом.

— Опять ты со своими дурацкими шуточками! — Лахман немного поколебался, но потом жажда поделиться сообщением все же взяла верх. Он развернул еще один сверток. — Обломок смоковницы из Гефсиманского сада, из Иерусалима! Подлинный, со штемпелем и письменным подтверждением! Если уж это ее не размягчит, тогда что? — Он смотрел на меня умоляюще.

Я с увлечением разглядывал вещицы.

— И много это приносит? — полюбопытствовал я. — Ну, торговля всем этим?

Лахман вдруг насторожился.

— Ровно столько, чтобы не подохнуть с голода, а что? Или ты решил составить мне конкуренцию?

— Да простое любопытство, Курт, и больше ничего.

Он взглянул на часы.

— В одиннадцать я должен за ней зайти. Ругай меня! — Он встал, поправил галстук и заковылял вверх по лестнице. Потом вдруг еще раз оглянулся. — Что я могу поделать? — жалобно простонал он. — Такой уж я страстный человек! Просто напасть какая-то! Вот увидишь, я когда-нибудь умру от этого! Но что еще остается?

Я подошел к стойке. Стоявший за ней Мойков поднял на меня глаза.

— Не хотите сыграть партию в шахматы?

Я покачал головой.

— Попозже. Хочу еще немного пройтись. На витрины поглазеть, на все это нью-йоркское освещение. В Европе в это время бывало темно, как в угольной штольне.

Мойков взглянул на меня с сомнением.

— Только не пытайтесь приставать к женщинам, — предупредил он. — Могут и полицию позвать. Нью-Йорк это вам не Париж. Европейцы обычно об этом забывают.

Я остановился.

— Что же, в Нью-Йорке нет проституток?

Складки на лице Мойкова углубились.

— Только не на улице. Там их гоняет полиция.

— Тогда в борделях?

— Там полиция их тоже гоняет.

Признаться, я был изумлен. Похоже, в Америке проституток преследовали не меньше, чем в Европе эмигрантов.

— Я буду осмотрителен, — пообещал я. — Да и английский у меня не тот, чтобы с женщинами заигрывать.

Я вышел на улицу, которая распростерлась передо мной во всей своей стерильной непорочности. В этот час в Париже проститутки цокали по тротуарам на своих высоких каблучках либо стояли в полутьме под синими фонарями бомбоубежищ. Их живучее племя не ведало страха даже перед гестапо. Они же оказывались случайными спутницами нашего брата беженца, когда тот, одурев от одиночества и самого себя, наскребал немного денег на скоротечный час безличной покупной ласки. Я смотрел на прилавки деликатесных магазинов, что ломились от изобилия ветчин, колбас, сыров, ананасов. "Прощайте, милые подруги парижских ночей! — думал я. — Судя по всему, мне уготованы здесь муки анахорета и услады рукоблудия!"

— Ну что, не нашли? — поинтересовался Мойков.

— Да я и не искал.

— Тем лучше. Коли так, можно без помех сыграть тихую партию в шахматы. Или вы устали?

Я покачал головой.

— На свободе не так быстро устаешь.

— Это кто как, — возразил Мойков. — Обычно-то эмигранты, прибыв сюда, прямо на глазах разваливаются и сутками только и знают, что спать. Должно быть, реакция организма на долгожданную безопасность. У вас нет?

— Нет. По крайнем мере, я ничего такого не чувствую.

— Значит, еще накатит. Никуда не денетесь.

— Ну и ладно.

Мойков принес шахматы.

— Лахман уже ушел? — спросил я.

— Нет еще. По-прежнему наверху у своей ненаглядной.

— Думаете, сегодня ему повезет?

— С чего вдруг? Она потащит его ужинать вместе со своим мексиканцем, а он за всех заплатит. Он что, всегда такой был?

— Он уверяет, что нет. Говорит, что приобрел этот комплекс вместе с хромотой.

Мойков кивнул.

— Это может быть, — сказал он задумчиво.

— А вы давно здесь?

— Двадцать лет.

Краем глаза я заметил в дверях какую-то легкую тень. Чуть подавшись вперед, там стояла молодая женщина и смотрела на нас. Строгий овал бледного лица, ясный и твердый взгляд серых глаз, рыжие волосы, которые почему-то показались мне крашеными.

— Мария! — Мойков от неожиданности вскочил. — Когда же вы вернулись?

— Вчера.

Я тоже встал. Мойков чмокнул девушку в щечку. Ростом она оказалась чуть ниже меня. На ней был узкий, облегающий костюм. Голос низкий и с хрипотцой, как будто чуть надтреснутый. Меня она не замечала.

— Водки? — спросил Мойков. — Или виски?

— Лучше водки. Но на мизинец, не больше. Мне надо бежать. У меня еще сеанс.

Говорила она очень быстро, почти взахлеб.

— Так поздно?

— Фотограф только в это время свободен. Платья и шляпки. Очень маленькие. Прямо крохотульки.

Тут я заметил, что на ней и сейчас шляпка, вернее, очень маленький берет, этакая черненькая финтифлюшка, косо сидящая в волосах.

Мойков пошел за бутылкой.

— Вы ведь не американец? — спросила девушка по-французски. Она и с Мойковым по-французски говорила.

— Нет. Я немец.

— Ненавижу немцев, — отрезала она.

— Я тоже, — ответил я.

Она вскинула на меня глаза.

— Я не то имела в виду! — выпалила она смущенно. — Не вас лично.

— Я тоже.

— Вы не должны сердиться. Это все война.

— Да, — отозвался я как можно равнодушней. — Это все война, я знаю.

Мойков вернулся, неся бутылку и три маленьких стопочки.

— Мне не нужно, — сказал я.

— Вы обиделись? — спросила девушка.

— Нет. Просто пить не хочу. Надеюсь, вам это не помешает.

Мойков понимающе ухмыльнулся.

— Ваше здоровье, Мария! — сказал он, поднимая рюмку.

— Напиток богов, — вздохнула девушка и опустошила рюмку одним махом, резко, как пони, запрокинув голову.

Мойков схватился за бутылку.

— Еще по одной? Рюмочки-то малюсенькие.

— Grazie[1], Владимир. Достаточно. Мне надо бежать. Au revoir![2]

Она протянула мне руку.

— Au revoir, monsieur[3].

Рукопожатие у нее оказалось неожиданно крепкое.

— Au revoir, madame[4].

Мойков, вышедший ее проводить, вернулся.

— Она вас разозлила?

— Да нет. Я сам все спровоцировал. Мог бы сказать, что у меня австрийский паспорт.

— Не обращайте внимания. Она не хотела. Просто говорит быстрее, чем думает. Она поначалу почти каждого исхитряется разозлить.

— Она что, итальянка?

— Вроде того. Зовут ее Мария Фиола. Помесь, как и почти все здесь; мать, по-моему, была то ли испанской, то ли русской еврейкой. Работает фотомоделью. Раньше жила здесь.

— Как и Лахман, — заметил я.

— Как Лахман, как Хирш, как Лёвенштайн и многие другие, — с готовностью подтвердил Мойков. — Здесь у нас дешевый интернаци-

1. Спасибо (*итал.*).
2. До свидания! (*франц.*)
3. До свидания, месье (*франц.*).
4. До свидания, мадам (*франц.*).

ональный караван-сарай. Но все-таки это на разряд повыше, чем национальные гетто, где поначалу обычно поселяются новоприбывшие.

— Гетто? Здесь они тоже есть?

— Их так называют. Просто многих эмигрантов тянет жить среди земляков. Зато дети потом мечтают любой ценой вырваться оттуда.

— Что, и немецкое гетто тоже есть?

— А как же. Йорктаун. Это в районе восемьдесят шестой улицы.

На лестнице раздались шаги. Я тотчас же узнал хромающую поступь Лахмана. Ее сопровождал глубокий, очень мелодичный женский голос. Должно быть, это пуэрториканка. Она шла впереди Лахмана, не слишком заботясь о том, поспевает ли за ней ее обожатель. Не похоже было, что у нее парализованная нога. Говорила она только с мексиканцем, который вел ее под руку.

— Бедный Лахман, — сказал я, когда вся группа удалилась.

— Бедный? — не согласился Мойков. — Почему? У него есть то, чего у него нет, но что он хотел бы заполучить. Беден тот, кто уже ничего не хочет. Не хотите ли, кстати, выпить рюмочку, от которой недавно отказались?

Я кивнул. Мойков налил. На мой взгляд, расходовал он свою водку как-то уж слишком расточительно. И у него была очень своеобразная манера пить. Маленькая стопка полностью исчезала в его громадном кулаке. И он не опрокидывал ее залпом. Мечтательно поднеся руку ко рту, он медленно проводил ею по губам, и только затем в его длани обнаруживалась уже пустая стопка, которую он бережно ставил на стол. Как он ее выпил, понять было нельзя. После этого он снова открывал глаза, и в первый миг казалось, что они у него совсем без век, как у старого попугая.

— Как теперь насчет партии в шахматы? — спросил он.

— С удовольствием, — сказал я.

Мойков принялся расставлять фигуры.

IV

Всю следующую неделю мой второй, нью-йоркский возраст стремительно прогрессировал. Если во время первой прогулки по городу мои познания в английском соответствовали уровню пяти-шестилетнего ребенка, то неделю спустя я находился уже примерно на девятом году жизни. Каждое утро я проводил несколько часов в гостиничном холле, в красном плюшевом кресле с английской грамматикой в руках, а после обеда старался не упустить любую возможность мучительного, косноязычного общения. Я знал, мне обязательно нужно научиться хоть как-то изъясняться еще до того, как у меня кончатся деньги, — без этого я просто не смогу зарабатывать. Это был краткий языковой курс наперегонки со временем, к тому же весьма ограниченным. Так в ходе обучения у меня последовательно появлялся французский, немецкий, еврейский, а под конец, когда я уже наловчился уверенно различать чистокровных американок среди официанток и горничных, даже бруклинский акцент.

— Надо тебе завести роман с учительницей, — советовал Мойков, с которым мы тем временем перешли на ты.

— Из Бруклина?

— Из Бостона. Говорят, там лучший английский во всей Америке. Здесь-то, в гостинице, акценты кишат, как тифозные бациллы. А у тебя, похоже, хороший слух только на крайности, норму, к сожалению, ты вообще не слышишь.

— Владимир, — урезонивал я его, — я и так достаточно стремительно развиваюсь. Каждый день мое английское Я взрослеет чуть ли не на год. К сожалению, при этом и мир вокруг теряет обаяние волшебства. Чем больше слов я понимаю, тем дырявее покров неизведанности. Так что лучше уж ты меня не торопи. И с акцентами тоже. Неохота мне так уж быстро расставаться со своим вторым детством.

Вскоре я уже хорошо знал все антикварные магазины и лавочки на Второй и Третьей авеню. Людвиг Зоммер, чей паспорт обрел во мне своего второго владельца, при жизни был антикваром. Я побывал у него в обучении, а он свое дело знал хорошо.

В этой части Нью-Йорка были сотни таких магазинчиков. Больше всего я любил наведываться сюда под вечер. Об эту пору солнце уже заглядывало сюда как бы искоса, и казалось, сквозь витрины на другой стороне улицы оно заталкивает в лавочки белесые призмы пыли. Тогда, будто по таинственному приказу, старинные зеркала на стенах разом оживали, заполняясь серебристыми омутами пространства. Только что они были подслеповатыми пятнистыми плоскостями — и вдруг становились окнами в бесконечность, погружая в себя многоцветные туманности картин с противоположного тротуара. Словно по мановению мага витрины, эти скопища запыленной рухляди и допотопного хлама, вдруг оживали.

Дверь антикварного магазинчика, перед которым я стоял, вдруг распахнулась. Из нее бесшумно вышел худенький невысокий человечек с орлиным носом и в зеленоватых брюках в мелкую клеточку. Видимо, он уже давно за мной наблюдал.

— Славный вечерок, правда? — заговорил он.

Я кивнул. Он продолжал меня разглядывать.

— Вам что-нибудь понравилось в витрине? — спросил он.

Я показал на бронзовую китайскую вазу, которая стояла на псевдовенецианском постаменте.

— Это что?

— Бронзовая ваза, Китай. Совсем недорого. Да вы зайдите, взгляните.

Я последовал за ним. Продавец достал вазу с витрины.

— Она старинная?

— Не очень. — Он посмотрел на меня чуть пристальнее. — Это копия старинного оригинала. Эпоха мин, я так полагаю.

— И сколько же она может стоить? — Я как можно безразличнее смотрел на улицу. "Александр Сильвер и К°", прочел я задом наперед на стекле витрины.

— Пятьдесят долларов — и она ваша, — сказал Александр Сильвер. — И резная подставка тикового дерева в придачу. Ручная работа.

Я взял бронзу в руки. Она была хороша. Я закрыл глаза и начал долго, медленно ощупывать вазу. Я частенько проделывал то же самое в Брюсселе; в приютившем меня музее была очень приличная коллекция бронзы эпохи чжоу. Там и ваза похожая была, и про нее тоже думали сначала, что это копия эпохи тан или мин. Что и неудивительно. Ки-

тайцы еще в эпоху хань, как раз на рубеже нашей эры, начали подделывать старинную бронзу эпохи инь и чжоу, закапывая новые изделия в землю, дабы скорее придать их патине оттенок подлинной старины. Всем этим тонкостям меня еще Зоммер обучил.

Сильвер все еще наблюдал за мной.

— Вы уверены, что это в самом деле копия эпохи мин? — спросил я.

— Я мог бы сказать и "нет", — ответил он. — Но мы работаем честно. Я вижу, вы разбираетесь. — Он поставил ногу на низенький голландский стул. Только тут я заметил, что клетчатые штаны сочетаются в его туалете с лакированными туфлями и лиловыми носками. — Я купил эту вещь как копию восемнадцатого века, — продолжал он. — Это, конечно, не так, но она не старше шестнадцатого. Нашей эры, разумеется.

Я поставил бронзу обратно на псевдовенецианский постамент. Она стоила очень дешево, и я бы приобрел ее с радостью; но я не знал, кому ее перепродать, а инвестировать свои скудные средства я мог только в краткосрочные сделки. Кроме того, я должен быть твердо уверен, что не ошибся.

— А нельзя ли мне забрать ее на день? — спросил я.

— Вы можете забрать ее хоть на всю жизнь. За пятьдесят долларов.

— Нет, на пробу. На сутки.

— Послушайте, дорогой мой, — сказал Александр Сильвер. — Я ведь вас совсем не знаю. В последний раз я вот так же отдал одной внушающей безусловное доверие даме две изумительные фарфоровые статуэтки. Майсенский фарфор, восемнадцатый век. Тоже на пробу.

— И что? Дама так и не вернулась?

— Вернулась. С расколотыми статуэтками. В переполненном омнибусе какой-то работяга ящиком с инструментами выбил их у нее из рук. Она рыдала так, будто потеряла ребенка. А что мы могли поделать? Денег у нее нет. Просто хотела пустить пыль в глаза подружкам по бриджу. Пришлось списать в убытки.

— Бронза так легко не бьется. Особенно если это копия.

Сильвер стрельнул в меня взглядом.

— Я вам даже скажу, где я ее купил. Ее выбраковали в одном провинциальном музее. Как копию. Где вы видели подобную честность?

Я молчал. Сильвер мотнул головой.

— Хорошо! — сказал он. — Вы настойчивы, и мне это нравится. Я вам предлагаю другое решение. Вы платите пятьдесят долларов, забираете бронзу и можете вернуть мне ее через неделю. Я возвращаю вам деньги. Либо вы оставляете бронзу себе. Что скажете?

Я лихорадочно соображал. Полной уверенности у меня не было — с китайской бронзой это почти всегда так. Да и откуда мне было знать, сдержит Сильвер свое слово или обманет. Но где-то же надо рискнуть, а тут возможность сама плыла в руки. Ведь здесь, в Америке, я даже посудомойщиком устроиться не могу — и на такую работу нужно иметь разрешение, а у меня его нет. Даже пытаться бесполезно: если полиция не сцапает, так профсоюзы донесут.

— Идет! — решился я и полез за своим тощим бумажником.

Брюссельский музей, где мне пришлось прятаться, располагал очень богатым собранием китайской бронзы. Вечерами, когда музей закрывался, директор на всю ночь выпускал меня из кладовки. Странное это было приобщение к искусству, уединенное, призрачное и пугающее.

Сперва я вообще только прятался за портьерами, глазея на ночную улицу, — точно так же я потом с Эллис-Айленда разглядывал ночной Нью-Йорк. Но, заприметив однажды среди солдатни и штатской публики черные эсэсовские мундиры, я это занятие бросил. Стараясь впредь как можно меньше думать о своем положении, я принялся в тусклых ночных отсветах изучать картины и художественные собрания музея. Практика, приобретенная в Париже у Людвига Зоммера, сослужила мне добрую службу. Кроме того, в Германии я как-никак два семестра изучал историю искусств, прежде чем решил посвятить себя журналистике. Конечно, после изгнания на журналистике пришлось поставить крест: ни одним иностранным языком я не владел настолько, чтобы на нем писать. Я знал: если буду продолжать глазеть на улицу — мне крышка. Надо было двигаться, как-то себя развлекать. И первым, что меня всерьез захватило, оказалась коллекция китайской бронзы. В эти месяцы я научился понимать: надо уметь долго смотреть на вещи, прежде чем они с тобой заговорят. Конечно, я научился этому от отчаяния, силясь во что бы то ни стало победить страх, и долгое время это упорное глазение было всего лишь бегством от самого себя, покуда в одну из ночей, при ясном свете умытого весенней грозой лунного полумесяца, вдруг не обнаружил, что впервые начисто позабыл о своем страхе и на несколько мгновений как бы слился с этой бронзой. Меня ничто больше от нее не отделяло, и на короткое время, пока длилось это чудо, рядом со мной ничего не было — только эта неспокойная ночь, безмолвная бронза, лунный свет, который так ее оживлял, и что-то еще в ней, должно быть, ее душа, которая была тут, подле меня, тихо жила, дышала и слушала, тоже на миг позабыв о своем Я. С тех пор мне все чаще удавалось вот так забываться, напрочь убегая от самого себя. А еще через пару недель директор принес мне карманный фонарик, чтобы я не сидел по ночам в своей кладовке совсем уж впотьмах. Должно быть, он понял, что мне можно доверять и что у меня хватит ума пользоваться этим фонариком только в кладовке, а не в музейных залах. А для меня это была такая радость, будто мне вернули дар зрения. И чтения. Теперь я мог выискивать в библиотеке книги и брать их на ночь в кладовку. О том, что я прячусь в музее, кроме него знал еще только один человек — его дочь Сибилла. Как-то он заболел и в музей прийти не смог, вот и пришлось ему все ей рассказать. Сибилла приходила в музей за отцовской почтой и приносила мне бутерброды в пергаментной бумаге, пряча их у себя между грудей. Иногда они еще хранили тепло ее кожи, а от бумаги веяло едва слышным ароматом гвоздики. Я был страстно влюблен в Сибиллу, но это была почти анонимная любовь, о которой девушка, вероятно, почти не догадывалась. Я любил в ней то, чего сам поневоле лишился: свободу, беззаботность, трепет надежды и сладостное томление юности, которого во мне больше не было. Моя юность оборвалась вместе с предсмертными криками отца. Он кричал весь день, и я знал, по чьему приказу его убивают.

— Ты хоть что-нибудь смыслишь в этом деле? — беспокоился Мойков. — Пятьдесят долларов — приличные деньги.

— Не слишком много, но кое-что. А кроме того, что мне еще остается? Надо же с чего-то начинать.

— Где ты этому научился?

— В Париже и в одном музее в Брюсселе.

С улицы я еще издалека заслышал характерную припрыжку Лахмана. Мойкова позвали к телефону. Лахман ковыляя ввалился в плюшевый будуар. Он тут же углядел мою бронзу.

— Купил? — спросил он с порога.

— И да и нет.

— Промашка, — категорично заявил он. — Сразу видно, что ты новичок. В торговле начинать надо с малого. С мелких вещиц, которые нужны каждому. Носки, мыло, галстуки...

— Четки, иконки, — подхватил я. — Особенно еврею, как ты.

Он отмахнулся.

— Это совсем другое. Для этого дар нужен. А у тебя какой дар? Так, нужда одна! Впрочем, о чем это я? — Он воззрился на меня горящим взором. — Все впустую, Людвиг! Она все забрала и сказала, что будет с этими святынями по вечерам за меня молиться! Мне-то что от ее молитв! При этом зад у нее как у королевы! Все попусту! Теперь она хочет иорданскую воду. Воду из святой реки Иордан! Где, спрашивается, я ее достану?

— Из водопровода.

— Что?

— Старая бутылка, немного пыли и сургучная пробка. В Бордо двое мелких мошенников держали фирму и продавали таким манером святую воду из Лурда. Бутылка по пять франков шла. Именно так. Из водопровода. Я сам в газете читал. Их даже не посадили. Только посмеялись.

Лахман погрузился в раздумье.

— А это не святотатство?

— Не думаю. Просто мелкое надувательство.

Лахман почесал свой бугристый череп.

— Странно, с тех пор, как я продаю все эти медальоны и четки, у меня к Богу совсем другое чувство возникает. Я теперь в некотором роде шизофренический иудокатолик. Так это точно не святотатство? Не осквернение Бога? Нет, правда, ты-то как считаешь?

Я покачал головой.

— Я считаю, у Бога куда больше юмора, чем мы предполагаем. И куда меньше сострадания.

Лахман встал. Он уже принял решение.

— Я ведь даже не продаю эту воду. Я ее просто дарю. — И внезапно осклабил щербатые зубы в вымученной улыбке. — Это же ради любви! А Бог — это любовь! А какую взять бутылку, как ты думаешь?

— Только не из-под мойковской водки. Ее-то она узнает наверняка.

— Да конечно же нет. Какую-нибудь совсем простую, анонимную бутылку. Из тех, какие бросают в океан матросы. Запечатанную! Вот в чем весь фокус! Попрошу у Мойкова немного сургуча. У него-то наверняка есть — для водки. Может, у него и старая русская монета найдется, с кириллицей, ею и припечатаем. Как будто бутылка из древнего монастыря на Иордане. Как ты думаешь, это ее проймет?

— Нет. Думаю, тебе лучше на несколько недель вообще о ней забыть, это скорее подействует.

Лахман обернулся. Гримаса отчаяния перекашивала его лицо. Блекло-голубые глаза таращились, как у снулой пикши.

— Опять ждать! Не могу я ждать! — завопил он. — Я и так живу наперегонки с годами! Мне уже сильно за пятьдесят! Еще год-другой, и я импотент! Что тогда? Одна только бессильная похоть, тоска и никакого удов-

летворения! Это же ад! А жизнь одна! — Он достал носовой платок. — И та на три четверти считай что уже прошла! — прошептал он.

Я отнес вазу к себе в комнату. Поставил ее на подоконник и стал разглядывать в угасающем вечернем полусвете. Был примерно тот же час, что и в Брюсселе, когда музей закрывался и я выходил на свободу из своей кладовки.

Я медленно поворачивал вазу, изучая ее со всех сторон. В свое время я прочел почти всю, не слишком, кстати, обширную литературу по этой теме и помнил множество иллюстраций. Я знал, что копии распознаются по крохотным деталям орнамента: если на бронзе эпохи чжоу обнаруживаются мельчайшие декоративные элементы, освоенные ремеслом лишь в эпоху хань, не говоря уж об эпохах мин или тан, то эти мелкие неточности безошибочно изобличают вещь как гораздо более позднюю подделку. Ни одной такой погрешности я на своей бронзе не обнаружил. Похоже, это и вправду была вещь эпохи чжоу, самого расцвета ее, шестого — пятого столетия до нашей эры.

Я улегся на кровать, поставив бронзу рядом на тумбочку. Со двора, перекрывая унылое побрякивание мусорного бачка, доносились звонкие, истошные крики поварят и гортанный бас негра, выносившего отбросы.

Я и сам не заметил, как заснул. А когда проснулся, была уже ночь. Сперва я вообще не мог понять, где я и что со мной. Потом увидел вазу на тумбочке, и мне на секунду показалось, что я опять в своей музейной конуре.

Я смотрел прямо перед собой. Я не хотел воскрешать в памяти то утро в Брюсселе, когда дверь кладовки внезапно резко распахнулась и ко мне ворвалась Сибилла, шепча, что отца взяли, увели на допрос, мне надо бежать, скорей, никто не знает, будут его пытать или нет и что он под пытками расскажет. Она вытолкала меня за дверь, потом снова окликнула, сунула в карман пригоршню денег.

— Иди, уходи, только медленно, как будто ты посетитель, не беги! — шептала она. — Да хранит тебя Бог! — добавила она напоследок, вместо того чтобы проклясть меня за то, что я, по всей видимости, навлек на ее отца такую беду. — Иди! Да хранит тебя Бог! — А на мой растерянный, торопливый вопрос, кто же предал ее отца, только прошептала: — Не все ли равно! Иди, пока они сюда с обыском не заявились! — Наспех поцеловав, она вытолкнула меня в коридор и прошептала вслед: — Я сама все приберу! Беги! И не пиши! Никогда! Они все проверяют! Да хранит тебя Бог!

Как можно спокойнее, стараясь ничем не выделяться, я спустился по лестнице. Людей вокруг было немного, и никто не обратил на меня внимания. Только перейдя улицу, я оглянулся. То ли мне почудилось, то ли на самом деле в одном из окон белым пятном мелькнуло чье-то лицо.

Я спустился вниз и поискал глазами Мойкова. Его нигде не было видно. Должно быть, вышел. Решив дождаться его, я устроился в плюшевом будуаре. Спустя некоторое время мне показалось, будто я слышу чей-то плач. Плач был негромкий, и поначалу я не хотел обращать на него внимания, но постепенно он начал действовать мне на нервы. В конце концов я не выдержал и направился в глубь будуара, где возле полки с цветами в горшках, на софе, обнаружил свернувшуюся в комочек, спрятавшуюся ото всех Марию Фиолу.

Я хотел тут же повернуться и уйти; только этой истеричной особы мне сейчас не хватало. Но она уже заметила меня.

— Вам чем-нибудь помочь? — спросил я.

Она помотала головой и одарила меня взглядом кошки, которая вот-вот зашипит.

Тоже мне мировая скорбь, подумал я. Это все было хорошо для другого, романтического столетия. Не для нашего, с его-то пытками, массовыми убийствами и мировыми войнами. А тут, видно, несчастная любовь.

— Вы, должно быть, Мойкова искали? — спросил я.

Она кивнула.

— А где он?

— Понятия не имею. Сам его ищу. Наверно, разносит клиентам свою водку.

— Ну конечно. Когда он нужен, его никогда нет.

— Тяжкое прегрешение, — заметил я. — К тому же и весьма частое, как ни жаль. Вы хотели выпить с ним водки?

— Я поговорить с ним хотела! Он все понимает! При чем тут водка! А где, кстати, водка?

— Может, за стойкой бутылка припрятана? — предположил я.

Мария помотала головой.

— Шкафчик заперт. Я уже пробовала.

— Шкафчик он, конечно, зря запер. Как русский человек, он должен предчувствовать отчаянья час. Боюсь, правда, что тогда его сменщик, ирландец Феликс О'Брайен, был бы уже пьян в стельку и перепутал бы все ключи.

Девушка встала. Я отшатнулся. На голове у нее бесформенным мешком возвышался шелковый черный тюрбан, из которого дулами револьверов торчали какие-то металлические гильзы.

— Что такое? — спросила она растерянно. — Я что, похожа на чудовище?

— Не совсем. Но как-то уж больно воинственно.

Она потянулась к тюрбану и одним движением распустила его. Моему взгляду открылись пышные волосы, все сплошь увешанные трубочками бигуди, которые своей конструкцией из металла и проволоки сильно напоминали немецкие ручные гранаты.

— Вы про это? — спросила она. — Про прическу? Мне скоро фотографироваться, вот я и завилась.

— Вид у вас такой, будто вы изготовились палить из всех орудий, — сказал я.

Она вдруг рассмеялась.

— Я бы с удовольствием, если б могла.

— Вообще-то у меня в комнате вроде еще оставалась бутылка, — признался я. — Могу принести. Рюмок здесь хватает.

— Какая светлая мысль! Что же она сразу вам в голову не пришла?

В бутылке оставалась еще добрая половина. Мойков отпустил мне ее по себестоимости. В одиночку я не пил, зная, что от этого скорбь на душе только еще безутешнее. Ничего особенного от этой девицы с пистолетами в волосах я не ждал; но от своей пустой комнатенки я ожидал и того меньше. Уходя, я снял со стола бронзу и сунул в шкаф.

Когда я вернулся, меня ждала совершенно другая Мария Фиола. От

слез не осталось и следа, личико напудренное и ясное, а волосы избавились от уродливых металлических трубок. Против ожидания, они не рассыпались бесчисленными мелкими локонами, а свободно падали вниз, образуя элегантную волну только вокруг затылка.

– А с какой стати вы пьете водку? – поинтересовалась она. – У вас на родине водку не пьют.

– Я знаю. В Германии пьют пиво и шнапс, это такая разбавленная водка. Но я забыл свою родину и ни пива, ни шнапса не пью. Да и по части водки не такой уж большой любитель. Но вы-то с какой стати водку пьете? Вроде бы в Италии это тоже не самый популярный напиток?

– У меня мама русская. И потом, водка единственный алкогольный напиток, который ничем не пахнет.

– Тоже веская причина, – заметил я.

– Для женщины – очень веская. А что предпочитаете вы?

"Очень содержательная беседа", – пронеслось у меня в голове.

– Да что придется, – ответил я. – Во Франции пил вино, если было.

– Франция! – вздохнула она. – Что немцы с ней сделали!

– Я в этом не участвовал. Я в это время сидел во французском лагере для интернированных лиц.

– Ну разумеется. Как представитель вражеской страны. Как враг.

– Как беженец из Германии. – Я засмеялся. – Вы, кажется, забыли, что Италия и Германия союзники. Они и на Францию вместе напали.

– Это все Муссолини! Ненавижу его!

– Я тоже.

– Я и Гитлера ненавижу!

– Я тоже, – поневоле повторил я. – Выходит, что по части общих врагов мы с вами почти союзники.

Девушка глянула на меня с сомнением. Потом заметила:

– Наверно, можно и так посмотреть.

– Иногда это единственная возможность. Кстати, по вашей логике, Мойков до недавних пор тоже был в когорте извергов. Немцы заняли его родную деревню и всех жителей сделали тевтонами. Но сейчас это все позади. Русские вернулись, и он теперь снова русский. Наш с вами враг, если по-вашему.

Мария Фиола рассмеялась.

– Интересно у вас получается. Кто же мы на самом деле?

– Люди, – сказал я. – Только большинство, похоже, давным-давно об этом забыли. Люди, которым предстоит умереть; но большинство, похоже, давным-давно забыли и об этом. Меньше всего человек верит в собственную смерть. Еще водки?

– Нет, спасибо. – Она встала и протянула мне руку. – Мне надо идти. Работать.

Я провожал ее глазами. Она уходила совершенно бесшумно, не семеня, не цокая каблучками, не уходила, а плыла, скользила мимо уродливых плюшевых рыдванов, словно их и нет с нею рядом. Должно быть, профессиональный навык манекенщицы, подумал я. Шелковый платок теперь туго облегал ее плечи, сообщая всей фигуре неожиданную гибкость и худобу, но никак не хрупкость – скорее какую-то стальную, почти грозную элегантность.

Я отнес бутылку обратно в номер и вышел на улицу. Резервный портье Феликс О'Брайен стоял у подъезда – пивом от него несло как из бочки.

— Как жизнь, Феликс? — спросил я вместо приветствия.

Он передернул плечами.

— Встал, поел, отбатрачил свое, пошел спать. Какая это жизнь? Вечно одно и то же. Иногда и впрямь не поймешь, чего ради небо коптить.

— Да, — согласился я. — Но ведь коптим же.

V

— Джесси! — вскричал я. — Возлюбленная моя! Благодетельница! Радость-то какая!

Круглая мордашка с румяными щечками, угольками глаз и седым пучком пышной прически ничуть не изменилась. Джесси Штайн стояла в дверях своей маленькой нью-йоркской квартирки, как стояла прежде в дверях своих просторных берлинских апартаментов и как стаивала потом, уже в изгнании, в дверях самых разных жилищ и прибежищ во Франции, Бельгии, Испании — неизменно улыбчивая, готовая помочь, словно у нее самой никаких забот нету. У нее и не было своих забот. Ее единственная забота, сущность всего ее Я состояла в том, чтобы помогать другим.

— Бог ты мой, Людвиг! — запела она. — Когда же мы в последний раз виделись?

Самый расхожий эмигрантский вопрос. Я уже не помнил.

— Наверняка еще до войны, Джесси, — сказал я. — В те счастливые времена, когда за нами гонялась французская полиция. Только вот где? На каком из этапов страстного пути? Случайно не в Лилле?

Джесси покачала головой.

— А не в тридцать девятом в Париже? Перед самой войной?

— Ну конечно же, Джесси! Отель "Интернациональ", теперь вспомнил. Ты нас с Равиком картофельными оладьями угощала, причем пекла их прямо у него в номере. И даже брусничное варенье к оладьям принесла. Это было последнее брусничное варенье в моей жизни. С тех пор я брусники в глаза не видал.

— Это целая трагедия, — заметил Роберт Хирш. — В Америке ты ее тоже не увидишь, здесь брусники нет. Вместо нее тут другие ягоды — Loganberries[1]. Но это совсем не то. Впрочем, надеюсь, ты все же не сбежишь из-за этого обратно в Европу, как актер Эгон Фюрст.

— А ему-то чего не хватало?

— Ни в одном ресторане Нью-Йорка он не мог получить салат из птицы. Он эмигрировал, приехал сюда, но отсутствие салата из птицы приводило его в отчаяние. Так и вернулся обратно в Германию. Вернее, в Вену.

— Это нечестно, Роберт, — вступилась за Фюрста Дженни. — Просто он тосковал по родине, по дому. И потом, он не мог здесь работать. Он не знал языка. А здесь никто не знал его. В Германии-то его всякий знает.

— Он не еврей, — насупился Хирш. — По родимой Германии только евреи и тоскуют. Парадоксально, но факт.

— Это он про меня, — пояснила Джесси со смехом. — Какой же он злюка! Но у меня сегодня день рожденья, и мне на его выпады плевать! Заходите! У нас сегодня яблочный штрудель и крепкий свежий кофе! Совсем как дома. Настоящий кофе, а не эта разогретая бурда, которую американцы почему-то так называют.

1. Логанова ягода, гибрид малины с ежевикой (*англ.*).

Джесси, ангел-хранитель всех эмигрантов. Еще до тридцать третьего, у себя в Берлине, она была второй матерью всем нуждающимся актерам, художникам, литераторам и просто интеллигентам. Приемная мать многочисленных и непутевых питомцев, она жила сотнями их жизней, своей собственной по сути уже не имея. Какое-то время, еще в Берлине, при ней находился некто Тобиас Штайн, неприметный господин, заботившийся о том, чтобы гостям всегда было что есть и пить, но в остальном скромно державшийся в тени. Потом, уже в изгнании, он так же тихо и неприметно умер от воспаления легких в одном из городов великого страстного пути.

Сама Джесси переносила изгнание так, будто это несчастье постигло не ее, а кого-то другого. Ее нисколько не удручало то, что она лишилась дома и всего состояния. Она продолжала опекать теперь уже беглых и изгнанных художников, встречавшихся ей на пути. При помощи пары подушечек и одной спиртовки она исхитрялась превратить замызганный гостиничный номер в некое подобие родины и домашнего очага, где она кормила, поила и обстирывала своих непрактичных, беспомощных, а теперь еще и неведомо куда судьбою заброшенных чад; а когда после смерти господина Тобиаса Штайна вдруг выяснилось, что скромный покойник и после смерти о ней позаботился, завещав ей приличную сумму в долларах в парижском филиале нью-йоркского "Гаранти Терст К°", она и ее почти целиком истратила на своих подопечных, оставив себе лишь самую малость на жизнь и еще на билет до Нью-Йорка океанским лайнером "Королева Мэри". Не слишком интересуясь политикой, она, конечно, и понятия не имела, что билеты на все заокеанские рейсы уже много месяцев как распроданы, поэтому даже не удивилась, когда билет ей тем не менее достался. Случилось так, что, когда она стояла у кассы, произошло неслыханное: в кассу сдали билет. Кого-то накануне отплытия хватил удар. Поскольку именно Джесси была в очереди первой, она и стала обладательницей билета, за который другие отдали бы целое состояние.

Гостиная у Джесси оказалась небольшая, но совершенно в ее стиле. Повсюду подушечки, множество стульев, шезлонг и уйма фотографий на стенах, почти все с велеречивыми посвящениями хозяйке. Часть из них в черной траурной окантовке.

— Список Джессиных утрат, — сказала изящная дама, сидевшая под фотографиями. — Там вон Газенклевер, — она указала на один из фотоснимков в траурной рамке.

Газенклевера я хорошо помнил. В тридцать девятом его, как и всех эмигрантов, кого удалось сцапать, французы бросили в лагерь для интернированных. Когда немцы были от этого лагеря всего в паре километров, Газенклевер ночью покончил с собой. Он не хотел попадаться в руки соотечественникам, которые определили бы его уже в свой концлагерь и там замучили до смерти. Но против всех ожиданий, немцы в лагерь так и не вошли. В последний момент частям было приказано совершить обходной маневр, и гестаповцы второпях лагерь просто проскочили. Но Газенклевер был уже мертв.

Я заметил, что Хирш рядом со мной тоже смотрит на портрет Газенклевера.

— Я не знал, где он, — сказал он. — Я хотел его спасти. Но в то время повсюду был такой кавардак, что труднее было найти человека, чем его

вызволить. Бюрократия в сочетании с французской безалаберностью — страшная вещь. Они даже не хотели никому зла, но те, кто угодил в эти путы, были обречены.

Чуть в стороне от списка утрат я заметил фото Эгона Фюрста, без черной рамки, но с траурной полосой наискось в нижнем углу.

— А это как понимать? — спросил я у изящной дамы. — Или это означает, что его убили в Германии?

Дама покачала головой.

— Тогда бы он был в рамке. А так Джесси просто скорбит о нем. Поэтому у него всего лишь полоска. И висит он поодаль. Все настоящие покойники висят вон там, с Газенклевером. Их там уже много.

Похоже, в мире воспоминаний у Джесси был большой порядок. Даже смерть можно окружить мещанским уютом, думал я, не отрывая взгляда от пестрых подушечек на шезлонге под фотографиями. Иные из актеров были в костюмах ролей, с успехом сыгранных когда-то в Германии или в Вене. Должно быть, Джесси привезла эти фотографии с собой. Теперь, в нафталинном бархате, в бутафорских доспехах, кто с мечом, кто при короне, они счастливо и победительно улыбались из своих траурных рамок.

На другой стене гостиной висели фотографии тех друзей Джесси, которые пока что были живы. И здесь большинство составляли актеры и певцы. Джесси обожала знаменитостей. Среди них нашлось место и паре-тройке писателей и врачей. Трудно сказать, какой из этих паноптикумов производил более загробное впечатление — тех, что уже умерли, или тех, что еще живы и не ведают своей смерти, но уже как бы чают ее: в потускневшем ореоле былых триумфов — в облачении ли вагнеровского героя с бычьими рогами на голове, в костюме Дон Жуана или Вильгельма Телля — они грустно глядели со стены, став с годами куда скромней и безнадежно состарившись для ролей, в которых запечатлены на фото.

— Принц Гомбургский! — продребезжал скрюченный человечек у меня за спиной. — Это когда-то был я! А теперь?

Я оглянулся. Потом снова посмотрел на фото.

— Это вы?

— Это был я, — с горечью уточнил старообразный человечек. — Пятнадцать лет назад! Мюнхен! Театр "Каммершпиле"! В газетах писали, что такого Принца Гомбургского, как я, десять лет не было. Мне пророчили блестящее будущее. Будущее! Звучит-то как! Будущее! — Он отвесил судорожный поклон. — Позвольте представиться: Грегор Хаас, в прошлом — актер "Каммершпиле".

Я пробормотал свое имя. Хаас все еще смотрел на свое неузнаваемое фото.

— Принц Гомбургский! Разве можно меня тут узнать? Конечно нет! У меня тогда еще не было этих жутких морщин, зато были все волосы! Только за весом надо было следить. Питал слабость к сладкому. Яблочный штрудель со взбитыми сливками. А сегодня? — Человечек распахнул пиджак. Пиджак висел на нем мешком, а под ним обнаружился жалкий, впалый живот. — Я говорю Джесси: сожги ты все эти фотографии! Так нет же, она дорожит ими, как родными детьми. Это у нее называется "Клуб Джесси"! Вы это знали?

Я кивнул. Так именовались подопечные Джесси уже во Франции.

— Вы тоже в нем состоите? — спросил Хаас.

— Время от времени. Да и кто не состоит?

— Она мне тут работу устроила. Немецким переводчиком на фирме, которая ведет обширную переписку со Швейцарией. — Хаас озабоченно оглянулся. — Не знаю, надолго ли. Эти швейцарские фирмы все чаще норовят сами писать по-английски. Если и дальше так пойдет, мои услуги вскоре не понадобятся. — Он глянул на меня исподлобья. — От одного страха избавишься, так другой уже тут как тут. Вам это знакомо?

— Более или менее. Но к этому привыкаешь.

— Кто привыкает, а кто и нет, — неожиданно резко возразил Хаас. — И однажды ночью лезет в петлю. — Он сопроводил свои слова каким-то неопределенным движением руки и снова поклонился. — До свидания, — сказал он.

Только тут я осознал, что он говорил по-немецки. Почти все вокруг говорят по-немецки. Я вспомнил, что Джесси еще во Франции придавала этому особое значение. Она считала, что, когда эмигранты говорят друг с другом не на родном языке, это не просто смешно, а чуть ли не предательство.

К нам подпорхнула Джесси.

— Кофе готов! — радостно объявила она. — И яблочный штрудель тоже! Прошу к столу, дети мои!

Я обнял ее за плечи и поцеловал.

— Ты опять спасла мне жизнь, Джесси! Ведь это ты сподвигла Танненбаума прийти мне на выручку.

— Ерунда! — она высвободилась из моих объятий. — Люди не так-то быстро погибают. А уж ты и подавно!

Я увидел изящную женщину, что прежде сидела под фотографиями; теперь она приближалась к нам с кофейником. За ней следовала другая, похожая на нее как две капли воды. Они и одеты были одинаково.

— Близняшки! — гордо пояснила Джесси, будто она и есть автор этого чуда природы. — Настоящие! И прехорошенькие! Когда-нибудь они прославятся в кино!

Близняшки, пританцовывая, обхаживали гостей. Это были крашеные блондинки, длинноногие и темноглазые.

— Ну как их различить! — произнес чей-то голос совсем рядом. — При этом одна, говорят, жуткая потаскушка, а вторая оплот добродетели.

— Но имена-то у них разные, — заметил я.

— В том-то и штука! — оживился обладатель голоса. — Эти стервы меняются именами! Выдают себя друг за дружку. Это у них игра такая. Только ежели кто влюблен, то для него это уже не игра, а дьявольская забава.

Я с интересом поднял глаза. Влюбиться в близнецов — это было что-то новенькое.

— Вы в одну влюблены или в обеих сразу? — полюбопытствовал я.

— Меня зовут Лео Бах, — представился мужчина. — Если честно, то в потаскушку, — охотно объяснил он. — Только не знаю, в которую из них.

— Но это же довольно просто выяснить.

— Я тоже так полагал. Как раз сегодня, когда у обеих руки заняты. Потихоньку ущипнул одну за зад — она мне в отместку пролила кофе на костюм. Тогда я то же самое с другой проделал — так она мне тоже кофе на костюм выплеснула! И теперь уж я не знаю — может, я два раза одну и ту же ущипнул или все-таки разных? Эти близняшки — они такие шустрые. Носятся по квартире — не уследишь. Вот вы лично как считаете? Меня что с толку сбивает: что оба раза одинаковая реакция — кофе на

костюм. Пожалуй, это скорее говорит о том, что я щипал одну и ту же, вам не кажется?

— А вы не хотите попытать счастья еще разок? Но так, чтобы не упускать обеих из виду?

Лео Бах затряс головой.

— У меня и так уже весь костюм мокрый. А он у меня один.

— Но по-моему, на синем костюме от кофе пятна не остаются.

— Не в пятнах дело. В пиджаке, во внутреннем кармане, все мои деньги. Третьей чашки кофе пиджак может не выдержать, деньги промокнут и сделаются непригодными. Этого я себе позволить не могу.

Одна из близняшек внезапно оказалась возле нас с кофе и пирожными. Лео Бах невольно отпрянул и лишь потом жадно потянулся за пирожным. В это же время ко мне с чашкой кофе подошла вторая. В другой руке у нее был кофейник. Бах прекратил жевать и не сводил с нее глаз, пока она не отошла.

— Ну вертихвостки! — пробурчал он. — Святая невинность, понимаешь! Даже по голосу их не различить!

— Тяжело вам, — посочувствовал я. — Но, может, им обеим не нравится, когда их за зад щиплют? В определенных кругах это считается несколько примитивным способом заигрывания.

Бах только отмахнулся.

— О чем вы говорите! Какие там "определенные круги"! Мы эмигранты! Разнесчастные твари!

Вместе с Хиршем мы вернулись в его магазин. За окнами в потоках света, шума и людской толчеи пробуждалась ночная жизнь большого города. Свет мы зажигать не стали — его было достаточно и так. Невидимая плоскость оконного стекла отгораживала нас от шума. Мы сидели в магазине, как в пещере, и мелькания огней с улицы двойными контурами отражались в огромных, округлых и выпуклых зрачках телевизионных экранов. Ни один из телевизоров не был включен, они молчаливо сгрудились вокруг нас, и казалось, мы перенеслись в безмолвный мир робототехники будущего, где все, что там, за окном, вертится в агрессивной, потной, пугливой и мучительной человеческой кутерьме, здесь уступило место безукоризненному и бесчувственному совершенству технических решений.

Хирш откупорил коньяк. Благоуханный аромат тотчас же разлился по комнате. Это был добрый старый коньяк еще довоенных времен.

— Помнишь, где мы его в первый раз пили? — спросил Хирш.

Я кивнул.

— В Лане. Когда в курятнике прятались. Мы тогда еще решили составить "Ланский катехизис". Какая-то призрачная была ночь, осененная страхом, коньяком и куриным квохтаньем. А бутылку ты тогда у коллаборациониста-виноторговца конфисковал.

— Украл, — уточнил Хирш. — Но в ту пору мы употребляли только возвышенные выражения. Как и нацисты.

"Ланский катехизис" — это было собрание практических советов беглецу, своеобразный кладезь опыта, накопленного эмигрантами на этапах страстного пути. Где бы ни встречались беженцы, они неизменно обменивались друг с другом сведениями о новых ухищрениях полиции и новых способах от них защититься. В конце концов мы с Хиршем начали все эти вещи записывать, создавая нечто вроде пособия для начинающих. Там были адреса, где беженцу могли помочь, и другие,

которых надо было сторониться; перечни легких или особо опасных пропускных пунктов, фамилии доброжелательных или же особо злокозненных пограничных и таможенных офицеров; укромные места для передачи друг другу почты; музеи и церкви, не проверяемые полицией; рекомендации, где и как легче провести жандармов. Сюда же потом вошли имена надежных связных, которые знали, как уйти от гестапо, а еще, постепенно, — перлы эмигрантской житейской мудрости, философские сентенции гонимых и горький юмор выживания.

Кто-то постучал в окно. С улицы нас пристально разглядывал лысый мужчина. Потом постучал снова, еще сильней. Тогда Хирш встал и открыл дверь.

— Мы не жулики, — объяснил он. — Мы тут живем.

— Вот как? Тогда с какой стати вы сидите тут после закрытия магазина, да еще в темноте?

— Мы и не гомосексуалисты. Мы строим планы на будущее. Будущее наше мрачно, вот мы и сидим во мраке.

— Чего-чего? — переспросил мужчина.

— Можете вызывать полицию, если вы нам не верите, — отрезал Хирш и захлопнул дверь у лысого перед носом.

— Можно я зажгу свет? — спросил я.

— Конечно.

Холодный неоновый свет залил помещение, заставив нас подслеповато моргать и таращиться, будто застигнутых за постыдным занятием мальчишек.

— И не забивай себе голову мыслями о Танненбауме, — сказал Хирш. — Он разумный человек и знает, что тебе нужно время, чтобы обжиться. Ты не обязан специально к нему идти и благодарить. Его жена от случая к случаю дает приемы для голодающих эмигрантов. Скоро у нее как раз очередной прием. Она тебя пригласит. Мы с тобой пойдем туда вместе. Тебе ведь тоже так лучше?

— Гораздо лучше.

Я встал.

— Что у тебя с работой? — спросил Хирш. — Нашел что-нибудь?

— Нет пока. Но кое-что есть на примете. Не хочу быть обузой Танненбауму.

— Об этом вообще не думай. А жить всегда можешь у меня и столоваться тоже.

Я покачал головой.

— Нет, Роберт, я хочу все осилить сам. Все, понимаешь, все! "Ланский катехизис", параграф семь: "Помощь приходит, только когда она не нужна".

Я не стал возвращаться в гостиницу. Решил бесцельно побродить по городу, как бродил почти каждый вечер. Я смотрел на каскады света и думал о Рут, которой больше нет. Мы случайно встретились и сразу остались вместе. Это случилось в горькую для нас обоих пору. Никого, кроме друг друга, у нас не было. Но однажды меня арестовали, на две недели бросили в тюрьму, а потом выдворили через швейцарскую границу. С превеликим трудом я сумел вернуться. Но когда добрался до Парижа, Рут была уже мертва. Я нашел ее в ее комнате, посреди жужжащего роя толстых, жирно поблескивающих мух; судя по всему, она уже

несколько дней так лежала. С тех пор не могу избавиться от чувства, что я ее бросил, бросил в беде. У нее никого, кроме меня, не было, а я дал себя арестовать по собственной дурости. Рут покончила с собой. Как и многие эмигранты, она всегда носила с собой яд — на случай, если ее схватит гестапо. Но она им даже не воспользовалась. Двух стеклянных трубочек со снотворным для ее усталого, надломленного отчаянием сердца оказалось достаточно.

Сам не знаю почему, я вдруг остановился, уставившись на витрину газетного киоска. Аршинные заголовки кричали со всех передовиц: "Покушение на Гитлера!", "Гитлер убит взрывом бомбы!"

Вокруг киоска сгрудились люди. Я протиснулся к прилавку и купил газету. Она была еще чуть влажная от типографской краски. Я вдруг заметил, что руки у меня дрожат. Нашел какую-то подворотню и стал читать. Меня вдруг охватило яростное раздражение из-за того, что я читаю так медленно. Да и понимаю не все! Я скомкал газету, потом снова ее разгладил и остановил такси. Решил поехать к Хиршу.

Хирша дома не было. Я долго стучал в его дверь. Она была заперта. В магазине его тоже не оказалось. Вероятно, вышел перед самым моим приездом. Я медленно двинулся дальше. В отель возвращаться не хотелось: Мойкова на месте не было, это я знал.

Я брел по Пятой авеню. Ее простор, сияние ее огней — все это подействовало на меня успокаивающе. Казалось, от освещенных домов исходит мелкая электрическая дрожь, от которой вибрирует весь воздух. Я прямо чувствовал эту дрожь у себя на лице и на ладонях. Возле отеля "Савой плаза" я купил еще один экстренный выпуск — его продавал горластый карлик с тонюсенькими усиками. Сообщалось в нем примерно то же самое, что и в первой газете. В штаб-квартире Гитлера взорвана бомба. Подложил бомбу кто-то из офицеров. Еще неизвестно, действительно ли Гитлер убит; но тяжело ранен почти наверняка. Это был офицерский путч. Армейские части в Берлине вышли из повиновения, к ним присоединились некоторые генералы. Возможно, это конец.

Я вплотную подошел к ярко освещенной витрине, чтобы разобрать и набранное мелким шрифтом. Казалось, вокруг меня струятся токи магнитной бури. Из зоопарка доносилось рыканье львов. Я тупо глазел на витрину, перед которой стоял, и ничего не видел. Лишь некоторое время спустя я сообразил, что стою перед знаменитым ювелирным магазином "Ван Клиф и Эрпелс". Две диадемы двух умерших королев холодно и безучастно покоились там в черной бархатной нише в обрамлении рубинов, изумрудов и бриллиантов, как бы вобрав в себя всю неприступность загадочного мира кристаллов и все его совершенство, возникшее задолго до теплой суеты жизни и существующее с тех пор вне смерти, вне убийства, по своим, непостижимым законам неуклонного и бесшумного роста.

Я возобновил свое беспокойное странствие вдоль Пятой авеню — мимо Центрального парка до отеля "Шерри Незерленд", оттуда до музея Метрополитен и обратно до отеля "Пьер".

Я вошел в парк и двинулся к небольшому пруду. Посеребренный, он тихо мерцал в свете незримой луны. Я сел на скамью. Никак не получалось спокойно все обдумать. Я встал; невмоготу было сидеть вот так, в полной неподвижности, чувствуя, как совсем рядом на бреющем полете

проносятся летучие мыши, обдавая лицо холодком могильного тлена.

Окутанный обрывками воспоминаний, будто дырявым плащом, я побрел дальше по тропинкам, убегавшим в глубь парка, побрел сам не зная куда.

Внезапно послышались шаги. Откуда-то сзади, из темноты, вышли двое полицейских. Они оказались рядом прежде, чем я успел сообразить, стоит мне убегать или нет. Так что я остался.

— Что вы тут делаете? — спросил один из полицейских, тот, что повыше ростом.

— Гуляю, — ответил я.

— В парке? Ночью? Чего ради?

Я не знал, что на это ответить.

— Документы? — спросил второй.

Паспорт Зоммера был при мне. Светя себе фонариком, они принялись его изучать.

— Значит, вы не американец? — спросил второй.

— Нет.

— Где остановились?

— Гостиница "Мираж".

— Вы ведь недавно в Нью-Йорке? — спросил длинный.

— Недавно.

Тот, что поменьше, продолжал изучать мой паспорт. Я почувствовал неприятный холодок в желудке, уже много лет навещающий меня при встречах с полицией. Я смотрел на карусель, на лакированного белого скакуна, что в вечном протесте вскинулся на дыбы из своей постылой упряжки, потом перевел глаза на звездное небо и стал думать о том, до чего будет забавно, если меня сейчас задержат как немецкого шпиона. Коротышка все еще листал мой паспорт.

— Ну скоро ты, Джим? — спросил длинный. — Он вроде не похож на блатного.

Джим не отвечал. Длинный стал проявлять нетерпение.

— Да пойдем, Джим. — Затем он обратился ко мне: — Вы что, не знаете, что в такое время здесь опасно в одиночку разгуливать?

Я покачал головой. Должно быть, у меня другие представления об опасности. Я снова стал разглядывать карусель.

— Тут по ночам столько всякого сброду шныряет, — начал просвещать меня длинный. — Воры, грабители, прочая мразь. Что ни час, обязательно что-нибудь случается. Или вам охота, чтобы вас изувечили?

Он засмеялся. Я не ответил. Я не сводил глаз со своего паспорта, который все еще оставался в руках у второго полицейского. Паспорт — это все, что у меня было, без него я даже в Европу вернуться не смогу.

— Пройдемте, — сказал наконец Джим. Паспорт он мне не вернул.

Я последовал за ними. Мы дошли до патрульной машины, что стояла на обочине.

— Садитесь, — приказал Джим.

Я влез в машину и устроился на заднем сиденье. Мыслей не было никаких.

Уже вскоре мы выехали из парка на Пятьдесят девятую улицу. Машина остановилась. Джим обернулся и протянул мне паспорт.

— Ну вот, приятель, — сказал он. — Здесь можете выходить. А то в парке вас, чего доброго, еще кто-нибудь обидит ненароком.

Оба полицейских рассмеялись.

— Мы же человеколюбцы, — заявил длинный. — Еще какие человеколюбцы, приятель! В пределах разумного, конечно!

Я вдруг почувствовал, что весь затылок у меня взмок от пота, и рассеянно кивнул.

— Утренние газеты уже вышли? — спросил я.

— Вышли. Жив ублюдок. Ублюдкам всегда везет.

Мойков был на месте. Никуда не ушел.

— К тебе Роберт Хирш приходил, — сообщил он мне.

— Когда?

— Часа два тому назад.

Как раз в то время, когда я стучался к нему в квартиру.

— Он что-нибудь передал? — спросил я.

Мойков кивнул на небольшой, поблескивающий хромированными ручками радиоприемник.

— Принес тебе вот это. "Зенит", между прочим. Очень хороший аппарат. Сказал, что тебе он сегодня наверняка понадобится.

Я кивнул.

— Больше он ничего не сказал?

— Да он только полчаса как ушел. Был взволнован, но без всякого оптимизма. Немцам, говорит, не удавалась еще ни одна революция. Им даже мятеж не по зубам. Их бог — это приказ и послушание, а уж никак не совесть. Да мы еще полчаса назад последние известия слушали. Когда стало ясно, что Гитлер жив и жаждет мести, Хирш ушел. А приемник тебе оставил.

— С тех пор больше ничего не передавали?

— Гитлер собирается выступить с речью. Будет убеждать народ, что его спасло провидение.

Из полутьмы возникла женская тень. Это была очень старая дама, ее серая иссохшая кожа напоминала мятую пергаментную бумагу. Мойков встал.

— Вам что-нибудь нужно, графиня?

Тень истово закивала.

— Мои сердечные капли, Владимир Иванович! Мои все вышли. Ох уж эти июльские ночи! Никак не заснешь. Они напоминают мне летние ночи пятнадцатого года в Петербурге. Бедный царь!

Мойков протянул ей маленькую бутылочку водки.

— Вот ваше сердечное, графиня. Спокойной ночи. Спите хорошенько.

— Попытаюсь.

Тень шурша удалилась. На ней было очень старомодное кружевное платье с рюшами.

— Она живет только прошлым. После революции семнадцатого время для нее остановилось. Она тогда и умерла, просто не знает об этом. — Он снова внимательно на меня глянул. — Слишком много за эти последние тридцать лет всего случилось, верно, Людвиг? И справедливости в этом кровавом прошлом нет. И быть не может.

Я взял приемник и пошел к себе в комнату.

Уже днем я узнал от Мойкова, что один из постояльцев ночью умер — это был неприметный эмигрант, почти безвылазно и тихо сидевший у себя в номере. Звали его Зигфрид Заль, и умер он от инфаркта. Я его вообще ни разу не видел.

— Можешь занять его комнату, — сказал Мойков. — Она немного побольше твоей. И лучше. До ванной ближе. Цена та же.

Я отказался. Этого Мойков решительно не мог понять. Он глянул на меня неодобрительно.

— В твои годы я тоже частенько подумывал о своей личной мести и своей личной справедливости, — сказал он. — А сегодня, вспоминая себя тогдашнего, кажусь себе ребенком, который после свирепого землетрясения спрашивает, куда подевался его любимый мячик. Ты меня понял, Людвиг?

— Нет, — ответил я. — Но чтобы ты не думал, будто я окончательно свихнулся, я беру комнату Зигфрида Заля.

Я подумал, не позвонить ли Роберту Хиршу. Но мне вдруг почему-то расхотелось снова обсуждать покушение. Оно не удалось, и ничего в мире не изменилось. А значит, и говорить было не о чем.

VI

Я принес Сильверу его бронзу.

— Это не копия, — сказал я.

— Ну и хорошо. Я с вас все равно ни гроша выше первоначальной цены не возьму, — возразил он. — Что продано, то продано. Мы люди честные.

— И все-таки я вам ее возвращаю.

— Но почему?

— Потому что хочу провернуть с вами сделку.

Сильвер полез в карман, извлек оттуда десятидолларовую банкноту, поцеловал и засунул в другой карман пиджака.

— На что вас пригласить?

— По какому случаю?

— Я заключил с братом пари, вернете вы бронзу или нет. Я выиграл. Как насчет того, чтобы выпить кофейку? Но не американского, а чешского? Американцы варят кофе до полного изничтожения вкуса и запаха. В чешской кондитерской, что напротив, так не делают. Они кофе помешивают, не доводя до кипения, тогда он не теряет свежести и аромата.

Мы перешли шумную, оживленную улицу. Поливальная машина мощными струями воды прибивала пыль. Фиолетовый фургон доставки детских пеленок чуть нас не раздавил. Сильвер увернулся от него в рискованном и по-своему грациозном пируэте. Сегодня к своим лакированным штиблетам он надел желтые носки.

— Так какую сделку вы надумали со мной провернуть? — полюбопытствовал он, когда мы уже сидели в кондитерской, благоухавшей ароматами пирожных, кофе и какао.

— Хочу вернуть вам бронзу, а прибыль поделить, сорок на шестьдесят. Шестьдесят мне.

— Это у вас называется поделить?

— У меня это называется щедро поделить.

— С какой стати вы вообще предлагаете мне войти в долю, если уверены, что бронза подлинная?

— По двум причинам. Во-первых, мне ее не продать. Я никого здесь не знаю. Во-вторых, я ищу место. И не простое, а особенное: временную работу для человека, не имеющего права работать. Одним словом, работу для эмигранта.

Сильвер поднял на меня глаза.

— Вы еврей?

Я кивнул.

— Беженец?

— Да. Но у меня есть виза.

Сильвер задумался.

— И что бы вы хотели делать?

— Да все, что вам угодно. Убирать, каталогизировать, порядок наводить — любую нелегальную работу. На несколько недель всего, пока я не подыщу что-то еще.

— Понимаю. Предложение необычное. Вообще-то у нас огромный подвал под магазином. И там полно всякого хлама, мы сами толком не знаем, что там валяется. Вы что-нибудь смыслите в этом деле?

— Кое-что. Думаю, на разборку и каталогизацию меня хватит.

— Где вы учились?

Я достал свой паспорт. Сильвер глянул на графу "Профессия".

— Антиквар, — сказал он. — Так я и думал! Коллега, значит. — Он допил свой кофе. — Пожалуй, вернемся в магазин.

Мы снова перешли улицу. После поливальной машины она уже почти успела высохнуть. Солнце пекло, в воздухе парило и воняло выхлопными газами.

— А бронза — это ваш конек? — спросил Сильвер.

Я кивнул.

— Бронза, ковры, ну и еще кое-что — по мелочи.

— Где вы учились?

— В Брюсселе и Париже.

Сильвер предложил мне черную тонкую бразильскую сигару. Ненавижу сигары; тем не менее я ее взял. Сильвер наблюдал за мной.

— Я скажу вам, что мы можем сделать, — заявил он наконец. — Я покажу эту бронзу владельцу "Лу энд компани". Он, сколько мне известно, на днях как раз возвращается из Сан-Франциско. Сам-то я мало что в этом понимаю. Согласны?

— Согласен. А как насчет работы? Разборка, каталогизация?

— Что вы скажете об этой вещи? — спросил Сильвер, указывая на столик, куда я поставил бронзу. — Хорошая, плохая?

— Посредственный Людовик Пятнадцатый, вещь провинциальная, старая, бронзовая отделка новая, — отчеканил я, в глубине души благословляя покойного Зоммера, который, как и всякий истинный художник, любил старину.

— Неплохо, — похвалил Сильвер, поднося мне огня для моей бразильской сигары. — Вы знаете больше меня. По правде говоря, нам этот магазин по наследству достался. Нам — это моему брату и мне, — пояснил он. — Мы были адвокатами. Но адвокатская жизнь не для нас. Мы люди честные, а не какие-то крючкотворы. А магазин получили всего несколько лет назад и еще много чего не знаем. Но нам нравится! И даже кондитерская есть напротив, откуда так удобно наблюдать за собственной лавочкой, спокойно поджидая клиентов. Вы меня понимаете?

— Еще как.

— Магазин стоит на месте, зато улица движется беспрерывно, — продолжал Сильвер. — Чистое кино. Тут всегда что-нибудь случается. Нам это занятие куда милей, чем защищать негодяев и вымогать согласия на разводы. Да оно и приличнее. Вы не находите?

— Безусловно, — откликнулся я, втайне дивясь адвокату, который считает торговлю искусством куда более честным ремеслом, чем право.

Сильвер кивнул.

— У нас в семье я оптимист. Я Близнец по гороскопу. А брат пессимист. Он типичный Рак. Магазином мы владеем вместе. Поэтому я еще должен посоветоваться с ним. Вы согласны?

— Как я могу не согласиться, господин Сильвер?

— Хорошо. Зайдите дня через два, через три. Мы тогда и о бронзе будем знать поточнее. Сколько вы хотите получать за свою работу?

— Столько, чтобы хватало на жизнь.

— В отеле "Риц"?

— В гостинице "Мираж". Там чуть-чуть дешевле.

— Десять долларов в день вас устроят?

— Двенадцать, — осмелел я. — Я заядлый курильщик.

— Но только на несколько недель, — предупредил Сильвер. — Не дольше. В торговом зале нам помощь не нужна. Тут нам-то с братом вдвоем делать нечего. Вот почему в лавочке, как правило, дежурит только кто-то один. Это тоже одна из причин, по которой мы за это взялись: мы хотим зарабатывать, а не урабатываться насмерть. Я прав?

— Конечно.

— Даже странно, как хорошо мы понимаем друг друга. А ведь почти незнакомы.

Я не стал Сильверу объяснять, что, когда одна из сторон только поддакивает, взаимопонимание дается удивительно легко. В магазин зашла дама с перьями на шляпе. Она вся шуршала. Видимо, на ней было сразу несколько шелковых нижних юбок. Юбки шелестели и похрустывали. Дама была сильно накрашена и весьма овальных очертаний. Этакий пожилой постельный зайка с пудинговым лицом.

— У вас есть венецианская мебель? — поинтересовалась дама.

— Разумеется, и притом самая лучшая, — заверил ее Сильвер, тайком давая мне знак удалиться. — До свиданья, граф Орсини, — обратился он ко мне чуть громче обычного. — Завтра утром мы доставим вам мебель.

— Но не раньше одиннадцати, — предупредил я. — От одиннадцати до полудня в "Риц". Au revoir, mon cher[1].

— Au revoir, — ответил Сильвер с сильным акцентом. — В одиннадцать тридцать, как часы.

День близился к вечеру. Я только что перекусил в дрогстере, взяв самое дешевое, что было, — две сосиски и две булочки. Потом долго ел глазами рекламу мороженого. Америка — страна мороженого; здесь даже солдаты на улице беззаботно лизали брикетики в шоколадных вафлях. Этим Америка разительно отличалась от Германии; там солдат готов стоять навытяжку даже во сне, а если случится ненароком выпустить газы, то он делает вид, что это автоматная очередь.

По Пятьдесят второй улице я побрел назад в гостиницу. Сменный портье Феликс О'Брайен стоял в дверях.

— А Мойкова нет? — поинтересовался я.

— Сегодня же суббота, — напомнил О'Брайен. — Мой день. Мойков в разъездах.

1. До свидания, дорогой мой (*франц.*).

— Верно, суббота! — Как же я забыл. Значит, впереди длинное, пустое воскресенье.

— Вот и мисс Фиола тоже господина Мойкова спрашивала, — вяло обронил Феликс.

— Она еще тут? Или уже ушла?

— По-моему, здесь еще. Во всяком случае, я не видел, чтобы она выходила.

Мария Фиола вышла мне навстречу из полумрака плюшевого будуара. На ней опять был ее черный тюрбан.

— У вас снова съемки? — спросил я.

Она кивнула.

— Совсем забыла, что сегодня суббота. Владимир уехал развозить клиентам свой напиток богов. Но я все предусмотрела. У меня теперь припасена здесь собственная бутылка. У Мойкова в холодильнике припрятана. И даже Феликс О'Брайен пока что не смог ее обнаружить. Но это, конечно, долго не протянется.

Она прошла в комнатенку за стойкой и извлекла бутылку из холодильника, откуда-то из самого угла. Я поставил рюмки на столик возле зеркала.

— Вы не ту бутылку взяли, — предупредил я. — Это перекись водорода, к тому же концентрированная. Яд. — Я показал на этикетку.

Мария Фиола рассмеялась.

— Бутылка та самая. А этикетку я сама наклеила, чтобы Феликса отпугнуть. Перекись водорода, как и водка, ничем не пахнет. У Феликса нюх на спиртное просто феноменальный; но тут он ничего не учует, пока не попробует. А чтобы не попробовал — этикетка! Яд! Просто, верно?

— Все гениальные идеи просты, — ответил я, отдавая дань ее изобретательности. — Потому-то они так тяжело и даются.

— Первую бутылку я себе тут уже несколько дней назад завела. Чтобы Феликс на нее не позарился, Владимир Иванович перелил водку в старую запыленную бутылку из-под уксуса и даже бумажку приклеил с русскими буквами. Но она на следующее же утро исчезла.

— Лахман? — спросил я, пронзенный молниеносной догадкой.

Она в изумлении кивнула.

— Вы-то откуда знаете?

— Природный дар аналитика, — сухо ответил я. — Он признался в содеянном?

— Да. И в приступе раскаяния даже принес взамен вот эту бутылку. Она больше; в ту едва пол-литра набиралось, а в этой добрых три четверти. Ваше здоровье!

— И ваше! — Лурдская вода, подумал я. Лахман даже заподозрить не мог, что это водка, он же вообще непьющий. Одному Богу известно, как приняла его с такой святой водицей пуэрториканка. Впрочем, может, он как-нибудь сообразил выдать ее за сливовицу из Гефсиманского сада?

— А я люблю тут посидеть, — призналась Мария Фиола. — С прежних времен привычка осталась. Я ведь долго тут жила. Я вообще люблю гостиницы. Всегда что-нибудь случается. Люди приезжают, уезжают; встречи, расставания; самые волнующие мгновения в жизни.

— Вы так считаете?

— А вы нет?

Я задумался. В моей жизни встреч и прощаний было достаточно.

Даже с лихвой. Прощаний больше. Пожалуй, возможность спокойной жизни волнует меня куда больше.

— Может, вы и правы, — заметил я. — Но тогда, наверно, большой отель еще интересней?

Она затрясла тюрбаном так, что бигуди зазвенели.

— Они все бесцветные. Здесь все по-другому. Здесь люди не прячут своих эмоций. Вы это по мне могли видеть. Вы тут Рауля уже встречали?

— Нет.

— А графиню?

— Только мельком.

— Тогда у вас еще все впереди. Еще водки? Рюмочки такие маленькие.

— Они всегда малы.

Мария Фиола потрогала пакет, лежавший рядом с ней на столике.

— Это мои парики. Рыжий, белокурый, черный, седой и даже белый. У нас сегодня цветные съемки. А почему бы вам не пойти со мной? Или у вас другие планы?

— Да нет. Но ваш фотограф меня вышвырнет.

— Никки? Что за вздор! Там и без нас будет куча народу, не меньше дюжины. А если вам станет скучно, в любое время сможете уйти. Это не светская вечеринка.

— Хорошо.

Я бы за что угодно ухватился, лишь бы избежать одиночества моей гостиничной комнаты. В этой комнате умер эмигрант Заль. В шкафу я нашел несколько писем. Заль их так и не отправил. Одно было адресовано Рут Заль в исправительно-трудовой лагерь Терезиенштадт под Веной. "Дорогая Рут, я уже так давно ничего о тебе не слышал, — надеюсь, ты здорова и у тебя все в порядке". Я-то знал, что концлагерь Терезиенштадт — сборный пункт для евреев, которых оттуда переправляли в крематории Освенцима. Так что Рут Заль, по всей вероятности, давным-давно сожгли.

— Будем брать такси? — спросил я на улице, неприязненно вспомнив о своем порядком отощавшем бумажнике.

Мария Фиола мотнула головой.

— В гостинице "Мираж" такси берет только Рауль. Я это отлично помню по временам моей здешней жизни. Все остальные ходят пешком. И я тоже. Причем с удовольствием. А вы разве нет?

— Я-то пешеход-марафонец. Особенно в Нью-Йорке. Два-три часа прогулки для меня сущий пустяк. — Я умолчал о том, что завзятым любителем моционов стал только в Нью-Йорке, потому что здесь мне не надо опасаться полиции. Это давало ликующее ощущение свободы, к которому я все еще не привык.

— Нам недалеко, — сказала девушка.

Мы шли против движения, рассекая встречный поток пешеходов. Мария шла быстро, энергичным и широким шагом. Она не семенила и голову держала высоко, как фигура на носу галиона — из-за этого и сама она казалась выше ростом.

— У нас сегодня большой день, — сообщила она. — Вечерние платья и меха.

— Меха? В такую жару?

— Это не важно. Мы всегда опережаем погоду на один, а то и на два сезона. Летом готовится коллекция осенней и зимней моды. Сперва модели фотографируют. А потом ведь надо еще успеть все это пошить

и по оптовикам развезти. На это уходят месяцы. Поэтому со временем года у нас всегда какая-то свистопляска. Живешь как бы в двух временах сразу — в том, которое на улице, и в том, которое на съемках. Иногда, бывает, и путаешь. И вообще, есть во всем этом что-то цыганское, ненастоящее, что ли.

Мне вдруг пришло в голову, что впервые в Америке я иду по улице с женщиной.

Примерно дюжина людей собралась в огромной, почти голой комнате, где было расставлено некоторое количество стульев и несколько светлых передвижных стенок, высвеченных яркими лампами, а также имелся небольшой подиум. Фотограф Никки дружески обнял Марию Фиолу, вокруг носились обрывки разговоров, меня между делом представили всем собравшимся, тут же подали виски, и уже вскоре я очутился в кресле, несколько на отшибе от этой суеты и всеми забытый.

Тем спокойнее мог я наблюдать за необычным, новым для меня зрелищем. Большие картонные коробки уносили за занавеску, там распаковывали и затем, уже пустые, ставили на место. За ними, уже по отдельности, шли манто и шубы, вызвавшие интенсивные дебаты — что, как и в какой последовательности снимать. Помимо Марии здесь были еще две манекенщицы — блондинка, туалет которой почти исчерпывался изящными серебристыми туфельками, и очень смуглая брюнетка.

— Сперва манто, — решительно объявила энергичная пожилая дама.

Никки запротестовал. Это был худощавый человек с песочными волосами и тяжелой золотой цепью на запястье.

— Сперва вечерние платья! Иначе они под шубами помнутся!

— Девушкам совершенно не обязательно надевать их под шубы! Наденут что-нибудь другое. Или вовсе ничего. Меха увезут первыми. Сегодня же ночью!

— Хорошо, — согласился Никки. — Эти скорняки, похоже, не слишком нам доверяют. Значит, сперва меха. Давайте вот эту шляпку из норки. С турмалином.

Внезапно лучи юпитеров пучком сошлись на одной из передвижных стенок, к которой в срочном порядке придвинули огромную вазу с искусственным стеблем дельфиниума. Сюда и вышла блондинка в серебристых туфельках и в бежевой норковой шляпке. Директриса-распорядительница еще раз пригладила мех, два юпитера, установленных ниже остальных, дружно вспыхнули, и манекенщица застыла, словно шалунья-преступница под дулом полицейского пистолета.

— Снято! — крикнул Никки.

Манекенщица сменила позу. Директриса тоже.

— Еще раз! — потребовал Никки. — Чуть правее! Мимо камеры смотри! Хорошо!

Я откинулся в кресле. Контраст между моим реальным положением и этим зрелищем поверг меня в какое-то потустороннее состояние, в котором, впрочем, не было ни отрешенности, ни замешательства, ни испуга. Скорее это было уже почти неведомое чувство глубокой успокоенности и мягкого, тихого блаженства. Мне вдруг пришло в голову, что со времени моего изгнания я почти не был в театре, а тем паче — в опере. Случайный киносеанс — вот и все, что я мог себе позволить, да и то обычно лишь затем, чтобы спрятаться, укрыться, пересидеть пару часов.

Кто-то принес мне новую порцию виски. Хорошо, что я согласился

сюда пойти, думал я. Впервые за долгое время я почувствовал, что отдыхаю: гнет, который ощущался более или менее осознанно, постоянно и почти физически, вдруг спал.

— Мария! — крикнул Никки. — Теперь каракульчу!

В тот же миг Мария очутилась на подиуме, тоненькая и стройная в окутавшем ее черном, матово поблескивающем манто, в изящной, надетой чуть набекрень плоской шапочке в форме берета из того же шелковистого, переливчатого меха.

— Хорошо! — воскликнул Никки. — Стой так! Стой и не двигайся! Нет! — заорал он на директрису, которая попыталась что-то поправить или одернуть. — Нет! Хэтти, прошу тебя! После. Мы еще сделаем много снимков. А этот пусть будет так, ненароком, без всякой позы!

— Но ведь так не видно...

— Потом, Хэтти! Снимаю!

Мария замерла, но не так, как прежде замирала блондинка. Она просто остановилась, будто стояла так всегда. Боковые юпитеры нащупали ее лицо и сверкнули в глазах, которые вдруг наполнились глубокой и чистой синевой.

— Хорошо! — заявил Никки. — Теперь нараспашку!

Хэтти подскочила к Марии. А та медленно распахнула манто, словно два крыла огромной бабочки. Прежде манто казалось ей почти узким, на самом же деле оно было широченное, с подбивкой белого шелка, на котором четко выделялись большие серые ромбы.

— Так и держи! — сказал Никки. — Как павлиноглазка! Крылья пошире!

— Павлиноглазки не черные. Они фиолетовые, — поправила его Хэтти.

— А у нас они черные, — надменно ответил Никки.

— Ну и как вам это? — раздался вдруг чей-то голос у меня за спиной.

Бледный полноватый мужчина со странно поблескивающими вишенками глаз плюхнулся в складное кресло рядом со мной. Кресло жалобно всхлипнуло и завибрировало.

— Великолепно, — ответил я совершенно искренне.

— У нас, конечно, теперь уже нет мехов от Баленсиаги и других великих французских закройщиков, — посетовал мужчина. — Все из-за войны. Но Манбоше тоже неплохо смотрится, вы не находите?

— Еще бы! — Я понятия не имел, о чем он говорит.

— Что ж, будем надеяться, эта проклятая война скоро кончится и нам снова начнут поставлять первоклассный материал. Эти шелка из Лиона...

Мужчина вдруг поднялся — его позвали. Причину, по которой он проклинал войну, я даже не счел смехотворной; напротив, здесь, в этом зале, она представилась мне едва ли не из самых весомых.

Начались съемки вечерних платьев. Внезапно возле меня очутилась Мария. На ней было белое, очень облегающее платье с открытыми плечами.

— Вы не скучаете? — спросила она.

— Нисколько. — Я взглянул на нее. — По-моему, у меня даже начались приятные галлюцинации. В противном случае мне бы не померещилось, что диадему, которая у вас в волосах, я еще сегодня после обеда видел в витрине у "Ван Клиф и Эрпелс". Она там выставлена как диадема императрицы Евгении. Или это была Мария Антуанетта?

— А вы наблюдательны. Это действительно от "Ван Клиф и Эрпелс". — Мария засмеялась.

— Вы ее купили? — спросил я. В этот миг для меня не было ничего невозможного. Как знать, вдруг эта девушка — беглая дочь какого-нибудь короля мясных консервов из Чикаго. В газетах, в колонке светских сплетен, мне и не такое случалось читать.

— Нет. И даже не украла. Просто журнал, для которого мы фотографируемся, взял ее напрокат. Вон тот мужчина сразу по окончании съемок увезет ее обратно. Это служащий фирмы "Ван Клиф", он охраняет драгоценности. А что вам понравилось больше всего?

— Черное кепи из каракульчи, которое на вас было. Это ведь Баленсиага?

Она обернулась и уставилась на меня во все глаза.

— Это Баленсиага, — медленно повторила она. — Но вы-то откуда знаете? Вы что, тоже из нашего бизнеса? Иначе откуда вам знать, что кепи от Баленсиаги?

— Пять минут назад я этого еще не знал. Я бы счел, что это марка автомобиля.

— Откуда же сейчас знаете?

— Вон тот бледный незнакомец меня просветил. Вернее, он только назвал фамилию, а уж остальное я сам домыслил.

— Это действительно от Баленсиаги, — сказала она. — Привезли на бомбардировщике. На "летающей крепости". Контрабандой.

— Отличное применение для бомбардировщика. Если бы все бомбардировщики так использовались, наступил бы золотой век.

Она засмеялась.

— Значит, вы не шпион от конкурентов и у вас не припрятан в кармане миниатюрный фотоаппарат, чтобы похитить наши секреты зимней моды? Даже жалко! Но похоже, за вами все равно глаз да глаз нужен. Выпивки у вас достаточно?

— Спасибо, да.

— Мария! — позвал фотограф. — Мария! Съемка!

— Потом все мы еще на часок заедем в "Эль Марокко", — сообщила девушка. — Вы ведь тоже поедете? Вам меня еще домой провожать.

И прежде чем я успел ответить, она уже стояла на подиуме. Разумеется, я не мог с ними ехать. У меня просто денег не хватит. Впрочем, рано об этом думать. Пока что я целиком отдался флюидам этой атмосферы, где шпионом считается тот, кто норовит похитить покрой меховой шапочки, а не тот, кого всю ночь пытают и на рассвете расстреливают. Манекенщицы уже не давали себе труда уходить за занавеску и переодевались у всех на глазах. От яркого прямого света они устали и были возбуждены. Но окружающие мужчины не обращали на них почти никакого внимания. Некоторые явно были гомосексуалисты, другие, вероятно, просто привыкли к виду полуобнаженных женщин.

Когда картонные коробки наконец были убраны, я объявил Марии Фиоле, что никуда с ней не иду. Где-то я уже слыхал, что "Эль Марокко" — самый шикарный ночной клуб во всем Нью-Йорке.

— Но почему? — удивилась она.

— Я сегодня не при деньгах.

— Какой же вы дурачок! Мы все приглашены. Журнал за все платит. А вы сегодня со мной. Неужели вы думаете, я бы позволила вам платить?

Не зная, следует ли расценить ее последние слова как комплимент, я смотрел на эту чужую, сильно накрашенную женщину в белокуром парике, с диадемой, сверкающей изумрудами и бриллиантами, и внезап-

но почувствовал прилив необъяснимой нежности, будто мы с ней сообщники.

— А разве не нужно сперва сдать драгоценности? — спросил я.

— Человек от "Ван Клифа" пойдет с нами. Когда мы носим их украшения в таких местах, фирма расценивает это как рекламу.

Я больше не протестовал.

VII

Александр Сильвер начал махать мне еще издали, как только заприметил. Его голова вдруг показалась в витрине между одеянием мандарина и молитвенным ковром. Раздвинув руками и то и другое, он замахал еще энергичней. Прямо у него в ногах невозмутимо взирала на прохожих каменная голова кхмерского Будды. Я вошел.

— Ну, что нового? — спросил я, отыскивая глазами свою бронзу.

Он кивнул.

— Я показал эту вещь Франку Каро ван Лу. Это подделка.

— Правда? — изумился я. Я не понимал, с какой тогда стати он еще издали и столь радостно меня приветствовал.

— Но я все равно, разумеется, беру ее обратно. Вы не должны терпеть из-за нас убытки.

Сильвер потянулся за бумажником. На мой взгляд, слишком уж быстро потянулся. К тому же что-то в его лице не вязалось с тоном и смыслом его сообщения.

— Нет, — сказал я, понимая, что рискую половиной своего скудного состояния. — Я оставляю ее себе.

— Хорошо, — согласился Сильвер. Но не выдержал и рассмеялся. — Значит, первый закон антиквара вы уже знаете. Он гласит: "Не дай себя одурачить".

— Эту мудрость я давно усвоил, и не антикваром, а простой божьей тварью. Значит, бронза подлинная?

— Почему вы так решили?

— По трем причинам, но все они несущественны. Оставим эту пикировку. Итак, бронза подлинная?

— Каро считает, что она подлинная. Он просто не понимает, что может свидетельствовать об обратном. По его мнению, некоторые музейные работники, из молодых, желая блеснуть знаниями, иной раз перегибают палку. Особенно если их только что приняли на службу: они тогда стараются доказать, что разбираются в деле лучше своих предшественников.

— Во сколько же он ее оценил?

— Вещь не выдающаяся. Добротное чжоу среднего периода. На аукционе в "Парк Бернет" она может уйти сотни за четыре, ну за пять. Не больше. Китайская бронза очень упала в цене.

— Почему?

— Потому что все подешевело. Война. И коллекционеров китайской бронзы не так уж много.

— Тоже из-за войны?

Сильвер рассмеялся. Во рту у него оказалось много золота.

— Сколько вы хотите за вашу долю?

— Во-первых, то, что я заплатил. И половину от того, что сверх этой цены. Не сорок на шестьдесят. Пятьдесят на пятьдесят.

— Эту бронзу еще продать надо. Для аукциона Каро оценил ее так, но в действительности она может принести лишь половину. А то и меньше.

Он был прав. Стоимость бронзы — это одно, а цена, которую за нее можно выручить, — совсем другое. Я прикидывал, смогу ли сам предложить бронзу Каро.

— Пойдемте-ка выпьем кофе, — предложил Сильвер. — Самое подходящее время для кофе.

— Вот как? — удивился я. Было десять часов утра.

— А для кофе любое время самое подходящее.

Мы перешли улицу. Сегодня к лакированным штиблетам и зеленоватым клетчатым брюкам Сильвер надел сиреневые носки. В них он сильно напоминал иудейского епископа, только в мелкую клеточку.

— Я скажу вам, что я намерен предпринять, — начал он. — Я позвоню в музей, где приобрел эту бронзу, и сообщу, что я ее продал. А клиент пошел к Каро ван Лу, где вазу признали подлинной. И скажу, что могу попытаться выкупить вещь обратно.

— По старой цене?

— По цене, которую мы с вами обсудим за второй чашкой кофе. Как он вам сегодня?

— Пока что хороший. Но почему вы хотите предложить бронзу тому же музею? Вы же поставите в неловкое положение того человека, который объявил ее копией, а то и приведете его в ярость.

— Правильно. Пусть он снова ее забракует. Тогда совесть моя будет чиста, я свой долг выполнил. Торговля искусством в наши дни — все равно что сельская лавочка: все антиквары страшные сплетники. Эксперту из музея всю историю с вазой рассказали бы уже завтра, и тогда этот музей как клиент потерян для меня навсегда. Понимаете?

Я осторожно кивнул.

— Но если я ему первому предложу эту бронзу, он мне только спасибо скажет. Даже обязан сказать. Если он откажется — очень хорошо, у нас развязаны руки. В нашем деле есть неписаные законы, и это как раз один из них.

— Сколько же вы с него запросите? — поинтересовался я.

— Цену, которую вы мне якобы заплатили. Не полсотни, конечно. Двести пятьдесят.

— Сколько вы заберете себе?

— Семьдесят пять, — Сильвер сопроводил свои слова щедрым жестом. — Не сотню, только семьдесят пять. Мы не изверги. Ну, что скажете?

— Это, конечно, весьма элегантно, но вся элегантность только за мой счет. Лу сказал, что на аукционе в "Парк Бернет" эта вещь могла бы...

Сильвер прервал меня:

— Мой дорогой господин Зоммер, на бирже и в торговле искусством нельзя задирать цены до крайности, этак недолго и все потерять. Не устраивайте здесь покер! Когда видишь хорошую прибыль, хватай без раздумий. Это был девиз Ротшильда. Запомните это на всю жизнь!

— Хорошо, — сдался я. — Но за эту первую сделку меня следует поощрить авансом. Как-никак я рисковал половиной своего состояния.

— Мы делим шкуру неубитого медведя. Музей еще откажется. И нам придется в муках искать покупателя. Времена-то какие!

— А сами-то вы сколько бы предложили, если бы знали, что бронза подлинная? — спросил я.

— Сто долларов, — выпалил Сильвер как из пистолета. — И ни центом больше.

— Господин Сильвер! И это средь бела дня, в половине одиннадцатого!

Сильвер махнул миловидной чешской официантке.

— Попробуйте-ка лучше чешское миндальное пирожное, — сказал он мне. — С кофе очень вкусно.

— Хорошо. А как насчет работы для меня?

Сильвер переправил мне на тарелку миндальное пирожное. Оно и вправду выглядело очень соблазнительно: толстый слой орехов и сахарной пудры на песочном тесте.

— Я переговорил с братом. Можете приступать завтра же. Независимо от того, что мы решим с бронзой.

У меня перехватило дыхание.

— За пятнадцать долларов в день?

Сильвер глянул на меня с укором.

— За двенадцать пятьдесят, как условились. Я начинаю думать, уж не гой ли вы. Еврей никогда бы не опустился до таких дешевых трюков.

— Верующий еврей, наверно, не опустился бы. Но я только несчастный еврей-атеист и отстаиваю свое право на существование, господин Сильвер.

— Тем хуже. Что, у вас правда так мало денег?

— Даже еще меньше. У меня долги. Я же должен адвокату, который меня сюда протащил.

— Адвокаты могут подождать. Они привычные. По себе помню.

— Но этот адвокат мне еще понадобится. И даже очень скоро, мне ведь вид на жительство продлевать. Он наверняка ждет, что я с ним сперва рассчитаюсь.

— Перейдемте-ка в магазин, — сказал Сильвер. — Сердце разрывается вас слушать.

Мы снова ринулись в поток автомобилей, как иудеи в Красное море, и счастливо достигли другого берега. Все-таки душою Сильвер был рьяный анархист. Сигналы светофора он игнорировал убежденно и бестрепетно. Это напоминало своеобразный слалом с риском ежесекундно угодить на больничную койку.

— Если любишь посидеть в кафе, наблюдая за лавочкой со стороны, надо уметь не упустить клиента. Вот я и бегаю через улицу, презрев смерть и страх. — Он достал из кармана свой потертый бумажник. — Значит, вам нужен аванс. Как насчет ста долларов?

— Это за работу или за бронзу?

— За то и за другое.

— Ладно, — согласился я. — Но только за бронзу. За работу отдельный расчет. Лучше всего, если вы будете мне платить в конце каждой недели.

Сильвер неодобрительно покачал головой.

— Еще какие будут пожелания? Платить прикажете серебром или золотыми слитками?

— Не надо слитками. И я вовсе не кровожадная акула. Просто это первые деньги, которые я в Америке буду зарабатывать! Они дают мне надежду, что я не стану здесь нищенствовать и не помру с голода. Понимаете? Отсюда, наверно, и некоторая моя ребячливость.

— Оригинальная у вас манера быть ребячливым, ничего не скажешь. — Сильвер извлек десять десятидолларовых банкнот. — Это аванс за нашу

совместную сделку. — Он добавил еще пять десяток. — Цена, уплаченная вами за бронзу. Все правильно?

— Даже благородно. Когда мне завтра заступать?

— Не в восемь. С девяти. Это еще одно преимущество работы в нашем бизнесе. В восемь утра люди антиквариат не покупают.

Я запихнул деньги в карман и попрощался. Улица встретила меня шумом и ослепительным сиянием дня. Я еще не так долго пребывал на воле, чтобы позабыть прямую связь жизни и денег. Пока что это было для меня одно и то же. Деньги для меня просто-напросто означали жизнь. У меня в кармане похрустывали три недели жизни.

— Что тут происходит? — спросил я Мойкова, войдя вечером в плюшевый будуар.

— Катастрофа! Рауль! Наш самый дорогой постоялец! Апартаменты люкс, с гостиной, столовой, личной мраморной ванной и телевизором в спальне! Решил покончить с собой!

— И давно?

— Сегодня после обеда. Когда он потерял Кики. Друга, с которым он четыре года жил.

Где-то между полкой с цветами в горшках и пальмой в кадушке раздался громкий, душераздирающий всхлип.

— Что-то уж больно много в этой гостинице плачут, — сказал я. — И все больше под пальмами.

— В каждой гостинице много плачут, — заметил Мойков.

— И в "Рице" тоже?

— В "Рице" плачут, когда происходит крах биржи. А у нас — когда человек вдруг в одночасье понимает, что он безнадежно одинок, хотя раньше так не думал.

— Но ведь с тем же успехом этому можно радоваться. Даже отпраздновать свою свободу.

— Или свою бессердечность.

— А что, этот Кики умер?

— Хуже! Заключил помолвку. С женщиной! Вот где для Рауля главная трагедия. Если бы Кики обманул его с другим homo, это бы осталось в семье. Но с женщиной! Переметнуться в лагерь вечного врага! Это же предательство!

— Вот бедолаги! Им же вечно приходится воевать на два фронта. Отражать конкуренцию мужчин и женщин.

Мойков ухмыльнулся.

— Хорошо, что ты пришел. Тебе к катастрофам не привыкать. Надо отвести его в номер. Не оставлять же его здесь в таком виде. Поможешь мне? А то он весит больше центнера.

Мы пошли в угол к пальмам.

— Да вернется он, Рауль! — начал Мойков увещевающим тоном. — Возьмите себя в руки! Завтра все наладится. Кики к вам вернется.

— Осквернный! — прорычал Рауль, возлежавший на подушках, словно подстреленный бегемот.

Мы попытались его приподнять. Он уперся в мраморный столик и заверещал. Мойков продолжал его уговаривать.

— Ну оступился, с кем не бывает, Рауль? Это же простительно. И он вернется. Я такое уже сколько раз видал. Кики вернется. Вернется, полный раскаянья.

— И осквернённый, как свинья! А письмо, которое он мне написал?! Эта паскуда никогда не вернется! И часы мои прихватил золотые!

Рауль снова взвыл. Пока мы его поднимали, он успел отдавить мне ногу. Всей своей стокилограммовой тушей.

— Да осторожнее, старая вы баба! — чертыхнулся я не подумавши.

— Что?

— Ну да, — сказал я, тут же остыв. — Вы ведете себя как плаксивая старая перечница.

— Это я старая баба? — переспросил Рауль, от неожиданности заговорив более или менее человеческим голосом.

— Господин Зоммер имел в виду совсем другое, — попытался успокоить его Мойков. — Он плохо говорит по-английски. По-французски это звучит совсем иначе. Это большой комплимент.

Рауль отер глаза. Мы с тревогой ждали нового припадка истерики.

— Это я-то баба! — уронил он неожиданно тихим и глубоко оскорбленным голосом. — Это мне сказать такое!

— Он это во французском смысле, — продолжал импровизировать Мойков. — Там это большая честь! Une femme fatale![1]

— Вот так и остаешься один, — произнес Рауль трагическим голосом, поднимаясь без всякой посторонней помощи. — Покинутый всеми!

Мы без труда довели его до лестницы.

— Несколько часов сна, — увещевал Мойков. — Две таблетки секонала, можно и три. А завтра утром крепкий кофе. Сами увидите, все будет выглядеть совсем иначе.

Рауль не отвечал. Мы тоже его покинули. Весь мир его бросил! Мойков повел его вверх по лестнице.

— Завтра все будет проще! Кики ведь не умер. Просто юношеское заблуждение.

— Для меня он умер! Мои запонки он тоже забрал!

— Да вы сами их ему подарили! На день рожденья. К тому же он в них вернется.

— И что ты так возишься с этим жирным боровом? — спросил я Мойкова, когда тот вернулся.

— Он наш лучший постоялец. Ты его апартаменты видал? Если он съедет, нам придется поднять цены на остальные номера. И на твой тоже.

— Боже правый!

— Боров там или ангел небесный, только каждый страдает как умеет, — заметил Мойков. — В горе нет знаков различия. И смешного тоже ничего нет. Уж тебе-то пора бы это знать.

— Да я знаю, — сказал я пристыженно. — Хотя различия все-таки есть.

— Это все относительно. У нас тут была горничная, так она в Гудзоне утопилась только из-за того, что сын у нее несколько долларов стибрил. Она не могла пережить такого позора. Может, скажешь, и это смешно?

— И да и нет. Не будем спорить.

Устремив глаза к потолку, Мойков напряженно прислушался.

— Хоть бы он ничего над собой не учинил, — пробормотал он. — У этих экстремистов по жизни короткие замыкания случаются гораздо чаще, чем у нормальных людей.

— Горничная, та, что утопилась в Гудзоне, тоже была экстремисткой?

— Она была просто несчастной бедной женщиной. Ей казалось, что

1. Роковая женщина! (*франц.*)

у нее нет выхода — хотя ей были открыты все пути. Как насчет партии в шахматы?

— С удовольствием. Но сперва давай-ка выпьем по рюмке водки. А то и по две. А то и больше, если захотим. Продай-ка мне бутылку. Сегодня я хочу заплатить.

— С чего это вдруг?

— Я работу нашел. Месяца на два.

— Отлично! — Мойков прислушался, глядя на дверь. — А вот и графиня пожаловала. — Мойков встал. — Полнолуние никому спать не дает.

Сегодня к старомодному, под горло закрытому кружевному платью графиня надела еще и боа из перьев. В таком наряде она напоминала старую, облезлую райскую птицу. Ее маленькое, очень белое личико было подернуто мелкой сеточкой тончайших морщин.

— Ваше сердечное, графиня? — спросил Мойков с невероятной галантностью в голосе.

— Благодарю вас, Владимир Иванович. Может, лучше секонал?

— Вам угодно секоналу?

— Не могу заснуть. Да вы же знаете, тоска и мигрень замучили, — посетовала старушка. — А тут еще эта луна! Как над Царским Селом. Бедный царь!

— А это господин Зоммер, — представил меня Мойков.

Графиня милостиво скользнула по мне взглядом. Она явно меня не узнала.

— Тоже беженец? — спросила она.

— Беженец, — подтвердил Мойков.

Она вздохнула.

— Мы вечные беженцы, сперва от жизни, потом от смерти. — В глазах у нее вдруг блеснули слезы. — Дайте мне сердечного, Владимир Иванович! Но только совсем немножко. И две секонала. — Она повела птичьей головкой. — Жизнь необъяснимая вещь. Когда я еще была молоденькой девушкой, в Санкт-Петербурге, врачи махнули на меня рукой. Туберкулез. Безнадежный случай. Они давали мне от силы два-три дня, не больше. А что теперь? Их всех давно уж нет — ни врачей, ни царя, ни красавцев офицеров! И только я все живу, и живу, и живу!

Она встала. Мойков проводил ее до дверей, потом вернулся.

— Выдал ей секонал? — спросил я.

— Конечно. И бутылку водки. Она уже пьяна. А ты даже и не заметил, верно? Старая школа, — сказал Мойков с уважением. — Этот божий одуванчик по бутылке в день высасывает. А ведь ей за девяносто! У нее ничего не осталось, кроме призрачных воспоминаний о призрачной жизни, которую она и оплакивает. Только в ее старой голове эта жизнь еще и существует. Сначала она в "Рице" жила. Потом в "Амбассадоре". Потом в русском пансионе. Теперь вот у нас. Каждый год она продает по одному камню. Сперва это были бриллианты. Потом рубины. Потом сапфиры. С каждым годом камни становились все меньше. Сейчас их почти не осталось.

— А секонал у тебя еще есть? — поинтересовался я.

Мойков посмотрел на меня изучающим взглядом.

— И ты туда же?

— На всякий случай, — успокоил я его. — Это только про запас. Наперед никогда не знаешь. Снам ведь не прикажешь. А мне завтра рано вставать. На работу.

Мойков помотал головой.

— Просто поразительно, до чего человек в своей гордыне заносчив, ты не находишь? Вот скажи, ты зверя в слезах когда-нибудь видал?

VIII

Уже две недели я работал у Сильвера. Подвал под магазином оказался огромным, лабиринт его помещений уходил далеко под улицу. В нем было множество ответвлений и тупиков, битком набитых всяческим старьем. Сильверам все это барахло в свое время досталось в наследство, и они пару раз даже предприняли слабые попытки как-то его упорядочить и каталогизировать, но вскоре от этой затеи отказались. Не для того же, в конце концов, они бросили адвокатское ремесло, чтобы сменить его на жалкий удел сортировщиков и учетчиков в катакомбах. Если есть в подвале что-нибудь ценное, то с годами оно станет только еще ценней, так они решили и отправились пить кофе. Ибо к своим обязанностям бонвиванов они относились всерьез.

Рано поутру я исчезал в катакомбах, точно крот, и обычно появлялся на поверхности лишь к обеду. Подвал был скудно освещен только несколькими тусклыми лампочками. Он напоминал мне о моих брюссельских временах, и поначалу я даже слегка побаивался, не слишком ли назойливым будет напоминание; потом, однако, решил помаленьку и осознанно привыкать, тем самым постепенно изживая в себе болезненный комплекс. Мне уже не однажды в жизни случалось проделывать над собой подобные эксперименты, превозмогая непереносимые воспоминания сознательным привыканием к чему-то сходному, но не столь непереносимому.

Мало-помалу я притерпелся к темным сводам катакомб и к шуму грузовиков и легковушек над головой. К тому же мне постепенно удалось разгородить некоторые участки свободного пространства. Часть вещей оказалась таким барахлом, что его и хранить-то не стоило. Тут были и поломанные кухонные табуретки, и пара никуда не годных драных кушеток стандартного фабричного производства. Подобный хлам Сильверы просто выставляли к ночи на улицу, а рано утром его забирала бригада городских мусорщиков.

Однажды, уже после нескольких дней работы в подвале, под грудой ветхих, не имеющих почти никакой ценности фабричных ковров я вдруг обнаружил два молитвенных ковра, один с голубой, другой с зеленой михрабными нишами. И это были не современные копии, а оригиналы, каждому лет по сто пятьдесят, и в хорошей сохранности. Гордый, как терьер с добычей, я вытащил их наверх.

В магазине восседала помпезная дама, вся увешанная золотыми цепями.

— А вот и наш эксперт, сударыня, — глазом не моргнув, сказал Сильвер, едва он меня заметил. — Месье Зоммер, из Парижа, прямо из Лувра. Предпочитает говорить по-французски. Что вы скажете об этом столике, господин Зоммер?

— Превосходный Людовик Пятнадцатый. Дивная чистота линий. И сохранность отменная. Редкая вещь, — отрапортовал я с сильным французским прононсом. А затем, для пущего эффекта, еще раз повторил все то же самое по-французски.

— Слишком дорого, — решительно заявила дама, брякнув цепями.

— Но позвольте, — слегка опешил Сильвер. — Я вам пока что и цены-то не называл.

— Не важно. Все равно слишком дорого.

— Хорошо, — согласился Сильвер, мгновенно обретая присутствие духа. — В таком случае, сударыня, назначьте цену сами.

Теперь настал черед дамы слегка опешить. Поколебавшись немного, она спросила:

— А ковер сколько стоит? — и ткнула в ковер с зеленой нишей.

— Ему нет цены, — ответил Сильвер. — Это фамильная реликвия, перешедшая мне по наследству от матушки. Она не продается.

Дама рассмеялась.

— Реликвия это тот, что зеленый, — встрял я. — А вон тот, голубой, это моя собственность. Я принес показать его господину Сильверу. Если он его купит, у него будет пара к зеленому. Это повышает стоимость обоих ковров процентов на двадцать.

— У вас что, вообще ничего купить нельзя? — ехидно поинтересовалась дама.

— Отчего же? Столик и все прочее, что на вас смотрит, — смиренно ответил Сильвер.

— И зеленый ковер тоже?

Загвоздка с коврами состояла в том, что Сильвер явно не знал, что это вообще такое, а я понятия не имел, сколько они могут стоить в долларах. И у нас не было никакой возможности сговориться. Дама в цепях восседала между нами и пристально следила за каждым нашим движением.

— Так и быть, — решился наконец Сильвер. — Только для вас — и зеленый ковер.

Дама хмыкнула.

— Так я и думала. И сколько же?

— Восемьсот долларов.

— Слишком дорого, — изрекла дама.

— Похоже, это любимое ваше присловье, сударыня. Сколько бы вы хотели заплатить?

— Нисколько, — отрезала дама, вставая. — Просто хотела послушать, что вы еще придумаете. Одно надувательство!

И, бряцая цепями, направилась к выходу. По пути она опрокинула голландский светильник, даже не подумав его поднять. Сильвер поднял его сам.

— Вы замужем, милостивая государыня? — спросил он вкрадчиво.

— А вам-то какое дело?

— Никакого. Просто мы, мой коллега и я, включим сегодня вашего достойного всяческого сочувствия супруга в нашу вечернюю молитву. По-английски и по-французски.

— Эта больше не придет, — сказал я. — Разве что с полицией.

Сильвер отмахнулся.

— Зря, что ли, я столько лет был адвокатом? А купить эта корова все равно ничего бы не купила. Эти стервы разгуливают по городу тысячами. Им скучно, вот они и не дают жизни продавцам. Главным образом в магазинах одежды и обуви: сидят часами, примеряют без конца и ничего не покупают. — Он перевел взгляд на ковры. — Так что там у нас с фамильной реликвией моей матушки?

— Это молитвенный ковер, начало девятнадцатого века, быть может, даже конец восемнадцатого, Малая Азия. Очень миленькие вещицы. Считаются полуантиком. Настоящий антик — шестнадцатое и семнадцатое столетия. Но таких молитвенных ковров очень мало. И они обычно персидские.

— И сколько же, по-вашему, они должны стоить?

— В Париже до войны у торговцев коврами около пятисот долларов.

— За пару?

— За штуку.

— Черт побери! Вам не кажется, что неплохо бы это отметить чашечкой кофе?

Мы начали переправу через улицу, причем Сильвер с такой самоубийственной удалью, что немедленно принудил к остановке заверещавший всеми тормозами "форд", водитель которого осыпал его целым градом нелестных эпитетов. "Баран безмозглый" было из них самым мягким. Сильвер с ослепительной улыбкой помахал ему вслед.

— Так, — сказал Сильвер, — теперь самолюбие мое удовлетворено. А то эта стерва изрядно его потрепала. — И, поймав мой недоуменный взгляд, пояснил: — К сожалению, я очень вспыльчив. Этот водитель имел полное право меня обругать, а стерва — никакого. Теперь все уравновесилось, внутренний покой восстановлен. Как насчет круассана к кофе?

— С удовольствием.

Я не вполне оценил логику Сильверовых рассуждений, но был готов оценить круассан. Голодные годы войны и эмиграции пробили во мне ненасытимую брешь — есть я могу в любое время суток и что угодно. Вот и во время долгих пеших прогулок по Нью-Йорку я то и дело замирал перед витринами продовольственных магазинов, самозабвенно глазея на выставленные в них яства — огромные окорока, деликатесы, торты.

Сильвер извлек из кармана бумажник.

— Сделка с вазой состоялась, — заявил он тоном триумфатора. — Я получил телеграмму из музея. Они берут бронзу обратно. И платят больше, чем мы предполагали. А того эксперта уже заменили. И не по нашей вине. Он успел совершить еще несколько промахов. Вот ваша доля. — Сильвер положил две стодолларовых купюры возле моей тарелочки с круассаном. — Вы довольны?

Я кивнул.

— А что с авансом? — спросил я. — Я его должен вам вернуть из этих денег или вычтете из моего жалованья?

Сильвер рассмеялся.

— Мы квиты. Вы заработали триста долларов.

— Только двести пятьдесят, — не согласился я. — Пятьдесят я сам заплатил.

— Верно. И если мы ковры продадим, вы тоже получите премию. Мы люди, а не автоматы по загребанию денег. Автоматами мы раньше были. Правильно я говорю?

— Правильно. Даже очень.

— Еще круассан?

— С удовольствием. Они восхитительные, но очень маленькие.

— Замечательно здесь, правда? — радовался Сильвер. — Я об этом мечтал всю жизнь: хорошее кафе рядом с работой. — Поверх потока машин он устремил взгляд на противоположную сторону улицы: нет ли

у нас покупателей. И сразу стал похож на отважного и деловитого воробья, высматривающего пропитание прямо под конскими копытами. Но внезапно он издал глубокий вздох. — Все бы хорошо, если бы не эта безумная идея моего братца.

— Что за идея?

— У него есть подруга. Шикса. Так представляете, он вздумал на ней жениться! Трагедия! Нам всем тогда крышка!

— Шикса? Что такое шикса?

Сильвер воззрился на меня с изумлением.

— Вы и этого не знаете? И вы иудей? Ах да, вы же агностик неверующий. Так вот, шикса — это христианка. Христианка с вытравленными перекисью лохмами, глазами селедки и пастью о сорока восьми зубьях, каждый из которых наточен на наши кровью и потом скопленные денежки. Это не блондинка, а гиена крашеная, обе ноги кривые и обе правые!

Мне понадобилось некоторое время, чтобы уяснить себе этот образ.

— Бедная моя матушка, — продолжал Сильвер. — Да она бы в гробу перевернулась, если бы ее восемь лет назад не сожгли. В крематории.

Я с трудом поспевал за скачками его мысли. Однако это слово ударило меня, как гром набата. Я отодвинул тарелку. Все вокруг вдруг заполнил тошнотворный сладковатый запах, который я слишком хорошо знал.

— В крематории? — переспросил я.

— Да. Здесь это самое простое. И, кстати, самое чистое. Она была набожная иудейка, еще в Польше родилась. Вы же знаете...

— Знаю, — резко оборвал я его. — И что же ваш брат? Почему ему нельзя жениться?

— Только не на шиксе! — Сильвер кипел от возмущения. — Да в Нью-Йорке порядочных еврейских девушек больше, чем в Палестине! Тут треть жителей евреи! Чтобы уж тут-то не найти? Где еще, как не здесь? Так нет же, вбил себе в голову! Это все равно что в Иерусалиме жениться на Брунхильде.

Я выслушал этот взрыв возмущения молча, поостерегшись указать Сильверу на парадокс обратного антисемитизма, скрытый в его словах. С такими вещами не шутят, тут даже тень иронии неуместна.

Сильвер пришел в себя.

— Я вообще-то не собирался вам об этом рассказывать, — сказал он. — Не знаю, способны ли вы понять, какая тут трагедия.

— Боюсь, не вполне. В моем понимании трагедия — это что-то связанное со смертью. А не со свадьбой. Но я очень примитивная натура.

Он кивнул. И даже не усмехнулся.

— Мы набожные евреи, — снова попытался он объяснить. — Мы не вступаем в брак с людьми другой веры. Так требует наша религия. — Он посмотрел на меня. — Вас наверняка воспитали вне религии, верно?

Я покачал головой. Я все время забывал, что он считает меня евреем.

— Атеист, — сказал он. — Вольнодумец! Неужто и вправду?

Я задумался.

— Я атеист, который верит в Бога, — ответил я наконец. — По ночам.

Людвиг Зоммер, под чьим именем я теперь жил, в Париже работал реставратором картин на одного антиквара-француза. Но и сам понемногу

антиквариатом приторговывал. Одно время я трудился у него носильщиком: у Зоммера было слабое сердце, он и сам-то еле ходил. Он специализировался по старинным коврам и разбирался в этом деле получше, чем большинство музейных работников. Он брал меня с собой в походы к сомнительного вида туркам, продавцам ковров, и объяснял всевозможные уловки, с помощью которых ковровщики подделывают свои ковры под старину, и как эти уловки раскусить. Хитрости оказались примерно такие же, как с китайской бронзой: надо было досконально знать и уметь сравнивать виды ткани, цвета, а также узоры орнамента. Копиисты подлинных старинных ковров сплошь и рядом совершали одну и ту же ошибку, исправляя многочисленные неправильности древнего орнамента. Но как раз эти неправильности и есть верная примета их подлинности: не бывает старинных ковров, совершенно одинаковых на все четыре стороны. По верованиям ковровых дел мастеров, эти мелкие погрешности отводили несчастье, они-то и вдыхали жизнь в древний рисунок. В подельных коврах, напротив, как правило, чувствуется какая-то натужность, в них нет свободы. У Зоммера имелась целая коллекция ковровых лоскутов, по ней он растолковывал мне различия. По воскресеньям мы ходили в музеи, изучали там ковры-шедевры. Почти идиллическое было время, едва ли не лучшее за все годы моего изгнания. Но оно недолго продлилось. Всего одно лето. Тогда-то я и обучился всему, что теперь знал о коврах, в том числе о двух найденных в подвале.

Это был последний год жизни Зоммера. Он это знал и не тешил себя иллюзиями. Знал он и то, что реставрирует картины для отъявленного мошенника, который выдает их за неизвестные полотна знаменитых мастеров, но не растрачивал по этому поводу никаких эмоций, даже иронии. У него просто не было на это времени. Он столько пережил и перенес столько утрат, но остался при этом до того рассудителен, что изгнал из этих последних месяцев своей жизни всякое чувство горечи. Он был первым, кто пытался приучить меня знать меру в спорах с судьбой, чтобы не сгореть до срока. Я так этому и не научился, как не научился и другому: лелеять в себе месть, отложив отмщение в долгий ящик.

Это было странное, почти неправдоподобное лето. Большей частью мы сидели на острове Сен-Луи, где у Зоммера была мастерская. Он любил просто так, молча, посидеть у Сены, глядя на бездонное, все в барашках облаков, небо, поблескивающую на солнце рябь реки, арки мостов и снующие под ними буксиры.

Зоммер был мастером сослагательного наклонения. Этакий меланхолический эмигрантский юмор по принципу "все могло быть гораздо хуже". Можно было не только потерять все свое состояние, но и угодить в Германии за решетку; там тебя могли не только подвергнуть пыткам, но и замучить непосильной работой в лагере, и не только замучить непосильной работой в лагере, но и отдать на растерзание эсэсовским врачам для их экспериментов и медленной вивисекции — и так далее до самой смерти, которая тоже была возможна как минимум в двух разновидностях: либо тебя сожгут, либо бросят истлевать в массовой могиле.

— У меня бы мог быть рак желудка, — рассуждал Зоммер, — и плюс к тому рак гортани. Или я мог ослепнуть. — Он улыбнулся. — Столько возможностей! А сердце — такая чистая болезнь! Лазурь! Ты посмотри на эту лазурь! Какое небо! Лазурь старинных ковров!

Я тогда его не понимал. Слишком был сосредоточен на своих мыслях о несправедливости и отмщении. Но было в нем что-то бесконечно

трогательное. Покуда он был в силах, мы ходили с ним по церквям и музеям и сидели там. Это испытанные убежища эмигрантов — полиция туда не заглядывала. Лувр, музей декоративных искусств, музей Жё де пом, где импрессионисты, и Нотр-Дам стали родным домом для эмигрантского содружества наций. Они дарили безопасность, утешение, а заодно расширяли духовный кругозор. И церкви тоже — но только, пожалуй, не по части Господней справедливости. На этот счет у нас были большие сомнения. Зато по части искусства — безусловно.

— Или меня могли заживо сжечь в лагере уничтожения в стране Гёте и Гёльдерлина, — медленно и блаженно произнес Зоммер немного погодя. — Забирай мой паспорт, — сказал он затем. — И живи с ним.

— Ты его можешь продать, — возразил я. Я уже слыхал, что кто-то из эмигрантов, оказавшись совсем без бумаг, в отчаянии предлагал Зоммеру за его паспорт тысячу двести швейцарских франков, безумные деньги, на которые Зоммера можно было даже в больницу положить. Но Зоммер не захотел. Он захотел умереть на острове Сен-Луи в своей мастерской, пропахшей олифой, рядом со своей коллекцией ковровых лоскутов. Бывший профессор Гуггенхайм, в прошлом медицинское светило, торговавший ныне носками вразнос, был его лечащим врачом, и вряд ли Зоммер где-нибудь сыскал бы лучшего.

— Забирай паспорт, — сказал Зоммер. — По нему еще приличный кусок жизни можно прожить; а это тебе кусочек смерти в довесок. — Он сунул мне в ладонь маленькую металлическую коробочку вроде ладанки на тонкой цепочке. Внутри в слое ваты лежала капсула цианистого калия. Как и некоторые другие эмигранты, Зоммер всегда носил ее при себе — на тот случай, если попадет в лапы гестаповцам; он знал, что не выдержит пыток, и хотел иметь возможность умереть тотчас же.

А умер во сне. Мне он завещал всю свою одежду, несколько литографий и коллекцию ковровых лоскутов, которую мне надлежало продать, чтобы выручить денег на погребение. Сохранил я и капсулу с ядом, и паспорт. Зоммера похоронили под моим именем. А еще я сохранил всего один маленький ковровый лоскут — кусочек бордюра с уголком голубой михрабной ниши, такой же голубой, как августовское небо над Парижем и как ковер, что я нашел у Сильвера. А капсулу я еще долго с собой таскал и выбросил в воду лишь в тот день, когда мы прибыли на Эллис-Айленд. Хотел избавить себя от лишних расспросов таможенников. С паспортом Зоммера я в первые недели чувствовал себя довольно странно — словно покойник в отпуску. Потом привык понемногу.

У себя в гостинице я застал необычную картину. Плюшевый будуар был празднично освещен. В углу возле пальмы и цветов в горшках стоял большой стол, за которым собралось весьма пестрое и оживленное общество. Верховодил всем Рауль. В бежевом костюме, он огромной, влажно поблескивающей жабой восседал во главе стола. К немалому моему изумлению, стол был даже накрыт белой скатертью, а гостей обслуживал официант, которого я прежде никогда здесь не видел. Рядом с Раулем сидел Мойков, напротив них Лахман возле своей пассии пуэрториканки. Разумеется, и мексиканец был здесь же — в розовом галстуке, с неустанно шныряющими глазами и каменным лицом. Помимо них две девицы неопределенного возраста, от тридцати до сорока, испанского вида, темноволосые, смуглые, яркие, молодой человек с завитыми локонами и неожиданно низким басом, хотя напрашивалось

скорее сопрано, графиня в неизменных серых кружевах и, по другую руку от Мойкова, Мария Фиола.

— Господин Зоммер! — вскричал Рауль. — Окажите нам честь!

— По какому случаю торжество? — спросил я. — День рожденья? Получение гражданства? Выигрыш в лотерею?

— Ничего подобного. Просто праздник человечности! Посидите с нами, господин Зоммер! — воззвал ко мне Рауль, уже не без труда ворочая языком. — Это один из моих спасителей, — объяснил он белокурому обладателю баса, указывая на меня. — Пожмите друг другу руки. Это Джон Болтон.

Вместо ожидаемого энергичного рукопожатия я ощутил в ладони нечто вроде тухлой форели.

— Что желаете выпить? — наседал Рауль. — У нас есть все что душе угодно. Скотч, бурбон, водка хлебная, кока-кола и даже шампанское. Как вы тут сказали, когда сердце мое исходило печалью? Всё течет! Ничто не вечно под луной, стареет и еврей младой! И любовь стареет. Всё течет. Как это верно сказано! Так что вам угодно выпить? — Рауль императорским жестом подозвал официанта: — Альфонс!

Я подсел к Марии Фиоле.

— А что пьете вы?

— Водку, — ответила она радостно.

— Хорошо, мне тоже водки, — сказал я Альфонсу, чье крысиное личико выжидательно смотрело на меня мутными, усталыми глазками.

— Двойную! — гаркнул Рауль, слегка покачнувшись. — Сегодня всё вдвойне!

— Быстро же его скрутило.

— Le coup de foudre[1], — деловито пояснила Мария. — И, как всегда, поразил только одну из сторон. Другая об этом даже не догадывается.

— Когда вы вернулись? — спросил я и посмотрел на нее. На всеобщем испанском фоне и в ней вдруг тоже появилось что-то испанское.

— Позавчера.

— И снова идете на съемки?

— Сегодня нет. А что? Хотели пойти со мной?

— Да.

— Наконец-то хоть одно внятное слово в этом царстве всеобщей умиленности. Ваше здоровье!

— И ваше!

— Всеобщее здоровье! Salute! Salve! — заорал Рауль со своего места, чокаясь со всеми подряд. — Твое здоровье, Джон!

Он попытался встать, но его качнуло назад и бросило обратно в троноподобное кособокое кресло, которое угрожающе затрещало. Наряду с другими своими уродствами будуар был частично обставлен такими вот чудищами в новоготическом стиле.

— Сегодня вечером! — шепнул мне Лахман. — Я подпою мексиканца! Он-то думает, что я пью текилу наравне с ним, но я подкупил Альфонса, официанта, и он подает мне только воду.

— А твоя пассия?

— Она ничего не знает. Все получится само.

— На твоем месте я бы спаивал ее. Ведь это она не хочет. Мексиканец-то вроде не против, ты же сам говорил.

1. Удар молнии (*франц.*). *Перен.*: Любовь с первого взгляда.

На секунду Лахман задумался.

— Не важно! — заявил он затем, отметая все сомнения. — Надо только страстно желать, тогда ни одна не устоит, — засипел он мне в ухо. — Это как закон сообщающихся сосудов. Чувство передается другому постепенно, как медленный удар молнии. Своего рода перетекание космической энергии. Но природе надо немножко пособить. Ибо она безлична и капризна.

На секунду я просто обомлел. Это тоже было как удар молнии, причем отнюдь не медленный: слишком уж грандиозен был масштаб его заблуждений. Потом я отвесил ему почтительный поклон. Эта надежда, почерпнутая из бездн безнадежности, эта беззаботная наивная вера в чудеса черной и белой магии заслуживали отдельного тоста.

— В твоем лице я пью за звездные грезы любви! — сказал я. — За управляемый удар молнии! За зрячий удар, а ни в коем случае не за слепой!

— Брось ты свои шуточки! — простонал Лахман. — Мне-то совсем не до шуток. Это вопрос жизни! По крайней мере на сегодня.

— Браво! — одобрил я. — Особенно похвальна оговорка.

Лахман замахал официанту, требуя себе новую рюмку чистейшей воды.

— Еще один удар молнии, — сказала мне Мария Фиола. — Похоже, мы с вами попали под обстрел молний, как в летнюю грозу. Вас случайно не задело?

— Нет. К сожалению. А вас?

— Меня-то уже давно. — Она со смехом потянулась за своей рюмкой. — Только на меня эти молнии недолго действуют, вот что грустно.

— Что же тут грустного? Как-никак все-таки разнообразие в жизни.

— Самое грустное как раз в том, что они повторяются, — вздохнула девушка. — Они неоднократны. И с каждым разом делаются все смешней и все болезненней. Разве это не парадокс? Чудо не должно иметь повторений.

— Это почему же?

— От повторений чудо ослабевает.

— Лучше ослабленное чудо, чем совсем никакое. К тому же кто заставляет нас видеть в ослабленности нечто недостойное?

Мария глянула на меня искоса.

— А вы еще и учитель жизни? — спросила она с иронией в голосе.

Я покачал головой.

— Слово-то какое жуткое — учитель жизни, — сказал я. — И это вместо простой благодарности.

Она вдруг с изумлением уставилась на свою рюмку.

— Кто это мне вместо водки воды налил?

— Это мог быть только Альфонс, наш официант. — Я посмотрел на Лахмана. — Как тебе твой напиток? Ты ничего особенного не заметил?

— Какой-то странный. Вроде не вода. Не знаю, что это, но на воду точно не похоже. Я алкоголя в жизни не пил. Какой-то вкус острый. Что это?

— Все, хитрец великий, считай, что ты пропал, — объявил я ему. — Водка это. Альфонс по ошибке перепутал рюмки. Скоро сам почувствуешь.

— А как она действует? — спросил Лахман, бледнея от ужаса. — Я же всю рюмку залпом опрокинул. С мексиканцем чокнулся и выпил. Боже мой! Я так хотел, чтобы он свою текилу выпил до дна!

— Вот сам себя и обдурил. Но ничего, может, это еще к счастью!

— Ну почему всегда страдают безвинные? — прошептал Лахман в отчаянии. — О каком таком счастье ты говоришь?

— Может, ты твоей пуэрториканочке больше понравишься, когда будешь под хмельком. Не такой целеустремленный. Неуклюжий, но милый.

Рауль тем временем сумел-таки подняться на ноги.

— Господа! — вещал он. — Как подумаю, что еще совсем недавно я чуть было не лишил себя жизни из-за этой паскуды Кики, я готов сам себя отхлестать по мордасам. Какими же мы бываем идиотами, причем как раз тогда, когда мним себя на вершине благородства!

В широком жесте недоумения он развел руками, не замедлив опрокинуть большой бокал зеленого ментолового ликера, стоявший перед одной из испанок. Липкий напиток вялым ручейком пробежал по скатерти и выплеснулся на платье. В ту же секунду все мы словно оказались в первобытных джунглях, где только что вспугнули стаю попугаев. Обе испанки орали на Рауля пронзительными, металлическими голосами. Их руки, сверкая дешевой бижутерией, так и мелькали в воздухе.

— Я куплю новое! — в панике вопил Рауль. — Лучше этого! Завтра же! Помогите! Графиня!

Новый взрыв негодования. Разъяренные глаза и хищные зубы прямо над потной лысиной Рауля.

— Я ни во что не вмешиваюсь, — невозмутимо заявила графиня. — Научена горьким опытом. Когда в семнадцатом в Петербурге...

Крики, впрочем, мгновенно стихли, едва только Рауль извлек из кармана бумажник. Он медленно и с достоинством раскрыл его.

— Мисс Фиола, — обратился он к Марии. — Вы профессионал. Я хотел бы проявить щедрость, но не хочу, чтобы меня ограбили. Сколько, по-вашему, стоит это платье?

— Его можно отдать в чистку, — невозмутимо заявила Мария.

Опять поднялся невообразимый шум.

— Осторожно! — крикнул я, успевая парировать летящую прямо в Марию тарелочку со взбитыми сливками. Испанки, забыв про Рауля, готовы были уже вцепиться в Марию зубами и когтями, то бишь ногтями. Одним движением я затолкал девушку под стол. Мария тщетно пыталась высвободиться.

— Уж не намерены ли вы с этими гиенами драться? — урезонивал я ее. — Сидите тихо!

— Я забросаю их цветами в горшках! Да пустите же меня!

Я не отпускал.

— Похоже, не слишком вы любите ваших сестер по разуму? — спросил я.

Мария снова начала вырываться. Она была куда сильней, чем я предполагал. И вовсе не такой худышкой, как мне казалось.

— Я вообще никого не люблю, — процедила она. — От этого все мои несчастья. Да отпустите же меня!

Тарелка с салями приземлилась на пол рядом с нами. Потом стало тише. Я по-прежнему удерживал Марию в объятиях.

— Потерпите еще минутку, — увещевал я. — Последний всплеск. Представьте на минуту, что вы императрица Евгения, чьи бриллианты вы так бесподобно носите.

Мария вдруг начала хохотать.

— Императрица Евгения велела бы расстрелять этих дур на месте! — сказала она.

Я выпустил ее из-под скатерти, аккуратно отводя в сторону заляпанную вином кайму.

— Осторожно! — предупредил я. — Калифорнийское бургундское.

Рауль положил конец сражению с величием истинного полководца. Вынув из бумажника несколько купюр, он швырнул их в самый дальний угол плюшевого будуара, где испанки, словно две разгневанные индюшки, уже торопливо их подбирали.

— А теперь, милые дамы, — заявил он, — нам пора прощаться. Примите искренние извинения за мою неловкость, но на этом мы и расстанемся.

Он махнул Альфонсу. Мойков тоже привстал. Но оказалось, мы напрасно ожидали новой свары. Разразившись на прощанье короткой тирадой пылких проклятий и гордо колыхнув юбками, испанки удалились.

— Откуда они вообще взялись? — поинтересовался Рауль.

Как выяснилось, этого никто не знал. Каждый считал их приятельницами кого-то из присутствующих.

— Впрочем, это и не важно, — рассудил Рауль, вновь обретая прежнее великодушие. — Но теперь-то вы понимаете, почему мне так чужды женщины? С ними как-то все время оказываешься смешным. — Он обратился к Марии: — Вы не пострадали, мисс Фиола?

— Разве что морально. Тарелку с салями успел перехватить господин Зоммер.

— А вы, графиня?

Старая дама отмахнулась.

— Какие пустяки! Даже пальбы не было.

— Хорошо. Альфонс! В таком случае всем еще по одной на прощанье!

И тут пуэрториканка вдруг запела. У нее был глубокий, сильный голос, и пока она пела, она не сводила глаз с мексиканца. Это была песнь безудержного и неприкрытого желания, даже не песня, а почти жалоба, настолько далекая от всякой мысли, всякой цивилизации, настолько близкая к непреложности смерти, что казалось, возникла она задолго до того, как человечество обрело юмор, смех и вообще человеческий облик, — это была песня-призыв, прямая, бесстыдная и невинная одновременно. Ни один мускул не дрогнул на лице мексиканца. И в женщине тоже все было неподвижно — за исключением глаз и губ. Эти двое смотрели друг на друга не моргая, а песня звучала все громче, все сильней, все неодолимей. Хотя они не притронулись друг к другу, это было соитие, и каждый это понимал и каждый почувствовал. Все молчали, в глазах Марии я увидел слезы, а песня лилась и лилась, и каждый внимал ей, глядя прямо перед собой, — и Рауль, и Джон, и Мойков, даже Лахман и графиня, — на короткий миг песня захватила их всех и всех заставила забыться благодаря невероятному чувству этой женщины, которая никого не желала знать, кроме своего мексиканца, только в нем, в его заурядном лице типичного жиголо, была вся ее жизнь, и это даже не казалось ни странным, ни смешным.

IX

Направляясь на прием к моему благодетелю Танненбауму, я зашел за Хиршем заранее.

— Сегодня там не обычная ежемесячная кормежка для бедных эмигрантов, — объяснял мне Хирш. — Сегодня нечто большее! Торжество! Прощание, смерть, рождение, новая жизнь — все вместе. Танненбаумы завтра получают гражданство. По этому случаю и праздник.

— Они так долго здесь живут?

— Пять лет. Без обмана. Да и въехали сюда по настоящей номерной квоте.

— Как им это удалось? Квота на много лет вперед расписана.

— Не знаю. Может, они уже раньше здесь бывали. Или у них влиятельная американская родня. А может, просто повезло. Сегодня вечером мы отдадим последние почести и самой фамилии Танненбаум, — сообщил Хирш. — С завтрашнего утра она прекратит свое существование. В Америке при получении гражданства разрешается поменять фамилию. Танненбаум, разумеется, этим правом воспользуется.

— Его трудно за это осуждать. И как же он хочет назваться?

Хирш усмехнулся.

— Он долго над этим размышлял. Он так со своей фамилией намучился, что теперь, в качестве компенсации, его даже самая красивая не устраивает. Вообще-то он человек довольно сдержанный, но тут, видно, прорвалась обида всей жизни. Домашние предлагали ему и Баум, и Танн, и Небау — сокращения и производные от прежней фамилии. Куда там! Он выходил из себя, будто его склоняют к содомии. Тебе-то этого не понять.

— Почему же? И оставь антисемитские шуточки, которые вертятся у тебя на языке.

— С фамилией Зоммер жить куда проще, — рассуждал Хирш. — С такой фамилией и христиан полным-полно. С Хиршем уже потяжелее будет. Ну, а с фамилией Танненбаум всякий раз нужны поистине героические усилия, прежде чем тебя вообще соизволят заметить. И так всю жизнь.

— На какой же фамилии он в итоге остановился?

— Сперва он вообще хотел сменить только имя. Ведь его в добавок ко всему еще и Адольфом назвали. Адольф Танненбаум. Адольф — как Адольф Гитлер. Но мало-помалу, припомнив все хамские выходки, которые ему пришлось в Германии вытерпеть, он решил заодно обзавестись и какой-нибудь красивой английской фамилией. Потом и эта фаза прошла, а Танненбаум вдруг захотел максимально приблизиться к полной анонимности. Он стал изучать телефонные книги, пытаясь понять, какая фамилия в Америке самая распространенная. И выбрал себе в итоге фамилию Смит. Смитов здесь десятки тысяч. Теперь он станет одним из них: Фредом Смитом. Для него это почти то же самое, что носить фамилию Никто. Теперь он счастлив, что наконец-то сможет до полной неразличимости раствориться в море других Смитов. Завтра это свершится.

Танненбаум родился в Германии, там и жил, но ни немцам, ни вообще европейцам никогда до конца не верил. Немецкую инфляцию с восемнадцатого по двадцать третий он хотя и пережил, но вышел из нее банкротом.

Как и многие евреи при Вильгельме I, когда антисемитизм в Германии еще считался проявлением невоспитанности, а евреям был открыт доступ в аристократические круги, он был страстным патриотом. В четырнадцатом чуть ли не на все свои деньги подписался на военный заем. Когда в двадцать третьем инфляция вдруг кончилась и миллиард превратился в четыре марки, ему пришлось объявить себя банкротом. Он об этом никогда не забывал и с тех пор все, что ему удалось сберечь

про черный день, доверял только американским банкам. Наученный горьким опытом, он внимательно следил за событиями в Европе, поэтому французская и австрийская инфляции его капиталов уже не затронули. К тридцать первому, за два года до нацистов, когда была объявлена блокада немецкой марки, Танненбаум большую часть своего состояния успел благополучно переправить за границу. Но свое дело в Германии тем не менее не закрывал. Блокаду с марки так и не сняли. Это была настоящая катастрофа для тысяч евреев, которые не могли теперь перевести свои средства за рубеж и вынуждены были оставаться в Германии. Трагическая ирония судьбы состояла в том, что до блокады этой страна дошла при демократическом правительстве, а "покачнувшийся" банк, из-за которого блокада началась, конечно же, был еврейским банком. В итоге же многим евреям не удалось покинуть страну, и они потом оказались обречены на гибель в концлагерях. В высших национал-социалистских кругах все происшедшее считалось одной из самых удачных шуток всемирной истории.

В тридцать третьем Танненбауму быстро дали понять, что происходит. Для начала его облыжно обвиняли в мошенничестве. Потом к нему заявилась мать ученицы продавца и стала уличать его в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери, хотя он девчонку даже в глаза не видал. Уповая на руины немецкой юстиции, он предоставил матери подавать в суд, отвергнув ее вымогательские притязания на пятьдесят тысяч марок. Но его быстро научили уму-разуму. Вторичному требованию шантажистки он вынужден был уступить. Однажды вечером важный чин из криминальной полиции, за которым стоял еще более важный партийный чин, посетил его на дому и растолковал по-хорошему, что его ждет, если он сам вовремя не одумается. На сей раз речь шла о существенно большей сумме. Но за эти деньги Танненбауму и его семье была обещана возможность бежать — через голландскую границу. Танненбаум обещаниям не поверил, но другого выхода все равно не было. В конце концов он подписал все, что от него требовалось. А затем случилось то, чего он никак не ожидал: его семью действительно переправили через границу. Два дня спустя, получив от жены открытку из Голландии, Танненбаум вручил вымогателям последний остаток своих немецких акций. А три дня спустя и сам оказался в Голландии. Ему повезло — он наткнулся на честных мерзавцев. В Голландии начался второй акт трагикомедии. Пока Танненбаум хлопотал об американской визе, истек срок его паспорта. Пришлось хлопотать о продлении паспорта в немецком посольстве. Но в Голландии у него почти не было денег. А вклады в Америке хранились на таких условиях, что снимать с них деньги мог только он лично. Короче, в Амстердаме Танненбаум оказался миллионером без гроша за душой. Он был вынужден просить денег в долг. По счастью, ему их легко дали. Потом ему чудом продлили немецкий паспорт, и он даже получил американскую визу. В Нью-Йорке, вынув из банковского сейфа толстую пачку принадлежавших ему акций, он поцеловал верхнюю, твердо решил стать американцем, поменять фамилию и забыть Германию навсегда. Последнее удалось ему не вполне: он помогал новоприбывшим соотечественникам.

Это был тихий, скромный человек с изысканными манерами — совсем не такой, каким я себе его представлял. Мою благодарность за его поручительство он решительно отверг, с улыбкой заметив:

— Помилуйте, мне же это ничего не стоило.

Он провел нас в салон, плавно переходивший в несусветных размеров столовую. На пороге я остолбенел, только и сумев вымолвить:

— Бог ты мой!

Три огромных стола принимали гостя радушным полукругом. Они были заставлены блюдами, тарелками и подносами так плотно, что не видно было скатерти. Левый являл собою царство всевозможных сладостей, среди которых выделялись величиной и статью два торта, один, мрачных тонов, шоколадный, с надписью кремом "Танненбаум", второй марципановый, розовый, в центре которого, в ободке марципановых розанчиков, розовым кремом было выдавлено имя "Смит".

— Идея нашей кухарки, — пояснил Танненбаум. — Мы не смогли ее отговорить. Торт "Танненбаум" будет разрезан и съеден сегодня. А "Смит" завтра, когда мы вернемся с церемонии вручения гражданства. Кухарка видит в этом нечто вроде символического акта.

— С какой стати вы выбрали именно фамилию Смит? — резко спросил Хирш. — Майер ничуть не менее распространенная. Зато более еврейская.

Танненбаум смутился.

— С нашей национальностью и верой это никак не связано, — пояснил он. — Мы ведь не отрекаемся ни от того, ни от другого. Но кому же охота всю жизнь быть ходячим напоминанием о рождественской елке? Мы хотим все позабыть. В том числе и нашу треклятую фамилию. Хотим все начать сначала!

Я смотрел на этого маленького, трогательного человечка, на его благородные седины. "Забыть, — думал я, — какое блаженное слово и какое наивное!" Но, наверно, каждый понимает под забвением что-то свое.

— Какая восхитительная выставка яств, господин Танненбаум, — вмешался я. — Тут еды на целый полк. Неужели все будет сметено за один вечер?

Танненбаум с явным облегчением улыбнулся.

— Наши гости никогда не жалуются на отсутствие аппетита. Прошу вас, угощайтесь. Не ждите особого приглашения. Тут каждый берет, что ему нравится.

Я немедленно цапнул себе заливную куриную ножку в портвейном соусе.

— За что ты взъелся на Танненбаума? Какие у тебя с ним счеты? — спросил я Хирша, покуда мы неспешно обходили невероятное изобилие блюд.

— Да ни за что, — ответил он. — У меня с собой счеты.

— У кого же их нет?

Хирш взглянул на меня.

— Забыть! — проговорил он запальчиво. — Как будто это так просто! Просто забыть, чтобы ничто не нарушало уюта! Да только тот может забыть, кому забывать нечего!

— Может, с Танненбаумом как раз так и есть, — заметил я миролюбиво, подгребая к себе еще и куриную грудку. — Может, ему нужно забыть только утраченные деньги. Не мертвых.

Хирш опять посмотрел на меня.

— У каждого еврея есть свои мертвые! И каждому есть что забывать! Каждому!

Я как бы между прочим обвел глазами столовую.

— Кто же это все будет есть, Роберт? — спросил я. — Такое расточительство!

— Съедят, не волнуйся, — ответил Хирш уже спокойней. — Да еще двумя партиями. Сегодня вечером угощают первую волну. Это эмигранты, которые уже чего-то здесь достигли, или врачи, адвокаты и прочие представители деловых сословий, которые еще ничего не успели достигнуть, а также актеры, писатели, ученые, которые либо еще толком не говорят по-английски, либо просто поленились выучить, короче, эмигрантский пролетариат в белых воротничках, большинство из которого потихоньку здесь голодает.

— А завтра? — спросил я.

— Завтра остатки будут переправлены благотворительным обществам, которые помогают беженцам победнее. Помощь, конечно, действенная, хотя и примитивная.

— Что в этом плохого, Роберт?

— Да ничего, — проронил он.

— Вот и я о том же! И все это готовится здесь, в доме?

— Все, — подтвердил Хирш. — А вкуснотища — пальчики оближешь! У Танненбаума в Германии была кухарка, венгерка. Ей потому и разрешили в еврейской семье остаться, что она не арийка. И когда Танненбаумы вынуждены были покинуть родину, она сохранила им верность. Два месяца спустя, тихо, без шума, выехала в Голландию, провезя у себя в желудке фамильные драгоценности госпожи Танненбаум, все ее самые дорогие камни, которые хозяйка догадалась освободить от оправ и доверить ей. Перед самой границей Роза все их заглотала, запив двумя чашками кофе и заев двумя кусками легкого бисквита со взбитыми сливками. Самое смешное: эти предосторожности даже оказались излишними. Толстая голубоглазая блондинка с венгерским паспортом не вызвала вообще никаких подозрений — ее никто и проверять не стал. Теперь вот стряпает здесь. Одна, без всякой посторонней помощи. Никто не знает, как она со всем этим справляется. Это настоящее сокровище. Последний островок великой венской и будапештской традиции.

Я зачерпнул полную, с горкой, ложку жареной куриной печенки. Она была пожарена с луком. Хирш засопел.

— Не могу устоять, — заявил он, накладывая солидную порцию печени себе на тарелку. — В последний раз куриная печенка спасла меня от самоубийства.

— С шампиньонами или без? — деловито поинтересовался я.

— Без. Зато было много лука. Ты же знаешь из нашего "Ланского катехизиса": жизнь — штука многослойная, и в каждом слое свои прорехи. Обычно прорехи не совпадают, поэтому одни слои как бы поддерживают и затыкают другие. И только когда прорехи совпадают во всех слоях сразу, возникает настоящая угроза жизни. Тогда наступает час беспричинных самоубийств. И у меня однажды такой час был. Но меня спас запах жареной куриной печенки. Я решил сперва ее съесть, а уж потом покончить счеты с жизнью. Пришлось немного подождать, пока печенка зажарилась. Потом выпил кружку пива. Пиво оказалось недостаточно холодным. Пришлось подождать, пока принесут холодного. А тем временем завязался разговор. Я был жутко голоден и заказал еще одну порцию. Вот так, одно на одно, и пошло-поехало дальше: я снова жил. Это не анекдот.

— Охотно верю. — Я уже взялся за ложку, торопясь положить себе

вторую порцию печенки. — Для профилактики! — объяснил я Хиршу. — Про запас на случай самоубийства.

Хирш оглядел ряды гостей, столпившихся вокруг столов.

— Мне их так жалко, — тихо проговорил он. — Они такие паиньки. Пойдем отсюда! Мне всякий раз не по себе, когда я это вижу.

Но далеко уйти мы не успели. По дороге мне попалось на глаза блюдо с венскими шницелями, вкус которых я, признаться, уже почти позабыл.

— Роберт, — остановил я Хирша. — Ты должен помнить первую заповедь "Ланского катехизиса": "Не дай эмоциям возобладать над аппетитом. При некотором навыке одно совершенно не мешает другому". Это только кажется цинизмом, на самом же деле тут высшая мудрость. Позволь мне отведать этих шницелей.

— Давай! Только быстро! — расхохотался Хирш. — А то вон госпожа Танненбаум к нам идет.

Только тут я увидел надвигающийся на нас фрегат — величавый, стремительный, шуршащий алыми парусами. Полная, крупная и очень радушная дама поспешала к нам, на ходу расплываясь в доброй улыбке.

— Господин Хирш! Господин Зоммер! — пропыхтела она. — Пойдемте со мной! Надо взрезать торт! Шоколадный! Вы мне поможете.

Я с сожалением глянул на шницель на моей вилке. Хирш перехватил мой взгляд.

— "Ланский катехизис", параграф десятый, — провозгласил он. — Есть можно все, в любом сочетании и в любое время! Значит, и венский шницель с шоколадным тортом.

Шоколадный торт был уничтожен довольно скоро. Мне показалось, Танненбаум после этого даже слегка приободрился.

— Чем вы сейчас живете, господин Зоммер? — застенчиво поинтересовался он.

Я рассказал ему про свою работу у братьев Сильверов.

— Это долговременная работа?

— Нет. Может, еще недели две, и я закончу.

— Вы в живописи разбираетесь?

— Не настолько, чтобы ею торговать. Но вообще да. А что?

— Я кое-кого знаю, кому нужен в этом деле помощник. Работа примерно на таких же условиях, как у вас сейчас. Без уведомления властей. Как раз то, что вам нужно. Это не к спеху. Позвоните, когда будете знать, с какого дня вы освободитесь.

Я смотрел на него, не веря себе. Уже много дней я ломал себе голову над тем, как я буду жить, когда работа у Сильверов кончится. Ведь работать я мог только по-черному, нелегально. Такую работу было трудно найти, и она плохо оплачивалась.

— Я уже свободен, — выпалил я. — У Сильверов я могу закончить в любой день.

Танненбаум замахал руками.

— К чему такая спешка. Если вы позвоните мне через неделю, это будет более чем заблаговременно. Мне надо это еще раз обсудить.

— Я бы очень не хотел упустить эту возможность, господин Танненбаум.

— Я тоже не хотел бы, чтобы вы ее упустили, — ответил он с улыбкой. — Я ведь за вас поручился. — Он встал. — Угощайтесь, прошу вас.

Это так радует мою жену. И Розу, нашу кухарку. В одиннадцать у нас еще ужин. Гуляш как раз поспеет. Роза сегодня весь день над ним колдует. Два сорта. Рекомендую сегедский.

— Он пригласил тебя на гуляш? — спросил Хирш.

Я кивнул.

— Гуляш здесь готовится в огромных котлах, — пояснил он. — И подается только в узком кругу. А друзья дома еще получают по полному судку на вынос. Это лучший гуляш во всей Америке. — Он внезапно умолк. — Видишь вон ту особу, что уплетает яблочный штрудель со сливками так, будто от этого жизнь зависит?

Я посмотрел.

— И вовсе это не особа, — возразил я. — Это невероятно красивая молодая женщина. Боже мой, какое лицо! — Я еще раз взглянул на прекрасную незнакомку. — Какими судьбами ее сюда забросило? В эту юдоль эмигрантской скорби? Может, у нее скрытые изъяны? Слоновость лодыжек или таз жестяной, как литавры?

— Ничего подобного! Вот погоди, она еще встанет! Это само совершенство. Лодыжки газели. Колени Дианы. Беломраморные груди. По отношению к ней не будет преувеличением любая самая затасканная банальность. И даже ни единой мозоли на ногах!

Я воззрился на Хирша с изумлением. К таким дифирамбам из его уст я не привык.

— Ну что ты на меня уставился? Я знаю, что говорю! И в довершение всех банальностей — ее зовут Кармен.

— И что же? — спросил я. — Что с ней не так?

— Она глупа! Это прекрасное создание — дура набитая! Она не просто глупа, она глупа фантастически! Даже поедание штруделя для нее немыслимый интеллектуальный подвиг, после которого вообще-то ей полагалось бы хорошенько отдохнуть.

— Жаль, — вздохнул я.

— Совсем напротив! — возразил Хирш. — Это увлекательно!

— Почему?

— Потому что так неожиданно.

— Статуя еще глупей.

— Статуя не разговаривает. А эта разговаривает.

— Но о чем, Роберт? И вообще, откуда ты ее знаешь?

— По Франции. Случилось однажды ее выручать. Ей нужно было срочно исчезнуть. Я приехал ее забрать. На машине с дипломатическим номером. Но она заявила, что сперва ей надо принять ванну и одеться. Потом стала собирать и паковать все свои платья. Гестапо могло пожаловать в любую минуту! Я бы не удивился, если бы она потребовала отвезти ее к парикмахеру. По счастью, парикмахера поблизости не было. Но уезжать без завтрака она не захотела ни в какую. Дескать, отъезд без завтрака — плохая примета. Я был готов расплющить эти круассаны об ее ангельское личико. Но свой завтрак она получила. Затем потребовала забрать остатки круассана и джем в дорогу. Меня всего трясло. Наконец она без всякой спешки соизволила сесть в машину, и мы уехали — за четверть часа до гестаповского патруля.

— Ну нет, это не вульгарная глупость, — заметил я уважительно. — Это волшебный плащ спасительного и блаженного неведения. Божий дар!

Хирш кивнул.

— Мне и потом случалось время от времени о ней слышать. Как прекрасная яхта, лениво и величественно она проходила между всеми сциллами и харибдами. Попадала в самые невероятные переделки. И всякий раз выходила из них живой и невредимой. Неописуемая ее наивность обезоруживала самых отпетых уголовников. Ее даже ни разу не изнасиловали. А сюда она прибыла из Лисабона — последним самолетом, разумеется.

— Чем же она занимается теперь?

— С везучестью дурехи она мгновенно получила работу. Манекенщицы. Не нашла — это было бы для нее слишком затруднительно, а именно получила. Ей предложили работу.

— Почему бы ей в кино не сниматься?

Хирш пожал плечами.

— Ей неохота. Слишком утомительно. У нее никаких амбиций. И никаких комплексов. Чудо, а не женщина!

Я ухватил кусок сырного штруделя. Вообще-то я понимал, чем эта Кармен так восхищает Хирша. Все, чего он добился силой мужества и безоглядной отвагой, этой женщине давалось просто так, от природы. На него это должно было оказывать поистине магическое воздействие.

Тут нас внезапно взяли в клещи близняшки, за которыми тянулся целый шлейф знакомых из компании Джесси Штайн. Все были преисполнены какой-то натужной веселости, при виде которой у любого защемило бы сердце. Тут были безработные актеры, которые день-деньской торговали чулками-носками вразнос, а по утрам с тревогой смотрелись в зеркало, спрашивая себя, не слишком ли глубоко прорезались морщины для амплуа героя-любовника, в котором они лет десять назад вынужденно расстались с немецкой сценой. Они вспоминали о своих ролях и тогдашней публике так, словно играли только вчера, и под сверкающими хрусталями танненбаумской люстры на пару часов самозабвенно предавались иллюзиям своего, как им мнилось, триумфального возвращения на родину. Был здесь и печально известный составитель "Кровавого списка", особо мстительный и желчный безработный прожигатель жизни по фамилии Коллер. С мрачным видом он стоял у всех на виду, уперев тяжелый взгляд в остатки закусок.

— Ну что, пополнился ваш "Кровавый список"? — спросил Хирш насмешливо.

Коллер энергично и угрюмо закивал.

— Еще шестерых к расстрелу. Немедленно по возвращении!

— Кто расстреливать-то будет? Вы?

— Найдется кому. Об этом суды позаботятся.

— Суды! — воскликнул Хирш презрительно. — Уж не немецкие ли, которые десять лет преступные приговоры штемпелевали? Тогда уж лучше сразу отдайте ваш "Кровавый список" в театр, господин Коллер, отличная будет комедия!

Коллер побелел от ярости.

— А по-вашему, пусть все эти убийцы разгуливают на свободе?

— Нет. Только вы их не найдете. Едва война кончится, в Германии не останется ни одного нациста. Лишь бравые честные немцы, которые все как один пытались помочь евреям. А даже если вы какого-нибудь нациста случайно обнаружите, вы его не вздернете, господин Коллер! Кто угодно, только не вы с вашим дурацким "Кровавым списком"! Вы вместо этого попытаетесь его понять. И даже простить.

Коллер испепелял его надменным взором. Я потянул Хирша за рукав.

— Пойдем, — сказал я. — Танненбаум уже ждет на кухне, он же обещал нам сегедский гуляш!

Хирш покорно дал себя увести.

В гостиницу "Мираж" я вернулся около полуночи. К немалому моему изумлению, я еще застал там в плюшевом будуаре Марию Фиолу с Мойковым за партией в шахматы.

— У вас сегодня ночной сеанс фотосъемки? — поинтересовался я у Марии.

Она покачала головой.

— Вечные расспросы! — отозвался вместо нее Мойков. — Тоже мне невротик! Не успел прийти — и тут же пристает с вопросами. Все счастье нам разрушил. Счастье — это когда тишина и никаких вопросов.

— Это счастье благоглупости, — возразил я. — Я наблюдал его сегодня весь вечер и во всем блеске. Женская красота, так сказать, в полнейшей интеллектуальной расслабленности — и никаких вопросов.

Мария Фиола подняла на меня глаза.

— Правда? — спросила она.

Я кивнул.

— Тогда ему нужно срочно дать водки, — заявил Мойков. Он поставил на стол еще одну рюмку и налил.

За стойкой пронзительно зазвенел звонок. Мойков, покряхтывая, встал.

— Графиня, — сказал он, бросив взгляд на табло с номерами комнат. — Наверно, опять нехорошие сны про Царское Село. Возьму-ка я сразу для нее бутылочку.

— Так по какому случаю у вас мировая скорбь? — спросил я.

— Сегодня не у меня. Сегодня это у Владимира. О чем вы еще хотите спросить? Что мне тут надо в столь поздний час? В столь унылом месте? Об этом спросить не хотите?

Я помотал головой.

— А почему бы вам здесь не быть? Вы мне однажды сами все объяснили. Гостиница "Мираж" весьма удачно расположена — как раз по пути от вашего дома к вашей работе, то бишь к ателье Никки. Это ваш последний привал и последняя рюмашка до и после битвы. А водка у Владимира Ивановича и впрямь отменная. Кроме того, время от времени вы здесь просто жили. Так почему бы вам тут не быть?

Она кивнула, но смотрела на меня пристально.

— Так и быть, я вам откроюсь, — сказала она. — Когда мне плохо, я всегда прихожу сюда, потому что здесь мне бывало гораздо хуже. По-своему это тоже утешение. А кроме того — для меня это крохотный кусочек моей переменчивой родины. Другой у меня все равно нет.

Мойков оставил бутылку в нашем распоряжении. Я налил Марии и себе по рюмке. После сегедского гуляша, приготовленного кухаркой Розой, водка пилась как эликсир жизни. Мария выпила свою рюмку залпом, запрокинув голову, как пони, — это ее движение запомнилось мне с первого раза.

Вернулся Мойков.

— Графиня опять переживает штурм Зимнего, — сообщил он. — Пришлось оставить ей четвертинку.

— Мне пора идти, — заявила Мария Фиола, бросая прощальный

взгляд на доску. — Тем более что положение мое все равно безнадежное.

— Оно у всех нас такое, — заметил Мойков. — Но это еще не повод сдаваться. Даже наоборот: возникает чувство небывалой свободы.

Мария Фиола ласково усмехнулась. Она всегда относилась к Мойкову с удивительной нежностью, будто он ее дальний родственник.

— В мои годы еще рано сдаваться, Владимир Иванович, — сказала она. — Я, может, и в отчаянии, но еще не утратила веры ни в Бога, ни в черта. Вы проводите меня домой? — обратилась она ко мне. — Не на такси. Пешком. Вы ведь тоже любите гулять по ночам?

— С удовольствием.

— Пока, Владимир Иванович! — Она аккуратно поцеловала Мойкова в краешек бакенбарда. — Адье, мой "Мираж".

— Я теперь живу между Первой и Второй авеню, — сказала она, когда мы вышли. — Временное пристанище, жилье взаймы, как и все в моей жизни. Квартира друзей, которые отправились путешествовать. Вам это не слишком далеко?

— Нет. Я часто по ночам гуляю.

Мы шли мимо длинной шеренги витрин, освещенных просто так, без видимой цели. Мария останавливалась только перед витринами с обувью, зато уж перед каждой, надолго и обстоятельно. Это было какое-то странное, молчаливое блуждание, с одной стороны улицы на другую, между сияющих витринных гротов, вслед за молодой женщиной, которая, судя по всему, о моем присутствии вообще забыла и подчинялась каким-то своим тихим законам, о которых я понятия не имел.

Наконец она остановилась.

— Вы один обувной пропустили, — сообщил я. — Вон там, слева, на той стороне. Он освещен меньше остальных.

Мария Фиола рассмеялась.

— Это у меня вроде мании. Очень скучали?

Я покачал головой.

— Это было упоительно. И очень романтично.

— Неужели? Что может быть романтичного в обувных магазинах?

— Продуктовые витрины между ними. Они завораживают меня снова и снова. На этой улице их полно. Больше, чем обувных. Что-нибудь выбрали себе по вкусу?

Она рассмеялась.

— Не так-то это просто. Мне кажется, я их даже не хочу.

— В туфлях хорошо убегать. Может, ваша мания с этим связана?

Она глянула на меня с изумлением.

— Да, может быть. Только убегать — от чего?

— От чего угодно. Может, и от самой себя.

— Нет. И это не так просто. Чтобы от себя убегать, надо знать, кто ты такой. А так получается только бег по кругу.

По Второй авеню гомосексуалисты прогуливали своих пуделей. Примерно полдюжины королевских пуделей пристроились рядком над сточной канавой и справляли свои нужды. Со стороны они напоминали аллею сфинксов. Их владельцы, взволнованные и гордые, стояли поодаль.

— Вот тут я пока что и живу, — сказала Мария Фиола. Она в нерешительности остановилась перед дверью. — Как приятно, что вы не задаете всех тех вопросов, которые в таких случаях обычно задают другие. Вы совсем не любопытны?

— Нет, — ответил я и притянул ее к себе. — Я принимаю все как есть.

Она не противилась.

— Может, мы на этом и порешим? — спросила она. — Будем принимать все как есть? Все, что дарит нам случай? И не больше того?

— И не больше, — ответил я и поцеловал ее. — Со всем, что больше, приходит ложь и боль. Кому это надо?

Ее глаза были широко раскрыты. В них отражались огоньки фонарей.

— Хорошо, — отозвалась она. — Если бы это было возможно! Хорошо, — повторила она. — D'accordo![1]

X

Я ждал в приемной адвоката Левина. Было раннее утро, но народу в приемной было уже полно. Между кактусами и цветами в горшках, вернее, даже не цветами, а какой-то зеленью вроде той, что в витринах мясников украшает тушку убиенного поросенка с лимоном в пасти, на неудобных стульях сидело человек пятнадцать. Небольшую кушетку целиком оккупировала дама в шляпке с вуалью и с золотой цепью: расселась самоуверенно и неподвижно, как жаба, подле нее — мальтийский шпиц. Никто не отваживался сесть рядом с ней. Сразу было видно, что она не эмигрантка. В отличие от всех остальных — эти, напротив, старались занимать места как можно меньше.

Я решил все-таки последовать совету Роберта Хирша, выплатить Левину сто долларов в счет моего долга и посмотреть, что он сможет для меня сделать.

Неожиданно в дальнем углу за дверью я увидел доктора Бранта. Он уже махал мне, и я сел рядом с ним. Оказалось, он пристроился возле небольшого аквариума, в котором плавали маленькие, сверкающие рыбки-неоны.

— Вы-то что здесь делаете? — спросил я. — Разве у вас ненадежная виза? Я думал, вы работаете в больнице.

— Работаю. Но не гинекологом, — ответил он. — Сменным врачом-ассистентом. И то допущен в порядке исключения. Мне еще предстоит экзамены сдавать.

— Значит, по-черному, — сказал я. — Так же, как в Париже, да?

— Примерно. Хотя все-таки не совсем по-черному. Скорее по-серому. Как Равик.

Брант был одним из лучших женских врачей во всем Берлине. Однако по французским законам его врачебный диплом был недействителен; к тому же у него не было и разрешения на работу. Пришлось ему работать по-черному на одного французского врача, своего приятеля, делая операции вместо него. Как и Равику. В Америке им обоим тоже предстояло все начинать с самого начала.

Вид у Бранта был утомленный. Видимо, он работал в больнице даже без жалованья и жил впроголодь. Он перехватил мой взгляд.

— Нас кормят в госпитале, — сказал он с улыбкой. — И чаевые перепадают. Так что не беспокойтесь.

Я положил на стол сто долларов. Большая костистая ладонь Левина скользнула по банкноте, даже не сжимаясь в кулак, и поверхность стола снова опустела.

1. Согласна! (*итал.*)

— Вы работаете? — спросил он.

Я покачал головой.

— Мне же запрещено работать, — заметил я осторожно.

— На что же вы тогда живете?

— Подбираю деньги на улице, выигрываю в лотерею, позволяю древним старушенциям меня содержать, — ответил я невозмутимо, удивляясь глупости его расспросов. Должен же он понимать: не могу я ему сказать правду.

Он рассмеялся своим странным резким смехом, столь же резко его оборвав.

— Вы правы. Меня это не должно касаться. Официально. Только в личном плане, по-человечески.

— За человеческие ответы в личном плане я неоднократно оказывался в тюрьме, — заметил я. — Так что у меня по этой части многочисленные травмы и солидные комплексы. И я только начинаю здесь, в Америке, их изживать.

— Ну, как хотите. Мы можем общаться и так. Только что у меня был доктор Брант. Он за вас поручился.

Я опешил от изумления.

— Бедняга Брант! У него же совсем нет денег!

— Он за вас поручился морально. Сказал, что вы подвергались преследованиям и что он вас знает.

— Это помогает? — спросил я.

— Птичка по зернышку клюет, — ответил Левин. — Одно к одному, по мелочи. Ваша приятельница Джесси Штайн о вас заботится. Это она прислала ко мне Бранта.

— И он специально из-за меня к вам пришел?

— Не только. Но, по-видимому, он не рискнул бы снова показаться Джесси Штайн на глаза, не дав вам рекомендацию.

К полудню я уже вернулся к себе в гостиницу.

— Тебя тут спрашивали, — сообщил мне Мойков. — Особа женского пола, с голубыми глазами и румяными щечками.

— Женщина или дама?

— Женщина. Да она еще здесь. Сидит в нашей пальмовой роще.

Я поспешил в салон с цветочными горшками и рахитичной пальмой.

— Роза! — изумился я.

Кухарка Танненбаумов легко поднялась из гущи вечнозеленой листвы.

— Я вам тут принесла кое-что, — сказала она. — Ваш гуляш! Вы его вчера забыли. — Она раскрыла большую клетчатую сумку, внутри которой что-то звякнуло. — Но ничего страшного. Гуляш не портится. А на второй, третий день он даже вкуснее. — Она извлекла из сумки большую фарфоровую супницу, закрытую крышкой, и водрузила на стол.

— Это сегедский? — только и спросил я.

— Нет, другой. Этот лучше хранится. Тут еще маринованные огурчики, прибор и тарелка. — Она развернула салфетку с ложкой и вилкой. — У вас есть спиртовка?

Я кивнул.

— Маленькая.

— Это не важно. Чем дольше гуляш на огне, тем он вкуснее. Это огнеупорный фарфор. Так что можете прямо в нем и греть. А через неделю я посуду заберу.

— Да это просто не жизнь, а рай, — сказал я растроганно. — Большое спасибо, Роза! И передайте от меня спасибо господину Танненбауму!

— Смиту! — поправила меня Роза. — С сегодняшнего утра это уже официально. Вот вам по такому случаю еще кусок праздничного торта.

— Да это не кусок, а кусище! Марципановый?

Роза кивнула.

— Вчерашний был шоколадный. Может, вам больше того хотелось? Так у меня еще кусочек остался. Припрятан.

— Нет-нет. Останемся лучше в будущем. При марципане.

— Тут еще для вас письмо. От господина Смита. А теперь — приятного аппетита!

Я нащупал в кармане доллар. Роза замахала руками.

— Бог с вами, это исключено! Мне запрещено что бы то ни было принимать от эмигрантов. Иначе я сразу лишусь места. Это строжайший приказ господина Смита.

— Только от эмигрантов?

Она кивнула.

— От банкиров всегда пожалуйста; только они почти ничего не дают.

— А эмигранты?

— Эти последний цент норовят всучить. Бедность учит благодарности, господин Зоммер.

Я с благодарностью смотрел ей вслед. Потом с супницей в руках торжественно направился мимо Мойкова к себе в номер.

— Гуляш! — объявил я ему. — От венгерской поварихи! Ты уже обедал?

— К сожалению. Съел гамбургер в аптеке на углу. С томатным соусом. И кусок яблочного пирога. Сугубо американский обед.

— Вот и я пообедал, — вздохнул я. — Порцию разваренных спагетти. Тоже с томатным соусом. И кусок яблочного пирога на десерт.

Мойков приподнял крышку и потянул ноздрями.

— Да тут на целую роту! А аромат какой! Что там твои розы! Этот пряный дух!

— Приглашаю тебя на ужин, Владимир.

— Тогда зачем ты несешь это к себе в номер? Поставь в холодильник рядом с моей водкой. У тебя в номере слишком тепло.

— Хорошо.

Прихватив с собой только письмо, я двинулся по лестнице к себе в номер. Окна у меня в комнате были распахнуты. Со двора и из окон напротив доносилась разноголосица шумов и радио. Шторы в апартаментах Рауля были задернуты, хрипловатый граммофон приглушенно наигрывал там вальс из "Кавалера роз". Я раскрыл письмо Танненбаума-Смита. Письмо было очень короткое. Мне надо позвонить антиквару Реджинальду Блэку. Танненбаум с ним переговорил. Тот ждет моего звонка послезавтра. Танненбаум желает мне удачи.

Я медленно сложил письмо. Мне казалось, обшарпанное подворье гостиницы вдруг разомкнулось и передо мной раскрылась аллея. Впереди забрезжило что-то вроде будущего. Передо мной был путь, а не вечно запертые ворота. Путь, вполне доступный в своей будничности и потому казавшийся вдвойне непостижимым. Я спустился вниз и позвонил тотчас же. Я не мог иначе. Антиквар Реджинальд Блэк подошел к аппарату лично. Голос у него оказался низкий, но слегка нерешительный. Пока мы с ним говорили, из трубки слабым фоном все время до-

носилась музыка. Я сперва решил, что у меня галлюцинации, и только потом догадался, что у Блэка тоже играет граммофон. Это был тот же вальс из "Кавалера роз", который только что звучал из номера Рауля. Я счел, что это доброе предзнаменование. Блэк попросил меня прийти через три дня, тогда и познакомимся. В пять часов. Я положил трубку, но музыка загадочным образом не оборвалась. Я обернулся и посмотрел во двор. Окна в апартаментах Рауля тем временем распахнулись. Теперь его граммофон заглушал все джазовые мелодии во дворе, долетая даже до темного угла за стойкой портье, где я пристроился у телефона. Это был все тот же вездесущий "Кавалер роз".

— Что с тобой? — спросил Мойков. — У тебя такая физиономия, будто ты повстречался с призраком.

Я кивнул.

— С призраком величайшего приключения, какое есть на свете: мещанского уюта и устроенного будущего.

— Постыдился бы говорить такое. Значит, работа?

— Может быть, — ответил я. — Подпольная, само собой. Но пока что не будем об этом говорить. А то вдруг эта синяя птица упорхнет.

— Хорошо. Тогда как насчет рюмашки за молчаливую надежду?

— Всегда пожалуйста, Владимир!

Он принес бутылку. Я тем временем оглядел себя с головы до ног. Костюм я ношу уже лет восемь, и он сильно обтрепался; я унаследовал его от Зоммера, а Зоммер тоже успел прилично им попользоваться. Впрочем, до сих пор гардероб мой меня не слишком заботил; какое-то время, правда недолго, у меня даже был второй костюм, но потом его украли.

От Мойкова мой критический взгляд не укрылся. Он усмехнулся.

— Ты похож на озабоченную мамашу. Первые признаки мещанства уже налицо. С чего вдруг тебе твой костюм разонравился?

— Да уж больно заношенный!

Мойков отмахнулся.

— Подожди, пока не получишь работу наверняка. Тогда и будешь думать.

— Сколько может стоить новый костюм?

— В "Браунинг кинге" долларов семьдесят. Ну, чуть больше, чуть меньше. Они у тебя есть?

— Если по-обывательски рассудить — нету. А по-игроцки — есть. Остаток от китайской бронзы.

— Так просади, — посоветовал Мойков. — Это хотя бы отчасти снимет налет благополучия с твоей новой мещанской личины.

Мы выпили. Водка была холодная и какая-то терпкая на вкус.

— Ничего не почувствовал? — ревниво поинтересовался Мойков. — Ну конечно нет. А это зубровка. Водка на травах.

— Откуда у тебя травы? Из России?

— Это секрет! — сказал Мойков таинственно, налив еще по одной и закупоривая бутылку. — А теперь — за светозарное будущее маленького бухгалтера или скромного продавца!

Я позабыл о словах Мойкова, едва вышел на улицу. Перед цветочным магазинчиком на углу я остановился. Хозяином здесь был итальянец, и наряду с цветами он продавал еще фрукты-овощи. Цветы у него были отнюдь не всегда первой свежести, зато дешевые.

Сейчас он стоял в дверях. Тридцать лет назад он приехал сюда из Каннобио; а меня однажды из Швейцарии в этот городишко выдворили. Теперь это нас связывало. Благодаря чему я покупал у него овощи за полцены.

— Как дела, Эмилио? — поинтересовался я.

Он пожал плечами.

— В Каннобио сейчас, наверно, хорошо. Самое время купаться в Лаго-Маджоре. Если бы только не эти проклятые немцы!

— Ничего, недолго им там оставаться.

Эмилио с озабоченным лицом теребил усы.

— Боюсь, как бы они все не разрушили, когда будут уходить. И Рим, и Флоренцию, и мой прекрасный Каннобио.

Мне нечем было его утешить: я тоже ничего другого от соотечественников не ждал. Поэтому я сказал только:

— Красивые цветы!

— Орхидеи, — ответил он, мгновенно оживляясь. — Совсем свежие. Ну, довольно свежие. И дешевые! Только кто в нашем районе станет покупать орхидеи.

— Я, — сказал я. — Только если очень дешевые.

Эмилио снова потеребил усы. Они у него были щеточкой, как у Гитлера, и придавали ему сходство с брачным аферистом.

— Доллар за штуку. Здесь две. Это уже со скидкой.

Я лелеял смутное подозрение, что Эмилио связан с похоронной фирмой и нередко делает у нее оптовые закупки. В крематории родственники оставляли груды цветов на гробах своих усопших; перед самой кремацией специально приставленный к этому делу человек цветы отсортировывал и годные пускал в дело. Венки, разумеется, сжигали вместе с покойниками. Я давно заметил, что у Эмилио часто бывают в продаже белые розы и лилии. Даже слишком часто. Но предпочитал не придавать этому значения.

— А вы можете ее послать?

— Почему нет, — сказал Эмилио. — Даже в пергаментной бумаге.

Я написал адрес Марии Фиолы и заклеил конверт. Эмилио радостно мне подмигнул.

— Наконец-то! — заявил он. — Давно пора!

— Глупости! — невозмутимо ответил я. — Это цветы для моей больной тетушки.

Я направился в магазин готового платья. Располагался он, правда, на Пятой авеню, но Мойков объяснил мне, что там дешевле всего. Густой дух самоуверенной, сытой буржуазности обдавал меня со всех сторон, пока я бродил между бесконечными шеренгами костюмов.

— Я бы предложил вам легкий летний костюм, — посоветовал продавец. — В Нью-Йорке в ближайшие два месяца будет страшная жара. И духота.

Он показал мне светло-серый костюм без жилетки. Я пощупал материю.

— Материал не мнется, — объяснил продавец. — Его можно сколько угодно складывать, и он почти не занимает места в чемодане.

Я невольно пригляделся к материалу чуть пристальнее; вот что идеально подходило бы для эмигрантских скитаний, подумал я. Но тут же отбросил эту мысль: хватит жить и думать по-походному.

— Только не серый, — сказал я. — Синий. Темно-синий.

— На лето? — усомнился продавец.

— На лето, — ответил я. — Легкий летний костюм. Но темно-синий.

Вообще-то я предпочел бы серый; но остатки вековых традиций моего воспитания не позволяли мне на это решиться. Синий костюм выглядит серьезней. В нем я мог пойти и к Реджинальду Блэку, и к Марии Фиоле. Синий годится на все случаи жизни — это тебе и дневной костюм, и утренний, и вечерний.

Меня отвели в примерочную кабину с зеркалом во весь рост. Стянув с себя старый костюм, унаследованный от Зоммера вместе с именем и фамилией, я какое-то время задумчиво изучал себя в зеркале. Последний раз у меня был синий костюм, когда мне было двенадцать; мне его еще отец покупал. Через три года отца убили.

Я вышел из кабинки. Продавец сделал восторженное лицо и принялся осматривать меня со всех сторон. На затылке у него я успел заметить фурункул, аккуратно залепленный кусочком пластыря.

— В самый раз! — заявил продавец. — Сидит как влитой! Даже если шить на заказ, вам бы лучше не сделали.

Я еще раз глянул на себя в зеркало. На меня смотрел серьезный незнакомый мужчина с выражением смущения и растерянности на лице.

— Вам завернуть? — спросил продавец.

Я покачал головой.

— Прямо так и пойду, — сказал я. — Заверните старый.

Медленно брел я по улицам, пока не оказался возле магазина братьев Сильверов. Александр стоял в окне с расписным барочным ангелом восемнадцатого столетия в руках — он декорировал витрину. Увидев меня, он ангела выронил. Я невольно вздрогнул, но хрупкий ангел целым и невредимым приземлился на рулон алого генуэзского бархата. Сильвер поднял ангела, расцеловал и взмахом руки позвал меня войти.

— Вот, значит, как вы проводите время, — сказал он. — Я-то думал, вы были у адвоката.

— И у него тоже, — ответил я.

— Вы похожи теперь на мошенника. Или на карманника. А пожалуй, даже на брачного афериста.

— Вы угадали. Я сегодня дебютировал во всех трех амплуа сразу. К сожалению.

Сильвер расхохотался и вылез из витрины.

— Вы ничего не замечаете?

Я посмотрел по сторонам и покачал головой.

— Да вроде ничего нового, господин Сильвер.

— Нового-то ничего, но и кое-чего старого недостает. Угадайте!

Он весь сиял от предвкушения драматического эффекта. Я снова огляделся. Но магазин был так забит, что отыскать в нем что-то недостающее казалось вообще невозможным.

— Молитвенный ковер! — выпалил Сильвер, чуть не подпрыгнув от гордости. — Один из тех, что вы откопали. Теперь до вас дошло?

Я кивнул.

— Который из двух? С голубой или с зеленой михрабной нишей?

— С зеленой.

— Ага, более редкий. Ну, ничего. У голубого сохранность лучше.

Сильвер все еще смотрел на меня выжидательно.

— И почем же? — спросил я.

— Четыреста пятьдесят долларов! Наличными!

— Мое почтение. Вы получили хорошую цену.

Сильвер молча извлек бумажник. Казалось, он весь раздулся от собственной важности и напоминал сейчас нахохлившегося карликового павлина. Он торжественно выложил пять десятидолларовых бумажек.

— Ваши комиссионные! — объявил он. — Сколько стоит ваш костюм?

— Шестьдесят долларов.

— С жилеткой?

— С жилеткой и двумя парами брюк.

— Вот видите! А теперь можете считать, что даром. Поздравляю!

Я засунул деньги в карман.

— Как насчет двойного чешско-венского мокко с миндальным пирожным? — спросил я.

Сильвер кивнул и распахнул дверь. Шум вечерней улицы ворвался в помещение. И тут Сильвер вдруг в ужасе отшатнулся, будто узрел гадюку.

— Боже правый! Арнольд идет! Да еще в смокинге! Все пропало!

Арнольд — это был брат Александра. Никакого смокинга я на нем не узрел. В грязновато-медовом освещении занимающегося вечера он шел по улице, окутанный парами бензина и голубоватым маревом выхлопных газов, в весьма прихотливом светском костюме — пиджак темного маренго, полосатые брюки, в шляпе котелком и светло-серых дедовских гамашах.

— Арнольд! — вскричал Сильвер-старший. — Не ходи туда! Последнее слово! Зайди сюда! Подумай о твоей матери! О твоей бедной, благочестивой матери!

Арнольд спокойно продолжал следовать своим путем.

— О матери я уже подумал, — отозвался он. — И тебе не удастся сбить меня с толку, фашист иудейский!

— Арнольд! Не говори так! Разве не я всегда радел только о твоем благе? Присматривал за тобой, как и положено старшему брату, ухаживал за тобой, когда ты болел, а болел ты часто...

— Мы близнецы, — пояснил Арнольд специально для меня. — Мой брат старше меня на целых три часа.

— Три часа меняют иногда целую жизнь! Из-за этой трехчасовой разницы я по созвездию еще Близнец, а ты мечтательный Рак, отрешенный от жизни фантазер, за которым глаз да глаз нужен. И теперь вот смотришь на меня, будто я твой заклятый враг.

— Но если я хочу жениться?

— Ты на шиксе хочешь жениться! На христианке! Нет, вы только посмотрите на него, господин Зоммер, это же слезы, вырядился, как какой-нибудь гой, будто он на скачки собрался! Арнольд, Арнольд, опомнись! Повремени еще немного! Нет, вы подумайте, он хочет делать официальное предложение, будто какой-нибудь коммерции советник! Не иначе тебя опоили любовным зельем, вспомни Тристана и Изольду, вспомни, чем все у них кончилось! И вот ты уже называешь своего кровного брата фашистом — только потому, что он хочет уберечь тебя от греховной свадьбы. Найди себе порядочную женщину, еврейку, Арнольд, и женись на ней!

— Не хочу я порядочную еврейку! — взвился Арнольд. — Я хочу жениться на женщине, которую люблю, которая меня любит!

— Любит-шлюбит! Красивые слова! Ты посмотри на себя, как ты уже выглядишь! Предложение он ей собрался делать! Вы только поглядите на него, господин Зоммер! Полосатые штаны и новый смокинг! Авантюрист!

— Об этом я судить не могу, — возразил я. — Как видите, я и сам в новом костюме. И тоже, кстати, похож на карманника и афериста, если помните.

— Так то была шутка!

— Сегодня, похоже, день новых костюмов, — сказал я. — Откуда у вас эти замечательные гамаши, господин Сильвер?

— Вам правда нравятся? Из Вены привез, когда в последний раз ездил. Еще до войны. Не слушайте моего брата. Я американец. Я человек без предрассудков.

— Предрассудки! — Александр Сильвер в сердцах нечаянно смахнул со стола фарфорового пастушка, но успел подхватить его у самого пола.

— Боже! — вырвалось у Арнольда. — Это майсенский? Настоящий?

— Да нет, Розенталь, современная работа. — Сильвер-старший показал нам фигурку. — К тому же цела.

Разговор как-то сразу вошел в спокойное русло.

— Ты же ничего не теряешь, — заклинал его Александр Сильвер. — Только обдумаешь все еще раз как следует.

— А если появится другой?

— Да кто?

— У нее много поклонников.

— Никто не появится, Арнольд! Зря, что ли, ты тридцать лет был адвокатом, да и здесь в магазине не первый год. Разве мы с тобой тысячу раз не уверяли клиентов, мол, другой покупатель давно за этой вещью гоняется, и это всегда был чистейшей воды блеф. Арнольд!

— Но я старею, — вяло возражал Арнольд. — Старость не прибавляет красоты. И здоровья не прибавляет.

— Это она состарится! И куда скорее, чем ты! Женщины стареют вдвое быстрее мужчин. Давай я помогу тебе снять этот дурацкий фрак!

— А вот этого не будет! — заявил Арнольд с внезапной строгостью в голосе. — Раз уж я оделся, я куда-нибудь выйду.

Сильвер-старший узрел в этом намерении очередную опасность.

— Хорошо, хорошо, давай выйдем, — поспешил он согласиться. — Куда пойдем? Может, в кино? На новый фильм с Полетт Годдар?

— В кино? — Арнольд оскорбленным взглядом окинул свой маренговый пиджак. Да кто же в кино оценит всю эту красоту? Там же темно!

— Хорошо, Арнольд. Тогда мы идем ужинать. Роскошно! С закуской! А потом рубленая куриная печенка и на десерт персик в вине. Куда бы ты хотел пойти?

— В "Вуазан", — сказал Арнольд твердо.

Александр слегка поперхнулся.

— Дорогое удовольствие. Ты туда хотел с этой... — он осекся.

— В "Вуазан", — твердо повторил Арнольд.

— Хорошо! — согласился Сильвер. И с широким жестом повернулся ко мне. — Господин Зоммер, вы идете с нами. Вы все равно уже при параде. Что там у вас в свертке?

— Мой старый костюм.

— Оставьте его здесь. На обратном пути заберем.

В гостиницу я вернулся около десяти.

— Владимир, — сказал я Мойкову, — увы, гуляш на сегодня отменяется. Мне пришлось выступить арбитром в расовом конфликте. Все как у Гитлера, только наоборот. И все это за ужином в "Вуазане".

— Браво! Хорошо бы все расовые битвы разыгрывались только там. Что пил?

— "Кот д'Эстурнель" тридцать четвертого года. Бордо.

— Похоже, у тебя сегодня день подарков. С утра гуляш, а вечером, часов так около семи, тебе вот еще и пакет оставили. Шофер в "роллс-ройсе" прикатил и велел передать.

— Что?

— Шофер в мундире, на "роллс-ройсе". Словоохотливый, как могила. Может, ты торгуешь оружием — в синем-то костюме?

— Я понятия не имею, что это значит. Пакет на мое имя?

Мойков извлек пакет из-под стойки. Это была продолговатая картонная коробка. Я распаковал.

— Бутылка, — изумился я, ища в пакете записку, но так ничего и не обнаружив.

— Бог ты мой, — с благоговением произнес Мойков у меня за спиной. — Да ты знаешь, что это такое? Настоящая русская водка! Это тебе не самогон, который мы тут палим. Да как она в Америке-то оказалась?

— Разве Америка и Россия не союзники?

— По оружию да. Но не водкой же. Слушай, а ты часом не шпион?

— Бутылка неполная, — рассуждал я вслух. — И пробка уже вскрыта. — Я подумал о Марии Фиоле и об орхидеях итальянца Эмилио. — Да, двух-трех рюмок в бутылке недостает.

— Интимный подарок, значит! — Морщинистыми веками Мойков прикрыл свои глаза старого попугая. — От собственных уст оторвано! С тем большим наслаждением мы ее сейчас отведаем!

XI

У Реджинальда Блэка не было ни своего магазина, ни картинной галереи. Он просто жил в собственном доме. Я, честно говоря, ожидал увидеть нечто вроде двуногой акулы. Вместо этого ко мне вышел скорее щуплый и тихий человек, лысый, но зато с очень ухоженной бородкой. Он предложил мне виски с содовой и задал несколько осторожных и сдержанных вопросов. Потом принес из соседней комнаты две картины и поставил их на мольберт. Это были два рисунка Дега.

— Которая из двух вам больше нравится? — спросил он.

Я указал на правый рисунок.

— Почему? — спросил Блэк.

Я затруднился.

— А что, обязательно сразу причину указывать? — ответил я вопросом на вопрос.

— Просто меня это интересует. Вы знаете, чьи это работы?

— Это два рисунка Дега. Любой вам скажет.

— Вот уж совсем не любой, — отозвался Блэк со странной, чуть смущенной улыбкой, напомнившей мне Танненбаума-Смита. — Некоторые из моих клиентов, к примеру, не скажут.

— Вот как. Странно. Зачем тогда они покупают?

— Чтобы у них дома висел Дега, — меланхолично ответил Блэк. — Картины — это эмигранты, как и вы. Порой жизнь забрасывает их в самые неожиданные места. Хорошо ли они себя там чувствуют, это уже другой вопрос.

Он снял с мольберта оба рисунка и вынес из соседней комнаты две акварели.

— А что это такое, знаете?

— Это акварели Сезанна.

Блэк кивнул.

— Можете сказать, какую из них вы считаете лучшей?

— У Сезанна каждая работа хороша, — ответил я. — Но дороже будет, наверное, левая.

— Почему? Потому что больше?

— Не поэтому. Это поздняя вещь, уже почти кубистская. Очень красивый провансальский пейзаж с горой Сент-Виктуар на горизонте. В одном брюссельском музее была похожая.

Блэк тут же стрельнул в меня взглядом.

— Откуда вам это так хорошо известно?

— Я там несколько месяцев стажировался. — Я не видел причин выкладывать ему всю правду.

— В качестве кого? Как антиквар?

— Нет. Студентом. Но пришлось бросить.

Похоже, Блэка такой ответ успокоил.

— Настоящий антиквар мне не нужен, — объяснил он мне. — Кто же захочет сам себе растить конкурента?

— Что вы, у меня к этому нет ни малейшего таланта, — поспешил заверить я.

Он предложил мне тонкую длинную сигару. Судя по всему, это был добрый знак: вот и Сильвер, перед тем как взять меня на работу, тоже сигарой угощал. Правда, у Сильвера сигара была бразильская, а здесь настоящая гавана. Я про такие только слышал, а курить ни разу не курил.

— Картины — они как живые существа, — изрек Блэк. — Как женщины. Их нельзя показывать всем и каждому, если хочешь, чтобы они сохранили свое очарование. И свою ценность. Вы понимаете, о чем я?

Я кивнул. Хотя ни черта не понимал; обычная банальная фраза, даже не банальная истина.

— По крайней мере для торговца искусством это так, — продолжал вещать Блэк. — Картины, которые слишком часто выставляются, на нашем профессиональном языке называются "оторвами". В отличие от "девственниц", которые всю жизнь находятся в одних руках, в частном владении, где их почти никто не видит. Среди знатоков такие картины ценятся выше. Не потому, что они лучше других, а потому, что дарят истинным ценителям радость открытия.

— И за это ценители больше платят?

Блэк кивнул.

— Это так называемый зуд сноба. Но хороший зуд. Потому что бывают и извращенцы. Особенно в наши дни. Это все от войн. Состояния меняют владельцев. Одни стремительно утрачиваются, и столь же стремительно возникают другие. Старые коллекционеры вынуждены продавать, а новые... у них полно денег, но это не знатоки. Чтобы стать знатоком, нужно время, терпение и любовь.

Я слушал его, а сам лихорадочно думал только об одном: возьмет он меня на работу или нет. И понемногу начал сомневаться: уж больно далеко он забрел в своих рассуждениях вместо того, чтобы продолжать проверять мои знания или уже сделать предложение насчет жалованья. Он, правда, тем временем поставил на мольберт новую картину.

— Вам это о чем-нибудь говорит?

— Это Моне. Женщина в поле с маками.

— Вам нравится?

— Великолепно! Какой покой! Это солнце Франции! — А про себя добавил: "И лагерь для интернированных".

Блэк вздохнул.

— Продал. Человеку, который делает бомбы. Он любит мирные пейзажи.

— Жаль. Нет бы ему любить батальные полотна и производить косметику.

Блэк бросил на меня быстрый взгляд, в глазах его мелькнули веселые искорки. Потом он жестом пригласил меня в соседнюю комнату — она оказалась вся обита серым плюшем, а из обстановки, кроме мольберта, скромно предлагала только софу, низенький столик и несколько кресел.

— Я часто сижу здесь по утрам среди нескольких картин, — сказал хозяин. — Иногда только с одной. В обществе картины вы никогда не будете одиноки. С картиной можно разговаривать. Или, что еще лучше: картину можно слушать.

Я кивнул. Перспектива получить у него место представлялась мне все более и более сомнительной. Блэк говорил со мной как с клиентом, которого он изощренным образом хочет подбить на покупку. Но с какой стати? Он же знает, что я не клиент. Может, он считает, что я смогу затащить к нему Танненбаума-Смита, либо он действительно говорит со мной искренне, и тогда он просто одинокий богатый человек, который не слишком счастлив в своем ремесле? Для меня-то зачем ему ломать комедию?

Реджинальд Блэк вытащил откуда-то янтарный мундштук и вставил в него свою сигару.

— Ну что ж, мы можем попробовать поработать вместе, — сказал он мягко. — Особо выдающихся знаний от вас здесь не потребуется. Куда важнее надежность и умение молчать. Как насчет восьми долларов в день?

Своей необычной сигарой, тишиной комнаты, покоем картин и негромким голосом он меня почти загипнотизировал. Но сейчас я разом очнулся.

— Сколько я должен работать?

— С девяти утра до пяти-шести вечера. Час на обеденный перерыв. Вообще-то в нашем деле твердый рабочий день установить трудно.

— Господин Блэк, — сказал я, окончательно возвращаясь с небес на землю. — Это примерно столько же, сколько зарабатывает хороший посыльный.

Я думал, он мне сейчас скажет, что никакого другого места я, в сущности, и не заслуживаю. Но он оказался не так прост. Он до цента высчитал мне, сколько зарабатывает в день хороший посыльный. Получалось, что меньше.

— Меньше чем на двенадцать долларов я пойти не могу, — сказал я. — У меня долги, их надо отрабатывать.

— Уже?

— Да. Я должен адвокату, который обеспечивает мне вид на жительство.

Блэк неодобрительно покачал лысой головой, одновременно исхитрившись погладить свою черную как смоль бородку. Это был непростой гимнастический трюк — скоординировать два столь разных движения, — и он вполне ему удался. Складывалось впечатление, что мои дол-

ги, этот мой новый, внезапно обнаружившийся недостаток, заставляют его еще раз вернуться к вопросу, брать меня или не брать. Наконец-то хищник показал когти.

Но и я не зря набирался у Людвига Зоммера уму-разуму. По части словесной казуистики тот, пожалуй, мог бы и Блэка за пояс заткнуть. И новый синий костюм я неспроста покупал. Со своей застенчивой улыбочкой Блэк разъяснил мне, что как-никак я буду работать у него нелегально и, значит, не буду платить налоги. Кроме того, мой английский отнюдь не безупречен. Вот тут-то я его и подловил. Зато я говорю по-французски, заявил я, а в бизнесе с французскими импрессионистами это большой плюс. Блэк вяло отмахнулся, но в итоге согласился дать мне десять долларов в день и пообещал, если я хорошо войду в дело, к вопросу о моем жалованье еще вернуться.

— У вас к тому же будет много свободного времени, — сказал он. — Я часто в отъезде. Тогда и работы у вас не будет.

Мы сошлись на том, что начну я через неделю.

Александр Сильвер ждал меня, сгорая от любопытства. Он был в курсе моих дел с Блэком.

— Ну, как ваш визит к этому пирату? — встретил он меня вопросом.

— Он не пират, — ответил я. — Скорее просвещенный ассириец.

— Кто?

— Лысый, культурный, довольно скрытный человек с бородкой как у ассирийца. Очень вежлив и галантен.

— Да знаю я его, — сказал Сильвер. — Облапошивает всякую деревенщину своими аристократическими манерами. Похоже, вот и вас уже успел охмурить. Берегитесь!

Я не смог удержаться от смеха.

— Беречься чего? Он что, задолжает мне жалованье?

Сильвер на секунду смешался.

— Ну, это-то нет. Но вообще...

— Что вообще?

Я был потрясен. Похоже, он ревновал. Он тронул мое сердце.

— Просто он паразит! — заявил наконец Сильвер. Он стоял, прислонясь к флорентийскому стулу времен Савонаролы, верхняя часть которого даже была подлинной. — Торговля искусством — это ремесло с нечистой совестью, — вещал он. — Продавец загребает деньги, которые по сути заработаны художником. Художник живет чуть ли не впроголодь, продавец покупает себе замки. Я не прав?

— Но позвольте, господин Сильвер! Если при жизни художника никто его работы покупать не хочет. Он же их всем предлагал. И почти никто не пожелал их приобрести. А торговец в конце концов все-таки купил. И он, кстати, тоже не знал, прогорит он с этими картинами или нет.

Я защищал, конечно, не Реджинальда Блэка. Я защищал покойного Людвига Зоммера, умершего в бедности. Но Александр Сильвер, похоже, воспринял это иначе.

— Вот, сразу видно! — сказал он тихим голосом. — И вы туда же, господин Зоммер! Уже переметнулись на сторону паразитов! Еще пара дней, и вы начнете щеголять в шляпе и перчатках, выманивая для Блэка у несчастных вдов их честно нажитое наследство. Синий костюм у вас уже есть! А я вам так доверял! Обман! Опять обман!

Я посмотрел на него с интересом.

— Почему опять? Кто еще вас обманул?

— Арнольд, — горестно прошептал Александр. — Не помог даже ужин с икрой и гусиной печенкой в "Вуазане". Сегодня в обед выхожу я пройтись — и кого же я вижу? Арнольда с этой шиксой, выдрой этой крашеной, рука об руку, Арнольд еще и в шляпе, как какой-нибудь воротила с ипподрома!

— Но Арнольд и не обещал вам никогда больше с этой иноверкой не видеться. За десертом, это были блинчики, причем божественные, он только сказал, что свою свадьбу он еще раз обдумает. Так что нисколько он вас не обманул, господин Сильвер! Или он тем временем женился?

Сильвер побледнел.

— Женился? Кто вам сказал?

— Никто. Я просто спрашиваю. Значит, он вас не обманул!

— Вот как? — Сильвер снова воспрянул духом. — А как прикажете понимать, что я встретил его с этой шиксой как раз на выходе из "Вуазана"? Представляете, куда этот негодяй ее приглашает! Я его туда ввел, а он теперь таскается туда с этой шиксой! Разве это не обман? И это мой брат-близнец!

— Ужасно, — согласился я. — Но что вы хотите, это любовь. Она не делает человека лучше. Она возвышает чувства, но портит характер.

Сильвер тяжело дышал.

— Пощадите ваше сердце, господин Сильвер, — сказал я. — Никто не хочет вас обмануть. И Арнольд не хочет. И ничего еще не решено. Вот увидите, ваш Арнольд еще влюбится в дочку банкира.

— Эта шикса никогда от него не отстанет, — пробормотал Александр. — Особенно если он каждый день будет водить ее в "Вуазан"!

— Ничего, он скоро одумается.

— Если так дальше пойдет, он доведет нас до банкротства, — сказал Александр Сильвер. И тут лицо его вдруг озарилось. — Банкротство! Вот что нам нужно! Как только мы обанкротимся, эта крашеная стерва соскочит с Арнольда, как блоха с покойника!

Я видел, как в голове его уже лихорадочно прокручиваются новые планы.

— По-моему, сейчас самое время выпить напротив кофейку с шоколадным тортом, — заметил я осторожно. — Конечно, после шикарного ужина в "Вуазане" я почти не решаюсь вас туда приглашать. Но в конце концов именно вы показали мне эту кондитерскую. Два обмана в один день слабому сердцу трудно пережить без подкрепления. Так что я все-таки рискну вас пригласить. Как насчет миндального пирожного и кофе по-венски? Или чашечки чая?

Александр Сильвер, казалось, очнулся от сна.

— Да, именно так, — пробормотал он. — На худой конец банкротство! — Потом повернулся ко мне. — С вами совсем другое дело, господин Зоммер. Я ведь сам убеждал вас пойти к этому Блэку. А то, что я считаю его паразитом, это уже другой вопрос. Шоколадный торт, говорите? Почему бы и нет?

Мы приступили к форсированию улицы. Но Сильвер был сегодня явно не в ударе. Хотя на нем по-прежнему были и его лакированные штиблеты, и клетчатые брюки, мыслями он витал где-то далеко. Поэтому, совершив рискованный пируэт перед молочной цистерной, он угодил прямо под колеса мчавшегося за ней велосипедиста. Мне удалось рыв-

ком поднять его и в последний момент вытолкнуть с проезжей части на тротуар, где он упал вторично, теперь уже прямо под ноги прачке с тяжелой бельевой корзиной. Та взвизгнула.

— Вот клоп! — гневно крикнула она, приходя в себя от испуга.

Сильвер поднялся на ноги. Его пошатывало. Я начал его отряхивать.

— Хорошо еще, что так обошлось, — утешал я его. — Слишком много мыслей вас сегодня одолевает, господин Сильвер. Это плохо влияет на координацию. Жажда мести, идейные расхождения, моральные терзания и ложное банкротство — это все расслабляет.

Из кафе к нам уже бежала официантка Мицци с платяной щеткой в руках.

— Боже мой, господин Сильвер! Еще бы чуть-чуть, и вы были бы труп! — Она тоже принялась отряхивать Александра Сильвера, потом стала отчищать щеткой его клетчатые брюки. — Слава богу, на них хоть грязь не видна. Пойдемте в кафе, господин Александр. Такой кавалер! — причитала она. — И под какой-то велосипед дурацкий! Добро бы еще под "кадиллак"!

— Если бы это был "кадиллак", Мицци, господина Сильвера уже не было бы в живых, — заметил я.

Сильвер ощупывал свои кости.

— Что она имела в виду под клопом? — поинтересовался он.

— Прачка? Скорее всего, насекомое. Высокоразвитое существо с идеальной формой социальной приспосабливаемости. Возникшее задолго до человека.

— Мойкова нет, — сообщила мне Мария Фиола.

— А холодильник он не запер? — спросил я.

Она покачала головой.

— Но я пока что водку не крала. Сегодня.

— А мне срочно требуется рюмка, — заявил я. — Причем настоящей русской водки. Которую прислала мне в подарок одна шпионка. Кое-что там еще осталось. На нас обоих.

Я полез в мойковский холодильник.

— А что там внизу в этой шикарной посудине?

— Гуляш, — сообщил я. — Крышка заклеена скотчем. От прожорливого Феликса О'Брайена. Я не смог придумать этикетку, которая бы его удержала. Он ест все без разбора, даже если написано, что это крысиный яд. Поэтому пришлось прибегнуть к скотчу. — Я сорвал клейкую ленту и поднял крышку. — Настоящая венгерская кухарка готовила. Подарок сочувствующего мецената.

Мария Фиола рассмеялась.

— Вас, я смотрю, просто осыпают подарками. А эта кухарка — она хорошенькая?

— Она неотразима, как всякий тяжеловоз, и весит под центнер. Мария, вы сегодня обедали?

Глаза ее кокетливо сверкнули.

— Что бы вам хотелось услышать, Людвиг? Манекенщицы питаются только кофе и грейпфрутовым соком. Ну, и галетами.

— Отлично, — ответил я. — Значит, они всегда голодны.

— Они вечно голодны и никогда не могут есть то, что им хочется. Однако изредка они делают исключения. Например, сегодня. Когда видят гуляш.

— Вот черт! — вырвалось у меня. — У меня же нет кипятильника, чтобы это согреть. И я не знаю, есть ли кипятильник у Мойкова.

— А холодным его есть нельзя?

— Боже упаси! Можно схватить туберкулез и сухотку мозга. Но у меня есть друг, у которого целый арсенал электроприборов. Сейчас я ему позвоню. И он одолжит нам кипятильник. А пока что вот маринованные огурчики. Идеальная закуска.

Я подал огурчики и позвонил Хиршу.

— Роберт, ты мне можешь одолжить кипятильник? Я хочу погреть гуляш.

— Конечно. Какой масти?

— Гуляш или кипятильник?

— Дама, с которой ты собрался есть гуляш. Я подберу ей кипятильник под цвет волос.

— Гуляш я буду есть с Мойковым, — сказал я сухо. — Так что кипятильник подбери лысый.

— Мойков был у меня две минуты назад, принес водку и сказал, что едет дальше в Бруклин. Ну да ладно уж, приходи, врун несчастный.

Я положил трубку на рычаг.

— Будет у нас кипятильник, — возвестил я. — Сейчас я за ним схожу. Подождете здесь?

— С кем? С Феликсом О'Брайеном?

Я рассмеялся.

— Ладно. Тогда пойдем вместе. Или такси возьмем?

— Не в такой вечер. Не настолько я пока что голодна.

— Как красиво отражается солнце в окнах напротив, — отвлек я Марию, указывая ей на противоположную сторону улицы. — Как старинное золото.

Она кивнула.

— Воздух такой, будто плывешь, — сказала она. — И себя почти не чувствуешь.

Мы добрели до магазина Роберта Хирша. Я вошел.

— Привет. Ну, где кипятильник?

— Неужели ты заставишь даму ждать на улице? — ехидно поинтересовался Хирш. — Да еще такую красивую. Почему бы тебе ее сюда не пригласить? Или боишься?

— Да я вообще-то только кипятильник хотел забрать.

— Сразу ты его все равно не получишь. Я сам уже час разогреваю гуляш Танненбаума-Смита. Понимаешь, я Кармен ждал на ужин. Так эта мерзавка уже почти на час опаздывает. Кроме того, сегодня вечером бокс по телевизору, финальные бои. Почему бы тебе не остаться? Еды на всех хватит. И Кармен придет. Надо надеяться.

Я лишь секунду колебался. А потом вспомнил плюшевый будуар, пустую комнату покойника Заля, сонную физиономию О'Брайена.

— Замечательно! — сказал я.

И направился в долгий, чуть ли не километровый путь к недоступной, безмерно далекой амазонке, что застыла в световом пятне от витрины в переливах серого и серебристого тонов. Когда я наконец дошел до нее, она вдруг показалась мне ближе и роднее, чем когда-либо прежде. Что за странные игры света и тени, подумал я.

— Мы приглашены на ужин, — сообщил я. — И на бокс.

— А как же мой гуляш?

— Уже готов. Стоит на столе.

Амазонка вытаращила на меня глаза.

— Здесь? У вас что, по всему городу лохани с гуляшом расставлены?

— Нет, только в опорных стратегических пунктах.

Тут я заметил приближающуюся Кармен. Она была в светлом плаще без шляпы и шла по улице столь отрешенно, будто вокруг вообще никого нет. Я так и не понял, с какой стати она в плаще. Было тепло, и на вечернем небе ни облачка; вероятно, впрочем, ей до всего этого не было никакого дела.

— Я немножко опоздала, — объявила она. — Но для гуляша это не страшно. Его чем дольше греть, тем он вкусней. Роберт, а вишневый штрудель ты тоже принес?

— Имеется и вишневый штрудель, и яблочный, и творожный. Все доставлено сегодня утром из неисчерпаемых кухонных припасов семейства Смитов.

— И даже водка с маринованными огурчиками! — изумилась Мария Фиола. — Водка из мойковских погребов. Вот уж кто поистине маг и волшебник.

XII

Джесси Штайн давала очередной прием. Двойняшки обносили гостей кофе и пирожными; из граммофона тихо лился тенор Таубера. Джесси была в темно-сером — в знак траура по разоренной войной Нормандии, но и в знак сдержанного торжества над изгнанными оттуда нацистами.

— Раздвоение какое-то, — жаловалась она. — Прямо сердце разрывается. Вот уж не думала, что можно ликовать и плакать одновременно.

Роберт Хирш нежно обнял ее за плечи.

— Можно, Джесси! — утешил он. — И ты всегда это знала. Только твое неразделимое сердечко всегда спешило об этом забыть.

Джесси прильнула к нему.

— И ты не считаешь, что это безнравственно?

— Нет, Джесси. Ни чуточки. Это не безнравственно, это трагично. Поэтому давай лучше видеть во всем только светлые стороны, иначе наши многострадальные сердца просто не выдержат.

Устроившись в углу под фотографиями с траурными рамками, Коллер, составитель пресловутого "Кровавого списка", с пеной у рта обсуждал что-то с писателем-сатириком Шлетцем. Оба только что внесли еще двух генералов в список изменников, которых по окончании войны следует немедленно расстрелять. Кроме того, они разрабатывали сейчас новый архиважный список — очередного немецкого правительства в изгнании. Работы у них было по горло: дня не проходило, чтобы они какого-нибудь министра не назначили или не сняли. В данный момент они громко спорили, ибо не могли прийти к согласию насчет Розенберга и Гесса: казнить их или приговорить к пожизненному заключению. Коллер ратовал за высшую меру.

— Кто будет приводить приговор в исполнение? — подойдя к ним, поинтересовался Хирш.

Коллер затравленно обернулся.

— А вы, господин Хирш, лучше оставьте ваши ернические замечания при себе!

— Предлагаю свои услуги, — не унимался Хирш. — На все приговоры. При одном условии: первого расстреляете вы.

— Да о каком расстреле вы говорите? — взвился Коллер. — Доблестная солдатская смерть! Еще чего! Они даже гильотины не заслужили! Когда Фрик, этот нацистский министр внутренних дел, приказал так называемых изменников родины казнить четвертованием, приводя приговор в исполнение ручным топором! И в стране поэтов и мыслителей это распоряжение действует уже десять лет! Вот точно так же надо будет обойтись со всеми этими нацистами. Или, может, вы хотите их помиловать?

Джесси уже подлетела к гостям, как встревоженная наседка к цыплятам.

— Не ругайся, Роберт! Доктор Боссе только что приехал. Он хотел тебя видеть.

Хирш со смехом дал себя увести.

— Жалко, — процедил Коллер. — Я бы ему сейчас...

Я остановился.

— Что бы вы сейчас? — вежливо поинтересовался я, делая шаг в его сторону. — Можете спокойно сказать мне все, что вы хотели сказать моему другу Хиршу. В моем случае это даже не так опасно.

— А вам-то что? Не лезьте в дела, которые вас не касаются.

Я сделал еще один шаг в его сторону и слегка ткнул в грудь. Он стоял возле кресла, в которое и плюхнулся. Плюхнулся даже не от моего легкого тычка, а просто потому, что стоял к креслу слишком близко. Но он и не подумал встать — так и сидел в кресле и только шипел на меня.

— Вы-то что лезете? Вы, гой несчастный, вы, ариец! — Последнее слово он почти выплюнул, будто это смертельное оскорбление.

Я смотрел на него озадаченно; я ждал.

— Еще что? — спросил я. Я ждал слова "нацист". Мне уже всякое случалось слышать. Но Коллер молчал. Я смотрел на него сверху вниз.

— Надеюсь, вы не собираетесь бить сидячего?

Только тут я осознал весь комизм положения.

— Да нет, — отозвался я. — Я вас сперва подниму.

Одна из близняшек уже подскочила ко мне с куском песочного торта. Я с удовольствием его взял. Вторая близняшка подала мне кофе.

— Не бойтесь, — сказал я Коллеру, которого, похоже, мой разыгравшийся аппетит оскорбил еще больше, чем мои слова. — Вы же видите, у меня руки заняты. К тому же я никогда не бью актеров: это все равно, что драться с зеркалом.

Я отвернулся — и увидел перед собой Лео Баха.

— Я кое-что выяснил, — прошептал он. — Насчет двойняшек. Они обе пуританки. Ни одна не потаскушка. Это стоило мне костюма. Пришлось в чистку отдавать. Эти мерзавки просто залили меня из своих кофейников. Даже молочниками швыряются, стоит их ущипнуть. Садистки какие-то!

Доктор Боссе, щуплого вида человек со скромной темной бородкой, сидел между продавцом чулок-носков Шиндлером, в прошлом ученым, и композитором Лотцем, который теперь подвизался агентом по продаже стиральных машин. Джесси Штайн потчевала гостя пирожными так, будто он только что закончил курс лечебного голодания. Боссе покинул Германию незадолго до начала войны, много позже, чем подавляющее большинство эмигрантов.

— Надо было языки учить, — сетовал он. — Не латынь и греческий, а английский. Жил бы сейчас куда лучше.

— Ерунда! — решительно не соглашалась Джесси. — Английский ты еще выучишь. А плохо тебе сейчас только потому, что этот выродок эмигрантский подло тебя обманул. Так и скажи!

— Ну, Джесси, случаются ведь вещи и похуже.

— Обманул да еще и обокрал! — Джесси кипятилась так, что ее рюши тряслись мелкой дрожью. — У Боссе была замечательная коллекция почтовых марок. Самые ценные экземпляры он еще в Берлине отдал другу, когда тому разрешили выезд. На сохранение, пока сам Боссе за границу не выберется. А теперь тот утверждает, что никаких марок в глаза не видал.

— У него, конечно, их конфисковали на границе? — спросил Хирш. — Все обычно так говорят.

— Этот подлец гораздо хитрей. Скажи он так, он бы признал, что брал эти марки, и тогда у Боссе было бы хоть какое-то право на возмещение ущерба.

— Нет, Джесси, не было бы у него такого права, — сказал Хирш. — Расписку вы, конечно, не брали? — обратился он к Боссе.

— Конечно нет! Это было исключено. У меня бы могли ее найти!

— А у него найти марки, — добавил Хирш.

— Вот-вот. А у него найти марки.

— И обоих бы вздернули, верно? И его и вас. Потому вы и расписку не брали.

Боссе смущенно кивнул.

— Потому я и не предпринимал ничего.

— Вы и не могли ничего предпринять.

— Роберт! — воскликнула Джесси с досадой. — Эдак ты еще, чего доброго, начнешь оправдывать этого подонка.

— Сколько стоили марки? Приблизительно? — допытывался Хирш.

— Это были лучшие мои экземпляры. Тысячи четыре-пять я бы в магазине за них выручил. Долларов.

— Целое состояние! — распалялась Джесси. — А сейчас ему даже нечем заплатить за экзамены на врача!

— Вы правы, конечно, — сказал Боссе, соглашаясь с Хиршем и даже как бы извиняясь перед ним. — Все лучше, чем если бы они нацистам достались.

Джесси смотрела на него почти с негодованием.

— Вечно это "все лучше"! Почему ты хотя бы не проклянешь этого мерзавца на чем свет стоит?

— Потому что это не имеет смысла, Джесси. К тому же он брал на себя большой риск, когда соглашался провезти эти марки.

— Нет, я с ними просто с ума сойду! Ну как же не понять, как же не войти в положение? Как по-вашему, стал бы нацист вот так же миндальничать? Да он бы избил этого гада до смерти!

— Мы не нацисты.

— Ну и кто вы тогда? Вечные жертвы?

Я возвращался к себе в гостиницу. Вечер у Джесси навел меня на невеселые размышления. Я думал о Боссе, который отчаянно пытался заново построить здесь свою жизнь. В тридцать восьмом он оставил в Германии жену. Она была не еврейка. Пять лет она выдерживала давление

гестапо и не подавала на развод. За эти пять лет она из цветущей женщины превратилась в старую развалину. Не реже чем раз в две недели Боссе таскали на допрос. Поэтому каждый день с четырех до семи утра супруги тряслись от страха — людей брали обычно именно в это время. При том что сам допрос начинался иной раз на следующий день, а иногда и через несколько суток. Боссе помещали в камеру вместе с другими евреями. Они там сидели часами, обливаясь холодным потом от ужаса. Эти часы совместного ожидания превращали их в странное братство страждущих. Они шептались друг с другом, но друг друга не слышали. Их слух был обращен вовне — туда, где вот-вот должен раздаться мерный топот сапог. Да, они были братством, где каждый в меру сил тщился помочь другому достаточно бесполезным советом, однако в братстве этом взаимная приязнь загадочным образом сочеталось почти что с ненавистью — словно на всю их камеру отпущена только одна пайка спасения, и получалось, что шансы одного резко уменьшаются из-за присутствия остальных. Время от времени то одного, то другого из них элита немецкой нации вытаскивала на допрос — с руганью, пинками и зуботычинами, которые двадцатилетним молодчикам представлялись совершенно необходимым средством препровождения беззащитного человека. Тогда в камере воцарялось молчание. Они ждали. Ждали едва дыша и не осмеливаясь взглянуть друг на друга. Когда наконец, иногда много часов спустя, в камеру швыряли содрогающееся кровавое месиво человеческой плоти, все молча принимались за работу. Боссе настолько к этому привык, что, отправляясь в сопровождении гестаповцев на очередной допрос, просил свою глотающую слезы жену сунуть ему в карманы побольше носовых платков — пригодятся для перевязки. Брать с собой бинты он не отваживался. Его бы тут же обвинили в клеветнических измышлениях — вот кто рассказывает всякие ужасы про гестапо! — и уже не выпустили. Даже перевязка сокамерника была поступком, требовавшим немалого мужества. Случалось, что таких гуманистов забивали до смерти — за саботаж, за строптивость. Боссе вспоминал, в каком виде бросали в камеру арестованных после допроса. Они часто шевельнуться не могли — но некоторые из последних сил, лихорадочно вращая глазами, в которых почти не осталось проблеска мысли — этакие черные горящие угли на расквашенном лице, — охрипшим от воплей голосом шептали: “Пронесло, не оставляют!” Это означало — не оставляют в застенках, чтобы медленно сгноить в гестаповских подвалах или замучить непосильной работой в концлагере, а потом бросить на провода с электрическим током.

Боссе везло — он всякий раз возвращался. Свою врачебную практику он давно уже вынужден был уступить другому врачу. Преемник предложил ему за нее тридцать тысяч марок, а выплатил тысячу — при том что стоила она все триста тысяч. Просто в один прекрасный день явился штурмфюрер, родственник того врача, и поставил Боссе перед выбором: либо его отправляют в лагерь, поскольку он практикует как врач без разрешения, либо он берет тысячу марок и пишет расписку в том, что получил тридцать тысяч. Боссе сделал правильный выбор: он написал расписку. За эти годы жена его вполне созрела для сумасшедшего дома. Но по-прежнему не соглашалась подавать на развод. Ей казалось, что этим она спасает Боссе от лагеря — как-никак она арийка. Она соглашалась развестись, только если Боссе разрешат уехать из страны. Если она будет твердо уверена, что он в безопасности. И тут Боссе неожидан-

но и несказанно подфартило. Тот самый штурмфюрер — он тем временем уже стал обер-штурмфюрером — однажды вечером его навестил. Был он в штатском и после некоторых колебаний все-таки выложил свою просьбу: не может ли Боссе сделать его подружке аборт. Он, дескать, женат, и жена его не в восторге от национал-социалистских идей насчет того, что детей должно быть как можно больше — пусть даже по двум или трем доброкачественным наследственным линиям. Она, мол, считает, что ее собственной наследственной линии для их брака вполне достаточно. Боссе отказался. Он решил, что его заманивают в ловушку. Но на всякий случай осторожно напомнил, что его преемник тоже, мол, врач, — не лучше ли господину обер-штурмфюреру обратиться к нему, как-никак родственник и к тому же — на это Боссе мягко намекнул — весьма многим ему обязан. Обер-штурмфюрер только досадливо отмахнулся.

— Да не хочет эта падла! — воскликнул он в сердцах. — Я тут попробовал однажды осторожно так, издалека с этим к нему подъехать. Так эта скотина начал мне целую лекцию читать — всю эту национал-социалистскую галиматью про наследственную массу, наследственное достояние и прочую чушь! Сами видите, вот она — благодарность! А я еще этому сопляку врачебной практикой помог обзавестись! — В мутных глазках откормленного обер-штурмфюрера Боссе тщетно искал хотя бы тень иронии. — А с вами совсем другое дело, — продолжал тот. — С вами это уж точно промежду нами останется. Шурин мой, гнида, в случае чего и проболтаться может. Да и шантажировал бы меня всю жизнь.

— Но вы могли бы в ответ шантажировать его: нелегальная хирургическая операция, тем более аборт, — это очень серьезно.

— Наш брат простой солдат, — вздохнул обер-штурмфюрер. — Я во всех этих тонкостях ни бельмеса не смыслю. А с вами, голубчик доктор, все гораздо проще. Вам запрещено работать, мне запрещено даже заикаться про аборт, тут дело верное, для нас обоих никакого риска. Подружка придет к ночи, а утром отправится домой. Лады?

— Ну уж нет! — выкрикнула госпожа Боссе с порога. Беспокоясь о муже, она стояла под дверью и все слышала. Теперь, как потревоженный призрак, она стояла перед ними, ухватившись за дверной косяк. Боссе вскочил.

— Оставь меня! — осадила его жена. — Я все слышала. Ты этого не сделаешь. Не сделаешь, пока не получишь разрешение на выезд. Это наша цена. Устройте ему разрешение на выезд, — обернулась она к обер-штурмфюреру.

Тот попытался было ей втолковать, что это совсем не по его части. Но она была неумолима. И даже пустилась на шантаж: мол, она все выложит его начальству. Обер-штурмфюрер ее высмеял: да кто ей поверит! Тут показание и там показание. Ее слово против его слова! Обер-штурмфюрер и какая-то жена еврея!

— Такая же арийка, как и вы, — парировала госпожа Боссе, впервые в жизни произнося смешное слово "арийка". — А насчет показаний — девчонка-то беременна, это и будет самое бесспорное показание.

Боссе смотрел на жену во все глаза: такой он ее в жизни не видел. И глянь-ка, ей и вправду удалось убедить обер-штурмфюрера. Тот сперва пытался отделаться посулами — но она на пустые обещания не поддалась. Сперва разрешение — потом аборт. И свершилось почти невозможное! У обер-штурмфюрера нашлись нужные связи, к тому же госпожа Боссе в случае выезда мужа гарантировала развод. То ли одно подейство-

вало, то ли другое — но подействовало! В дебрях этой костоломной бюрократии ужаса случались вот такие просветы везения. Примерно две недели спустя ночью пришла подружка. Кстати, когда все было позади, обер-штурмфюрер заявил Боссе, что есть, оказывается, еще одна важная причина, по которой он выбрал именно его: еврейскому врачу он доверяет куда больше, чем своему кретину шурину. И даже выплатил ему гонорар — двести марок. Боссе отказывался, но тот просто запихнул деньги ему в карман.

— Вы уж поверьте, голубчик доктор, они вам еще ой как пригодятся! — Подружку свою он действительно любил.

Что до Боссе, то от постоянного страха он стал настолько недоверчив и суеверен, что даже не попрощался с женой. Ему казалось, этим он как бы перехитрит судьбу. Мол, если попрощается, его обязательно задержат на границе. Но его пропустили. Сперва он очутился во Франции. Потом в Лисабоне. А теперь он ночи напролет дежурил в госпитале в Филадельфии и страшно раскаивался, что даже не поцеловал жену на прощание. Он был очень деликатный человек и не мог себе этого простить. Жену он очень любил. Он никогда больше о ней не слыхал. Да это и немудрено — ведь вскоре грянула война.

У дверей гостиницы "Мираж" стоял "роллс-ройс" с шофером. Выглядел он здесь как золотой слиток в помойной яме.

— Вон идет вам провожатый, — услышал я обращенный к кому-то голос Мойкова из плюшевого будуара. — У меня, к сожалению, времени нет.

Мария Фиола вышла мне навстречу из пальмового закутка. На ней был светлый облегающий костюм для верховой езды, в котором она выглядела совсем юной.

— "Роллс-ройс" на улице — это, конечно, ваш? — полюбопытствовал я.

Она засмеялась.

— Временно. У нас были съемки спортивной моды. Вот я и взяла его взаймы. Во мне ничего подлинного, все заемное.

— Тиара Марии Антуанетты была подлинная, — возразил я. — Да и "роллс-ройс" вроде тоже настоящий.

— Согласна. Но это же все не мое. Получается, я мошенница: вещи подлинные, а сама я подделка. Вас это больше устраивает?

— Это гораздо опаснее, — сказал я и посмотрел на нее.

— Она ищет сопровождающего, — объяснил Мойков. — У нее "роллс-ройс" только на сегодняшний вечер. Завтра утром надо его вернуть. Не хочешь на один вечер стать странствующим авантюристом в шикарном авто?

— Я всю жизнь странствующий авантюрист. Правда, не такой элегантный. Это будет что-то новенькое.

— Вот и хорошо.

Мысленно я пересчитал свои деньги. Денег хватало — даже для пассажира "роллс-ройса". У меня еще оставались комиссионные Сильвера за голубой молитвенный ковер.

— Куда едем ужинать? — спросил я. — В "Вуазан"?

— В "Вуазан" в таком мартышкином наряде меня вечером не пустят, — сказала Мария Фиола. — К тому же я уже поела. И шофер тоже. Спортивная фирма устроила небольшой прием. А как вы? Не найдется ли где-нибудь в городе новой порции божественного гуляша?

— Только остатки шоколадного торта. Ну, еще несколько марино-

ванных огурчиков и пара ломтей черного хлеба. Весьма скудное меню.

— Маринованные огурцы очень даже кстати. И хлеб тоже. У меня там в машине бутылка водки.

Мойков встрепенулся.

— Русской?

Мария Фиола улыбнулась.

— Кажется. Пойдемте лучше в машину, Владимир Иванович! Сами и проверите. Только стаканчик побольше не забудьте.

Мы последовали за ней. Водка оказалась русской. Мария Фиола налила Мойкову полный стаканчик. Водка была ледяная — в "роллс-ройсе", оказывается, имелся даже небольшой встроенный холодильник. Мойков отпил глоток и благоговейно, словно утоляющий жажду сизарь, закатил глаза к небу.

— Вот когда сразу чувствуешь себя жалким самогонщиком! — вздохнул он.

— Отчаяние верного копииста перед лицом оригинала! — поддел я Мойкова. — Учись, Владимир! Главное — не падать духом! Твоя зубровка, кстати, по меньшей мере не хуже.

— Даже лучше, — добáвила Мария с нежностью. — В ней есть свой секрет: она утешает в минуты скорби. Ваше здоровье, Владимир Иванович!

Мы поехали вверх по Пятой авеню к Центральному парку. Было еще очень жарко. Из зоопарка доносился вечерний рык львов. Пруды в парке, словно из свинца, застыли в полной неподвижности.

— Этот костюм ужасно меня стесняет, — пожаловалась Мария Фиола. С этими словами она опустила шторку на окне, отделявшем нас от шофера. Тут я заметил и на остальных окнах такие же шторки. Они превращали машину в уютную комнату, куда нельзя заглянуть с улицы. Мария раскрыла свою сумку. — Сейчас надену что-нибудь полегче. По счастью, я захватила с собой старое платье.

Она сняла с себя жокейский жакет и короткие коричневые сапожки мягкой кожи. Потом принялась стягивать жокейские лосины. Сиденья в машине были широкие, удобные, и все равно ей не хватало места. Я мало чем мог ей помочь. Мне оставалось только покорно сидеть в сафьяновом полумраке салона, по которому зелеными отсветами скользили тени парка, слушать мерный рокот мотора и вдыхать аромат духов, распространявшийся вокруг по мере того, как Мария разоблачалась. Делала она это без малейшего смущения — наверно, рассудила, что на показе в фотостудии я уже все равно видел ее почти нагишом. Что ж, это так, но тогда вокруг было много людей и света. А теперь мы совсем рядом, в полумраке и наедине.

— Какая вы загорелая, — заметил я.

Она кивнула.

— А я совсем белая и не бываю никогда. При малейшей возможности стараюсь полежать на солнышке. В Калифорнии, в Мексике, во Флориде. Всегда где-нибудь есть теплые края. А при нашей жизни нас то и дело туда на съемки посылают.

Голос ее звучал низко, чуть приглушенно. Я давно заметил, что в обнаженном виде женщины всегда говорят иначе, чем в одетом. Мария Фиола вытянула свои ослепительные ноги во всю длину и начала неспешно складывать жокейские лосины. Потом, порывшись в сумке,

извлекла оттуда белое платье. Она была невероятно красива — очень тоненькая, но косточки нигде не выпирают. Французы называют такое сложение "fausse maigre"[1]. Я страстно ее желал, но с места не сдвинулся. Гротескные сцены изнасилования в авто — это не для меня. К тому же и шофер рядом.

Мария открыла окно, оставив шторку закрытой. Освежающий воздух моря ворвался в салон, смешиваясь с ароматом духов. Она вдохнула его полной грудью.

— Еще минутку, — сказала она. — Потом я надену платье. Водка в холодильничке. И рюмки там же.

— Слишком жарко для водки, — сказал я. — Даже для русской.

Она раскрыла глаза.

— По-моему, там есть и шампанское в маленьких бутылках. Эта машина шикарно оборудована. Владелец как-то связан с внешней политикой. Отсюда и водка. В Вашингтоне русское посольство есть. Как-никак наши союзники. Можно мне маринованный огурчик?

Я развернул пергаментную бумагу и протянул ей пакетик. Бюстгальтера на ней не было; я успел заметить, что он ей и не нужен. На ней были только шелковые трусики. Кстати, от жары она ничуть не сомлела. Скорее от нее веяло прохладой, свежестью и свободой.

— Ах, как хорошо! — вздохнула она, беря огурец. — А теперь маленький глоточек водки. На мизинец, не больше.

Я нашел рюмки. Они были очень тонкого хрусталя. У владельца машины, судя по всему, недурной вкус.

— А вы разве не выпьете? — спросила Мария.

Я не мог вообразить себе мотивы, по которым владелец лимузина был бы счастлив тратить на меня свои запасы спиртного.

— Вы превратите меня в паразита, — заявил я. — В паразита поневоле.

Она засмеялась. У нее сейчас и смех был совсем не такой, как днем, в одежде.

— В таком случае почему бы вам не стать паразитом-добровольцем. Это куда приятнее.

— Тоже верно. — Я налил рюмку и себе. — Ваше здоровье!

— Ваше здоровье, Людвиг!

Мария Фиола легким движением скользнула в платье и сунула ноги в белые сандалии. Потом подняла шторки на окнах. Иссякающий вечерний свет ворвался в машину. Закат был в самом разгаре. Мы как раз проезжали музей Метрополитен. Красное зарево хлынуло в машину столь внезапно, что я вздрогнул. Музей, ослепительный закат — где я все это уже видел? Я понял это тотчас же, просто осознавать не хотел. Темный силуэт за окном, нестерпимый багрянец закатного солнца, бездыханные тела на земле и скучливый голос с жестким саксонским прононсом:

— Продолжайте! Следующего берем!

Я слышал, как Мария говорит мне что-то, но не понимал ее. Воспоминания врезáлись в мозг с пронзительным визгом, будто зубья электропилы. В тот же миг все пронеслось передо мной снова. Я машинально схватил рюмку и залпом выпил. Мария Фиола опять что-то мне говорила. Я глядел на нее и кивал. Но по-прежнему не понимал ни слова. Застывшим взглядом я смотрел прямо перед собой. Она была где-то далеко. Потом сделала какое-то движение рюмкой. Я поднял бутылку. Она покачала головой и засмеялась. И только тут ее голос снова разделился на слова:

1. Обманчивая худоба (*франц.*).

— Не хотите прогуляться? — спрашивала она. — Тут ведь ваши места. Йорквилл.

— Да, — ответил я.

Я был рад выйти из машины. Мария что-то сказала шоферу. Я оглядывался по сторонам, стараясь дышать поглубже. Широкая улица, дома, небо, воздух.

— Где это мы? — спросил я.

— На Восемьдесят шестой улице. В Германии.

— В Германии?

— В Йорквилле. В немецком квартале. Вы что, никогда здесь не были?

— Нет.

— Хотите, поедем дальше?

Я покачал головой. Она продолжала наблюдать за мной. Я не мог понять, зачем она меня сюда притащила, но спросить остерегался.

Улица, хоть и широкая, тотчас же напомнила мне омерзительный заштатный немецкий город средней руки. Кондитерские и булочные, колбасные лавки и пивные прилежно окаймляли мостовую.

— Вон кафе "Гайгер", — показала Мария. — Славится своими пирожными. Немцы ведь большие любители пирожных, верно?

— Да, — ответил я. — Пирожных и колбас. Так же, как итальянцы любители макарон. Ничего нет удобнее таких вот обобщений, — любезно добавил я. Не хотелось мне втягиваться в очередной глупый национальный спор. Не сейчас.

Мы молча шли по улицам. Чувство было тягостное. Мне казалось, будто я все воспринимаю в каком-то смещенном, сдвоенном виде. Вокруг то и дело слышалась немецкая речь, а я все равно всякий раз вздрагивал; то я видел просто наглухо закрытые ставни, а то мне мерещилось за ними недремлющее око и ухо гестапо, и столь велики были эти перепады чувств, бросавшие меня от спокойствия и безопасности к страху и ненависти, что я сам себе казался неопытным канатоходцем, которого без страховки вытолкнули на канат, протянутый посреди улицы между всеми этими домами и немецкими вывесками. Каждая надпись по-немецки оглушала меня, как удар. Вообще-то надписи были совершенно безобидные, но только не для меня. В них мне тоже виделся двойной, мрачный смысл, как и в людях, что шли нам навстречу и так по-будничному выглядели. Но я-то знавал их другими.

— Кафе "Гинденбург", — объявила Мария.

Своей летящей походкой манекенщицы она вышагивала рядом со мной, вожделенная, но до ужаса чужая и недоступная. Казалось, она не слышит этого спертого духа захолустья, в котором я чуть не задыхался, — этой смеси провинциальной простоты, затхлого уюта и бездумного послушания, всей этой благости, которая в любую минуту готова обернуться самым диким зверством.

— Как тут уютно, — сказала Мария.

Знаю я этот уют. В концлагерях возле бараков смерти цвели клумбы с геранями, а по воскресеньям играл лагерный оркестр; под эту музыку заключенных мучили, били плетьми, а то и медленно удавливали в петле. Не зря ведь про Гиммлера рассказывали, как нежно он любил своих ангорских кроликов. Ни одного не дал зарезать. Зато еврейских детей посылал на погибель бестрепетно. Тысячами.

Из большой пивной по соседству послышалась духовая музыка.

Немецкие марши. В окнах витрины лоснились кровяные колбасы. С минуты на минуту должен был грянуть "Хорст Вессель"[1].

— По-моему, с меня хватит, — сказал я.

— С меня тоже, — откликнулась Мария.

— Тогда пойдем?

— Не пойдем, а поедем. Обратно в Америку, — сказала Мария.

XIII

— Где вы пропадаете? — накинулся на меня Реджинальд Блэк.

Я показал ему на часы. Было десять минут десятого.

— Адвокатские конторы тоже только в девять открываются, — сказал я. — А мне надо было уплатить долг.

— Долги оплачиваются чеком. Это куда удобнее.

— Я пока что не обзавелся банковским счетом, — огрызнулся я. — Только долгами.

Блэк меня поразил. Это был совсем не тот холеный светский господин с вальяжными манерами, каким я его знал. Сегодня это был собранный, очень нервный человек, хотя и не желающий выказывать свою нервность. Лицо его изменилось: куда-то подевалась вдруг припухлая мягкость, и даже ассирийская бородка казалась тверже и острей, уже не ассирийская, а скорее турецкая. Этакий салонный тигр, вышедший на охоту.

— У нас мало времени, — деловито сказал он. — Надо перевесить картины. Пойдемте!

Мы прошли в комнату с двумя мольбертами. Из соседнего, за стальной дверью укрывшегося помещения он вынес две картины и поставил передо мной.

— Скажите быстро — только не думайте! — какую из них вы бы купили. Скорее!

Это были два Дега, оба с танцовщицами. И без рам.

— Какую? — наседал Блэк. — Одну из двух. Какую?

Я кивнул на левую.

— Эта вот нравится мне больше.

— Меня не это интересует. Я спрашиваю, какую бы из них вы купили, будь вы миллионером?

— Все равно левую.

— А какую вы считаете более ценной?

— По всей видимости, другую. Она просторней в композиции, не до такой степени эскизна. Да вы же сами все это лучше меня знаете, господин Блэк!

— В данном случае как раз нет. Меня интересует спонтанное, если хотите, наивное суждение дилетанта. Я имею в виду — клиента, — добавил он, перехватив мой взгляд. — Да не торопитесь вы обижаться! Сколько эти картины стоят, я и сам знаю. А вот клиент — это всегда неизвестная величина. Теперь понимаете?

— Почему бы вам не показать клиенту обе картины сразу? — спросил я.

Блэк посмотрел на меня, как на дитя малое.

— Это будет полное фиаско, — объяснил он. — Он же никогда не решится выбрать и в итоге не купит ничего. Показывают обычно три-четыре картины, и не одного мастера. Всегда разных. Если покупатель ни на что

1. Известная нацистская песня.

не клюнул, вы его отпускаете с богом, а не кидаетесь показывать все, что у вас есть. И ждете, пока он придет снова. Этим и отличается настоящий торговец искусством от дилетанта: он умеет ждать. Когда клиент приходит снова, – если он вообще приходит, – ему сообщают, что две картины из тех, что ему показывали в прошлый раз, уже ушли, – даже если на самом деле они стоят в соседней комнате. Или что они отосланы на выставку. Потом ему снова показывают две-три работы из первой партии, а к ним еще две-три, ну от силы четыре новых. Можно еще сказать, что какая-то из ваших картин сейчас как раз на просмотре у клиента. Это тоже оживляет интерес покупателя. Нет ничего заманчивее, как увести покупку из-под носа у конкурента. Все это называется прикормить клиента. – Реджинальд Блэк выпустил облачко сигарного дыма. – Как видите, я вовсе не хотел вас оскорбить; напротив, хочу воспитать из вас хорошего торговца живописью. Теперь нам нужно поместить картины в рамы. Это закон номер два: никогда не показывать клиенту картины без рам!

Мы пошли в комнату, где висели рамы всех видов и размеров.

– Даже директору музея! – продолжал наставлять меня Реджинальд Блэк. – Разве что другому торговцу живописью. Рамы для картин все равно что платья для женщин. Даже Ван Гог мечтал о роскошных рамах. А купить не мог. Он и картины-то свои продать не мог. Какую раму вы выберете для этого Дега?

– Наверно, вот эту!

Блэк покосился на меня с уважением.

– Неплохо. Но мы возьмем другую. – И он засунул танцовщицу в массивную, богато декорированную барочную раму. – Ну как?

– Несколько пышновато для картины, которая даже не закончена.

На обеих картинах был хорошо различим красный факсимильный штемпель мастерской Дега. Он даже не сам их написал – ученики постарались.

– Как раз поэтому! – воскликнул Блэк. – Не бывает слишком пышной рамы, особенно для картины, которая, скажем так, скорее эскиз.

– Понимаю. Рама все скрадывает.

– Она возвышает. Она сама по себе настолько законченна, что придает законченность и картине.

Блэк был прав. Дорогая рама преобразила картину. Она вдруг вся ожила. Правда, она теперь выглядела несколько хвастливо, но это и было то, что нужно. Картина ожила. Ее перспективы не убегали больше в бесконечность, – крепко схваченные прямоугольником рамы, они обрели опору и смысл. Все, что прежде, казалось, безалаберно и разрозненно болтается в пространстве, разом оформилось в единое целое. Прежде случайное стало непреложным, даже непрописанные места смотрелись так, будто они оставлены с умыслом.

– Некоторые торговцы экономят на рамах. Скупердяи. Они думают, клиенты не замечают, когда им подсовывают позолоченную штамповку, этакую гипсовую уродину. Может, осознанно они этого и не замечают, но картина-то смотрится бедней. Картины – они аристократки, – изрек Блэк.

Теперь он подыскивал раму для второго Дега.

– Вы что же, вопреки вашим же принципам все-таки намерены показать две работы одного мастера? – спросил я.

Блэк улыбнулся.

– Нет. Но я хочу вторую картину держать в засаде. Никогда не зна-

ешь, как пойдет торг. Принципы тоже должны быть гибкими. Что вы скажете об этой раме? По-моему, подходит. Людовик Пятнадцатый. Красота, правда? Эта рама сразу делает картину тысяч на пять дороже.

— А сколько стоит рама эпохи Людовика Пятнадцатого?

— Сейчас? От пятисот до семисот долларов. Все война проклятая виновата. Из Европы же ничего не доходит.

Я глянул на Блэка. Тоже причина проклинать войну, подумал я. И даже вполне резонная.

Картины уже были в рамах.

— Отнесите первую в соседний кабинет, — сказал Блэк. — А вторую в спальню жены.

Я посмотрел на него ошарашенно.

— Вы не ослышались, — сказал он. — В спальню моей жены. Хорошо, пойдемте вместе.

У госпожи Блэк была очень миленькая, можно даже сказать, женственная спальня. Между шкафчиками и зеркалами висело несколько рисунков и пастелей. Блэк окинул их орлиным взором полководца.

— Снимите-ка вон тот рисунок Ренуара и повесьте на его место Дега. Ренуара мы повесим вон там, над туалетным столиком, а рисунок Берты Моризо уберем совсем. Портьеру справа мы наполовину задернем. Еще чуть-чуть — вот так, теперь свет в самый раз.

Он был прав. Тяжелое золото задернутой портьеры придало картине нежности и тепла.

— Стратегия в торговле — половина успеха. Клиент неспроста хочет застать нас врасплох, с утра пораньше, когда картины выглядят дешевле. Но мы встретим его во всеоружии.

И он продолжил свой инструктаж по вопросам коммерческой стратегии. Картины, которые он хотел показывать, я должен был по очереди вносить в комнату, где стояли мольберты. На четвертой или пятой картине он попросит меня принести из кабинета второго Дега. На это я должен ему напомнить, что Дега висит в спальне госпожи Блэк.

— Говорите по-французски сколько влезет, — учил он меня. — Но когда я спрошу про Дега, тут уж ответьте по-английски, чтобы и клиент вас понял.

Раздался звонок в дверь.

— А вот и он, — воскликнул Блэк, весь воспрянув. — Ждите здесь наверху, пока я вам не позвоню.

Я прошел в кабинет, где на деревянных стеллажах стояли картины, и уселся на стул. Блэк пружинистым шагом поспешил вниз поприветствовать гостя. В кабинете имелось только одно небольшое оконце с матовым стеклом, забранное к тому же массивной решеткой. У меня сразу возникло странное чувство, будто я сижу в тюремной камере, куда для разнообразия поместили на хранение сколько-то картин общей стоимостью в несколько сот тысяч долларов. Молочный свет из матового окошка напомнил мне о камере в швейцарской тюрьме, где я однажды просидел две недели за нелегальное пребывание в стране без документов, — самый распространенный эмигрантский деликт. Камера была вот такая же аккуратная и чистенькая, и я с удовольствием посидел бы в ней еще: кормежка в тюрьме была приличная, и топили не скупясь. Но через две недели непогожей ночью меня доставили в Аннемас к французской границе, я получил на прощанье сигарету и дружелюбный тычок в спину:

— Марш во Францию, приятель! И не вздумай больше у нас в Швейцарии показываться!

Должно быть, я задремал. Во всяком случае, звонок раздался для меня неожиданно. Я спустился к Блэку. Внизу я узрел тучного мужчину с красными ушами и маленькими глазками.

— Месье Зоммер, — пропел Блэк елейным тоном, — пожалуйста, принесите нам Сислея, тот светлый пейзаж.

Я принес светлый пейзаж и поставил его перед гостем. Блэк долгое время ничего не говорил, он безучастно разглядывал в окно облака.

— Ну как, вам нравится? — спросил он затем нарочито скучливым голосом. — Сислей своей лучшей поры. Половодье. То, что все хотят заполучить.

— Мура, — сказал клиент тоном еще более скучливым, чем Блэк.

Блэк улыбнулся.

— Тоже разновидность критики, — саркастически заметил он. — Месье Зоммер, — обратился он затем ко мне по-французски, — пожалуйста, унесите этого великолепного Сислея.

Я на секунду замешкался, ожидая, что Блэк попросит меня принести что-нибудь еще. Но, поскольку просьбы не последовало, я пошел с Сислеем к двери, уже на пороге услышав, как Блэк сказал клиенту:

— Вы сегодня не в настроении, господин Купер. Лучше отложим до другого раза.

"Хитер! — подумал я, сидя в своем матовом закутке. — Теперь ход за Купером". Когда некоторое время спустя меня вызвали снова, я застал обоих в молчании: они курили дежурные сигары, которые Блэк держал для клиентов, — "Партагас", как установил я позже, поднося очередные картины. Наконец прозвучал пароль и для меня.

— Но этого Дега здесь нет, господин Блэк, — тактично напомнил я.

— Как нет? Конечно, он здесь. Не украли же его, в самом деле.

Я подошел к нему, слегка склонился к его уху и прошептал:

— Картина наверху, в комнате у госпожи Блэк...

— Где?

Я повторил по-английски: картина у госпожи Блэк в спальне.

Блэк стукнул себя по лбу.

— Ах да, правильно! Я же совсем забыл. День нашей свадьбы, — ну что ж, тогда ничего не выйдет...

Я смотрел на него с неприкрытым восторгом; опять он предоставил право хода Куперу. Он не приказал мне все-таки принести картину, он не сказал, что картина теперь принадлежит жене, — он просто все подвесил в воздухе и спокойно ждал.

Я отправился в свою горенку и тоже стал ждать. Мне казалось, Блэк поймал на крючок акулу, но я вовсе не был уверен, что акула при случае не проглотит Блэка. Впрочем, положение Блэка все же было предпочтительней. Самое скверное, что ему грозило, — это что акула откусит крючок и уплывет. Предполагать, что Блэк продешевит, было глупо — такое просто исключено. Впрочем, акула, надо признать, предпринимала довольно оригинальные попытки сбить цену. Дверь моя была приоткрыта, и в щелку я слышал, как разговор все больше склоняется к общим рассуждениям на тему сложного экономического положения и войны. Акула не хуже Кассандры пророчила всяческие бедствия: крах биржи, долги, банкротства, новые расходы, новые битвы, кризисы и

даже угрозу коммунизма. Короче, падать будет все. Единственное, что сохранит свою ценность, так это наличные деньги. Тут акула с нажимом напомнила о тяжелом кризисе начала тридцатых. У кого тогда имелись наличные деньжата — тот был король и мог что хочешь купить за полцены, да что там, за треть, за четверть, за десятую долю цены! В том числе и картины! Особенно картины! И акула задумчиво добавила:

— Предметы роскоши: мебель, ковры, картины всякие — тогда вообще подешевели раз в пятьдесят.

Блэк невозмутимо налил гостю отменного коньяку.

— Зато потом все эти вещи снова поднялись в цене, — изрек он. — А деньги упали. Вы же сами прекрасно знаете: сейчас деньги стоят вдвое меньше, чем тогда. Они-то снова в цене не поднялись, зато картины подскочили во много раз. — Он издал короткий притворный смешок. — Да-да, инфляция! Она началась два тысячелетия назад и все продолжается, продолжается. Реальные стоимости растут, а деньги падают, так уж устроен мир.

— Тогда вам вообще ничего продавать нельзя, — парировал Купер с довольным хохотком.

— О, если бы я мог, — отозвался Блэк, нисколько не сбитый с толку. — Я и так продаю только самую малость. Но ведь налоги надо платить. И оборотный капитал нужен. Да вы порасспросите других моих клиентов. Я же с ними просто благотворительностью занимаюсь! Вот недавно одну танцовщицу Дега, которую лет пять назад продал, у своего же клиента за двойную цену обратно выкупил.

— Это у кого же? — не вытерпела акула.

— Этого я вам, разумеется, не скажу. Вам ведь не понравится, если я всем раструблю, по каким ценам вы у меня покупаете? А потом иной раз перепродаете?

— Ну почему же? — Акула не давала себя обескуражить.

— Зато другие этого очень не любят. И я вынужден с ними считаться. — Блэк слегка подался вперед, собираясь встать. — Жаль, что вы сегодня ничего не подобрали, господин Купер. Что ж, может, в другой раз. Правда, те же цены я вам, сами понимаете, гарантировать не могу.

Акула тоже встала.

— По-моему, вы хотели показать мне еще одного Дега? — спросил он как бы невзначай.

— Это того, что в спальне у жены висит? — Блэк колебался. Потом я услышал звонок. — Господин Зоммер, моя жена у себя?

— Она полчаса назад вышла.

— Тогда, пожалуйста, принесите-ка нам того Дега, что висит у зеркала.

— Боюсь, придется немного подождать, господин Блэк, — сказал я. — Стена там у вас ненадежная, пришлось деревянный дюбель вставить. Ну, и картину к этому дюбелю на шурупе прикрепить. Но это минутное дело.

— Оставьте, — сказал Блэк. — Лучше мы сами сходим туда и посмотрим. Как вы считаете, господин Купер?

— Я-то не против.

Я снова притаился в своем логове среди картин, как Фафнир[1] на золоте Рейна. Через некоторое время они вернулись, и я был послан в спальню, дабы отвинтить крепежи и принести картину вниз. Поскольку отвинчивать было нечего, я провел в спальне несколько минут про-

1. Фафнир — мифологический дракон, побежденный Зигфридом, героем «Песни о Нибелунгах».

сто так. Окно спальни выходило во двор, и в противоположном окне, где кухня, я увидел госпожу Блэк. Она сделала вопросительный жест. Я энергично покачал головой: нет, пока нельзя! Госпоже Блэк все еще надлежало оставаться на кухне.

Я принес картину в серый плюшевый салон и вышел. Продолжение разговора я уже слышать не мог: Блэк плотно притворил за мной дверь. А мне так хотелось насладиться деликатностью, с которой он даст понять, что картина эта — его подарок жене к десятилетию их свадьбы и что, в сущности, он бы очень хотел ее сохранить; впрочем, в одном я не сомневался: он сделает это столь искусно, что акула не учует ни малейшего подвоха.

Прошло еще примерно полчаса; после чего Блэк сам ко мне явился и вызволил меня из моего эстетического затворничества.

— Дега можете обратно не вешать, — сообщил он мне. — Завтра доставите его господину Куперу.

— Поздравляю!

Он скривился.

— На что только не приходится пускаться! А ради чего? Через два года он будет в кулачок смеяться — так подскочат картины в цене!

Я повторил вопрос Купера:

— Тогда зачем вы вообще продаете?

— Потому что не могу без этого! Меня увлекает сам торг! Я по натуре игрок. Но в наши дни достойных противников уже не осталось. В сущности, я играю против себя же. Кстати, придумка насчет привинченной картины была совсем недурна. Вы делаете успехи.

Вечером я пошел к Джесси Штайн. И застал ее с заплаканными глазами, в состоянии крайней подавленности. У нее в гостиной сидели еще несколько знакомых, которые, судя по всему, пришли ее утешить.

— Может, я некстати? Я и завтра могу прийти, я только хотел поблагодарить.

— За что?

Джесси смотрела на меня с недоумением.

— За помощь с адвокатом, — объяснил я. — За то, что ты послала к нему Бранта. Мне визу продлили еще на два месяца.

Она вдруг залилась слезами.

— Да что случилось? — спросил я у актера Рабиновича, который обнял Джесси и начал ее успокаивать.

— А вы разве не знаете? — шепотом спросил меня Липшюц. — Теллер умер. Позавчера.

Рабинович подал мне знак больше вопросов не задавать. Он препроводил Джесси на софу, после чего вернулся. В кино он играл маленькие роли злодеев нацистов, а в жизни был очень добрый, мягкий человек.

— Теллер повесился, — сообщил он мне. — Липшюц его нашел. Он уже сутки висел, если не двое. У себя в комнате. На люстре. Все лампы горели. В люстре тоже. Должно быть, не хотел умирать в темноте. Так что, наверно, ночью повесился.

Я собрался уходить.

— Лучше останьтесь, — сказал Рабинович. — Чем больше у Джесси людей, тем для нее лучше. Она не выносит одиночества.

Воздух в комнате был спертый и душный. Из какого-то загадочного, первобытного суеверия Джесси не позволяла открывать окна: дес-

кать, скорбь об умершем нельзя выпускать на свежий воздух, это нанесет ущерб покойному. Когда-то я слыхал, что если в доме покойник, то наоборот, надо все окна открыть, дабы выпустить на волю его блуждающую душу, но о таком странном обычае — закрывать окна, чтобы сберечь в доме скорбь, когда сам усопший уже где-то в морге лежит, — мне слышать не доводилось.

— Старая я дура, — сказала Джесси и решительно высморкалась. — Пора взять себя в руки. — Она встала. — Сейчас я сварю вам кофе. Или вы чего-нибудь другого хотите?

— Да ничего мы не хотим, Джесси! Оставь, пожалуйста!

— Нет-нет, сейчас я сделаю кофе.

И в своем пышном шуршащем платье она проследовала на кухню.

— Известна хотя бы причина? — спросил я у Рабиновича.

— Он не был особенно беден, так что это не от бедности. И болен не был. Недели две тому назад Липшюц его видел.

— Но он хотя бы работал?

— Он все время писал. Но не печатался. За последние лет десять у него ни строчки не опубликовали, — сказал Липшюц. — Но это со многими так. Чтобы только из-за этого — вряд ли.

— И ничего не оставил? Ни письма, ни записки?

— Ничего. Висел на люстре, лицо синее, язык вывален, глаза раскрыты, и мухи по ним ползают. В общем, довольно жуткая картина. Эти глаза... — Липшюца передернуло. — Самое скверное: Джесси обязательно хочет с ним попрощаться.

— А где он сейчас?

— В похоронном бюро. Их тут называют Funeral Home. Дом упокоения. Звучит-то как! Трупы там прихорашивают. Еще не бывали в этих заведениях? Непременно сходите. Американцы народ молодой, они не желают признавать смерть. Своих мертвых они гримируют, будто те просто спят. А многих и бальзамируют.

— Если он будет накрашен, Джесси может и не... — я не договорил.

— Вот и мы так подумали. Но у Теллера это почти невозможно скрыть. Столько грима просто не бывает. Да это и слишком дорого. Смерть в Америке ужасно дорогая штука.

— Не только в Америке, — проронил Липшюц.

— Но только не в Германии, — сказал я.

— Во всяком случае в Америке это очень дорого. Мы и так выбрали самое скромное похоронное бюро. И все равно, даже по самому дешевому разряду это обойдется во много сотен долларов.

— Будь у Теллера такие деньги, он бы, глядишь, и не повесился, — мрачно заметил Липшюц.

— Может быть.

В комнате, где у Джесси висели фотографии, я заметил перемены. Теллера уже не было среди живых, его фото переехало на противоположную стену. На нем, правда, еще не было траурной рамки, но к обычной золоченой окантовке Джесси уже прикрепила траурную вуаль черного тюля. Теллер улыбался из этого странного обрамления и выглядел лет на пятнадцать моложе — фотография была чуть ли не юношеская. И само это фото, и траурная вуаль — все было нескладно. Но даже в этой нескладности чувствовалась боль, и боль неподдельная.

Вошла Джесси с подносом и из кофейника с цветочками стала разливать кофе по чашкам.

— Вот сахар и сливки, — объявила она.

Все принялись за кофе. Я тоже.

— Похороны завтра, — сказала она мне. — Ты придешь?

— Если смогу.

— Все его знакомые должны прийти! — Голос Джесси взволнованно зазвенел. — Завтра в половине первого. Мы специально так выбирали время, чтобы мог прийти каждый.

— Я приду, Джесси. Само собой.

Ночью я проснулся как от толчка. Я не сразу понял, где сон, а где явь, и включил свет, чтобы поскорее избавиться от наваждения. Это был не тот обычный эмигрантский сон, какие видишь часто, — когда эсэсовцы гонятся за тобой по пятам, потому что ты, по глупости перейдя границу, вдруг снова в Германии, и вокруг одни убийцы, и деться некуда, и... От таких снов просыпаешься иной раз и с криком, но это нормальные сны отчаяния, сны про западню, куда ты угодил по недосмотру и легкомыслию. Достаточно вытянуться на постели, увидеть в окне красноватый мрак ночного города, чтобы понять: ты спасен.

Этот сон был совсем другой, невнятный, тягучий, склеившийся из нескольких кусков, какой-то гибельный, тоскливый, рыхлый и неотвязный, без начала и конца. Мне снилась Сибилла, она беззвучно кричала что-то, я пытался подойти к ней, но уже по колено увяз в липкой густой мешанине из смолы, грязи и кровавых сгустков, я видел ее глаза, в страхе устремленные на меня и кричавшие мне без слов: “Беги! Беги!”, а потом: “Помоги! Помоги!”

XIV

Реджинальд Блэк послал меня к Куперу — тому самому, что купил у нас Дега; надо было повесить у него картину.

— Посмотрите на его апартаменты, вам будет интересно взглянуть, — заметил Блэк. — Там вообще много интересного. Только обязательно возьмите такси: рама у танцовщицы хрупкая и к тому же подлинная.

Купер жил на десятом этаже дома на Парк авеню. Это были двухэтажные апартаменты с выходом в расположенный на крыше сад. Я ожидал увидеть слугу, но Купер меня встретил лично — по-домашнему и без пиджака.

— Входите, входите, — галантно пробасил он. — Торопиться не будем, эту прелестную зелено-голубую даму надо разместить с толком. Хотите виски? Или лучше кофе?

— Спасибо. Кофе с удовольствием выпью.

— А я виски. В такую жару это единственно разумное решение.

Я не стал ему возражать. В квартире было очень прохладно — здесь царила искусственная, слегка отдающая могильной стылостью атмосфера, создаваемая воздушным охлаждением. Окна были плотно закрыты.

Купер осторожно вызволил картину из бумаги. Я осмотрелся. Обстановка в комнате по преимуществу французская, Людовик XV, почти сплошь миниатюрные и очень добротные вещи, изящные, много позолоты, плюс к тому два кресла итальянской работы и небольшой, но великолепный, желтого дерева, венецианский комод. На стенах полотна импрессионистов. Я был поражен. Вот уж не думал, что у Купера столь изысканный вкус.

Он установил Дега на стул. Я приготовился к нападению; кофе был предложен неспроста, это я сразу понял.

— Вы действительно были ассистентом в Лувре? — начал он.

Я кивнул; не могу же я подвести Блэка.

— А прежде? — допытывался он.

— Прежде я работал в одном брюссельском музее. Почему вас это интересует?

Купер хохотнул.

— Этим торгашам ни в чем верить нельзя. Насчет того, что этот Дега принадлежал госпоже Блэк, это ведь чистой воды блеф!

— Почему? К тому же картина-то от этого ни лучше, ни хуже.

Купер стрельнул в меня хитрым взглядом.

— Разумеется, нет. Потому я ее и купил. Вы ведь знаете, сколько Блэк с меня за нее содрал?

— Понятия не имею, — сказал я.

— А как вы думаете?

— Я правда не знаю.

— Тридцать тысяч долларов!

Купер не спускал с меня глаз. Я тотчас же понял, что он врет и хочет проверить мою реакцию.

— Большие деньги, верно? — наседал он.

— Для кого как. Для меня, конечно, это очень большие деньги.

— А сколько бы вы отдали? — мгновенно спросил он.

— У меня нет таких денег.

— А если бы они у вас были?

Я решил, что за одну чашку кофе с меня довольно расспросов.

— Все, что у меня есть, — ответил я. — Любовь к искусству в наши дни самый выгодный бизнес; цены растут каждую неделю.

Купер расхохотался кудахтающим смехом, будто возбужденный индюк.

— Уж не собираетесь ли вы мне внушать, будто Блэк вчера рассказывал правду: дескать, он выкупил обратно картину на пятьдесят процентов дороже той цены, за которую ее продал.

— Нет, — сказал я.

— Ну, вот видите, — Купер ухмыльнулся.

— Я не стану вам этого внушать, потому что это действительно правда, — спокойно заметил я.

— Что-о-о?

— Это правда. Я видел записи в книгах. Да это вообще легко проверить. Попробуйте через год — через два предложить ему эту картину обратно.

— Ну, это старый трюк, — пробурчал Купер пренебрежительно, но в глубине души, похоже, все-таки успокоился. Тут его позвали к телефону. — А вы пока что осмотритесь, — бросил он мне на ходу. — Может, уже подыщете место для Дега.

Служанка, позвавшая хозяина к телефону, повела меня по дому. Не иначе у Купера были очень хорошие консультанты. Квартира в целом не напоминала музей, однако каждая вещь по отдельности была достойна музея. Я ничего не понимал: Купер не производил впечатления столь тонкого знатока. Впрочем, и такое бывает, я еще по Парижу это знал.

— А это спальня господина Купера, — сказала служанка. — Может, здесь найдется место?

Я так и обомлел на пороге. Над широченной, сквернейшего модерна кроватью тяжело нависал лесной пейзаж в массивной золотой раме, с ревущим оленем-самцом, несколькими самками да еще и ручьем на переднем плане. Картина повергла меня в полную оторопь.

– Что, господин Купер охотник? – вымолвил я наконец.

Служанка покачала головой.

– Может, он это сам нарисовал?

– Да что вы, господь с вами! Если бы он так мог! Это его любимая картина. Великолепно, правда? Все как живое. Даже пар от морды оленя видно.

– Пар видно, – согласился я и продолжил осмотр спальни.

На противоположной стене я обнаружил сентиментальный венецианский пейзаж Феликса Цима. Я чуть не прослезился от умиления, особенно когда углядел на комоде еще и несколько питейных кубков: я понял, что проник в куперовскую святая святых. Только здесь, в своей спальне, Купер чувствовал себя человеком и мог быть самим собой. Вся остальная часть квартиры была для него только антуражем, вложением денег, потехой тщеславию, в лучшем случае – объектом вялого интереса. Но истинной его страстью был этот вот ревущий олень, истинную романтику его души выражал этот вот слащавый венецианский этюд.

– Великолепно, правда? – млела хорошенькая служанка.

– Грандиозно! Но здесь ничего трогать нельзя. Сюда эта картина все равно не подходит.

Девушка повела меня по узенькой лестнице наверх. По пути до меня донесся из куперовского кабинета резкий голос хозяина, лающий по телефону какие-то приказы. На пороге террасы я остановился. Внизу раскинулся Нью-Йорк – белый, какой-то почти африканский город, но без деревьев, только небоскребы, сталь и бетон, ничего органически естественного, выраставшего столетиями, лишь решимость, порыв и нетерпение зодчих, не отягощенных бременем вековых традиций, людей, чьим высшим законом была не приземленная безопасность, но бестрепетная целесообразность. Однако как раз благодаря этому город обрел совершенно небывалую, не классическую и не романтическую, а какую-то новую, современную, дерзновенную красоту. Я глядел вниз как завороженный. Да, Нью-Йорк надо осматривать не с задранной головой, а вот так, подумал я. Отсюда, сверху, и небоскребы смотрелись совсем иначе, не чужаками-исполинами, а вполне по-свойски, как жирафы в каменных саваннах посреди зебр, газелей, носорогов и гигантских черепах.

Я заслышал сопение Купера – он поднимался по лестнице. Лицо его сияло вовсю. Не иначе успел по телефону сбыть сколько-то там десятков тысяч бомб или гранат. От возбуждения он раскраснелся, как помидор. Смерть настраивала его на жизнеутверждающий лад; к тому же и мораль была на его стороне.

– Ну что, нашли место? – спросил он.

– Вот здесь, – сказал я. – На террасе. Танцовщица над Нью-Йорком! Но на солнце пастель очень быстро поблекнет.

– Что я, с ума сошел! – возмутился Купер. – Тридцать тысяч долларов!

– И даже больше того, произведение искусства, – уточнил я. – Но можно повесить в салоне рядом, не на солнечной стороне. Вон над теми двумя бронзовыми вазами эпохи хань.

— Вы и в этом китайском старье разбираетесь? — оживился Купер. — Сколько, по-вашему, они стоят?

— Вы хотите их продать?

— Да нет, конечно. Я их только два года назад купил. За пятьсот долларов обе-две. Дорого?

— Считайте, что даром, — с горечью сказал я.

Купер расхохотался.

— А вон те терракотовые штукенции? Сколько они стоят?

— Танцовщицы, эпоха тан. Наверно, долларов по триста за каждую, — неохотно признал я.

— Мне они за сотню достались!

Физиономия Купера лоснилась от удовольствия. Он был из тех барыг, кому прибыли дарят чувственный восторг.

— Так куда повесим Дега? — спросил я. У меня пропала охота и дальше тешить самолюбие этого оружейного спекулянта. Но Купер был ненасытен.

— А вот этот ковер сколько стоит? — жадно допытывался он.

Это был армянский ковер с драконами, семнадцатый век. Зоммер, мой крестный, млел бы сейчас от восхищения.

— Ковры очень упали в цене, — сказал я. — С тех пор как в моду вошли напольные покрытия, ковров никто покупать не хочет.

— Как? Да я за него двенадцать тысяч выложил! Он что же, больше не стоит этих денег?

— Боюсь, что нет, — мстительно подтвердил я.

— Тогда сколько? Ведь все же поднялось!

— Картины поднялись, а ковры упали. Это все из-за войны. Сейчас другой покупатель пошел. Многие старые коллекционеры вынуждены продавать; а новое поколение хочет утвердить совсем другой стиль. Его легче утвердить Ренуаром на стенах, нежели потертыми старинными коврами на полу, на которых к тому же всякий посетитель будет топтаться в свое удовольствие. Сейчас мало осталось по-настоящему тонких коллекционеров старой школы вроде вас, господин Купер, — я проникновенно посмотрел ему прямо в глаза, — которые еще ценят такие великолепные ковры.

— Сколько он все-таки стоит?

— Ну, может, половину. Сегодня, правда, покупают разве что небольшие молитвенные коврики, а такие вот крупные шедевры — нет.

— Вот черт! — Купер с досадой встал. — Хорошо, повесьте Дега там, где вы сказали. Только стену мне не повредите!

— Я сделаю маленькую дырочку, будет почти незаметно. У нас специальные крепежи.

Купер удалился переживать понесенные убытки. Я быстро повесил Дега. Зелено-голубая танцовщица парила теперь над обеими почти бирюзовыми вазами и перекликалась с ними всеми оттенками своей нежной, бархатистой гаммы.

Я бережно погладил обе вазы. И тотчас ощутил особую, какую-то теплую прохладу их патины.

— Привет вам, бедные, несчастные эмигрантки, заброшенные в это роскошное логово оружейного магната и культурного варвара! — сказал я.

— Что вы там бормочете?

За спиной у меня стояла служанка. Я совсем забыл, что она где-то

тут. Видно, Купер послал ее присмотреть, как бы я чего не украл или не разбил.

— Заклинания, — ответил я. — Магические заклинания.

— Вам что, плохо?

— Нет, — сказал я. — Напротив. Мне очень хорошо. А вы похожи на эту пленительную танцовщицу. — Я указал на картину.

— На эту жирную корову? — возмутилась она. — Да я бы тут же на несколько месяцев на диету села! Ничего, кроме салата и постного творога!

Перед эшеровским домом упокоения красовались два лавровых дерева, кроны которых были острижены аккуратными шарами. Я что-то напутал со временем и пришел на час раньше. Внутри грампластинка играла органную музыку, стерильный воздух пах свечами и дезинфекцией. В зале царил полумрак, два оконных витража пропускали в помещение совсем немного света, а поскольку вошел я с солнечной улицы, я поначалу вообще ничего различить не мог. Я только услышал незнакомый голос и удивился, что это не Липшюц. Липшюц обычно над всеми умершими эмигрантами произносил надгробные речи. Он начал произносить их еще во Франции, там, правда, украдкой и наспех, чтобы не привлекать внимание полиции. Зато здесь, в Америке, он развернулся вовсю, ибо знал наверняка: никто не ждет его у ворот кладбища или на выходе из ритуального зала с ненавязчивым, но твердым предложением предъявить документы. Хирш объяснил мне, что, оказавшись здесь, в Америке, Липшюц посчитал эти напутствия умершим эмигрантам своим священным долгом. Раньше он был адвокатом и очень страдал от того, что не может больше выступать на процессах; поэтому и переключился на надгробные речи.

Мало-помалу до меня дошло, что я попал на чужие похороны. Гроб был слишком дорогой, к тому же я стал понемногу различать присутствующих и понял, что никого из них не знаю. Тогда я потихоньку выскользнул на улицу. Там я тут же повстречал Танненбаума-Смита. Оказалось, Джесси от волнения и ему назвала неправильное время.

— У Теллера были родственники? — спросил он.

— По-моему, нет. А вы разве его не знали?

Танненбаум покачал головой. Мы постояли немного под палящим солнцем. Тут из дома упокоения стали выходить люди с тех похорон, на которые я угодил по ошибке. С непривычки они беспомощно моргали, щурились на свету и торопливо расходились кто куда.

— А где гроб? — поинтересовался я.

— В задней комнате. Его потом оттуда вынесут. Там воздушное охлаждение.

Тут я увидел Липшюца. Он приближался к нам в полотняном светлом костюме и при черном галстуке. Так сказать, уже в спецодежде.

— Со временем вышло недоразумение, — сказал он. — Мы не успели всех оповестить. Это все из-за Джесси. Она во что бы то ни стало хотела Теллера увидеть. Вот мы ей и сказали неправильное время. Когда она придет, гроб уже закроют.

— Так когда же начнется панихида?

Липшюц взглянул на часы.

— Через полчаса.

Танненбаум-Смит взглянул на меня.

— Может, выпьем чего-нибудь? На углу я видел дрогстер.

— Я не могу, — отказался Липшюц. — Мне надо быть тут. Скоро другие начнут приходить.

Он уже чувствовал себя церемониймейстером.

— Надо еще насчет музыки договориться, — продолжал он. — Чтобы не получилось ерунды. Теллер был крещеный еврей. Выкрест-католик. Но с тех пор, как Гитлер пришел, он себя считал только евреем. В общем, я вчера уговорил католического священника, чтобы тот его благословил. Это оказалось совсем непросто — ну, из-за того, что Теллер самоубийца. Его, кстати, и на кладбище в освященной земле хоронить нельзя. Ну это-то, слава богу, само собой устроилось, раз его сжигают. Но священник! Бог ты мой, сколько мне его пришлось уламывать, прежде чем он осенил себя крестом за упокой души!

Липшюц даже вспотел.

— Ну а музыка? — напомнил я. — Как вы с этим решили?

— Сперва католический гимн: "Иисус моя опора". Потом иудейский, "Все обеты" Бруха. Тут у них два патефона, так что никакого перерыва из-за смены пластинок не будет. Одно плавно перейдет в другое. Раввину это безразлично, он терпимее, чем церковь.

— Ну что, пойдемте? — спросил меня Смит. — А то здесь душно очень.

— Да.

Липшюц остался на своем посту, полный траурного достоинства и в надлежащем костюме. Он достал из кармана листок с речью и стал ее заучивать, а мы со Смитом пошли в дрогстер, из дверей которого на нас сразу же повеяло спасительной прохладой.

— Лимонад со льдом, — заказал Смит. — Двойной. А вам? Меня на подобных церемониях всегда жажда донимает, ничего с собой поделать не могу.

Я тоже заказал себе двойной лимонад со льдом. Я еще не поблагодарил Смита за место у Блэка и хотел выказать ему свою признательность хотя бы солидарностью вкусов. Я не знал, подходящий ли сейчас момент заводить с ним разговор о моем будущем. Но Смит сам меня спросил:

— Как ваши дела у Блэка?

— Хорошо. Большое спасибо. Все действительно очень хорошо.

Смит улыбнулся.

— Очень многоликий человек, верно?

Я кивнул.

— Торговец искусством. При таком ремесле без этого не обойтись. Он же продает самое любимое.

— Это еще не худший вариант. Другие самое любимое теряют. Он-то хоть деньги на этом зарабатывает.

Липшюц говорил. От сладкого, удушливого аромата цветов на крышке гроба мне чуть не сделалось дурно. Это были туберозы. Гроб был небогатый, куда скромнее, чем его предшественник, сверкавший хромированными прибамбасами, что твой автомобиль. Этот же был сработан из простой ели, благо и предназначался для сожжения. Липшюц объяснил мне, что при домах упокоения своих крематориев нету, в этом смысле они оказались куда менее фешенебельными заведениями, чем немецкие концлагеря. После траурной церемонии гробы с покойниками переправлялись в общие крематории. Мне сразу стало легче: присутствовать при кремации тела я бы просто не смог. Слишком

много всего я об этом знал и пытался всеми правдами и неправдами изжить в себе это знание. Тем не менее оно продолжало сидеть в голове как гвоздь.

Народу собралось человек двадцать-тридцать. Роберт Хирш привел Джесси. Она тяжело привалилась к его плечу и время от времени принималась всхлипывать. Кармен сидела прямо за ней и, похоже, дремала. Пришли и несколько литераторов. Сам-то Теллер в Германии до Гитлера пользовался довольно широкой известностью.

Неожиданно возле постамента с гробом возникли двое мужчин в черных костюмах и черных же перчатках, со сноровкой палаческих подмастерьев подхватили гроб за ручки, мгновенно и легко его подняли и так же легко, стремительно и бесшумно вынесли вон. Все произошло столь молниеносно, что окончилось прежде, чем мы успели что-либо осознать. Эти новоявленные могильщики прошли совсем близко от меня. Мне даже почудилось, что вместе с дуновением воздуха меня обдало трупным духом, и в тот же миг, к собственному изумлению, я обнаружил, что глаза у меня увлажнились.

Мы вышли. Странное это было чувство, ведь в эмиграции люди часто теряют друг друга из виду. И с Теллером получилось так же, иначе не умер бы он в таком одиночестве. Зато теперь, когда он умер, казалось, что он умер не один, что вместе с ним умерли многие, и это не укладывалось в голове, и начинало грызть чувство вины, и ты вдруг понимал, до чего безразлична ко всем нам окружающая тебя чужбина и сколь, в сущности, мала и затерянна, разрозненна, случайна и безвольна та людская общность, к которой ты принадлежишь.

Джесси вывели близняшки Даль и бережно погрузили ее в "крайслер" Танненбаума-Смита. Она не противилась; на фоне синего неба, в зыбком белом мареве полуденного солнца ее красное, распухшее лицо выделялось чужеродным пятном; она с такой беспомощностью забиралась в машину, что роскошный, блистающий черным лаком лимузин тотчас напомнил мне гроб с предыдущих похорон, в котором теперь почему-то увозят и Джесси.

— Она взяла себя в руки, — сказал Хирш. — Поехала придавать последний глянец поминальному столу. Она с двойняшками с утра над этим трудилась. Так ей легче перенести горе. У нее теперь одна забота: чтобы поминки прошли как следует. Считает, что этим она отдаст Теллеру последний долг. Логика тут, конечно, странная, но все идет от сердца, потому и понятно.

— Она хорошо знала Теллера? — поинтересовался Танненбаум-Смит.

— Да не больше, чем остальные, скорее даже меньше. Но как раз поэтому считает себя обязанной сделать для него все, что в ее силах. Она чувствует себя в ответе за него, как и за всех нас. Вечная еврейская мать.

Последним из дома упокоения вышел Липшюц.

— Вот квитанция, господин Смит, — обратился он к Танненбауму. — Эти мерзавцы содрали с нас на пятьдесят долларов больше. Я ничего с ними поделать не мог. Гроб стоял во дворе на солнцепеке. Я был как в капкане.

— Вы все правильно сделали, — сказал Смит, складывая квитанцию. — Пожалуйста, извинитесь за меня перед Джесси, — обратился он затем к Хиршу. — Я не поклонник этого обычая — прощаться с умершим за рюмкой. К тому же я, к сожалению, Теллера совсем не знал.

— Но Джесси специально для вас селедку приготовила, под шубой! — попытался остановить его Хирш.

Смит вздернул плечи.

— Я полагаюсь на вас, господин Хирш. Уверен, вы найдете нужные слова.

В знак приветствия он приложил руку к своей светлой шапочке и медленно двинулся прочь вниз по запыленной улице.

— Что бы мы без него делали, — вздохнул Липшюц. — Нас бы даже похоронить было не на что. Он все оплатил. Ума не приложу, почему все-таки Теллер это сделал? Как раз сейчас? Когда американцы и русские побеждают и побеждают...

— Да, — отозвался Хирш с горечью. — А немцы все равно сражаются и сражаются, как будто защищают святой Грааль. От этого ведь тоже можно прийти в отчаяние, вам не кажется?

— Вы уже были в музее Метрополитен? — спросил меня Реджинальд Блэк.

Я помотал головой. Он воззрился на меня с удивлением.

— Еще не были? Вот уж не думал! Я-то считал, вы его уже наизусть знаете. Для будущего торговца искусством пробел непростительный. Сходите прямо сейчас. Там еще открыто. И можете не возвращаться. На сегодня вы свободны. Так что времени у вас будет достаточно.

В музей я не пошел. Не решился. У меня было такое чувство, будто я все еще живу на тонком льду, под который совсем недавно лишь чудом не провалился. Последний ночной кошмар донимал мою память дольше, чем я ожидал, и вновь поселил во мне проклятую неуверенность, с которой мне пришлось столько бороться. Ничто не миновало, теперь я это знал точно, да и смерть Теллера подействовала на меня сильнее, чем я предполагал. Спастись-то мы спаслись, но только не от самих себя.

Я очнулся от размышлений только перед антикварным магазином Сильверов. Внутри, между двумя белыми с позолотой креслами, в позе роденовского мыслителя сидел Арнольд Сильвер, младший компаньон фамильного дела, паршивая овца сильверовской династии, и мечтательно глазел на улицу. Когда я постучал по стеклу, он испуганно вздрогнул, потом пошел к двери.

— Редкое счастье лицезреть вас на рабочем месте, господин Арнольд, — пошутил я.

Арнольд расплылся в мягкой улыбке.

— Александра нет. Он сегодня обедает в кошерном ресторане “Берг”. Я не пошел. Я ем по-американски!

— Я тут бронзу неплохую присмотрел, — сообщил я. — В аукционном доме Шпанирмена, на Пятьдесят девятой улице. Это на аукционе ковров, торги послезавтра.

Сильвер-младший только отмахнулся.

— Мне сейчас не до коммерции. Расскажите об этом моему фашисту-брату. У меня жизнь решается! Понимаете, жизнь!

— Еще бы! А кто вы по гороскопу? Когда родились?

— Я? Двадцать второго июня. А что?

— Значит, Рак, — констатировал я. — А Александр?

— Двадцать первого ночью. Зачем это вам?

— Значит, еще Близнец.

— Близнец? Конечно близнец! Разумеется близнец, кто же еще? Бред какой-то!

— Я имею в виду: по созвездию Близнец, он родился в последний день этого зодиакального знака. Это многое объясняет.

— Что именно?

— Ваши характеры. Они слишком разные.

Арнольд не сводил с меня недоуменного взгляда.

— И вы в это верите? Во всю эту чушь?

— Я верю и в куда большую чушь, господин Арнольд.

— А какой такой характер у Рака? Господи, слово-то какое мерзкое!

— Оно не имеет ничего общего с болезнью. Только с представителем фауны, который с древних времен почитался отменным деликатесом; как омар, только гораздо нежней.

— А по характеру? — не унимался Арнольд-жених.

— Глубина. Голос чувства. Тонкая восприимчивость, наклонности к искусству, привязанность к семье.

Арнольд заметно оживился.

— А в любви?

— Раки романтики. Даже идеалисты! Верны до гроба и держатся за свою любовь так крепко, что оторвать их от нее можно только вместе с клешней.

— Фу, какой жуткий образ!

— Ну, это символически. А в переводе на язык психоанализа это означает примерно вот что: отнять у вас вашу любовь можно, только вырвав у вас половые органы.

Арнольд побледнел.

— А мой брат? С ним как?

— Он Близнец, ему куда легче жить. Он двуликий Янус. Сегодня один, завтра другой. Меняет личины шутя. Ловкий, шустрый, остроумный, блестящий.

Арнольд понуро кивнул.

В тот же миг дверь распахнулась, и на пороге возник двойной близнец Александр, лоснясь от кошерной еды и попыхивая некошерной сигарой.

Арнольд бросил на меня красноречивый взгляд, умоляющий его не выдавать. Александр тем временем благосклонно со мной поздоровался и полез в карман за бумажником.

— Мы вам еще должны комиссионные за второй молитвенный ковер, — заявил он. — Сто пятьдесят.

— Разве не сто? Если не восемьдесят? — с неожиданной деловитостью перебил его Арнольд, этот мечтательный и глубоко ранимый Рак.

От возмущения я чуть не онемел. Каков предатель! Оттяпать у меня мои кровные! Не иначе задумал на эти денежки сводить свою конспиративную невесту в "Вуазан", если вообще не в "Павильон"!

— Сто пятьдесят! — твердо заявил Александр. Он выдал мне две банкноты. — На что будете тратить? Купите себе второй костюм?

— Нет, — ответил я, злорадно покосившись на Арнольда, этого астрологического выжигу, — на эти деньги я приглашу одну очень элегантную даму в "Вуазан", еще кое-что я потрачу на адвоката...

— Тоже в "Вуазане"? — поддел меня Александр.

— Нет, у него в конторе. А на остаток выкуплю на аукционе в "Плазахаус" маленькую бронзу, которой господин Арнольд решительно пренебрег, — добавил я, отвешивая вероломному Раку очередную оплеуху.

— Арнольд сейчас не вполне вменяем, — сухо заметил Александр. — Если приобретете, дадите нам опцион?

— Разумеется! Я же ваш постоянный клиент!

На площади перед отелем "Плаза" я вдруг заметил Марию Фиолу. Она пересекала площадь наискосок, по направлению к Центральному парку. Я даже растерялся от неожиданности и только тут сообразил, что еще ни разу не встречал ее днем, всегда только вечером или ночью. Я двинулся за ней, решив преподнести ей сюрприз. Деньги братьев Сильверов приятно похрустывали у меня в кармане. Я уже несколько дней не видел Марию, и сейчас, в медовом свете ленивого послеполуденного солнца, она казалась мне воплощением самой жизни. На ней было белое льняное платье, и только сейчас, будто громом пораженный, я увидел, до чего же она красива. Прежде я, конечно, тоже замечал ее красоту, но как-то по частям — лицо, линия плеч, тяжелые волосы в полумраке нашего плюшевого будуара, движения, легкий проход в искусственном, слишком ярком свете фотоателье или ночного клуба, — но все это никогда не сливалось воедино, поэтому я, занятый, как обычно, только собой, никогда и не видел ее по-настоящему. Сколько же я всего упустил, вернее, бездумно и рассеянно принимал как нечто само собой разумеющееся! Я смотрел, как своим широким, летящим шагом Мария переходит улицу напротив отеля "Шерри Незерленд", на секунду замерев, чуть подавшись вперед и выжидая, такая тоненькая и хрупкая в потоке мчащихся стальных колоссов, чтобы потом легко, танцующей побежкой достичь тротуара.

Залюбовавшись, я не сразу двинулся вслед за ней, а едва двинувшись, тут же остановился. В просвете между машинами я увидел, как из дверей отеля навстречу Марии вышел мужчина и поцеловал ее в щечку. Он был высок, строен и меньше всего походил на человека, у которого только два костюма; куда больше он походил на постояльца этого роскошного отеля.

По другой стороне улицы я проследовал за ними до ближайшего перекрестка. Там, в боковой улочке, я углядел уже знакомый мне "роллс-ройс". Мария подошла к лимузину. Незнакомец помог ей сесть. Она вдруг разом показалась мне страшно чужой. Что мне, в сущности, о ней известно? Да ничего — кроме того, что способен развеять любой ветер. Что знаю я о ее жизни? Ну а что она знает о моей? "Проехали!" — пронеслось у меня в голове, и я тотчас же понял, до чего все это смешно. А что проехали-то? Ничего! Я утратил нечто, чего не было, и тем сильнее страдал от утраты. Ведь ничего не произошло! Просто я увидел кого-то, кого мимолетно знаю, в ситуации, которая меня не касается, вот и все. Ничто не порвано, потому что и рвать-то нечего.

XV

— Пойдешь со мной на дело? — спросил меня Роберт Хирш.

— Когда?

Хирш рассмеялся.

— А ты пока что не изменился. Спрашиваешь, когда, но не спрашиваешь, куда и зачем. Значит, законы Руана, Лана, Марселя и Парижа все еще действуют.

— Да я примерно догадываюсь, о чем речь, — заметил я. — Крестовый поход. За обманутого Боссе.

Хирш кивнул.

— Боссе сдался. Он два раза был у этого мошенника. Во второй раз тот его в один миг, хотя и вежливо, выставил, пригрозив заявить в полицию о шантаже, если Боссе посмеет явиться снова. А Боссе, конечно, струхнул и опустил руки. Мне все Джесси рассказала. От нее я и фамилию этого мерзавца знаю, и адрес. Сегодня около двух у тебя найдется время?

— Конечно, — ответил я. — Для такого дела всегда.

— Хорошо. Тогда давай сперва сходим пообедать. В "Дары моря".

— Нет уж, сегодня я тебя приглашаю. Мне тут неплохой приработок выпал, и вчера со мной расплатились, а потратил я куда меньше, чем ожидал. Я знаю другой рыбный ресторан; давай там все и прокутим.

— Так куда пойдем?

— В "Морской". Дешево и сердито. Крабы там дешевле, чем в других местах гамбургеры. Как, кстати, зовут того стервятника, к которому мы потом отправимся?

— Блюменталь. Адольф Блюменталь. Это с ума можно сойти, скольких евреев Адольфами назвали. Ну, этого-то хоть не зря.

— А Боссе знает, что ты к нему идешь?

Хирш рассмеялся.

— Нет, конечно. А то он, чего доброго, со страху еще на нас заявит!

— У тебя есть что-нибудь на этого Блюменталя?

— Ровным счетом ничего, Людвиг. Это очень хитрый тип.

— Тогда, значит, только "Ланский катехизис", параграф номер один?

— Угадал. Блеф чистой воды.

Мы шли по Первой авеню. Всю дорогу я украдкой поглядывал на Хирша со стороны. Сейчас у него и походка была другая, и даже черты лица заострились. Рядом со мной шел уже не скромный продавец электроутюгов и радиоприемников, а прежний Хирш, тот, что во Франции был грозным консулом Раулем Тенье.

— Все евреи были жертвами, — проронил он. — Но это вовсе не значит, что все они были ангелами.

Блюменталь жил в доме на Пятьдесят четвертой улице. В вестибюле красные ковровые дорожки, стальные гравюры по стенам, при лифте лифтер в фантастическом мундире, в лифте зеркала и полированное дерево.

— На пятнадцатый, — распорядился Хирш. — К директору Блюменталю.

Лифт помчал нас наверх.

— Не думаю, чтобы он вызвал адвоката, — заметил Хирш. — Я пригрозил ему кое-каким материалом. Негодяй он отпетый, поэтому наверняка сперва захочет взглянуть, с чем мы пришли; он ведь еще не стал американцем, значит, добрый старый эмигрантский страх все еще сидит у него в печенках — прежде чем втянуть в дело адвоката, он предпочтет сперва выяснить, что ему предъявляют.

Он позвонил. Нам открыла служанка. Она провела нас в гостиную, обставленную копиями в стиле Людовика XVI, почти все в позолоте.

— Господин Блюменталь сейчас придет.

Блюменталь оказался круглым толстячком среднего роста лет пятидесяти. Вместе с ним в золоченое великолепие гостиной вошла овчарка. Завидев зверюгу, Хирш улыбнулся.

— В последний раз я видел эту породу в гестапо, господин Блюменталь, — сказал он. — Там их держали для охоты на евреев.

— Спокойно, Харро! — Блюменталь потрепал собаку по холке. — Вы о чем-то хотели со мной поговорить? Но вы не сказали, что придете вдвоем. У меня очень мало времени.

— Это господин Зоммер. Он много о вас слышал. Я вас надолго не задержу, господин Блюменталь. Мы пришли к вам из-за доктора Боссе. Он болен, и у него нет денег, чтобы подтвердить здесь свое медицинское образование. Вы ведь его знаете, не так ли?

Блюменталь не ответил. Он снова потрепал по загривку овчарку; та тихо зарычала.

— Значит, знаете, — продолжил Хирш. — И даже очень хорошо знаете. Но я не уверен, знаете ли вы меня. Ведь людей с фамилией Хирш много, примерно столько же, сколько Блюменталей. Меня в свое время прозвали Хирш-гестапо. Может, под этой кличкой вам доводилось обо мне слышать? Некоторое время я во Франции вел войну против гестапо. Война велась не в фигуральном смысле этого слова и отнюдь не самыми честными способами, причем с обеих сторон, господин Блюменталь. То есть и с моей стороны тоже. Это я к тому, что в ту пору попытка защититься от меня с помощью овчарки меня бы сильно насмешила. Как, кстати, и сегодня. Прежде чем ваш зверь успел бы до меня дотронуться, господин Блюменталь, он бы уже отдал богу душу. Не исключено, что даже вместе с хозяином. Но я пришел совсем не за этим. Видите ли, мы собираем средства для доктора Боссе. Я предполагаю, что вы захотите ему помочь. Сколько долларов вы могли бы для него пожертвовать?

Блюменталь неотрывно смотрел на Хирша.

— И с какой стати я должен ему помогать?

— Причин много. Одна, например, называется милосердием.

Казалось, Блюменталь что-то пережевывает. Он все еще не сводил с Хирша глаз. Потом достал из кармана пиджака коричневый бумажник крокодиловой кожи, раскрыл его и извлек из бокового отделения две бумажки, предварительно послюнив палец, чтобы легче было их отсчитать.

— Вот вам сорок долларов. Больше я дать не могу. Слишком многие обращаются с подобными просьбами. Если все эмигранты помогут вам такими же взносами, думаю, вы легко соберете для доктора Боссе нужную сумму.

Я полагал, что Хирш пренебрежительно швырнет эти деньги обратно на стол; но нет, он их взял, аккуратно сложил и спрятал.

— Хорошо, господин Блюменталь, — сказал он очень спокойно. — Тогда за вами еще только тысяча сто шестьдесят долларов. Ровно столько нужно доктору Боссе — это при очень скромной жизни, без курева и пьянства, — чтобы завершить образование и сдать экзамен.

— Шутить изволите. У меня нет на это времени.

— У вас найдется время, господин Блюменталь. И не пытайтесь рассказать мне, что ваш адвокат сидит в соседней комнате. Его там нет. Зато я вам кое-что расскажу, что вас безусловно заинтересует. Вы пока что не американец, вы только надеетесь через год им стать. Скверная репутация вам совершенно ни к чему, американцы по этой части очень щепетильны. Вот мы вместе с моим другом господином Зоммером — он, кстати, журналист — и решили вас предостеречь.

Похоже, Блюменталь принял для себя план действий.

— Это слишком любезно с вашей стороны! — заявил он язвительно. — Вы не возражаете, если я извещу полицию?

— Ничуть. Мы прямо тут наш материал ей и передадим.

— Материал! — Блюменталь презрительно скривился. — За шантаж в Америке можно схлопотать очень приличный срок, надеюсь, вам это известно. Так что лучше убирайтесь, пока не поздно!

Хирш невозмутимо уселся на один из позолоченных стульев.

— Вы думаете, Блюменталь, — сказал он уже совсем другим тоном, — что вы большой хитрец. Но вы ошибаетесь. С вашей стороны было бы куда умней отдать Боссе те деньги, которые вы ему должны. Вот тут, у меня в кармане, письмо, подписанное доброй сотней эмигрантов; это ходатайство в службу эмиграции с предложением отказать вам в американском гражданстве. Там же еще одно ходатайство, и тоже с просьбой отказать вам в праве на американское гражданство в связи с тем, что в Германии вы сотрудничали с гестапо, — за шестью подписями, с подробным изложением того, почему вам удалось вывезти из Германии куда больше денег, чем было положено, и с указанием фамилии того нациста, который для вас эти деньги в Швейцарию переправил. Кроме того, есть еще вырезка из лионской газеты, где говорится о некоем еврее Блюментале, который на допросе в гестапо выдал местонахождение двух беженцев из Германии, после чего тех расстреляли. Не пытайтесь протестовать, господин Блюменталь. Вполне возможно, это были и не вы, — но я буду утверждать, что это были именно вы.

— Что?

— Я официально засвидетельствую, что это были вы. Здесь хорошо известно, чем я занимался во Франции. Мне поверят больше, чем вам.

Блюменталь вперился в Хирша немигающим взглядом.

— Вы намерены дать ложные показания?

— Они будут ложными только в самом поверхностном правовом смысле, Блюменталь; но не в ветхозаветном — око за око, зуб за зуб, помните? Вы практически уничтожили Боссе. За это мы уничтожим вас. И нам плевать, что правда, а что нет. Я же сказал вам: я кое-чему научился у нацистов, когда имел с ними дело.

— И вы еврей? — прошептал Блюменталь.

— Так же, как и вы, к сожалению.

— И преследуете еврея?

Хирш на секунду даже опешил.

— Да, — сказал он затем. — Я же сказал вам, что кое-чему научился у гестапо. И еще кое-чему из арсенала американских гангстеров. Ну и еще, если уж вам, Блюменталь, так хочется, кое-чему от природной еврейской смекалки.

— Полиция в Америке...

— И от полиции в Америке я тоже кое-чему научился, — перебил его Хирш. — И многому! Но она мне даже не понадобится. Чтобы вас прикончить, достаточно тех бумаг, что у меня в кармане. Я даже не буду стараться упрятать вас в тюрьму. Достаточно спровадить вас в лагерь для интернированных лиц, подозреваемых в нацизме.

Блюменталь протестующе поднял руку.

— Для этого нужен кое-кто посильнее вас, господин Хирш! И серьезные доказательства, а не ваши сфабрикованные писульки.

— Вы так думаете? — Хирш рассмеялся. — В военное-то время? Ради

какого-то сомнительного эмигранта, уроженца Германии? Да и что с вами такого страшного случится в лагере для интернированных? Это очень гуманное учреждение временной изоляции от общества. И чтобы попасть туда, вовсе не обязательно быть отпетым злодеем. Но даже если вы открутитесь от лагеря, как насчет вашего гражданства? Тут достаточно малейшего сомнения и просто сплетен...

Рука Блюменталя впилась в собачий ошейник.

— А что будет с вами? — тихо проговорил он. — Что будет с вами, если все это выплывет? Об этом вы подумали? Шантаж, ложные показания...

— Я прекрасно знаю, сколько за это полагается, — ответил Хирш. — Только мне, Блюменталь, это совершенно все равно. Плевать я хотел на все это! На все, что вам, жалкому воришке-филателисту с видами на американское будущее, представляется таким важным. Мне это все безразлично, только вам, мокрица вы буржуазная, в жизни этого не понять! Я не какой-нибудь там слюнявый гуманист! И мне не важно, что со мной потом будет! Так что если вы, Блюменталь, вздумаете что-нибудь против меня предпринять, я в суд не побегу. Я сам вас прикончу! Мне не впервой. Или вы до сих пор не усвоили, как мало в наши дни стоит жизнь человека? — Хирш сделал пренебрежительный жест. — Сами подумайте, о чем мы, в сущности, спорим? Для вас это даже не вопрос жизни. От вас всего лишь требуется заплатить часть тех денег, которые вы Боссе должны, больше ничего.

У Блюменталя опять сделалось такое лицо, будто он что-то жует.

— У меня нет дома таких денег, — выдавил он наконец.

— Можете дать мне чек.

Внезапно Блюменталь отпустил овчарку.

— Место, Харро!

Он открыл дверь. Собака исчезла. Блюменталь снова закрыл дверь.

— Наконец-то, — бросил Хирш.

— Чек я вам не дам, — сказал Блюменталь. Вид у него вдруг сделался страшно усталый. — Надеюсь, вы меня понимаете?

Я не верил своим глазам. Вот уж не думал, что он так быстро сломается.

— Тогда я приду завтра, — сказал Хирш.

— А бумаги?

— Я уничтожу их завтра же у вас на глазах.

— Вы получите деньги только в обмен на бумаги.

Хирш мотнул головой.

— Чтобы вы узнали, кто готов против вас свидетельствовать? Исключено.

— В таком случае кто мне докажет, что эти бумаги подлинные?

— Я, — невозмутимо ответил Хирш. — И вам придется поверить мне на слово. Мы не шантажисты. Просто немножко помогаем справедливости. Вы и сами это знаете.

Блюменталь опять что-то беззвучно пожевал.

— Хорошо, — сказал он наконец.

Хирш поднялся со своего золоченого стула.

— Завтра в это же время.

Блюменталь кивнул. На лице у него вдруг выступили капли пота.

— У меня сын болен, — прошептал он. — Единственный сын! А вы, вы приходите в такую минуту, — постыдились бы! — Он вдруг сорвался почти на крик. — Человек в отчаянье, а вы!..

— Боссе тоже в отчаянье, — спокойно осадил его Хирш. — Кроме

того, он наверняка сможет порекомендовать наилучшего врача для вашего сына. Вы у него спросите.

Блюменталь ничего не ответил. Он все жевал и жевал, и на лице его запечатлелась странная смесь неподдельной ненависти и неподдельной боли. Я, впрочем, хорошо знал, что боль из-за утраты денег может выражаться ничуть не иначе, чем боль из-за куда более скорбной личной утраты; но в лице Блюменталя мне почудилось и что-то еще. Казалось, он вдруг понял, что есть некая зловещая связь между его обманом и недугом его сына, — потому, наверно, он и уступил так быстро, а теперь сознание собственной слабости только усиливало его ненависть.

— Хандра? — спросил Мойков.

— Средней тяжести, — отозвался я. — Не для водки.

На лестнице послышался чей-то голос.

— Это Рауль! — сказал Мойков. — Оставляю тебе на всякий случай бутылку водки. Сумрак ночи усугубляет сумрак души.

— Куда вы хоть идете? — спросил я.

— В "Кутилу". Воздушное охлаждение и великолепные бифштексы. Подходящее место для уговоров.

Мойков ушел вместе с Раулем, который был сегодня в белом костюме и красных ботинках. Я уселся под нашей плакучей пальмой и попытался заняться английским.

Когда я поднял голову, надо мной стояла Мария Фиола. Она подошла совершенно бесшумно и, видно, уже некоторое время наблюдала за мной. На ней было желтое платье, очень смелое: казалось, что под платьем вообще ничего нет. Чулок на ней тоже не было, только желтые сандалии на босу ногу.

Она появилась столь неожиданно, что я так и остался сидеть, не спуская с нее глаз. Она кивнула на бутылку:

— Слишком жарко для водки.

Я кивнул и встал.

— Это Мойков оставил; но сегодня даже графиня пренебрегла. Я тоже.

— А где Владимир?

— Ужинает с Раулем в "Кутиле". Бифштексы. Графиня пирует в русской чайной. Пироги и бефстроганов. А мы?

Я затаил дыхание.

— Лимонад в дрогстере, — сказала Мария.

— А потом? — наседал я. — Вы сегодня свободны? "Роллс-ройс" за углом не поджидает?

Она засмеялась.

— Нет. Сегодня нет.

При последних ее словах я ощутил легкий укол обиды.

— Хорошо, — сказал я. — Тогда пойдемте ужинать! Но только не в дрогстер. Мы пойдем в уютный французский ресторан с воздушным охлаждением и хорошими винами.

Мария посмотрела на меня с сомнением.

— А денег у нас хватит?

— Хватит с лихвой! Со времени нашей последней встречи я провернул несколько неслыханно удачных сделок.

Все вдруг стало необыкновенно легко. Другая сторона жизни, поду-

мал я. Вот она, передо мной, сияющая, таинственная, вызывающая и недоступная.

— Я тебя ждал, — сказал я.

Глаза Марии на миг затуманились.

— Почему же ты мне об этом не сказал?

— В самом деле, почему?

Когда мы оказались в дверях, я ненароком слегка ее коснулся. На ней действительно почти ничего не было. Я вдруг осознал, что у меня очень давно не было женщины. На выходе тоскливо подпирал стенку Феликс О'Брайен. У него был вид человека, сильно истомленного жаждой. Я немедленно вернулся в гостиничный холл, отнес водку в каморку Мойкова и запер ее в холодильнике. И оттуда увидел лицо Марии Фиолы, ждавшей меня уже на улице. Дверной проем обрамлял это лицо, как картину. В этот миг я вдруг понял, что почти счастлив.

— Быть грозе, — промямлил Феликс О'Брайен.

— А почему бы и нет, Феликс? — ответил я.

Когда мы вышли из ресторана, молнии сверкали уже вовсю. Порывы ветра гнали столбы пыли вперемешку с клочками бумаги.

— Феликс О'Брайен был прав, — сказал я. — Сейчас попробуем поймать такси.

— Лучше пойдем пешком, — предложила Мария. — В такси воняет потом и старыми ботинками.

— Но дождь же будет. А у тебя ни плаща, ни зонтика! Сейчас хлынет будь здоров!

— Тем лучше. Я так и так собиралась сегодня вечером мыть голову.

— Но ты же промокнешь до нитки, Мария!

Она рассмеялась.

— У меня платье нейлоновое. Его даже гладить не надо. Пойдем пешком! В крайнем случае укроемся в подъезде. Такси сейчас все равно не поймать. Ну и ветер! Прямо с ног валит! Даже возбуждает!

Она, словно жеребенок, жадно втягивала ноздрями воздух, сопротивляясь напору ветра.

Мы продвигались вперед, держась поближе к домам. Всполохи молний погружали теплые желтые окна антикварных лавчонок в нестерпимо яркий, мертвенный свет, из которого китайские божки и старинный мебельный хлам выхватывались неверными, почти пьяными тенями, и, словно исхлестанные этим ослепительно белым бичом, тщетно пытались понять, на каком они свете. Теперь полыхало уже со всех сторон, даже по стенам небоскребов молнии змеились вверх-вниз, словно вылетев из-под земли, из хитросплетений проводов, кабелей и труб под коркой асфальта, они белыми фуриями носились теперь над крышами домов и проемами улиц, преследуемые ударами грома, что повергали в оцепенелую немоту неугомонный шум огромного города. И тотчас же начался дождь, большие темные пятна упали на серый асфальт и обозначились на нем прежде, чем первые капли ощутились на коже.

Мария Фиола жадно подставляла лицо дождевым каплям. Губы ее были полураскрыты, веки сомкнуты.

— Держи меня крепче, — попросила она.

Непогода разбушевалась. В один миг тротуары опустели, будто их вымело. Люди жались по подъездам, прятались в арках, тут и там, чертыхаясь и визжа, пробегали вдоль домов сгорбленные фигурки, мгно-

венно темнея и начиная мокро поблескивать в серебристом отсвете падающего стеной ливня.

— Боже мой! — воскликнула вдруг Мария. — На тебе же новый костюм!

— Поздно! — усмехнулся я. — Да ничего ему не сделается. Он же не бумажный и не сахарный.

— Я думала только о себе! На мне-то совсем ничего. — Она приподняла платье до бедер, обнажив голые ноги. Дождь хлестал по ее сандалиям струями воды, словно пулеметными очередями с небес. — Но ты! Твой синий костюм! Еще даже не выкупленный!

— Поздно! — ответил я. — К тому же его можно высушить и выгладить. И потом, он выкуплен. Так что можем и дальше спорить со стихиями. Черт с ним, с костюмом! Пойдем выкупаемся в фонтане перед отелем "Плаза"!

Она со смехом затащила меня в подворотню.

— Спасем хотя бы подкладку и конский волос! Их потом как следует не прогладишь. Гроз в жизни много, а костюмов мало.

Я поцеловал ее мокрое лицо. Оказалось, мы стоим в закутке между двух витрин. В одной, подрагивая под вспышками молний, красовались корсеты для пожилых полных дам; во второй, где размещался зоомагазин, были выставлены аквариумы — целая стена аквариумов, светящихся своим зеленоватым матовым светом, в котором плавали пестрые рыбки. В детстве я сам держал и разводил рыбок и сейчас некоторых вспомнил — общительных, шустрых гамбузий, гупий, посверкивающих, как драгоценные камни, и королев аквариумного царства, мерцающих черно-серебристыми полосатыми боками скалярий, которые величавыми экзотическими парусниками парили в водорослевых лесах. Было так странно столь внезапно узреть перед собой вновь волшебный, лучезарный кусочек детства, в полной тишине выплывший мне навстречу из-за всех мыслимых и немыслимых горизонтов, из полыхания молний, совершенно для них неуязвимый, каким-то чудом оставшийся точно таким же, как тогда, — нисколько не постаревший, не перемазанный кровью, целый и невредимый. Я сжимал Марию в объятиях, ощущал тепло ее тела, и в то же время какая-то часть меня была где-то далеко, склонялась над заброшенным родником, который давно уже пересох и перестал журчать, и вслушивалась в собственное прошлое, давно ставшее мне чужим и потому захватывающим вдвойне. Счастливые дни возле речки, в лесу, на берегу небольшого озерка, над гладью которого в остановившемся, трепещущем полете замирали стрекозы, вечера в садах, над оградами которых пенным цветом вскипали сирени, — все это пронеслось в памяти мгновенным немым фильмом, пока я вглядывался в эти золотисто-зеленые аквариумные вселенные, казавшиеся мне воплощением мира и покоя, хотя в каждой из них царили те же законы пожирания и смертоубийства, что и в другом мире, том, который я теперь слишком хорошо знаю.

— Что бы ты сказал, если бы у меня был такой же зад? — донесся до меня голос Марии Фиолы.

Я обернулся. Она изучала витрину корсетного магазина. На черной примерочной болванке, какими пользуются портные, там был выставлен обтянутый розовыми шелками панцирь — в самый раз для какой-нибудь валькирии.

— Это было бы уморительно, — заметил я. — Но тебе корсет никогда и не понадобится. Ты самая пленительная из всех худышек, каких мне

доводилось встречать! Благословен будет каждый грамм твоего гибкого тела!

— Значит, ради тебя мне не нужно соблюдать диету?

— Никогда!

— Всю жизнь об этом мечтала! К черту салатики, к черту вечный голод манекенщицы!

Дождь перестал. Падали лишь редкие отдельные капли. Я скользнул по аквариумам прощальным взглядом.

Она вскинула на меня глаза.

— В сущности, я ведь почти ничего о тебе не знаю, — вымолвила она. — Но я и не хочу ничего знать. И ты тоже ничего обо мне не знаешь. Вот пусть так и останется. Какое нам дело до нашего прошлого!

— Никакого! — ответил я. — Решительно никакого, Мария!

Она еще раз оглянулась на корсет Брунхильды.

— Как же быстро жизнь пролетает! Неужели я тоже когда-нибудь буду втискиваться в такую вот кольчугу и отправляться на заседания дамского клуба?

— Нет.

— Значит, у нас нет упорядоченного, надежного будущего?

— Никоим образом.

— Может, у нас вообще никакого будущего нет?

— Этого я не знаю.

— Разве это не грустно?

— Нет. Кто думает о будущем, тот не умеет распорядиться настоящим.

— Тогда хорошо.

И она прижалась ко мне так, что я ощутил ее всю, от коленей до плеч, словно держу в объятиях наяду. Ее мокрое платье было как купальный костюм. Волосы свисали мокрыми прядями, лицо покрывала бледность. Но глаза горели; она казалась утомленной, сдержанной и одновременно необузданной, почти дикой. От нее пахло ливнем, вином и немножечко чесноком.

Мы побрели по Второй авеню. Стало прохладно, и между тучами уже кое-где проглянули звезды. Асфальт поблескивал, отражая огни автомобилей, словно те мчатся по голому льду, а силуэты небоскребов вырисовывались на фоне всклокоченных, рваных облаков, словно вырезанные из жести.

— Я опять сменила квартиру, — сказала Мария. — Я живу теперь на Пятьдесят седьмой улице. И не в комнате. У меня настоящая отдельная квартира, правда маленькая.

— Ты переехала?

— Нет. Это квартира друзей, они на лето уезжают в Канаду. А я сторожу.

— Квартира не принадлежит случайно владельцу "роллс-ройса"? — спросил я, полный самых дурных предчувствий.

— Нет. Он в Вашингтоне живет. — Она рассмеялась. — И в качестве жиголо я намерена использовать тебя не больше, чем это нужно для нашего совместного комфорта.

Мы стояли перед домом.

— Так ты одна в квартире? — спросил я.

— Зачем ты так много спрашиваешь? — спросила Мария в ответ.

XVI

Я покинул ее дом рано утром. Мария Фиола еще спала. Она завернулась в одеяло абрикосового цвета, из-под которого виднелась только ее голова. В спальне было весьма прохладно. Почти неслышно жужжал аппарат воздушного охлаждения, занавески были задернуты. И повсюду разлит приглушенный золотистый утренний свет.

Я прошел в гостиную, где лежали мои вещи. Они уже высохли и даже почти не сморщились. Я оделся и посмотрел в окно. Людей на улицах почти не было, только светофоры, дорожные указатели и шеренги автомобилей. Футуристический город.

Я прикрыл за собой дверь и вызвал лифт. Заспанный карлик-лифтер доставил меня вниз. На улице было еще очень свежо. Гроза принесла с собой ветер с моря и разогнала духоту. В газетном киоске я купил себе "Нью-Йорк таймс" и с газетой в руках отправился в дрогстер напротив. Заказал кофе, яичницу и без спешки приступил к завтраку. Кроме меня и продавщицы в дрогстере в этот час не было никого. Было такое чувство, будто весь мир, включая и меня тоже, еще спит — до того неторопливо и почти беззвучно разворачивалась вокруг меня жизнь, словно в фильме, снятом замедленной съемкой. Каждое движение казалось растянутым и вместе с тем удивительно спокойным, время текло и никуда не спешило, я даже дышал ровнее и медленнее, чем обычно, и все вещи вокруг меня излучали такое же спокойствие и какую-то неповседневную значительность, а я был как-то связан с ними, они проплывали мимо, подчиняясь тому же ритму, что и мое дыхание, это были мои давние, позабытые друзья, я с ними заодно, они мне больше не чужие, не враги, наоборот, они движутся вокруг меня в дружелюбном и торжественном хороводе, и сам я кружусь вместе с ними, хоть и не стронулся с места.

Это было чувство удивительного покоя, какого я давно не испытывал. Я ощущал его во всех жилах и даже в висках; свинцовый комок страха, который я каждое утро должен был из себя исторгать, рассосался на сей раз сам собою и куда-то исчез, а вместо него внутри был образ солнечной лесной поляны, отдаленные крики кукушки, озаренный первыми лучами утренний лес. Я знал, блаженство продлится недолго, боялся вспугнуть его и сидел почти не шевелясь, осторожно и очень медленно, вдумчиво ел, и даже завтрак становился почти священнодействием, вписанным в этот общий умиротворенный ритм.

Несколько шоферюг ввалились в дрогстер, с порога громко потребовав кофе и пончиков. Я расплатился и не торопясь побрел по городу в сторону Центрального парка. Прикинув, не стоит ли зайти в гостиницу переодеться, я решил, что не стоит: не хотелось расставаться с упоительным чувством медленного парения в невесомости; я продолжил свой путь по просыпающемуся городу, добрел до парка и выбрал себе скамейку.

В пруду беспокойно плавали утки, то и дело ныряя в поисках пропитания. Взгляд мой случайно упал на газету, я прочел заголовок и остолбенел: Париж капитулировал. Немцы сдали Париж! Париж свободен!

Некоторое время я сидел, боясь пошевельнуться. Я даже вздохнуть боялся. Казалось, само небо надо мной как-то тихо, без малейшего шума поднялось, горизонты раздвинулись и сразу стало светлее. Я огляделся по сторонам; да нет, мир и вправду стал светлее, подумал я. Париж больше не во власти варваров. И не разрушен. Только теперь я рискнул,

очень осторожно, взять газету и прочесть статью; я прочел ее очень медленно, потом еще раз. Приказ Гитлера уничтожить Париж не был исполнен. Генерал, которому было поручено это черное дело, приказ не выполнил. Никто не знал почему: то ли просто не успел, то ли не захотел подвергать бессмысленному уничтожению город и несколько миллионов гражданских лиц. Как бы там ни было — катастрофа не состоялась. Пусть случайно, пусть на мгновение, но восторжествовал разум; сотни других генералов выполнили бы приказ бездумно и беспощадно; но этот вот не стал выполнять. Счастливое исключение. Благодаря которому удалось избежать массового смертоубийства и чудовищных разрушений. Возможно, оккупанты были уже слишком слабы и торопились удрать; но это не важно. Главное — Париж жив! Париж свободен! И это не просто очередной освобожденный от нацистов город — это куда больше.

Медленно бродил я по парку вокруг прудов, вдоль бассейна, где первые детишки уже пускали свои парусные кораблики. Я сел на скамью и стал наблюдать за ними. Я вспомнил искусственный пруд в Люксембургском саду, и вдруг Париж перестал, как прежде, быть для меня абстрактным понятием, а до боли осязаемо возник в памяти образами стен, улиц, домов, магазинов, парков, набережных, лип, что шуршат листвой, каштанов в цвету, площадей, знакомых мне даже неровностями брусчатки, — Лувром, Сеной, дворами и подворотнями, полицейскими участками, где не пытают, мастерской моего учителя Зоммера и кладбищем, на котором я его похоронил.

Я встал. Я был неподалеку от музея Метрополитен. Золотистое небо ласково мерцало в древесных кронах. Теперь я знал, куда мне пойти. Прежде я этого боялся — не хотелось без нужды будоражить в себе брюссельские воспоминания; хватало того, что они хозяйничают в моих снах. Но теперь мне вдруг надоело от них прятаться.

Было еще очень рано, и посетителей в музее было совсем немного. Через огромный и холодный вестибюль я прошел, точно вор, осторожно и тихо, временами испуганно озираясь, будто за мной гонятся. Я знал, это глупо, но ничего не мог с собой поделать; казалось, за мною по пятам следуют тени — они исчезали, как только я оглядывался. Сердце у меня колотилось, и я с трудом заставил себя идти по середине широкой парадной лестницы, а не красться, прижимаясь к стене. Даже не думал, что давний шок заявит о себе с такой силой.

Только поднявшись на второй этаж, я остановился. Здесь в двух залах висели старинные ковры. Некоторые были даже знакомы мне по альбомам покойного Людвига Зоммера...

Чем ближе к вечеру, тем сильнее я чувствовал в себе какую-то нежную преграду. Я старался как можно меньше думать о Марии Фиоле и заметил, что это удается мне легко, как будто подсознательно я хочу вытеснить ее из моей жизни. На подходе к гостинице меня окликнул зеленщик и цветочник Эмилио, мой почти земляк из Каннобио.

— Господин Зоммер! Такой редкий случай! — Он держал в руках пучок белых лилий. — Белые лилии! Почти даром! Вы только взгляните!

Я покачал головой.

— Это цветы для покойников, Эмилио.

— Только не летом! Только в ноябре! В День всех святых! Весной это

пасхальные цветы. А летом — знак чистоты и целомудрия. К тому же очень дешево!

Должно быть, Эмилио получил очередную крупную партию из какого-нибудь дома упокоения. У него имелись еще белые хризантемы и несколько белых орхидей. Он протянул мне одну из них, действительно очень красивую.

— Вот с этим вы произведете неизгладимое впечатление как кавалер и Дон Жуан. Кто еще в наши дни дарит орхидеи? Вы только взгляните! Они же как белые спящие бабочки!

Я ошарашенно на него глянул.

— Эта белизна, мерцающая в сумерках, какая бывает еще только у гардений, — продолжал петь Эмилио.

— Хватит, Эмилио, — сказал я. — Иначе я не устою.

Эмилио был сегодня в ударе.

— Кому нужна наша стойкость! — воскликнул он, добавляя вторую орхидею к первой. — В слабости наша сила! Смотрите, какая красота, особенно для прекрасной дамы, с которой вы иногда гуляете. Ей очень пойдут орхидеи!

— Она сейчас в отъезде.

— Какая жалость! А кроме нее? Разве у вас нет замены? Сегодня такой день! Париж взят! Это надо отпраздновать!

"Цветами с похорон? — подумал я. — Оригинальная идея!"

— Возьмите одну просто для себя, — наседал Эмилио. — Орхидеи больше месяца стоят! За это время вся Франция будет наша!

— Вы считаете?

— Конечно! Рим уже наш, теперь вот и Париж! Теперь дело быстро пойдет. Очень быстро!

"Очень быстро", — подумал я и ощутил вдруг острый укол внутри, от которого даже дыхание перехватило.

— Да, конечно, — пробормотал я. — Теперь, наверно, все пойдет очень быстро.

В каком-то странном замешательстве я двинулся дальше. Казалось, у меня отняли что-то, что, в сущности, даже и не принадлежит мне, — то ли боевое знамя, то ли солнечное, хотя и в облаках, небо, промелькнувшее над головой прежде, чем я успел протянуть к нему руку.

Феликс О'Брайен, сменный портье, стоял на дверях, сонно подпирая косяк.

— Вас там ждут, — доложил он мне.

Я почувствовал, как предательски забилось сердце, и поспешил в холл. Я надеялся увидеть Марию Фиолу, но это был Лахман, кинувшийся ко мне с распростертыми объятиями.

— Я отделался от пуэрториканки! — объявил он, задыхаясь от энтузиазма. — Я нашел другую! Рыжая блондинка, с Миссисипи. Настоящая богиня Германия, крупная, пышнотелая, этакий райский сад цветущей плоти!

— Германия? — переспросил я.

Он смущенно хихикнул.

— Любовь о национальности не спрашивает, Людвиг. Разумеется, она американка. Но, возможно, немецкого происхождения. Да и какое это имеет значение? Как говорится, было бы болото, а черти найдутся.

— В Германии тебя за такой роман отправили бы в газовую камеру.

— Мы здесь в Америке, в свободной стране! Ты пойми, для меня это

избавление! Я же сохну без любви! Пуэрториканка только водила меня за нос. И обходилась мне, особенно вместе с ее альфонсом, слишком дорого.

— Курт, очнись! — сказал я. — Если она и вправду так хороша, с какой стати она именно на тебя должна клюнуть?

— У нее одно плечо ниже другого, — деловито объяснил Лахман. — Это из-за горба, очень маленького, он только начинает расти. Его и не видно почти, но она-то о нем знает. И стесняется. При этом груди у нее — чистый мрамор, а зад — просто сахарная головка! Она кассиршей работает в кино на Сорок четвертой улице. Так что если захочешь в кино, тебе это будет даром.

— Спасибо, — сказал я. — Я в кино редко хожу. Так ты, значит, счастлив?

Физиономия Лахмана страдальчески скривилась, глаза подернулись влагой.

— Счастлив? — переспросил он. — Разве есть такое слово для эмигранта? Эмигрант счастлив не бывает. Мы прокляты на вечные мытарства. Мы всем чужие. Обратно нам дороги нет, а здесь нас только терпят из милости. Ужасно, особенно если вдобавок тебя донимает демон плотских влечений!

— Это как посмотреть. У тебя хоть демон есть, Курт. У других вообще ничего не осталось.

— Не смейся надо мной, — вздохнул Лахман. — Успех в любви отбирает сил не меньше, чем неудача. Но что ты, истукан бессердечный, в этом смыслишь?

— Достаточно, чтобы заметить, что успех делает мелкого торговца религиозным хламом куда агрессивнее, чем неудача... — Я вдруг осекся. Только сейчас я сообразил, что не запомнил номера новой квартиры Марии. Телефона ее я тоже не знаю. — Черт бы подрал! — вырвалось у меня в сердцах.

— Гой он и есть гой, — заметил Лахман. — Когда вам нечего сказать, вы чертыхаетесь. А то и стреляете.

Вторая авеню по вечерам превращалась в эспланаду для гомосексуалистов. Здесь под ручку прогуливались пары, одинокие молодые особи фланировали в ожидании знаков внимания, а пожилые сластолюбцы прощупывали их осторожными, похотливыми взглядами. Здесь царила атмосфера карнавала, медленно вращалась карусель порока, влекомая мотором потаенной страсти, запретной, но все же полулегальной, а потому трепетной и волнующей вдвойне, так что, казалось, сам воздух наэлектризован ею.

— Вот свиньи! — буркнул продавец газетного киоска, когда я покупал у него вечернюю газету.

— Почему? — удивился я. — Ведь это же ваши клиенты?

— Да я не про гомиков, — поморщился он. — Я про псин ихних! На поводке их надо водить, но эти голубые все равно их отпускают. Любят этих тварей до безумия! Раньше были таксы, потом пошла мода на терьеров, а теперь от пуделей спасу нет. Вы только взгляните! Их же тьма!

Я огляделся. Он был прав. Улица кишмя кишела мужчинами, выведшими на прогулку своих пуделей.

— Опять эта гнида! — возопил вдруг продавец, пытаясь выбраться из-за прилавка. Это удалось ему не сразу — толстая пачка журналов свалилась под ноги. — Да дайте же ему пинка! — закричал он.

Маленький пудель палевой масти, выскочивший неведомо откуда, уже задрал лапку над газетами и журналами, вывешенными с наружной стороны прилавка. Я шуганул его, и он, тявкнув в ответ, мгновенно исчез в неугомонной уличной толчее.

— Это был Фифи, — сообщил мне продавец, выбравшись наконец из-за прилавка и в бессильной ярости глядя на экземпляр журнала "Конфиденшл", мокрой тряпкой свисавший с перекладинки. — Опять успел! Этот бандит выбрал мой киоск и метит его каждый день! А пузырь у него, скажу я вам, все равно что у слона! И самое главное — я никогда не успеваю до него добраться.

— Зато у него, похоже, неплохой вкус, — заметил я. — Он обделывает то, что этого безусловно заслуживает.

Продавец снова забрался в свой киоск.

— Отсюда-то мне его не видно, — объяснял он. — И этот гад прекрасно это знает! Он подкрадывается сзади, и готово дело! Я его вижу, только когда он уже убегает, а иногда и вовсе не вижу, если он туда же, назад, смывается. Неужели нельзя, как нормальные псы, на дерево отлить? А мне это его удовольствие каждый день стоит пары-тройки журналов.

— Тяжелый случай, — посочувствовал я. — А нельзя нижний ряд вашей прессы перцем посыпать?

Киоскер только мрачно на меня глянул.

— Станете вы читать эротический журнал, если у вас в носу щиплет, глаза слезятся и вы беспрерывно чихаете? Да я бы пуделей этих трекляТых отравил всех до единого! И это при том, что у меня у самого собака. Но не такая же!

Я взял газету и осторожно развернул ее."Откуда вдруг такая нерешительность? — подумал я. — Что, собственно, меня удерживает? Откуда эта беспричинная опаска?" И не смог себе ответить. Это было все сразу, странная смесь странно перепутавшихся чувств — тут и легкость, и мимолетное, почти неощутимое возбуждение, и дрожь нетерпения, и тихое, робкое, недолговечное счастье, и смутная боль неясной вины. Я сложил газету и направился к дому, который теперь узнал.

В лифте я встретил Фифи, того самого палевого пуделька, и его хозяина, который не преминул тут же со мной заговорить.

— По-моему, нам с вами на один этаж, — сказал он. — Ведь это вы вчера приходили с госпожой Фиолой?

Я растерянно кивнул.

— Я видел, как вы заходили, — объяснил он. — Меня зовут Хосе Крузе.

— А я уже познакомился с вашим песиком Фифи. Газетный киоскер от него без ума.

Крузе расхохотался. У него был массивный золотой браслет на руке и явный избыток зубов во рту.

— Говорят, на нашем этаже раньше был первоклассный бордель, — сообщил он. — Чудно, да? А было бы совсем неплохо.

Я напрочь забыл, на каком этаже живет Мария. Крузе остановил лифт и пропустил меня вперед, слегка притиснув в дверях.

— Вот мы и дома, — сказал он, одарив меня кокетливым взглядом. — Вам туда, а мне сюда. Может, зайдете как-нибудь на коктейль? Виды отсюда потрясающие.

— Может быть.

Я был рад, что таким нехитрым способом нашел квартиру Марии.

Хосе Крузе помахал мне ручкой и проводил меня долгим взглядом.

Мария Фиола лишь приоткрыла дверь и выглянула в щелку. Я увидел только веселый глаз и прядь густых волос.

— Привет, беглец, — сказала она со смехом. — Ты, видно, беженец по призванию. В первый же день бросил меня, даже не попрощавшись.

Я облегченно перевел дух.

— Привет тебе, о дивный фрагмент из одного плеча, пряди волос и одного глаза, — сказал я. — Можно мне войти? Я принес приветы от пуделя Фифи и твоего соседа Хосе Крузе. Без этой парочки я бы вряд ли отыскал твою квартиру.

Она открыла дверь шире. Кроме туфель, на ней ничего не было. Хотя нет, был еще тюрбан из полотенца, кое-как накрученный на макушку. Она была очень красива. За ее спиной в медных отсветах вечера поблескивали нью-йоркские небоскребы. Их окна гигантскими слепыми зеркалами отсвечивали в закатных лучах.

— Я как раз одевалась, — сказала она. — Сегодня у меня съемки. Почему ты не позвонил?

— У меня нет номера этого телефона.

— А почему утром так тихо смылся?

— Из деликатности. Не хотел тебя будить, а засвечиваться позже, когда все тут своих пуделей выводят, тоже не хотелось. У вас тут не дом, а клуб любителей животных, к тому же весьма активный.

Она бросила на меня скептический взгляд.

— На твоем месте я бы так не переживала, — заметила она. — Говорят, в прежние времена тут был...

— Бордель. Но роскошный, по сто долларов, если не больше. Хосе мне все рассказал.

— Он уже успел пригласить тебя на коктейль?

— Да, — изумился я. — Откуда ты знаешь?

— А он всех приглашает. Не ходи. Он милый, но очень агрессивный. В верхней части нашего дома обитают гомики. Они тут в подавляющем большинстве. Так что надо остерегаться.

— И тебе тоже?

— И мне. Гомиков-женщин тут тоже предостаточно.

Я подошел к окну. Подо мной лежал Нью-Йорк, знойный и белокаменный, словно алжирский город.

— Гомосексуалисты выбирают себе для проживания самые красивые районы города, — сказала Мария. — Умеют устраиваться.

— Эта квартира тоже, что ли, гомику принадлежит? — спросил я.

Мария рассмеялась, потом кивнула.

— Тебя это успокаивает или оскорбляет?

— Ни то, ни другое, — ответил я. — Просто подумал, что мы с тобой в первый раз одни в квартире, а не в кабаке, не в отеле, не в студии.

Я притянул ее к себе. Она выскользнула.

— Мне надо идти. На часик только. Коллекция весенних шляпок. Минутное дело. Оставайся тут! Не уходи! Если проголодался, в холодильнике еды полно. Только не уходи, пожалуйста.

Она оделась. Я уже любил ту полнейшую непринужденность, с какой она расхаживала нагишом или одевалась в моем присутствии.

— А если придет кто-нибудь? — спросил я.

— Просто не открывай. Да и не придет никто.

— Точно нет?

Она засмеялась.

— Мои знакомые мужчины о приходе обычно предупреждают звонком.

— Отрадно слышать. — Я поцеловал ее. — Хорошо, я останусь тут. Твоим арестантом.

Она посмотрела на меня.

— Ты не арестант. Ты эмигрант. Вечный чужестранец. Скиталец. К тому же я не стану тебя запирать. Вот тебе ключ. Я приду, а ты меня впустишь.

Она махнула мне на прощанье. Я проводил ее до лифта и долго следил, как светящаяся желтым окошком кабина уносит ее вниз, в город. Потом услышал внизу собачий лай. Я осторожно прикрыл дверь и вошел в чужую комнату.

"Она мне помогла", — думал я. Все, что я в течение дня носил в себе комом самых противоречивых чувств, разрешилось весело и непринужденно. Я прогулялся по квартире. В спальне увидел платья, разбросанные по всей кровати. Почему-то они меня растрогали чуть не до слез. Перед зеркалом обнаружилась пара туфель — лодочки на высоченных каблуках. Одна из лодочек упала. Милый, замерший, онемевший беспорядок. В углу стояла фотография в зеленой кожаной рамке. Это был снимок пожилого мужчины, лицо которого говорило скорее о том, что забот у него в жизни немного. По-моему, это был тот же самый, в обществе которого я видел Марию несколько дней назад. Я прошел на кухню и поставил принесенную бутылку мойковской водки в холодильник. Мария не обманула: в холодильнике было полно всякой всячины. Нашлась даже бутылка настоящей русской водки, той же самой, какую она присылала мне в гостиницу. И такой же, какая была в "роллс-ройсе". Секунду поколебавшись, я сунул туда же и свою, но не вплотную, а отгородив ее от русской зеленым шартрезом.

Потом сел к окну и стал смотреть на улицу. Там затевалось великое колдовство вечера. Сумерки окрасились сперва в лиловые, потом в синеватые тона, и на их фоне небоскребы из символов целесообразности превращались в нечто вроде современных соборов. Их окна вспыхивали целыми рядами; я уже знал — это уборщицы пришли в опустевшие конторы и принимаются за работу. Спустя недолгое время все башни сияли светом, как гигантские пчелиные соты. Я вспомнил о первых днях на Эллис-Айленде, когда, разбуженный очередным кошмаром, из спального зала вот так же неотрывно смотрел на этот город, казавшийся таким неприступным.

Где-то у соседей заиграло пианино. Звуки доносились из-за стенки хотя и приглушенно, но достаточно отчетливо. Может, это у Хосе Крузе, подумал я; впрочем, музыка не слишком подходила ни к Фифи, ни к его владельцу. Это были самые легкие пассажи из хорошо темперированного клавира, кто-то их разучивал. Мне вспомнилось время, когда и сам я вот так же упражнялся, пока варвары не заполонили Германию. Господи, это было столетия назад! Отец был жив и даже еще на свободе, а мама лежала в больнице с тифом и больше всего беспокоилась о том, как я сдам экзамен. Меня вдруг всего пронзило болью; казалось, кто-то прокручивает фильм всей моей жизни — слишком быстро, чтобы можно было разглядеть отдельные кадры, но от этого не менее болезненно. Лики и картины прошлого вспыхивали, чтобы тут же исчезнуть, лицо Сибиллы, храброе, но искаженное ужасом, коридоры брюссельского музея, мертвая Рут в Париже, навозные мухи на ее застывших

глазах, и снова мертвецы, мертвецы без конца, слишком много мертвецов для одной-то жизни.

Потом я услышал, как отворилась дверь, и голос Марии спросил:

— Эй, есть кто-нибудь?

В комнате тем временем стало совсем темно.

— А как же, — сказал я, вставая. — Просто я свет не зажигал.

Она вошла.

— А я уж думала, ты опять сбежал.

— Не сбегу, — улыбнулся я, притягивая ее к себе. Она вдруг стала мне дороже всего на свете.

— Не надо, — прошептала она. — Не убегай. Я не могу быть одна. Когда я одна, я никто.

— Ты мне дороже всего на свете, — сказал я. — Ты для меня сама жизнь, все тепло жизни, Мария. Я готов молиться на тебя. Ты вернула мне свет и все краски мира.

— Почему ты сидишь впотьмах?

Я указал на освещенные окна небоскребов.

— На улице все сияет. Я так загляделся, что даже свет забыл включить. А теперь ты пришла, и мне никакой свет не нужен.

— Зато мне нужен, — возразила она со смехом. — В темной комнате мне всегда делается ужасно грустно. А потом, мне нужен свет, чтобы разобрать покупки. Я принесла нам ужин. Все в банках-коробках. В Америке все можно купить в готовом виде.

— Я тоже кое-что принес: бутылку водки.

— Но у меня же есть водка!

— Я видел. Даже настоящая русская.

Она прильнула ко мне.

— Я знаю. Но твоя, от Мойкова, нравится мне больше.

— А мне нет. Я человек без предрассудков.

— Зато я!.. Эту русскую заберешь с собой! — распорядилась она. — Не хочу ее больше видеть! Отдай ее Мойкову, он очень обрадуется.

— Хорошо, — подчинился я.

Она поцеловала меня. Я ощутил аромат ее духов и прикосновение нежной, юной кожи.

— Со мной надо обращаться бережно, — промурлыкала она. — Не могу больше переносить боль. Я очень ранимая. Иначе даже не знаю, что со мной будет.

— Я не причиню тебе боли, Мария, — сказал я. — По крайней мере, намеренно. За остальное поручиться не могу.

— Держи меня крепче. Только не отпускай!

— Я тебя не отпущу, Мария.

Она вздохнула сладко, умиротворенно, как ребенок. Хрупкая, тоненькая, словно былинка, она стояла на фоне светящейся толчеи небоскребов, в которых тысячи уборщиц, прибирая грязь повседневных конторских буден, каждый вечер высвечивали небо волшебной иллюминацией. Она произнесла что-то по-итальянски. Я не понял и ответил ей по-немецки.

— О ты, возлюбленная жизни моей, — сказал я. — Утраченная и обретенная вновь, воскресшая и невредимая...

Она затрясла головой.

— Я тебя не понимаю. А ты не понимаешь меня. Мы даже поговорить

по-настоящему не можем. Странная любовь. С переводом. Какая-то переводная любовь.

Я поцеловал ее.

— В любви, Мария, по-моему, перевода не бывает. А даже если и бывает, я этого не боюсь.

Мы лежали в постели.

— Тебе сегодня вечером опять уходить? — спросил я.

Мария покачала головой.

— До завтрашнего вечера — никуда.

— Вот и хорошо. Можем остаться тут. Можем даже второй раз поужинать: тушенка, сыр, черный хлеб. И пиво! А на десерт остаток пирожных и кофе. Какое счастье!

Она рассмеялась.

— Очень незамысловатое счастье.

— Самое большое из всех, какие есть! Даже не помню, когда я в последний раз испытывал такое блаженство. Эмигрантом я ведь ютился только в убогих гостиничных номерах, в меблирашках, и то был счастлив, — крыша над головой! Ел на грязных подоконниках, подстелив оберточную бумагу, и был до смерти рад, что не буду ложиться голодным. А сегодня...

— Сегодня ты тоже ел на оберточной бумаге, — перебила меня Мария.

— Но я ел вместе с тобой. В твоей квартире...

— Квартира не моя, — пробормотала она сонным голосом. — Квартира чужая, временная, как и все в моей жизни: платья, украшения, диадемы, даже времена года. Сегодня, к примеру, у нас на съемках уже была весна будущего года.

Я смотрел на нее. Обнаженная, загорелая, она растянулась на кровати и была очень красива. "Весна будущего года! — подумал я. — Где-то я буду будущей весной? Все еще в Америке? Или к тому времени война уже кончится и я попытаюсь вернуться в Европу?" Ответа я не знал, но что-то внутри тоскливо и мучительно сжалось.

— Сейчас покажу тебе, в чем мы недавно снимались. Шляпки, но очень маленькие, — кепи и беретики из бархата и парчи. Я две с собой прихватила. До завтра взяла поносить.

Через всю комнату она прошла в прихожую. Меня опять поразила естественная непринужденность, с которой она расхаживает нагишом. Видно, при ее профессии это настолько привычно, что она просто об этом не думает. Кондиционер тихо жужжал возле окна. Маленькая квартирка находилась на такой высоте, что уличный шум был здесь почти не слышен. Внезапно все вокруг предстало до жути нереальным — и эта комната, и этот глубокий пестроцветный сумрак, освещенный только отраженным светом от стеклянных стен небоскребов. Казалось, мы летим на воздушном шаре, на короткий миг вырванные из времени, из войны, из тревоги и вечного, подспудного страха — в какой-то приют мира и покоя, до того непривычного и неведомого, что царящая в нем тишина заставляла сильнее биться сердце.

Мария вернулась. На ней был маленький мягкий берет, вокруг головы какое-то варварское золотое украшение, на ногах почти что шлепанцы, только на шпильках — и больше ничего.

— Весна тысяча девятьсот сорок пятого года! — торжественно объявила она. — Негритянское украшение из латуни, под золото. И драгоценные камни из подкрашенного стекла.

"Весна тысяча девятьсот сорок пятого!" Это было все равно, что сказать: никогда и завтра. И прозвучало-то почти как "завтра", подумал я.

XVII

— Джесси Штайн на днях будут оперировать, — сказал мне Роберт Хирш.

— Что-нибудь опасное? Что с ней?

— Точно пока ничего не известно. Опухоль. Боссе и Равик ее обследовали. Но ничего не говорят. Врачебная тайна. Вероятно, только операция покажет, какая у нее опухоль — доброкачественная или нет.

— Рак? — спросил я.

— Ненавижу это слово, — процедил Хирш. — После слова "гестапо" самое мерзкое слово на свете.

Я кивнул.

— Джесси знает? Догадывается?

— Ей сказали, что это совершенно безобидная, пустяковая операция. Но она же недоверчива и подозрительна, как лисица.

— Кто будет оперировать?

— Боссе и Равик вместе с американским врачом.

Мы помолчали.

— Ты получил тогда деньги для Боссе? После нашей карательной экспедиции?

Хирш кивнул.

— Да, все прошло гладко. Но Боссе не хотел брать! Я его чуть не убил, прежде чем сумел его же деньги ему всучить. Он считает, что мы добыли их вымогательством! Его кровные деньги! У некоторых эмигрантов понятия о чести, скажу я тебе! С ума сойти! — Он усмехнулся. — А ты сходи к Джесси, Людвиг. Я уже был и еще раз пойти не могу — она сразу насторожится. Ей страшно. А утешитель из меня никудышный. Страх других меня только злит, я могу расчувствоваться и начинаю нервничать. Навести ее. У нее сегодня как раз немецкий день. Она считает, что, когда больна, не обязательно ломать язык на английском. Ей нужна помощь. Участие.

Джесси возлежала на тахте в нежно-розовом халате, воплотившем дерзновенную мечту бруклинского портняжки об одеянии китайского мандарина.

— Ты как раз вовремя, Людвиг, — сказала она. — Завтра меня отправляют на заклание.

С красным лицом и горячечным блеском в глазах, Джесси источала натужную бодряческую жизнерадостность. При этом ее округлая детская мордашка застыла от страха, который она тщетно силилась в себе заглушить. Казалось, страх передался даже волосам — они буквально встали дыбом вокруг всей головы и торчали на затылке, словно кудряшки перепуганной негритянки.

— Брось, Джесси, — сказал Равик. — Вечно ты все преувеличиваешь. Заурядное обследование. На всякий случай.

— На какой всякий случай? — встрепенулась Джесси.

— На случай заболевания. Мало ли у человека болячек.

— На случай какого заболевания?

— Да не знаю я, Джесси! Я же не ясновидящий. Для того мы тебя и оперируем. Но я скажу тебе всю правду.

— Точно скажешь?

— Точно скажу.

Джесси дышала мелко и часто. Чувствовалось, что Равику она верит не вполне. И спрашивает его, наверно, уже в двадцатый раз.

— Хорошо, — сказала она наконец и обратилась ко мне: — Ты лучше съешь чего-нибудь, Людвиг. В Париже ты вечно голодный ходил. Там мои двойняшечки кофе приготовили и пирог. Мы сегодня грустить не будем. Все так быстро накатило. Сперва Париж, потом это. И все прошлое вдруг совсем рядом. Как будто вчера. Но ты не думай об этом! А скажи, все-таки, несмотря ни на что, какое хорошее было время, особенно по сравнению... — Она кивнула на тахту и на себя, лежачую. — Ладно, иди скорей, выпей кофе, Людвиг. Кофе свежий. Вон, Равик уже побежал. — Она вся подалась ко мне с видом заговорщицы. — Я ему не верю! — прошептала она. — Ни единому слову!

— А мне?

— И тебе тоже, Людвиг! А теперь иди и поешь!

Я поставил перед Мойковым бутылку.

— Боже мой! — изумился он. — Напиток богов! Оригинальная русская! Еще одна бутылка! Откуда у тебя? Уж не из русского ли посольства?

— От Марии. Это она тебе прислала в подарок к твоему восьмидесятилетию.

— Разве сегодня? — Мойков глянул на газету. — Может быть. После семидесяти я перестал придавать значение датам. Да и русский календарь отличается от западного.

— Мария все подсчитала, — сказал я. — И как себя чувствует человек в восемьдесят лет?

— Тебя это правда интересует?

— Да нет. Просто так спросил, от смущения.

— Слава богу! А то уж я начал в тебе разочаровываться. Не стоит бестактными вопросами принуждать человечество к бестактным ответам. Отведаем-ка лучше водки!

Но тут на входе послышались характерные припрыгивающие шаги Лахмана.

— Господи, этому-то что понадобилось? — удивился я. — Он же вроде бы нашел себе кассиршу из кинотеатра, на которую теперь молится.

Мойков снова улыбнулся. На сей раз улыбка долго блуждала по его широкому, просторному лицу: она зародилась в глазах и в глазах замерла.

— Жизнь совсем не так проста, Людвиг. Бывает что-то вроде извращенной мстительности. Да и ревность не водопроводный кран, чтобы перекрыть его, когда захочешь.

Ковыляя, вошел Лахман. Следом за ним, в кильватере, вплыла блондинка, похожая на укротительницу — мускулистая, с выпяченным подбородком и черными толстыми бровями.

— Моя невеста! — гордо представил он. — Мисс Маккрейг.

Укротительница кивнула. Лахман тем временем разворачивал что-то, завернутое в красную подарочную бумагу.

— С юбилеем тебя, Владимир! — торжественно объявил он. — На твою веру трудно подыскать подарок.

Это была русская икона — маленькая, на золотом фоне. Мойков смотрел на нее обескураженно.

— Лахман, дорогой, — сказал он как можно мягче. — Я же атеист.

— Болтовня! — нисколько не смутился Лахман. — Каждый человек во что-нибудь да верит! Иначе на что бы я жил? К тому же это не Христос и не Богородица. Это святой Владимир. В себя-то ты, надеюсь, пока что веришь, или тоже нет?

— В себя как раз меньше всего.

— Болтовня! — повторил Лахман, бросив взгляд в мою сторону. — Это все философствования нашего дружка Людвига Зоммера. Забудь и не вспоминай!

Я смотрел на Лахмана и не узнавал. Столь бодрым тоном вечный плакса и нытик Курт на моей памяти никогда еще не разговаривал; видно, любовь и правда творит чудеса — он даже подтянулся и как будто окреп.

— Что вам предложить? — вежливо спросил Мойков, озабоченно покосившись на бутылку.

— Кока-колы, — ответил Лахман к немалому нашему облегчению.

— А для дамы?

— У вас есть шартрез? — сквозь мощные челюсти пискнул этот щелкунчик неожиданно тоненьким фальцетом.

— Желтого или зеленого? — невозмутимо уточнил Мойков.

— А что, бывает разве желтый?

— Здесь да. — Это был любимый напиток Рауля.

— Тогда желтого, я такого еще не пробовала. Можно сразу двойной? А то от этих курильщиков в кинозале у меня горло першит.

— Хоть всю бутылку, — великодушно ответил Мойков и налил. И водки себе и мне налить не забыл.

Лахман и мисс Маккрейг сидели рядышком, как голубки, смотрели на нас и выжидательно молчали. Все-таки ничего нет глупее полного счастья, подумал я. Особенно когда приходится озарять его вспышками остроумия, пытаясь поддержать что-то вроде разговора. К счастью, в холл как раз сошли Рауль и Джон, и беседа разом оживилась. От неожиданности оба глянули на мисс Маккрейг с таким отвращением, будто видят освежеванного тюленя, но, осознав свою промашку, тут же наперебой стали состязаться друг с другом в изощренной галантности. Минутой позже на лестнице появилась графиня. Ее соколиный взор мгновенно взял на прицел бутылку, и глаза ее тут же увлажнились ностальгической слезой.

— Россия! — прошептала она. — Великая, изобильная держава! Родина всякой души! Матушка Русь!

— Плакала моя именинная водка, — прошептал Мойков.

— Подмени бутылку, — посоветовал я. — Твоя тоже хорошая. Она и не заметит.

Мойков ухмыльнулся.

— Это графиня-то не заметит? Она отлично помнит любой банкет сорокалетней давности. И особенно — какую там давали водку.

— Но твою-то она ведь тоже пьет.

— Она и одеколон выпьет, если ничего другого не будет. Но вкус не утратила. Так что сегодня нам бутылку из ее когтей уже не вырвать. Разве что по-быстрому все выпить самим. Хотим мы этого?

— Нет, — твердо ответил я.

— Вот и я так думаю. Значит, оставим графине.

— Я и эту-то не особенно хотел. Дай мне лучше твоей. Она мне как-то больше нравится.

Мойков одарил меня проницательным взглядом своих широко рас-

крытых немигающих глаз мудрого старого попугая. Я видел: он думает о многих вещах сразу.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Ты у нас настоящий кавалер в самых разных смыслах и направлениях, Людвиг. Благослови тебя Бог. И храни, — добавил он неожиданно.

— От чего? От кого?

Заметив, что графиня на него не смотрит, Мойков одним быстрым движением опрокинул в себя полную до краев стопку. Потом, отерев рот тыльной стороной огромной ладони, бережно поставил стопку на стол.

— Только от самого себя, — ответил он. — От кого же еще?

— Останьтесь с нами, господин Зоммер, — упрашивал меня Рауль. — У нас импровизированное торжество в честь Владимира. Может, последний его день рожденья, — добавил он шепотом. — Кто в наши-то дни живет больше восьмидесяти?

— Те, кому восемьдесят один и больше.

— Это уже библейский возраст. Вы бы хотели дожить до такой старости? Пережить свои желания, свой голод, свои вожделения? Какая тоска! Хоть сразу вешайся.

У меня на этот счет были совсем другие взгляды, но я не стал их Раулю разъяснять. Я торопился уйти. Мария Фиола ждала меня в своей уютной чужой квартире.

— Оставайтесь! — наседал Рауль. — Не будьте занудой, вы никогда им не были! Может, последний день рожденья у Владимира. Вы ведь тоже его друг!

— Мне надо идти, — сказал я. — Но я еще вернусь.

— Точно?

— Точно, Рауль.

Внезапно я почувствовал, что меня втягивают во что-то, что смахивало на маленькое предательство. Я не сразу понял, в чем дело, да и глупо было думать о такой ерунде. Мойкова я видел каждый день и прекрасно знал, что ему на собственный день рожденья глубоко наплевать. Тем не менее я сказал:

— Я ухожу, Владимир. Но возможно, еще успею вернуться до того, как вы разойдетесь.

— Надеюсь, что не успеешь, Людвиг. Не будь дураком. — Мойков шутливо ткнул меня в плечо своим огромным кулачищем и подмигнул.

— Последние капли твоей настоящей водки утекают, — вздохнул я. — В аристократическое горло графини. Она только что разделила остатки с другом Рауля. Недоглядели мы.

— Не страшно. У меня еще две бутылки есть.

— Настоящей?

Мойков кивнул.

— Мария Фиола сегодня после обеда принесла. И я их надежно припрятал. — И, заметив мое удивление, спросил: — А ты разве не знал?

— Да откуда мне это знать, Владимир?

— Тоже правильно. Одному Богу известно, откуда она добывает этот райский напиток. В Америке его не купить, это я знаю точно.

— Наверно, у какого-нибудь русского, это самое простое объяснение. Ты все забываешь, что Америка и Россия союзники.

— Или у американского дипломата, который получает ее прямо из России; а может, и из русского посольства в Вашингтоне.

— Все может быть, — согласился я. — Главное, она у тебя есть. И в надежном укрытии. Какой смысл гадать о происхождении своей собственности?

Мойков рассмеялся.

— Золотые слова. Слишком мудрые для твоего-то возраста.

— Такая уж у меня проклятая жизнь. Все не по годам рано и с лихвой.

Я свернул на Пятьдесят седьмую улицу. Променад гомосексуалистов на Второй авеню был в полном разгаре. Тут и там слышались радостные оклики, приветствия, взлетали в грациозных и расточительных жестах руки, и все это было отмечено печатью какого-то ликующего эксгибиционизма — в отличие от нормального променада с нормальными влюбленными парочками, где царит скорее тяга к укромности и секретам, здесь, напротив, наблюдался своеобразный парад беззаботной, едва прикрытой непристойности. Хосе Крузе кинулся ко мне, как к старому знакомому, и повис у меня на руке.

— Как насчет коктейля в дружеском кругу, mon cher?[1]

Я осторожно высвободил руку. Со всех сторон на меня уже поглядывали как на лакомый кусочек.

— В другой раз, — ответил я. — Сейчас я спешу в церковь. Там у моей тети отпевание.

Хосе так и покатился от хохота.

— Неплохо, ей-богу! Тетя! Ну вы и шутник! Или, может, вы не знаете, кто такая тетя?

— Тетя есть тетя. Эта тетя была старая, вздорная и к тому же негритянка.

— Друг мой, тетя — это старый педераст! Счастливого отпевания!

Я поднимался в лифте на этаж Марии Фиолы. После встречи с Крузе остался какой-то неприятный осадок. В принципе я ничего против гомосексуалистов не имею, но сказать, чтобы я был так уж за, тоже нельзя. Я знаю, конечно, многие титаны духа были гомосексуалистами, но сомневаюсь, чтобы они так же кичливо демонстрировали это всем и каждому. Он почти испортил мне радостное предвкушение встречи с Марией, на миг мне показалось, что его пошловатые, дешевые остроты испачкают даже ее. И имя хозяина на двери квартиры, в которой Мария сейчас обосновалась, тоже настроения мне не улучшило, ведь я знал с ее слов, что он из той же голубой братии. Знал я и то, что манекенщицы по-своему жалуют гомосексуалистов, потому что в их обществе избавлены от грубых мужских приставаний.

"Так ли уж избавлены?" — думал я, нажимая кнопку звонка. Ведь случалось мне слышать и об универсалах, способных работать на два фронта.

Мария Фиола, приоткрыв дверь, смотрела на меня в щелочку.

— Ты опять в ванной? — спросил я.

— Да. Профессия такая. Сегодня у нас были съемки в фабричном цехе. Эти фотографы чего только не придумают! Сегодня им, видите ли, клубы пыли понадобились! Входи! Я сейчас. Водка в холодильнике.

Она пошлепала обратно в ванную, оставив дверь открытой.

— День рожденья Владимира отмечали?

— Только начали, — сказал я. — Графиня при виде твоей водки впала

1. Мой дорогой (*франц.*).

в ностальгический экстаз. Когда я уходил, она своим дребезжащим голоском запевала русские песни.

— Тебе хотелось остаться? — спросила она.

— Нет, Мария, — ответил я и сразу почувствовал, что это неправда. И в то же время, поскольку как раз это и мешало мне всю дорогу, все мгновенно улетучилось, так что и ответ мой перестал быть неправдой.

Голая, еще мокрая, она вышла из ванной.

— Мойков осчастливлен твоей водкой, — сообщил я. — Одну, правда, уже выпила графиня. Но остальное он успел припрятать. У Лахмана новая любовь — кассирша из кинотеатра, она пьет шартрез.

Мария все еще смотрела на меня.

— По-моему, тебе все-таки хочется пойти.

— Чтобы лицезреть Лахмана на вершине любовного счастья? В еврейских сетованиях на жизнь он хотя бы изобретателен, но в счастье он скучен до безобразия.

— Наверное, как и все мы?

Я встал и обнял ее. В первое мгновение мне почудилось, что она дрожит. Потом я ощутил тепло ее кожи.

— А по-моему, когда люди говорят такие вот глупости, они очень близки к счастью, — пробормотал я, уткнувшись ей в волосы.

Мария ворочалась во сне. За окном между небоскребами полыхали дальние зарницы. Всполохи бесшумных молний призраками метались по комнате. Откуда-то сбоку, из-за стенки донесся приглушенный лай. Должно быть, это Фифи, не иначе Хосе Крузе привел на ночь очередного приятного гостя. Я блаженно вытянулся возле Марии, стараясь ее не потревожить. Она тем не менее что-то почувствовала.

— Джон, — пробормотала она не просыпаясь.

XVIII

— Мы, антиквары и торговцы искусством, живем за счет одного примитивного и неистребимого свойства человеческой натуры, — со вкусом разглагольствовал Реджинальд Блэк. — За счет человеческого стремления к собственности. Свойства поистине удивительного, ибо каждый ведь знает, что рано или поздно умрет и ничего с собой туда забрать не сможет. И удивительного вдвойне, поскольку каждый знает, что музеи просто ломятся от замечательных картин, картин такого качества, какие на рынке встречаются крайне редко. Кстати, вы побывали в музее Метрополитен?

Я кивнул:

— Даже два раза.

— Вам бы надо каждую неделю туда ходить, чем с этим русским самогонщиком в шахматы резаться в ваших грошовых номерах. "Вавилонскую башню" видели? Толедский ландшафт Эль Греко? Все вывешено на всеобщее обозрение, даром. — Реджинальд Блэк отхлебнул коньяку (самого хорошего, для клиентов, которые покупают больше чем на двадцать тысяч долларов) и погрузился в грезы. — Это же бесценные шедевры. Страшно подумать, сколько на них можно заработать...

— Это тоже человеческое стремление к собственности в вас говорит? — ввернул я.

— Нет, — ответил он с укором в голосе и отвел руку с бутылкой, из

которой совсем уже было собрался подлить мне коньяка. — Это моя унаследованная от предков страсть торговца, та самая, которая пребывает в вечном споре с моей любовью к искусству и, к сожалению, то и дело берет верх. И все равно я не пойму — почему люди не идут в музеи, чтобы там без забот, без хлопот любоваться гениальными творениями, а предпочитают вместо этого за огромные деньги приобрести несколько не вполне даже законченных Дега, повесить их у себя в квартире, чтобы потом без конца трястись от страха перед ворами, перед бестолковыми горничными, которые тычут куда ни попадя рукоятью швабры, или гостями, способными загасить сигарету обо что придется? В любом музее картины гораздо лучше, чем у так называемых коллекционеров.

Я рассмеялся:

— Да вы просто заклятый враг всех антикваров. Вас послушать — и люди перестанут картины покупать. Вы бескорыстный Дон Кихот от антикварной торговли.

Блэк польщенно улыбнулся и, смилостивившись, снова взялся за бутылку.

— Сейчас столько разговоров о социализме, — продолжал он. — А между тем все самое прекрасное в мире и так открыто для каждого. Музеи, библиотеки, да и музыка, вон какие замечательные концерты по радио, Тосканини со всеми концертами и симфониями Бетховена каждую неделю в музыкальном часе. Не было в истории эпохи более благоприятной для комфортабельного сибаритского существования, чем нынешняя. Вы только взгляните на мою коллекцию альбомов по искусству! Когда есть такое, да еще музеи, зачем вообще держать картины дома? Нет, честное слово, иногда хочется просто забросить профессию и жить вольной птицей!

— Так почему же вы этого не сделаете? — поинтересовался я, на всякий случай хватаясь за рюмку, которую он успел мне налить.

Он вздохнул.

— Это все двойственность моей натуры.

Я не мог не залюбоваться этим благодетелем человечества. Он обладал поистине изумительным свойством свято верить во все, что он говорит в данную минуту. Однако на самом деле он ни единой секунды и ни единому слову своему при этом не верил, что и спасало его от репутации хвастливого болтуна и даже напротив — придавало его облику блеск ироничной элегантности. Сам того не зная и не желая того признавать, он был актером и всю жизнь актерствовал.

— Позавчера позвонил мне старый Дюран-второй, — продолжил Блэк. — У этого человека двадцать миллионов долларов, и он хочет купить маленького Ренуара. Но при этом же у него рак в последней стадии, о чем он прекрасно знает. Врачи дают ему еще только несколько дней жизни. Ну, я беру с собой картину и еду к нему. Спальня старика просто пропахла смертью, несмотря на всю дезинфекцию. Смерть, да будет вам известно, самый стойкий парфюм, она перебивает любой запах. Сам старик уже просто скелет, одни глазищи остались, кожа как пергамент, только вся в коричневых пятнах. Но в картинах разбирается, в наши дни это редкость. А еще больше разбирается в деньгах, что в наши дни совсем не редкость. Я запрашиваю двадцать тысяч. Он предлагает двенадцать. Потом, с невероятными хрипами в груди, задыхаясь от приступов кашля, поднимается до пятнадцати. Я вижу, что он хочет купить, и не уступаю. Но и он уперся. Можете себе представить: милли-

онер, которому всего-то пару дней протянуть осталось, как грошовый старьевщик торгуется за свою последнюю радость в жизни. При этом наследников своих ненавидит лютой ненавистью.

— Бывает, что миллионеры внезапно выздоравливают, — заметил я. — С ними и не такие чудеса случаются. Ну, и чем же дело кончилось?

— Я унес картину обратно. Вон она стоит. Взгляните.

Это был прелестный маленький портрет мадам Анрио. Черная бархатная лента обвивала изящную шею. Портрет был написан в профиль и весь являл собой воплощение юности и трепетного ожидания грядущей жизни. Неудивительно, что заживо разлагающийся старец захотел обладать образом этой юной красоты, как царь Давид Вирсавией.

Реджинальд Блэк взглянул на часы.

— Так, самое время очнуться от грез. Через четверть часа к нам пожалует оружейный магнат Купер. Американские армии наступают по всем фронтам. Списки убитых растут. Для Купера это самая настоящая страда. Он поставляет товар безостановочно. Все его картины надо бы украсить траурными лентами. И под каждой для пущей красоты установить пулемет или огнемет.

— Однажды вы со мной этой идеей уже делились. Когда Купер у вас последнего Дега купил. Зачем тогда вы ему продаете?

— Я вам и это уже однажды объяснял, — сказал он с нотками досады в голосе. — Все из-за моей проклятой, двойственной, демонической натуры Джекила и Хайда. Но Купер у меня за все поплатится! Я запрошу с него на десять тысяч больше, чем запросил бы с оптового торговца удобрениями или нитяным шелком! — Блэк осекся, оглянувшись в сторону входной двери. Тут и я услышал звонок. — На десять минут раньше, — буркнул Реджинальд. — Один из его излюбленных финтов. Либо раньше, либо позже. Если раньше, начнет объяснять, что в его распоряжении буквально несколько минут, ему срочно надо в Вашингтон или на Гавайи. Если позже, значит, решил меня потомить и измотать ожиданием. Я запрошу с него на одиннадцать тысяч больше и даю вам руку на отсечение, если уступлю хоть цент! А теперь живее! Наш личный коньяк убрать, давайте бутылку для среднего клиента. Этот стервятник мировых побоищ лучшего коньяка и не заслуживает; к сожалению, в коньяке он смыслит не больше, чем в живописи. Так, а теперь марш в засаду; когда понадобитесь, я вам позвоню.

Я устроился на своем наблюдательном посту и раскрыл газету. Блэк был прав: американские войска наступали повсюду. Заводы и фабрики Купера работали на полную мощность, обслуживая массовое смертоубийство. Но если Реджинальд Блэк считает себя благодетелем миллионеров, то разве не прав по-своему и этот стервятник, считая себя благодетелем человечества? И разве массовое смертоубийство не спасает сейчас Европу и весь остальной мир от еще большего ужаса, от изверга, надумавшего поработить весь континент и истребить целые нации? Вопросы, на которые, по сути, нет ответов, а если и есть, то только очень кровавые.

Над головой у меня резко затрезвонил звонок. Я спустился вниз. С порога меня окутало ароматным облаком гаванской сигары.

— Господин Зоммер, — спросил меня Реджинальд Блэк сквозь сизое табачное марево, — зачем вы заявили господину Куперу, что эта картина хуже того Дега, которого он у нас недавно купил?

Я уставился на Купера в полном изумлении. Этот стервятник лгал, причем лгал нагло и в открытую; он прекрасно знает, что я в безвыходном положении, поскольку никогда не осмелюсь назвать столь важного и к тому же вспыльчивого клиента лжецом.

— Говоря о таком мастере, как Дега, я бы никогда не стал оперировать понятиями лучше или хуже, — сказал я. — Это первейшее правило, вынесенное мною из Лувра. Просто одна картина может быть более законченна, другая менее. Это и составляет разницу между эскизом, этюдом и картиной, на которой поставлена подпись мэтра. Ни один из тех двух Дега не подписан. Это сообщает им, по мнению профессора Майера-Грефе, истинное величие той незавершенности, которая оставляет простор для любой фантазии.

Реджинальд Блэк глянул на меня ошарашенно, явно потрясенный моей внезапной эрудицией; цитату я вычитал пять минут назад на своем насесте, схватив наугад первую попавшуюся книжку.

— Вот видите, — только и сказал Блэк, поворачиваясь к Куперу.

— А-а, ерунда! — пренебрежительно отмахнулся этот мужлан с лицом цвета непрожаренного бифштекса. — Лувр, шмувр! Да кто этому поверит! Он сказал: эта картина хуже. Я сам слышал. На слух пока что не жалуюсь.

Я понимал, что все это пустая болтовня, лишь бы сбить цену, но счел, что даже столь благородная цель еще не повод меня оскорблять.

— Господин Блэк, — сказал я, — по-моему, дальнейший разговор все равно не имеет смысла. Только что позвонили от господина Дюрана-второго, он покупает картину, просили ее привезти.

Купер хохотнул кудахтающим смехом рассерженного индюка.

— Хватит блефовать-то! Я случайно знаю, что Дюран-второй концы отдает. Ему картины уже не нужны; единственное, что ему сейчас нужно, это гроб.

И он торжествующе посмотрел на Реджинальда Блэка. Тот ответил ему ледяным взглядом.

— Я сам знаю, что он при смерти, — сказал он сухо. — Я у него вчера был.

Купер снова отмахнулся.

— Он что, гроб, что ли, будет этими импрессионистами оклеивать? — издевательски воскликнул он.

— Такой страстный коллекционер и знаток, как господин Дюран-второй, никогда бы так не поступил. Но на то время, которое ему еще осталось прожить, он не хочет отказывать себе ни в какой радости. Деньги, как вы понимаете, в этом случае роли уже не играют, господин Купер. На пороге смерти нет смысла скаредничать. Как вы только что слышали, Дюран-второй хочет получить этого Дега.

— Ну и отлично. Пусть получает.

Блэк и глазом не моргнул.

— Запакуйте, пожалуйста, картину, господин Зоммер, и доставьте ее господину Дюрану-второму. — Он снял Дега с мольберта и передал мне. — Я рад, что все так благополучно кончилось. Это очень благородно с вашей стороны, господин Купер, уступить умирающему, дабы не отравлять ему последнюю радость в жизни. На рынке еще много других Дега. Может, лет через пять, через десять нам снова попадется работа столь же отменного качества. — Он встал. — Ничего другого я вам, к сожалению, предложить не могу; это была моя лучшая картина.

Я направился к двери. Я нарочно шел не медленно, чтобы Купер не заподозрил блеф, а деловито и быстро, словно очень тороплюсь доставить картину к ложу умирающего Дюрана-второго, пока тот жив. Оказавшись у двери, я был уверен, что Купер меня окликнет. Но оклика не последовало. Разочарованный, я поднялся на свой насест, переживая из-за того, что, очевидно, запорол шефу сделку.

Но я недостаточно хорошо знал Блэка. Через пятнадцать минут раздался звонок.

— Картину уже увезли? — спросил Блэк бархатным голосом.

— Господин Зоммер как раз с ней уходит, — сообщил я заполошным фальцетом.

— Догоните его! Пусть принесет картину обратно.

Второпях я кое-как завернул картину и опять спустился вниз, готовясь снова ее распаковать.

— Не надо разворачивать, — недовольно пробурчал Купер. — После обеда доставьте ее мне домой. А после расскажете мне, что у вас есть третий Дега, еще лучше этого, у-у, аферисты!

— Да, есть еще один Дега такого же класса, — холодно ответил я. — Вы совершенно правы, господин Купер.

Купер вскинул голову, как напуганный боевой конь, готовящийся заржать. Даже Реджинальд Блэк глянул на меня с любопытством.

— Этот Дега вот уже двадцать лет висит в парижском Лувре, — закончил я. — И не продается.

Купер перевел дух.

— Избавьте меня от ваших шуток, — буркнул он и потопал к двери.

Реджинальд Блэк отодвинул коньяк для клиентов в сторонку и принес свою заветную бутылку.

— Я горжусь вами, — заявил он. — Может, от Дюрана-второго и правда звонили?

Я кивнул.

— Он хочет еще раз взглянуть на Ренуара. Портрет молодой мадам Анрио. Просто кстати пришлось.

Блэк извлек из своего красного сафьянового бумажника сотенную купюру.

— Премия за отвагу, проявленную перед лицом неприятеля.

Я с удовольствием сунул купюру в карман.

— Вам удалось получить с Купера всю контрибуцию? — спросил я.

— Всю до последнего цента! — радостно доложил Блэк. — Нет ничего правдивее полуправды. Мне пришлось поклясться Куперу жизнью собственных детей, что я вчера действительно был у Дюрана-второго.

— Жуткая клятва.

— Но я же там был. С Ренуаром. А насчет Дега Купер с меня клятву не брал.

— Все равно, — сказал я. — Это ж надо, изверг какой.

Блэк улыбнулся улыбкой херувима.

— Так у меня же нет детей, — сказал он.

— Джесси! — пролепетал я испуганно. — Как ты замечательно выглядишь!

Она лежала на больничной койке, какая-то неожиданно маленькая, бесплотная, мертвенно-серая, с восковым лицом. Только беспокойно бегающие глаза были больше обычного. Она попыталась улыбнуться.

— Все так говорят. Но у меня есть зеркало. Только оно мне и не врет.

Вокруг уже суетились двойняшки. Они принесли яблочный пирог и термос кофе.

— Кофе здесь безобразный, — пожаловалась Джесси. — Такой кофе я вам предложить просто не могу. Вот мои близняшки и принесли хорошего. — Она повернулась к Роберту Хиршу: — Выпей чашечку, Роберт. За мое здоровье.

Мы с Хиршем украдкой переглянулись.

— Конечно, Джесси, — сказал он. — Кофе у тебя всегда был отменный, что в Париже, что в Марселе, а теперь вот в Нью-Йорке. Этим кофе ты столько раз вытаскивала нас из депрессии. Помню, Рождество сорок первого, в настоящих парижских катакомбах, в подвале гостиницы "Лютеция". Наверху немцы маршируют, только сапоги грохочут, а внизу старый коммерции советник Буш надумал покончить счеты с жизнью: будучи евреем, он вдруг не пожелал пережить еще одно христианское празднество всеобщей любви. Еды у всех почти никакой. И тут являешься ты с огромным кофейником. И с двумя яблочными пирогами. Ты получила все это у хозяина гостиницы в обмен на рубиновую брошь и пообещала ему еще рубиновое кольцо, если он неделю нас не выдаст. Это было в самый разгар паники, первого большого страха. Но ты смеялась и даже старого диабетика Буша в конце концов заставила улыбнуться. Ты нас всех тогда спасла, Джесси, твоим замечательным кофе.

Она внимала ему с улыбкой, истово, будто истомленная жаждой. А он сидел перед ней на стуле, словно сказочник из страны Востока.

— Но Буш через год все равно умер, — проронила она.

— Да, Джесси, но его не убили в немецком концлагере, он умер во французском лагере для интернированных лиц. А до этого ты провезла его через всю оккупированную зону. В твоем почти самом парадном наряде, Джесси. На тебе был парик, шикарный костюм шотландской шерсти и кораллового цвета дамское пальто. А на случай, если вас все-таки остановят и Бушу придется говорить, ты наложила ему какую-то невероятно сложную повязку, в которой он якобы мог только мычать. Ты была просто гений, Джесси!

Она слушала его так, будто он и вправду рассказывает ей сказки, а ведь это была самая что ни на есть жестокая и горькая быль, которая только здесь, в обстановке больничной палаты с ее легким запахом спекшейся крови, дезинфекции, гноя и жасминных духов, торопливо разбрызганных повсюду двойняшками, казалась чем-то совершенно ненастоящим. Для Джесси это звучало как самая сладкая колыбельная; она прикрыла глаза, оставив только узенькие щелочки, и слушала.

— Зато потом, Роберт, ты нас переправил через границу на своей машине, — сказала она после паузы. — Под видом испанского вице-консула в машине с такими важными дипломатическими номерами. — Она вдруг рассмеялась. — А уж потом что ты вытворял! Но я тогда уже в Америке была.

— И слава богу, что ты тут была, — слегка покачиваясь, подхватил Хирш все тем же странным, почти монотонным распевом. — Что бы иначе с нами со всеми было? Кто бы снашивал здесь башмаки и обивал пороги, добывая гарантийные ручательства и деньги, спасая нас всех...

— Ну уж не тебя, Роберт, — перебила его Джесси, улыбаясь уже почти задорно и с хитрецой. — Ты-то и сам не пропадешь.

Стало темно. Близняшки замерли на своих стульях, хлопая глазами, как две изящные совушки. Даже похоронных дел церемониймейстер Липшюц вел себя тихо. Составитель"Кровавого списка" зловеще что-то про себя подсчитывал. Когда пришла медсестра проверить повязки и измерить температуру, он откланялся первым. Утонченная натура, он был способен выносить вид крови только в своих кровавых фантазиях. Поднялся и Хирш.

— По-моему, нас выставляют, Джесси. Но я скоро снова приду. Хотя, может, ты еще скорее окажешься дома.

— Ах, Роберт! Кто тебе это сказал?

— Как кто? Равик и Боссе, твои врачи.

— А ты не врешь, Роберт?

— Нет, Джесси. А что, разве они тебе сами не говорили?

— Все врачи лгут, Роберт. Из милосердия.

Хирш рассмеялся.

— Тебе милосердие ни к чему, Джесси. Ты у нас отважная маркитантка.

Мы вышли на улицу и сразу окунулись в ее все еще теплую вечернюю суету. Мимо торопливо сновали люди, не желающие ничего знать о смерти.

— Так что с Джесси, Роберт? — спросил я. — Ее правда так скоро выпишут?

Хирш кивнул.

— Они ее вскрыли, Людвиг, и тут же снова заштопали. Ее ничем не спасти. Я спрашивал Равика. Метастазы повсюду. Когда помочь уже нельзя, в Америке не мучат людей бессмысленными операциями. Им просто дают спокойно умереть, если, конечно, можно назвать спокойной смертью, когда человек орет от боли весь день и даже морфий ему не помогает. Но Равик надеется, что ей еще осталось несколько месяцев более или менее сносной жизни. — Хирш остановился и посмотрел на меня с выражением бессильной ярости во взгляде. — Еще год назад ее можно было спасти. Но она ни на что не жаловалась; думала, так, болячки от возраста, что-то другое всегда было важней. Вокруг же полно несчастных, о которых ей нужно было позаботиться. Вечно этот идиотский героизм самопожертвования! А теперь вот валяется, и ее никакими силами не спасти.

— Она догадывается?

— Конечно, догадывается. Как все эмигранты, она ни в какой хороший конец не верит вообще никогда. Почему, думаешь, я весь этот театр устраивал?

— А что будет, когда Джесси уже не сможет переносить мучения? — спросил я.

— По-моему, Равик не даст ей страдать и не станет держать ее в концлагере Господа Бога распятой на больничной койке, — мрачно ответил Хирш. — Он, конечно, подождет, пока она сама этого не захочет. Пусть даже она ему об этом не скажет. Он сам за нее все почувствует. Только не верю я, что Джесси этого захочет. Она будет бороться за каждый час жизни.

Было уже довольно поздно, когда я подошел к дому фотографа. На улицу из окон верхнего этажа падал яркий, слепящий свет юпитеров. Бе-

лые портьеры ателье были задернуты, и на их фоне двигались тени. На освещенном прямоугольнике мостовой стоял желтый "роллс-ройс". Это был тот самый лимузин, на котором Мария однажды прокатила меня до кафе "Гинденбург" на Восемьдесят шестой улице.

Марию я увидел сразу же. В белом с золотыми цветами платье она стояла на подиуме под кустом искусственной белой сирени. Я заметил, что и она меня тотчас же увидела, хотя и не шелохнулась, потому что ее как раз снимали. Она стояла очень прямо, почти летела, как фигура на корабельном носу, и этой позой напомнила мне неудержимую, победоносную Нику Самофракийскую из Лувра. Она была очень красива, и на миг я даже усомнился, вправду ли эта женщина имеет ко мне какое-то отношение, столько гордости и неприступного одиночества было во всей ее осанке. В следующую секунду Мария уже перестала изображать Нику и стремглав сбежала по ступенькам ко мне.

— Людвиг...

— Я знаю, — перебил я ее. — Желтый "роллс-ройс".

— Я не знала, — прошептала она. — Он приехал без предупреждения. Я тебе звонила. В гостинице тебя не было. Я не хотела...

— Я могу снова уйти, Мария. Я даже хотел сегодня с Робертом Хиршем остаться.

Она посмотрела на меня в упор.

— Это совсем не то, что я хотела сказать...

Я слышал тонкий запах ее теплой кожи, ее пудры, ее косметики.

— Мария! Мария! — заорал фотограф Никки. — Съемки! Съемки! Мы теряем время!

— Все совсем не так, Людвиг! — прошептала она. — Останься! Я хочу...

— Привет, Мария! — раздался чей-то голос у меня за спиной. — Это был потрясающий кадр. Не представишь меня?

Рослый мужчина лет пятидесяти протиснулся мимо меня, направляясь прямо к Марии.

— Мистер Людвиг Зоммер, мистер Рой Мартин, — сказала Мария неожиданно спокойным голосом. — Прошу меня извинить. Мне снова на эшафот. Но я скоро освобожусь.

Мартин остался возле меня.

— Вы, похоже, не американец? — спросил он.

— Это нетрудно расслышать, — отозвался я с плохо сдерживаемой неприязнью.

— Тогда кто вы? Француз?

— Лишенный гражданства немец.

Мартин улыбнулся.

— Вражеский иностранец, значит. Как интересно.

— Только не для меня, — как можно любезнее парировал я.

— Могу себе представить. Так вы эмигрант?

— Я человек, которого жизнь забросила в Америку, — сказал я.

Мартин рассмеялся.

— Изгнанник, значит. И какой же у вас сейчас паспорт?

Я увидел, как Мария выходит на подиум. На ней было летнее платье, очень нарядное, с большущими цветами.

— Это допрос? — поинтересовался я нарочито спокойным тоном.

Мартин снова рассмеялся.

— Нет. Чистое любопытство. Почему вы так спросили? У вас есть основания опасаться допросов?

— Нет. Но я достаточно часто им подвергался. В качестве изгнанника, как вы изволили выразиться.

Мартин вздохнул.

— Это все следствие обстоятельств, возникших по вине Германии.

Я чувствовал: он хочет запугать меня, лишить меня уверенности. И скрытую угрозу — мол, держись подальше от людей моего круга — тоже прекрасно расслышал.

— Вы еврей? — вдруг спросил он.

— Вы действительно ждете ответа на этот вопрос?

— Почему нет? Я с большой симпатией отношусь к этому несчастному, многострадальному народу.

— В Америке вы первый, кто вот так прямо меня об этом спрашивает.

— Ну уж, ну уж, — не согласился Мартин. — Может, и в службе эмиграции не спросили?

— Там конечно. Но то чиновники, это их работа. А так никто.

— Странно, — улыбнулся Мартин, — до чего иной раз чувствительны евреи, когда их спрашиваешь о национальности.

— Это совсем не так странно, как вам кажется, — возразил я, чувствуя на себе неотрывный взгляд Марии. — За последнее десятилетие их слишком часто об этом спрашивали самые разные люди: чиновники в гестапо, палачи в камерах пыток, уголовники в тюрьмах, жандармы на воле.

Глаза Мартина на миг сузились. Но он тут же снова улыбнулся.

— Ну, вы-то вообще не очень похожи. Кстати, в Америке и этого можно не опасаться.

— Знаю, — ответил я. — Антисемитизм ограничен здесь только рядом особо шикарных отелей и клубов, куда евреев не пускают.

— Вы неплохо осведомлены, — заметил Мартин. А потом, без всякого перехода, продолжил: — Я собираюсь сегодня поужинать с мисс Фиолой в "Эль Марокко". Присоединиться к нам не желаете?

В первый миг я даже слегка опешил от неприкрытого коварства, с каким он заманивал меня в ловушку, но у меня не было ни малейшего желания оказаться в роли подопытного кролика, над которым весь вечер на глазах у Марии будет потешаться крупный государственный чиновник, зная, что я не могу ему ответить и пользуясь этой моей беспомощностью.

— Очень жаль, — сказал я. — Но у меня сегодня еще одна встреча. С господином Нусбаумом, главным раввином Бруклина. Я приглашен к нему на шабат. Может, как-нибудь в другой раз. Большое спасибо.

— Что ж, если вы так набожны... — С плохо скрываемым торжеством Мартин отвернулся. А я, увидев, что подиум опустел, направился к выходу; манекенщицы как раз переодевались за большой ширмой. Тем лучше, подумал я. Хватит с меня унижений. В кармане у меня была сотня, полученная сегодня от Реджинальда Блэка. Я намеревался на эти деньги сводить Марию в "Вуазан". Твердой уверенности, что на сегодня она уже условилась с Мартином, у меня не было. Очень может быть, что и нет. Но с какой стати тогда она по телефону меня разыскивала? Я не знал. Да и не хотел знать — с меня достаточно.

В гостиницу я вернулся поздно. Но Феликс О'Брайен ждал меня с сообщением.

— Вам звонила дама, дважды. Причем одна и та же. Просила вас перезвонить.

Я взглянул на часы. Было два часа ночи, я не слишком твердо держался на ногах, да и в голове изрядно шумело.

— Хорошо, Феликс, — сказал я. — Если позвонят еще раз, скажите, что я лег спать. Я позвоню завтра утром.

— Вам-то хорошо, — вздохнул Феликс. — Дамы вокруг вас так и вьются, слетаются, как навозные мухи на мед. А наш брат...

— Очень образное сравнение, Феликс, — прервал его я. — Ничего, будет праздник и на вашей улице. Вот тогда вы поймете, как вам было хорошо, когда ваше сердце было свободно.

— Да кому нужна такая свобода, — пробурчал Феликс. — А от вас, однако, коньячком изрядно попахивает. Хороший хоть был коньяк?

— Я уже не помню, Феликс.

Я проснулся среди ночи, оттого что кто-то стоял в двери.

— Кто там? — спросил я, потянувшись к выключателю.

— Это я, — произнес голос Марии.

— Мария! Откуда ты?

Тонким расплывчатым силуэтом она чернела в желтом прямоугольнике дверного проема. Я силился ее разглядеть, но даже в слабом свете ночника, который я всегда оставляю включенным, мне это не удавалось.

— Кто тебя впустил? — спросил я, все еще не веря себе и включив наконец большую настольную лампу на тумбочке возле моей кровати.

— Феликс О'Брайен, единственная добрая душа, еще способная вникнуть в чрезвычайные обстоятельства. Мойков свою водку ушел разносить, а ты... — Мария осеклась с вымученной улыбкой. — Вот, хотела взглянуть, с кем ты мне уже изменяешь.

Я смотрел на нее довольно тупо. Голова все еще гудела.

— Но ведь... — начал было я, но, вспомнив давешнюю мудрость Роберта Хирша из "Ланского катехизиса" насчет неуместных проповедей, вовремя прикусил язык. — Стоп! — сказал я вместо этого. — А где же корона Марии Антуанетты?

— В сейфе у "Ван Клифа и Эрпелса". Я должна тебе объяснить...

— Зачем, Мария? Это я должен тебе объяснить, но давай лучше мы оба оставим это. Так где ты ужинала?

— На кухне из холодильника на Пятьдесят седьмой улице. Бифштекс по-татарски с водкой и пивом. Унылый ужин одинокого кочевника.

— А у меня стодолларовая премия от Реджинальда Блэка пропадает, которую я хотел на тебя потратить! И поделом нам! Особенно мне за мою детскую обидчивость.

В дверь постучали.

— Вот черт! — сказал я в сердцах. — Неужто уже полиция? Шустро работают ребята!

Мария отворила дверь. В коридоре стоял Феликс О'Брайен с кофейником в руках.

— Я подумал, может, вам понадобится, — сказал он смущенно.

— Да еще как, золотой вы мой! Каким чудом вы это раздобыли? Сами, без Мойкова?

Феликс О'Брайен ел Марию глазами, расплываясь в дурацкой улыбке обожания.

— Мы каждый вечер держим наготове кофейник горячего кофе для господина Рауля, когда он куда-нибудь уходит. Но сегодня он уже вер-

нулся. И аспирин. У него всегда упаковка на сто таблеток припасена, он и не заметит, если господин Зоммер немножко у него позаимствует. Я думаю, трех достаточно. — Он повернулся ко мне. — Или больше?

— Аспирина вообще не надо, Феликс. Достаточно одного кофе. Вы наш спаситель.

— Кофейник можете оставить до утра, — сказал Феликс. — Для господина Рауля у меня еще один есть, запасной.

— Это не гостиница, а просто отель люкс, — сказала Мария.

Феликс отдал ей честь.

— Пойду ставить новый кофе для господина Рауля. А то с ним никогда не знаешь, чего ждать.

И он аккуратно прикрыл за собой дверь. Я посмотрел на Марию. Я заметил, как она собралась что-то сказать, но потом раздумала.

— Я остаюсь здесь, — сказала она наконец.

— Вот и хорошо, — сказал я. — Это куда лучше всех объяснений. Но у меня нет гостевой зубной щетки, и к тому же я изрядно выпивши.

— Но я ведь тоже пила, — сказала она.

— По тебе незаметно.

— Иначе я бы сюда не пришла, — проронила она, все еще не двигаясь с места.

— И что же ты пила? — В голове у меня по-прежнему крутился Мартин и ресторан "Эль Марокко".

— Водку. Мойковскую.

— Я тебя обожаю, — сказал я.

Только тут она ко мне бросилась.

— Осторожно! — завопил я. — Кофе!

Поздно. Принесенный Феликсом кофейник покатился по полу. Мария отскочила. Кофе ручейками стекал с ее туфель. Она смеялась.

— А нам очень нужен кофе?

Я покачал головой. Она уже стягивала платье через голову.

— Ты не можешь погасить верхний свет? — спросила она, все еще путаясь в складках.

— Я буду последний дурак, если это сделаю.

Обессиленная, она спала, прильнув ко мне всем телом. Ночь, не в пример августовским, была уже не душная. В воздухе пахло морем и свежестью занимающегося утра. Часы мерно тикали возле кровати. Кофейное пятно на полу чернело, как потек запекшейся крови. Я очень тихо встал и прикрыл пятно газетой. Потом вернулся.

Мария зашевелилась.

— Где ты был? — пробормотала она.

— С тобой, — ответил я, не очень понимая, о чем она спрашивает.

— Чего от тебя хотел Мартин?

— Ничего особенного. Как, кстати, его по имени величать?

— Рой. Зачем тебе?

— Я думал, его зовут Джон.

— Нет, Рой. Джона уже нет. Он погиб на войне. Год назад. Зачем тебе?

— Так просто, Мария. Спи.

— Ты останешься?

— Конечно, Мария.

Она блаженно вытянулась и тут же снова заснула.

XIX

— Сегодня к нам придут супруги Лавские, — объявил мне Реджинальд Блэк. — Это мои старые клиенты, они покупают рисунки и акварели великих мастеров. Для них важно не столько качество работ, сколько громкое имя автора. Типичные коллекционеры ради престижа. Не знаю, действительно ли они хотят что-нибудь купить сегодня. Но мы это сразу же увидим. Если госпожа Лавская придет в своих изумрудах, значит, они пришли только посмотреть, чем мы располагаем. Зато если она явится без драгоценностей, тогда дело серьезней. Мисс Лавская считает это признаком особой утонченности. Каждому антиквару в Нью-Йорке известна эта ее причуда, и все над ней смеются.

— А господин Лавский?

— Он боготворит свою супругу и позволяет ей себя тиранить. В отместку он тиранит весь штат своей фирмы по оптовой продаже брюк на Второй авеню.

— Какой коньяк вы намерены им предложить?

— Вообще никакого. Лавский не пьет. Во всяком случае, когда совершает сделки. Жена пьет только вечером, перед ужином. Мартини. Но коктейлей мы не подаем. Так низко мы еще не пали. Ликер еще куда ни шло. Но коктейли — нет. В конце концов, у нас тут не бар, где по случаю можно и картину прикупить. — Блэк рассмеялся. — Хочу показать вам кое-что из того, что никогда скучным не будет. Вчера вечером доставили. Из освобожденного Парижа. Первая голубка Ноя — после потопа и с оливковой веточкой в клюве.

Он принес из спальни небольшую картину. Это был Мане. Цветок пиона в стакане воды, — казалось бы, что особенного? Он поставил картину на мольберт.

— Ну как? — спросил он.

— Чудо! — сказал я. — Это самый прекрасный голубь мира, какого я видел в жизни. Все-таки есть Бог на свете! Коллекционер живописи Геринг не успел добраться до этого сокровища.

— Нет. Зато Реджинальд Блэк успел. Берите ее с собой на ваш наблюдательный пост и наслаждайтесь. Молитесь на нее. Пусть она изменит вашу жизнь. Начните снова верить в Бога.

— Вы не хотите показывать ее Лавским?

— Ни за что на свéте! — воскликнул Реджинальд Блэк. — Это картина для моей частной коллекции. Она никогда не пойдет на продажу! Никогда!

Я посмотрел на него с тенью сомнения. Знаю я его частную коллекцию. Вовсе она не такая уж непродажная, как он утверждает. Чем дольше картина висит в его спальне, тем продажнее она становится. У Реджинальда Блэка было сердце истинного художника. Прошлый успех никогда долго его не радовал, ему снова и снова нужно было доказывать самому себе свое мастерство. Очередными продажами. В доме было три коллекции: общая семейная, потом коллекция госпожи Блэк и, наконец, личное собрание самого Реджинальда. И все три отнюдь не были неприкосновенны, даже коллекция Реджинальда.

— Никогда! — повторил он снова. — Могу поклясться! Клянусь вам жизнью...

— Ваших нерожденных детей, — докончил я.

Реджинальд Блэк слегка опешил.

— И это я вам уже говорил?

Я кивнул.

— Да, господин Блэк. Но в самый подходящий момент. При покупателе. Это был замечательный экспромт.

[280]
ИЛ 3/2000

Я смотрел на узенький натюрморт с цветком и думал о совете Реджинальда Блэка. Человек непременно должен что-то переживать, так он меня наставлял, иначе он уже не человек, а живой труп. А искусство — самый надежный повод для переживаний. Оно не переменится, не разочарует, не сбежит. Разумеется, любить можно и самого себя, добавил он, многозначительно покосившись в мою сторону, и в конце концов, кому неведомо это чувство? Но в одиночку это довольно скучное занятие, а вот на пару с произведением искусства в качестве близнеца твоей души — совсем другое дело. Не важно, какого искусства — живописи, музыки, литературы.

Я раскрыл каталог Сислея. Картина, которую Реджинальд Блэк собирался предложить Лавским, разумеется, находилась в основной части каталога, но, составляя экспликацию, я обнаружил эту работу и в каталоге парижского аукциона. Там она красовалась даже на обложке.

Четверть часа спустя раздался звонок. Материалы я с собой, разумеется, брать не стал — это выглядело бы суетливой поспешностью, недостойной нашей солидной репутации. Я спустился вниз, выслушал указания Реджинальда Блэка, потом поднялся к себе, выждал минут пять и только после этого снова отправился вниз, уже с каталогами.

Госпожа Лавская была дама импозантная. Сегодня на ней были изумруды. Значит, на продажу рассчитывать не стоило. Я разложил перед гостями каталоги, один за другим. Глаза Блэка вспыхнули от удовольствия, когда он увидел каталог с картиной на обложке. Он с гордостью показал его госпоже Лавской. Та притворно зевнула.

— Аукционный каталог, — пренебрежительно бросил ее супруг.

Я уже наперед знал, чего ждать дальше. Лавские были типичные клиенты-ворчуны, готовые опорочить что угодно, лишь бы сбить цену.

— Унесите каталоги, — распорядился Блэк. — И Сислея тоже. И позвоните господину Дюрану-второму.

Лавский ухмыльнулся.

— Чтобы показать Сислея ему? Какой дешевый трюк, господин Блэк!

— Вовсе не для этого, господин Лавский, — холодно возразил ему Блэк. — Мы тут не на овощном базаре. Господин Дюран-второй хочет, чтобы ему привезли показать Ренуара, которого он намерен приобрести.

Изумруды госпожи Лавской слегка колыхнулись. Это были замечательные камни глубокого темно-зеленого тона.

— А мы этого Ренуара уже видели? — как бы между прочим спросил Лавский.

— Нет, — отрезал Блэк. — Я его отсылаю Дюрану-второму. Он намерен его купить, так что право просмотра за ним. Мы принципиально не показываем картин, которые уже проданы другому клиенту или заказаны им к просмотру. С Сислеем, конечно, будет иначе. Теперь, когда вы от него отказались, он свободен.

Я восхищался хладнокровием Блэка. Он не предпринял ни малейшей попытки всучить клиентам Сислея. И меня не стал представлять в качестве бывшего эксперта из Лувра. Он сменил тему, заговорил о войне, о политике Франции, а меня отослал восвояси.

Десять минут спустя он снова вызвал меня звонком. Лавские уже ушли.

— Продали? — спросил я, спустившись вниз. От Реджинальда я готов был ждать и не таких чудес.

Он покачал головой.

— Эти люди как кислая капуста к сосискам, — сказал он. — Их надо подогревать дважды. И это при том, что Сислей ведь действительно хорош. Приходится принуждать людей к их собственному счастью. Тоска!

— Это правда, насчет Дюрана-второго? — спросил я.

— Правда. Старик только дурачит врачей. Вот увидите, он еще их переживет. Это такая продувная бестия...

— Вы не хотите сами туда сходить?

Блэк усмехнулся.

— Для меня вся борьба позади. А так старик только снова начнет торговаться. Так что уж идите вы. Цену я вам назвал, вот и стойте на ней насмерть. Не уступайте ни в коем случае. Скажите, что права не имеете. Оставьте ему картину, если попросит. Вот тогда уж я через несколько дней сам зайду и потребую картину назад. Картины, чтоб вы знали, на редкость дельные агенты. Они находят путь к сердцам даже самых твердокаменных покупателей. Они красноречивей самого искусного продавца. Клиент незаметно привыкает к ним и уже ни за что не хочет отдавать. И выкладывает полную цену.

Я запаковал картину и на такси отправился к Дюрану-второму. Он жил в двух верхних этажах дома на Парк авеню. Внизу помещался антиквариат китайского искусства. Там в витрине красовались танцовщицы эпохи тан — милые, грациозные глиняные фигурки, больше тысячи лет тому назад захороненные в могилу вместе с их умершим владельцем. Созвучные драме жизни и смерти, что разыгрывалась в верхних этажах того же здания, они, казалось, стоят здесь не случайно. Словно ждут неизбежного финала. Как и чарующий портрет мадам Анрио у меня под рукой.

Квартира Дюрана-второго производила впечатление какой-то странной покинутости. Здесь с первых шагов возникало впечатление, что хозяин уже умер, — хотя он и продолжал цепляться за жизнь в тех двух комнатах, до которых сузилась сфера его обитания, но в остальных помещениях дома жилого духа уже не ощущалось.

Мне пришлось подождать. На стенах салона висело несколько Буденов и один Сезанн. Мебель — Людовик Пятнадцатый, средней руки; ковры новые и довольно-таки безвкусные.

Ко мне вышла экономка и хотела было забрать у меня картину.

— Я должен передать ее из рук в руки, — сказал я. — Так господин Блэк распорядился.

— Тогда вам придется еще немного подождать. У господина Дюрана-второго сейчас врач.

Я кивнул и, пока суд да дело, принялся распаковывать мадам Анрио. Ее удивительная улыбка тотчас же заполнила и оживила собой безжизненное пространство комнаты. Снова появилась экономка.

— Девушка косит, — безапелляционно заявила она, бросив быстрый взгляд на портрет.

Я с изумлением уставился на картину.

— У нее чуть раскосые глаза, — возразил я. — Во Франции это считается признаком особо изысканной красоты.

— Вот как? И ради этого господин Дюран гонит от себя врача! Что-

бы взглянуть на такое!? Чудно. И правая щека кривая. Да и дурацкая повязка на шее тоже набок сползла.

— На фотографии ничего такого, конечно, не бывает, — кротко согласился я. У меня не было ни малейшего желания проходить вместе с Ренуаром предварительную цензуру у кухарки.

— Так и я о том же! К чему весь этот хлам! Вот и племянники господина Дюрана тоже так думают.

"Ага, — подумал я. — Наследнички!" Я вошел в очень просторную комнату с огромным окном и чуть не попятился. Приподнявшись на кровати, на меня взирал живой скелет. Все вокруг провоняло дезинфекцией. Но, купаясь в лучах ласкового сентябрьского солнца, со стен отовсюду смотрели картины — танцовщицы Дега и портреты Ренуара, полотна, полные жизни и жизнерадостности, их было много, слишком много даже для такого большого помещения, и сгруппированы они были так, чтобы любое можно было видеть с кровати. Казалось, будто этот кощей своими костлявыми ручищами готов сгрести вокруг своего ложа все, что есть красивого и легкого в жизни, и уже не отпускать до последнего вздоха.

Дребезжащий, хриплый, но неожиданно сильный старческий голос прокаркал:

— Поставьте картину на стул, вот здесь, возле кровати.

Я поставил картину на стул и остался ждать. Обтянутый кожей череп принялся ощупывать хрупкую мадам Анрио жадным, почти непристойным взглядом. Неестественно огромные, чуть навыкате глаза, казалось, присосались к картине, словно пиявки, и готовы высосать ее всю. Я тем временем изучал сонм картин, которые, словно диковинные бабочки бытия, впорхнули в комнату и уселись вокруг на стенах, пока не пришел к выводу, что Дюран-второй, очевидно, перетащил их сюда по мере того, как вынужден был одно за другим оставлять все прочие помещения своей квартиры. Теперь вокруг него остались только самые радостные картины, вероятно его любимицы, и он цеплялся за них с тем же остервенением, с каким цеплялся за жизнь.

— Сколько? — спросил этот полумертвец некоторое время спустя.

— Двадцать тысяч, — ответил я.

Он прокаркал:

— На самом деле сколько?

— Двадцать тысяч, — повторил я.

Я смотрел на большие бурые пятна, покрывающие этот голый череп, и на огромные зубы, неестественно белые, блестящие, безупречно ровные и искусственные. Они напомнили мне лошадиную улыбку моего адвоката на Эллис-Айленде.

— Вот мерзавец, — прокряхтел Дюран-второй. — Двенадцать.

— Я не имею права торговаться, господин Дюран, — вежливо сказал я. — У меня нет на это полномочий.

— Вдвойне мерзавец! — Дюран снова уставился на картину. — Я не очень хорошо ее вижу. Тут темно.

В комнате было ослепительно светло. Солнце теплой полосой легло на ту часть стены, где висели три пастели Дега. Я переставил стул на эту солнечную дорожку.

— Так слишком далеко! — закаркал Дюран-второй. — Возьмите лампу.

Возле окна я обнаружил высокий, почти в человеческий рост, торшер с поворачивающейся лампой, которую я и навел на картину. Целенаправленный узкий пучок света нашел нежное лицо молодой женщи-

ны и высветил его полностью. Дюран с жадностью в него вперился.

— Господин Дюран, — сказал я. — У вас пастели Дега на солнечной стороне висят. Прямой свет вреден для пастелей.

Дюран не позволил отвлекать себя по пустякам. Лишь некоторое время спустя он соизволил повернуть ко мне голову и смерить меня взглядом, словно я назойливое насекомое.

— Молодой человек, — сказал он довольно спокойно. — Я это прекрасно знаю. И мне это все равно. На мой век этих пастелей хватит. Мне глубоко наплевать, в каком виде эти вещи достанутся моим проклятым наследникам, обесцененными или нет. Я прямо слышу, как они там по нижнему этажу шастают и все подсчитывают, подсчитывают. У-у, банда! Умирать нелегко. Вам, молодой человек, это известно?

— Да, — ответил я. — Мне это известно.

— Вот как?

Он снова обратил взор к прелестной мадам Анрио.

— Почему вы ее не покупаете? — спросил я наконец.

— Только за двенадцать тысяч, — почти без промедления ответил Дюран. — И ни цента больше!

И уставился на меня своими горящими совиными гляделками. Я передернул плечами. Не поворачивался у меня язык сказать ему, что я по этому поводу думаю, как ни хотелось мне вернуться к Блэку с заключенной сделкой.

— Это было бы против моей чести, — добавил он внезапно.

Я не стал ему отвечать. Слишком далеко бы это нас завело.

— Оставьте картину у меня, — прокаркал Дюран-второй. — Я дам о себе знать.

— Хорошо, господин Дюран.

На какой-то миг мне вдруг показалось странным называть господином человека, который истлевал заживо и пропах смертью насквозь, невзирая на все туалетные воды и дезинфицирующие порошки. Но постепенно меркнущее сознание и каждая клеточка разлагающегося тела продолжали истово бороться за жизнь.

Я покинул комнату больного. На пороге меня задержала экономка.

— Господин Дюран велел угостить вас рюмочкой коньяку. Такое с ним редко бывает. Не иначе вы ему понравились. Подождите минутку.

По правде говоря, оставаться мне вовсе не хотелось; но любопытно было узнать, какой коньяк пьет Дюран-второй. Экономка уже шла ко мне с подносом.

— Ну что, купил господин Дюран? — спросила она как бы между прочим.

Я удивленно на нее глянул. "Ей-то что за дело?" — пронеслось у меня в голове.

— Нет, — сказал я наконец.

— Слава богу! Ну к чему ему сейчас все это старье? Вот и племянница его, барышня Дюран, то же самое все время твердит!

Почему-то я сразу хорошо себе представил эту племянницу: костлявая выжига, которая ждет не дождется наследства, как, вероятно, и экономка, которая в каждой новой покупке, должно быть, видит посягательство на отказанный ей куш. Я пригубил коньяк и тотчас же его отставил. Это было самое дешевое пойло из всех, какие мне доводилось пробовать в жизни.

— Господин Дюран тоже пьет этот коньяк? — вежливо поинтересовался я.

– Господин Дюран вообще не пьет. Врачи запретили. А что?

Бедняга Дюран, подумал я. Заложник фурий, которые отравляют ему жизнь и даже напитки.

– По правде говоря, мне тоже пить нельзя, – сказал я.

– Этот коньяк господин Дюран еще в прошлом году сам заказывал.

Тем хуже для него, подумал я.

– А почему господин Дюран не в больнице? – полюбопытствовал я.

Экономка вздохнула.

– Не хочет он! С хламом своим все никак расстаться не может. Врач у нас живет, в нижнем этаже. В больнице-то все куда проще.

Я поднялся.

– Врач тоже пьет этот бесподобный коньяк? – спросил я.

– Нет. Он виски пьет. Шотландское.

– Давай куда-нибудь сходим, – сказал я Марии. – Куда-нибудь, где будет весело, беззаботно и непритязательно. А то я оброс печалью и смертями, как вековое дерево мхом. Премия от Реджинальда Блэка все еще при мне. Давай сходим в "Вуазан" поужинать.

Мария устремила на меня невеселый взгляд.

– Я сегодня ночью уезжаю, – сказала она. – В Беверли-хиллс. Съемки и показ одежды в Калифорнии.

– Когда?

– В полночь. На несколько дней. У тебя хандра?

Я покачал головой. Она втянула меня в квартиру.

– Зайди в дом, – сказала она. – Ну что ты стал в дверях? Или ты сразу же хочешь уйти? Как же мало я тебя знаю!

Я прошел за ней в сумрак комнаты, слабо освещенной только окнами небоскребов, как полотно кубистов. Неподвижный, очень бледный полумесяц повис в проплешине блеклого неба.

– А может, все-таки сходим в "Вуазан"? – спросил я. – Чтобы сменить обстановку?

Она внимательно на меня посмотрела.

– Случилось что-нибудь? – спросила она.

– Да нет. Просто какое-то вдруг чувство ужасной беспомощности. Бывает иногда. Все этот бесцветный час теней. Пройдет, когда будет светло.

Мария щелкнула выключателем.

– Да будет свет! – сказала она, и в голосе ее прозвучали вызов и страх одновременно.

Она стояла между двух чемоданов, на одном из которых лежало несколько шляпок. Второй чемодан был еще раскрыт. При этом сама Мария, если не считать туфель на шпильках, была совершенно голая.

– Я могу быстро собраться, – сказала она. – Но если мы хотим в "Вуазан", мне надо немножко поработать над собой.

– Зачем?

– Что за вопрос! Сразу видно, что ты не часто имел дело с манекенщицами. – Она уже устраивалась перед зеркалом. – Водка в холодильнике, – деловито сообщила она. – Мойковская.

Я не ответил. Я понял, что в ту же секунду перестал для нее существовать. Едва только ее руки, словно пальцы хирурга за скальпель, взялись за кисточки, это высвеченное ярким светом лицо в зеркале разом стало чужим и незнакомым, будто ожившая маска. С величайшим тща-

нием, будто и впрямь шла сложнейшая операция, прорисовывались линии, проверялась пудра, наводились тени, и все это сосредоточенно, молча, словно охотница, покрывающая себя боевой раскраской.

Мне часто случалось видеть женщин перед зеркалом, но все они не любили, когда я за ними наблюдал. Мария, напротив, чувствовала себя совершенно непринужденно — с такой же непринужденностью она и по квартире расхаживала нагишом. Тут не только в профессии дело, подумал я, тут скорее еще и уверенность в своей красоте. К тому же она настолько привыкла к частой смене платьев на людях, что нагота, вероятно, стала для нее чем-то вроде неотъемлемого атрибута существования.

Я чувствовал, как вид этой молодой женщины перед зеркалом постепенно захватывает меня всецело. Она настолько была поглощена собой, этим тесным мирком в ореоле света, своим лицом, своим Я, которое вдруг перестало быть только ее индивидуальностью, а выказало в себе исконные черты рода, носительницы жизни, но не праматери, а скорее только хранительницы чего-то, что против ее воли черными омутами прошлого глядело сейчас на нее из зеркала и властно требовало воплощения и передачи. В ее сосредоточенности было что-то отсутствующее и почти враждебное, в эти мгновения она вернулась к чему-то, что она потом сразу же снова забудет, — к первоистокам, что лежат далеко по ту сторону сознания, к сумрачным глубинам первоначал.

Но вот она медленно обернулась, отложив свои кисточки и помазки. Казалось, она возвращается с интимного свидания с самою собой; наконец она заметила меня и даже узнала.

— Я готова, — сказала она. — Ты тоже?

Я кивнул.

— Я тоже, Мария.

Она рассмеялась и подошла ко мне.

— Еще не раздумал прокутить свои деньги?

— Сейчас меньше, чем когда-либо. Но уже совсем по другой причине.

Я чувствовал ее тепло, нежность ее кожи. От нее веяло ароматом кедра, уютом и неизведанностью дальних стран.

— Сколько же на свете бесполезных вещей, — сказала она. — В тебе их полным-полно. Откуда?

— Сам не знаю.

— Почему бы тебе их не забыть? Как просто жилось бы людям, если бы не проклятье памяти.

Я усмехнулся.

— Вообще-то кое-что я забываю; только все время не то, что нужно.

— И сейчас тоже?

— Сейчас нет, Мария.

— Тогда давай лучше останемся. У меня тоже хандра, но более понятная. Мне грустно уезжать. С какой стати нам идти в ресторан? Что праздновать?

— Ты права, Мария. Извини.

— В холодильнике у нас татарские бифштексы, черепаховый суп, салат, фрукты. А также пиво и водка. Разве мало?

— Вполне достаточно, Мария.

— И на аэродром можешь меня не провожать. Не люблю сцены прощания. Просто уйду, как будто я скоро вернусь. А ты оставайся здесь.

— Я тут не останусь. Отправлюсь к себе в гостиницу “Мираж”, как только ты уедешь.

Секунду она помолчала.

— Как знаешь, — сказала она затем. — Мне было бы приятней, если бы ты пожил тут. А то ты такой далекий, когда уходишь.

Я обнял ее. Все вдруг стало легко, просто и правильно.

— Выключи свет, — попросил я.

— А ты есть не хочешь?

Я выключил свет сам.

— Нет, — сказал я и понес ее к кровати.

Когда снова началось время, мы долго лежали друг подле друга молча. Мария слабо пошевельнулась в полусне.

— Ты никогда не говорил мне, что любишь меня, — пробормотала она безразличным тоном, словно имела в виду не меня, а кого-то другого.

— Я тебя обожаю, — ответил я не сразу, стараясь не прерывать блаженство глубокого вздоха. — Я обожаю тебя, Мария.

Она прильнула щекой к моему плечу.

— Это другое, — прошептала она. — Совсем другое, любимый.

Я не ответил. Мои глаза следили за стрелками светящегося циферблата круглых часов на ночном столике. В голове все плыло, и я думал о многих вещах сразу.

— Тебе надо отправляться, Мария, — сказал я. — Пора!

И вдруг я увидел, что она беззвучно плачет.

— Ненавижу прощания, — сказала она. — Мне уже столько раз приходилось прощаться. И всегда раньше срока. Тебе тоже?

— У меня в жизни, пожалуй, кроме прощаний и не было почти ничего. Но сейчас это не прощание. Ты ведь скоро вернешься.

— Все на свете прощание, — сказала она.

Я проводил ее до угла Второй авеню. Вечерний променад гомосексуалистов был в полном разгаре. Хосе махнул нам, Фифи залаял.

— Вон такси, — сказала Мария.

Я погрузил ее чемоданы в багажник. Она поцеловала меня и уселась в машину. В темном нутре автомобиля она выглядела какой-то маленькой и совсем потерянной. Я провожал ее глазами, пока такси не скрылось из вида. "Странно, — подумал я. — Ведь это только на пару дней". Но страх — а вдруг навсегда, а вдруг это в последний раз? — остался еще с Европы.

XX

Реджинальд Блэк потрясал газето́й.

— Умер! — воскликнул он. — Ушел, подлец!

— Кто?

— Дюран-второй, кто же еще...

Я перевел дух. Ненавижу траурные известия. Слишком много их было на моем веку.

— Ах этот, — сказал я. — Ну, это можно было предвидеть. Старый человек, рак.

— Предвидеть? Что значит предвидеть? Старый человек, рак и неоплаченный Ренуар в придачу!

— А ведь верно! — ужаснулся я.

— Еще позавчера я ему звонил. Он мне заявил, что, вероятней всего, картину купит. И на тебе! Надул-таки нас!

— Надул?

— Конечно! Даже дважды надул. Во-первых, он не заплатил, а во-вторых, картина теперь числится в наследственном имуществе и считается конфискованной государством, пока не урегулированы все наследственные претензии. Это может тянуться годами. Так что портрет для нас, считайте, пропал, пока не улажены все дела по наследству.

— За это время он только поднимется в цене, — мрачно пошутил я. Это был аргумент, которым Блэк козырял едва ли не при каждой сделке, выставляя себя чуть ли не благодетелем человечества.

— Сейчас не время для шуток, господин Зоммер! Надо действовать. И притом быстро! Пойдете со мной. Вы даже представить себе не можете, что иногда вытворяют наследники. Стоит кому-то умереть — и вместо родственников перед вами стая пятнистых гиен. Вы мне понадобитесь как свидетель. Я совершенно не исключаю, что наследники заявят, дескать, картина уже оплачена.

— Скажите, а его уже похоронили?

— Понятия не имею. По-моему, нет. Газета сегодняшняя. Но может, его уже отвезли в дом упокоения. Здесь это мгновенно — как бандероль по почте отправить. А с какой стати вас это интересует?

— Если он еще дома, нам, возможно, стоит приличия ради надеть черные галстуки. У вас не найдется лишнего для меня?

— За неоплаченную картину? Дорогой...

— Всегда лучше явиться с маской скорби и соболезнований на лице, — перебил я его. — Галстук не стоит ничего, но настраивает на миролюбивый лад.

— Будь по-вашему, — буркнул Блэк и скрылся в спальне.

Вернувшись, он протянул мне черный галстук тяжелого узорчатого шелка.

— Шикарная вещь! — похвалил я.

— Еще из Парижа. — Блэк окинул себя критическим взором. — С этой черной тряпкой на шее я смахиваю на мартышку в цирке. Не подходит же к костюму! — Он недовольно уставился в зеркало. — Жуть!

— Темный костюм подошел бы больше.

— Вы считаете? Может быть. Чего только не сделаешь, чтобы заполучить свою же собственность из лап мертвеца и его наследничков!

Реджинальд Блэк снова вышел и вскоре вернулся; на сей раз на нем был скромный темно-серый костюм в тончайшую белую полоску.

— На черный я все-таки не смог решиться, — объяснил он. И загадочно добавил: — У меня тоже есть своя гордость. В конце концов, я не о Дюране-втором иду скорбеть, а свою картину спасать.

Покойник был еще дома. Правда, лежал Дюран-второй уже не в своей спальне, а в роскошном зале этажом ниже. Нам преградил дорогу слуга.

— У вас есть приглашения?

— Что? — переспросил Блэк растерянно, но надменно.

— Приглашения на гражданскую панихиду.

— А когда она начнется? — спросил я.

— Через два часа.

— Вот и хорошо. Экономка здесь?

— Она наверху.

В этот миг к нам приблизился мужчина, по виду смахивавший на буйвола, но в траурном костюме. .

— Вы хотели видеть покойного? — спросил он.

Реджинальд Блэк уже открыл рот, чтобы отказаться. Но я вовремя подтолкнул его локтем и спросил:

— А мы еще успеем?

— Конечно. Времени вполне достаточно. — От буйвола попахивало хорошим виски. — Покажите господам дорогу, — приказал он слуге.

— Кто это был? — спросил Блэк слугу.

— Господин Расмуссен. Родственник господина Дюрана-второго.

— Так я и думал.

Слуга оставил нас на подходе к большому, но почти безлюдному залу с двумя лавровыми деревцами у дверей. Внутри, прислоненные к стенам, дюжинами красовались венки, а на полу стояли вазы с розами всевозможных цветов и оттенков, но с преобладанием белых. Невольно мне вспомнился Эмилио, зеленщик и цветочник из магазинчика напротив гостиницы "Мираж"; если у него есть связи с похоронным бюро, которое переправляет Дюрана-второго в крематорий, сегодня вечером у него будет много очень недорогих роз.

— С какой стати мне глазеть на труп, который хотел меня надуть? — шипел Реджинальд Блэк. — Я не молиться сюда пришел, а забрать своего Ренуара.

— Молиться не обязательно. От вас требуется лишь дипломатично склонить голову и подумать о том, что портрета мадам Анрио нам больше не видать; тогда, быть может, вы даже сумеете пустить слезу.

В зале было человек двадцать. Почти сплошь старики и старухи, лишь несколько детей. На одной из женщин была черная тюлевая шляпа с черной вуалью. Она не спускала с нас недоверчивого взгляда и смахивала на билетершу при вратах смерти. Почему-то при виде ее я вспомнил новую любовь Лахмана — кассиршу из кинотеатра, любительницу шартреза.

Посреди этих явно скучающих людей Дюран-второй лежал с закрытыми глазами, точно восковая кукла, которой уже нет дела до всей этой суеты. Он казался маленьким, куда меньше, чем запомнился мне при встрече, и был похож на старого, уставшего от жизни ребенка. В соответствии со странным ритуалом похорон в коротеньких пальцах у снулой акулы капитала был зажат крест. Цветы благоухали одуряюще, словно их вдвое больше, чем было на самом деле. Реджинальд Блэк смотрел на Дюрана-второго очень пристально. Работал кондиционер, что придавало помещению еще большее сходство с моргом. Но ни одной из картин, собранных Дюраном-вторым, в зале не было — и я и Блэк сразу же это заметили.

— А теперь в атаку, — пробормотал Блэк. — Берем в оборот Расмуссена.

— Сперва экономку.

— Хорошо.

Никто больше не пытался нас останавливать. Откуда-то издали доносился звон бокалов. Не иначе где-то поблизости бар. Мы направились к лестнице.

— Лифт вон там, — показал уже знавший нас слуга.

На лифте мы поднялись на этаж, который был мне уже знаком. К немалому моему изумлению, экономка встретила меня как старого приятеля.

— Он умер, — всхлипнула она. — Опоздали вы! Не иначе вы хотели с ним насчет картины поговорить.

— Да, хотели. Картину я принес на просмотр. Она принадлежит господину Реджинальду Блэку. Мы хотели бы сразу же ее забрать. Где она?

— В его спальне. Там еще не прибрано.

Не говоря ни слова, я направился в спальню. Дорогу я помнил. Блэк решительно шагал рядом. Следом за нами, всхлипывая, семенила экономка.

— Вот и наша мадам Анрио, — сказал я в дверях. — Висит возле самой кровати.

Блэк сделал два решительных шага вперед. Мадам Анрио встречала его своей нежной улыбкой. Я окинул взглядом опустевшую комнату, на стенах которой картины продолжали вести свою отдельную, таинственную, полную радости и света жизнь, такую далекую от смерти.

Неожиданно шустро экономка последовала за Блэком и загородила собой Ренуара.

— Стоп! — сказала она. — Прежде чем мы ее снимем, надо у господина Расмуссена спросить.

— Но ведь это моя картина! Вы сами знаете.

— А все равно у господина Расмуссена спросить надо.

Реджинальд Блэк весь затрясся. Казалось, еще немного, и он просто отшвырнет экономку. Но он совладал с собой.

— Хорошо, — кротко сказал он. — Зовите господина Расмуссена.

Словесная дуэль началась с притворных сантиментов. Расмуссен, благоухавший виски еще сильнее, чем прежде, пытался изобразить убитого горем родича, который просто не в состоянии говорить о делах, пока незабвенный усопший еще дома. На подмогу ему кинулась мегера с горящими глазами, вставной челюстью, которая явно была ей велика и сразу напомнила мне адвоката Левина, и траурной вуалью в волосах, что развевалась, как боевое знамя над полем брани. Но Блэк держался молодцом. Он спокойно пропускал мимо ушей все упреки в душевной черствости и безбожном барышничестве, продолжая твердо настаивать на своем праве. Я с первого взгляда заметил, что экономка почему-то отнюдь не на стороне скорбящих. Вероятно, она единственная здесь воспринимала смерть своего хозяина, биржевой акулы Дюрана, как личную утрату, а кроме того, видимо, она уже знала, что служба ее в этом доме кончилась. Поэтому, когда Расмуссен заявил, что картина должна быть приобщена к наследственному имуществу, поскольку она, вероятней всего, куплена и уже оплачена, Блэк внезапно обрел в этой убитой горем, все еще всхлипывающей женщине верную союзницу. Расмуссен попытался отвести ее как свидетельницу под предлогом предвзятости. Экономку это страшно рассердило, а когда Расмуссен и вовсе приказал ей заткнуться, она заявила ему, что он ей тут не указ, ее не он, а господин Дюран-второй нанимал на службу. Тут в спор визгливым голосом встряла скорбящая ведьма с вуалью, что повлекло за собой короткую и жаркую словесную перепалку между нею и экономкой. Блэк бросил в пекло сражения еще одного свидетеля, то бишь меня. Экономка меня поддержала без малейшего страха перед разъяренной фурией. Она твердо заявила, что Ренуар провисел в доме никак не больше двух недель, а Дюран-второй сам ей сказал, что после его смерти картину надо отослать обратно. Тут Расмуссен на время просто утратил дар речи. Наконец, придя в себя, он заявил, что после вскрытия завещания все эти недоразумения безусловно выяснятся. Блэк настаивал на своем. Тогда Расмуссен извлек из кармана часы и дал понять, что после всей этой недостойной торгашеской сцены ему надо еще приготовиться к панихиде.

— Хорошо, — сказал Блэк. — Тогда ставлю вас в известность, что картина была предложена за пятьдесят тысяч долларов, и именно на эту сумму я и привлеку лично вас к судебной ответственности.

На мгновение воцарилась мертвая тишина. А затем грянула буря.

— Что? — завопила наследница. — Вы что, за дураков нас считаете? Да эта мазня и тысячи не стоит!

Реджинальд Блэк указал на меня.

— Господин Зоммер, эксперт из Лувра, предложил картину господину Дюрану-второму именно за эту цену.

Я кивнул.

— Надувательство! — визжала наследница. — Клочок холста в две ладони величиной! Даже углы не закрашены!

— Это картина для коллекционеров, — терпеливо пояснил я. — Это не товар повседневного спроса. Для коллекционеров она бесценна.

— Но если продавать, то цена-то будет, верно?

Реджинальд Блэк запустил руку в свою ассирийскую бородку.

— Цена — это совсем другое дело, — с достоинством заявил он. — Но вы продавать ее никак не можете. Картина принадлежит мне в любом случае. А на указанную сумму я через суд взыщу с вас только моральный ущерб.

И тут Расмуссен вдруг пошел на попятную.

— Это все ерунда, — сказал он. — Пойдемте с нами в кабинет. Нам нужна по крайней мере расписка, что вы от нас картину получили.

И он провел Блэка в небольшой кабинет рядом. Я остался вместе с экономкой.

— Чем богаче люди, тем жаднее они становятся, — с горечью сказала она. — Они меня уже первого числа хотели выставить, а ведь господин Дюран распорядился до конца года меня оставить. Ну ничего, они у меня еще попляшут, когда увидят, что он мне по завещанию отказал. Ведь я единственная была, кому он доверял, а их всех терпеть не мог. А они даже коньяк его и то норовили охаивать. Хотите рюмочку? Вы единственный, кто его оценил. Я этого не забыла.

— С удовольствием, — ответил я. — Коньяк был редкостный.

Она налила мне рюмку этого адского зелья. Я опрокинул ее залпом и по мере сил изобразил на лице восхищение.

— Превосходно!

— Вот видите! Потому-то я вам и помогла. Остальные-то здесь меня только ненавидят. Ну да мне все равно.

Блэк вернулся в спальню с какими-то бумагами в руках. Следом за ним молча шел Расмуссен. Он вручил Блэку прелестную мадам Анрио с таким видом, будто это жаба, и запер двери спальни.

— Запакуйте это! — буркнул он экономке и, не попрощавшись, вышел.

Экономка принесла оберточную бумагу.

— Может, и вы коньячку желаете? — спросила она Блэка. — Там в бутылке еще много осталось. А теперь все равно уже никто не придет...

Я подмигнул Блэку.

— С удовольствием, — обрадовался тот.

— Коньяк просто поразительный, — в последний раз предостерег я.

Блэк сделал глоток, но выказал безупречное самообладание.

— Господин Зоммер рассказывал мне об этом напитке, — произнес он изменившимся голосом. — Я думаю, он с удовольствием выпьет еще, если у вас осталось. А мне, к сожалению, больше рюмочки в неделю нельзя. Врачи запретили. Зато уж господин Зоммер...

Со скрежетом зубовным я наблюдал, как экономка снова наливает мерзкое пойло в мою рюмку.

— Он и от двойной порции не откажется, — любезно добавил Блэк.

На горестном лице старой женщины пробилась робкое подобие улыбки.

— С удовольствием, — сказала она. — Я рада, коли вам нравится. Может, заберете бутылку с собой?

Я чуть не поперхнулся и замахал руками.

— Что вы, она вам еще пригодится. Жизнь научила меня: в самый неподходящий момент приходят самые неожиданные гости...

Мы покидали обитель скорби с мадам Анрио под мышкой и с ликованием в душе, будто вырвали самую красивую рабыню из рук свирепых арабских работорговцев.

— Мне срочно нужно чего-нибудь выпить, — пропыхтел Блэк в свою бородку. — Это не коньяк, а разбавленная серная кислота. Что-то для чистки латуни, но уж никак не для питья. — Он лихорадочно озирался, высматривая бар. К счастью, показалось такси. — Ладно, берем такси! И дома забьем этот чудовищный вкус нашим лучшим коньяком. Но какова шайка! Смерть — и такая жадность, такая скаредность!

— Ваша идея насчет пятидесяти тысяч была просто гениальна, — сказал я.

— В нашей профессии надо уметь соображать быстро и идти на риск без страха. Отпразднуем сегодня вызволение мадам Анрио со свечами и нашим заветным "Наполеоном". — Реджинальд Блэк рассмеялся. — Вот и понимай людей после этого.

— Вы про Расмуссена? Или про эту фурию?

— Да нет. Эти ясны, как раскрытая книга. Но Дюран-второй каков! Вот скажите, почему он не купил этого Ренуара, раз уж знал, чего стоят его наследники? Мог бы экономке своей подарить. Я уверен, лет тридцать назад он с ней спал. И знаете почему? Ему так было дешевле.

В витрине магазина Сильверов распластался яркий плакат: "Ликвидационная распродажа! Магазин закрывается! Самые низкие цены!" Я вошел.

Александр Сильвер принял меня в клетчатых зеленоватых брюках и серых носках, но зато при черном галстуке.

— Что стряслось? — спросил я.

— Все! — мрачно ответил он. — Самое страшное!

Я взглянул на его черный галстук и только тут вспомнил, что и сам в таком же. Я забыл сменить его на мой, обыкновенный.

— Умер кто-нибудь? — осторожно поинтересовался я.

Александр покачал головой.

— Да нет, но все равно что умер, господин Зоммер. Но с вами-то что? Или у вас кто-то умер? Вы вон тоже в черном.

— Тоже нет, господин Александр. Это траур скорее по служебной надобности. А у вас? Сегодня, похоже, день черных галстуков.

— Мой братец! Этот вероломный нацист! Он таки женился! Тайно! Неделю назад.

— На ком?

— На шиксе, конечно. На этой патлатой гиене.

— Сегодня, похоже, еще и день гиен. Одну я уже лицезрел. Из-за этого и объявление? Все распродаете?

Александр кивнул.

— Объявление-то я повесил, а толку что? Никто не приходит. Все

зазря! Кому сегодня нужен антиквариат? Разве что только моему братцу, извергу. Тот на антиквариате женится.

Я облокотился на голландский стул, даже подлинный, не считая, конечно, ножек.

— Хотите закрыть магазин? Жалко.

— Что значит хотите? Пытаюсь! Ведь никто у меня его не купит! Даже на распродажу покупателей не найдешь!

— А сколько вы бы хотели за этот магазин? — спросил я.

Сильвер стрельнул в меня взглядом.

— Еще не знаю, — осторожно ответил он. — А вы хотели бы купить?

— Разумеется, нет. И даже не арендовать. У меня же нет денег.

— Тогда зачем же вы спрашиваете?

— Просто из солидарности. Как насчет чашечки кофе в чешском кафе напротив? Но чур сегодня я угощаю!

Сильвер посмотрел на меня грустными глазами.

— Не до кофейни мне, дорогой мой друг! Это все прекрасные дни золотого прошлого. Теперь все позади!

Я направился к двери.

— Пойдемте, господин Александр! Чашечка кофе и разговор по душам вам сейчас не повредят. Сделайте мне одолжение.

— Ромовый кекс совсем свежий, — встретила нас кондитерша. — Очень рекомендую, господин Сильвер.

Безрадостным взглядом Александр обвел витрину с выпечкой.

— Шоколадную голову, — выбрал он наконец. Очевидно, темный цвет шоколада больше всего подходил к его похоронному настроению.

Кондитерша принесла кофе. Александр немедленно обжег губы, настолько он оказался горячий.

— Тридцать три несчастья, — пробормотал он. — Я от горя сам не свой.

Я завел разговор о бренности всего земного, надеясь тем самым настроить его на философски-меланхолический лад и слегка поразвлечь. В качестве примера я выбрал Дюрана-второго. Но Александр меня почти не слушал. Вдруг шея его вытянулась, как у разъяренной кобры. Взгляд его был прикован к магазину.

— Вот они! — почти прошипел он. — Арнольд с шиксой своей! Перед витриной стоят! Наглость какая! Видите ее? Видите эту патлатую белокурую стерву в парике и с полной пастью зубов?

На другой стороне улицы я узрел Арнольда в элегантном пиджачке цвета маренго и в полосатых брюках, а рядом с ним тоненькую и на вид вполне безобидную девицу.

— Высматривает, как бы чего урвать, — прорычал Александр. — Видите этот алчный взгляд?

— Нет, — сказал я. — И вы его не видите, господин Александр. У вас просто фантазия не на шутку разыгралась. Что вы намерены предпринять? Съешьте еще одну шоколадную голову, это самое разумное.

— Исключено! Я должен быть там. Иначе эта шикса вломится в магазин и еще меня ограбит! Пойдемте со мной! Вы мне поможете!

Александр Сильвер ринулся через улицу почти с прежней своей отвагой и сноровкой. Очевидно, его окрыляли ненависть и праведный гнев. Он совершил очень элегантное, пружинистое полусальто, чтобы увернуться от пикапа, развозящего детские пеленки, и скрылся за тупой мордой омнибуса.

Я встал и пошел расплатиться.

— Он уже не тот, что прежде, — вздохнула кондитерша. — Никак не может пережить, что господин Арнольд женился. Как будто хуже беды не бывает! Когда вон война кругом! — Она покачала головой.

Я нарочно приближался к магазину не спеша. Хотел дать Александру Сильверу возможность совладать со своими нервами в кругу семьи; в конце концов, не зря же он считает себя галантным кавалером, значит, он и в шиксе должен видеть женщину, а женщина заслуживает уважения.

Арнольд меня представил; опасаясь приступа ярости со стороны Александра, я поздравил молодых довольно сдержанно. Потом стал слушать. Арнольд хотел убрать из витрины объявление о ликвидационной распродаже. Без его согласия такое объявление вешать не следовало, мягко объяснял он.

— Зачем тебе все продавать, Александр?

— Адвокатскую контору хочу снова открыть, — саркастически буркнул Александр. — По бракоразводным процессам! — добавил он.

Шикса, которую звали Каролиной, залилась звонким смехом.

— Как мило! — сказала она. — И как грустно.

— К этому разговору мы еще вернемся, — сказал Арнольд, явно выросший за это время в собственных глазах. — А сегодня Каролина хотела бы взглянуть на наш магазин.

— Ты ведь не против, Александр? — защебетала Каролина.

Я видел, как от такого фамильярного обращения Сильвер-первый дернулся, будто осой ужаленный.

— Я так и думала, — с улыбкой, как ни в чем не бывало, ворковала Каролина. — Такой галантный кавалер, как ты!

Она открыла дверь и вошла в магазин. Арнольд с дурацкой ухмылкой последовал за ней. Александр в эту секунду напоминал прусского генерала вильгельмовской поры, которого ненароком цапнули за гениталии.

— Пойдемте, — пробормотал он сдавленным голосом. — Пойдемте за ними!

Каролина как будто и вовсе не замечала его каменного лица. Она ворковала и щебетала, находила все восхитительным, называла Александра "дорогим деверем", продолжала обращаться к нему только на ты и под конец потребовала, чтобы ей показали "эти ваши страшные катакомбы". Все с той же блаженной улыбкой Арнольд открыл люк в полу и по приставной лестнице повел ее в подвал.

— Ну, что вы на это скажете? — простонал Александр, когда молодые скрылись под землей. — Ведет себя как ни в чем не бывало! Что мне прикажете делать? — Он жалобно смотрел на меня.

— Ничего, — сказал я. — Что случилось, то случилось, и на вашем месте я бы принял это со свойственным вам шармом. В противном случае вы рискуете заработать инфаркт.

— Ах, бросьте вы эти ваши шутки! Мне-то что делать? Эта стерва с ее зубодробительной вежливостью совершенно неуязвима!

— Жениться самому.

— Потерять свободу? Только потому, что мой братец Арнольд...

— Тем самым вы бы сразу восстановили баланс в семье, — сказал я.

— Для вас нет ничего святого, — бросил Сильвер. — К сожалению.

— Есть, — возразил я. — К сожалению.

— Стойте! Эта втируша возвращается! — прошептал Александр. — Тише! У нее слух как у воровки.

Крышка подвального люка открылась. Первым вылез Арнольд, уже слегка раздобревший от семейной жизни.вообще и кулинарных искусств своей шиксы в частности. Каролина выбралась следом за ним, заливаясь счастливым смехом.

— Ты только взгляни, что я там нашла, Александр! — затараторила она. — Распятие из слоновой кости! Я ведь могу его взять, правда? Для вас-то Иисус ничего не значит, верно? Ведь это вы его распяли! Даже странно, что вы им же еще и торгуете. Арнольд не против, что я его беру, ты ведь тоже, правда?

Александр снова чуть не задохнулся. Он выдавил из себя что-то невразумительное насчет свободы искусства, которое принадлежит всем, и вынужден был стерпеть от Каролины еще и поцелуй.

— Приходи сегодня ужинать! — пригласила она. — Сегодня у нас даже будет — как же это? — ах да, кошерное! На закуску рубленая куриная печенка с жареным луком.

В ослепительной улыбке она обнажила все свои многочисленные зубы. Казалось, еще немного, и Александра хватит удар.

— У нас с господином Зоммером сегодня дело, — пропыхтел он наконец.

— А перенести никак нельзя? — кокетливо спросила она, стрельнув в меня глазками.

— Сложно, — ответил я, перехватив взгляд Александра, отчаянно моливший о помощи. — У нас в Гарлеме важная встреча. С выдающимся коллекционером.

— А что он собирает? — не унималась Каролина. — Негритянскую скульптуру?

— Совсем нет. Венецианские зеркала.

Каролина опять залилась своим дробным, переливчатым смехом.

— Ну до чего странно! Чего только не бывает на свете! Пойдем, дорогой! — По-хозяйски уцепившись за Арнольда, она уверенно протянула Александру ручку для поцелуя. — Вы оба такие странные! — щебетала она. — Такие серьезные! Такие милые! И такие странные!

Я смотрел ей вслед. Словечко "странные" в сочетании со смешком нечаянно разбудило мою память. Оно напомнило мне одного врача в концлагере, заключенные его Хохотунчиком прозвали. Этот всех больных тоже считал странными и, заливаясь смехом, до тех пор стегал их кнутом, покуда те сами не заявляли, что совершенно здоровы. Такое вот медицинское обследование.

— Что с вами? — теребил меня Александр Сильвер. — На вас лица нет. Значит, вас эта чума неистребимая тоже уже доняла? Вот как, скажите, с ней бороться? Она кидается на тебя со смехом, поцелуями и объятиями невзирая ни на что. Арнольд конченый человек, вы не находите?

— Для конченого человека у него вполне довольная физиономия.

— На удовольствиях недолго и в ад въехать.

— Наберитесь терпения, господин Сильвер. Развод в Америке штука очень простая и совсем не катастрофа. На худой конец Арнольд всего лишь обогатится новым жизненным опытом.

Сильвер посмотрел на меня.

— Вы бессердечный, — заявил он.

Я не стал возражать. Смешно возражать на такое.

— Вы и правда надумали снова пойти в адвокаты? — спросил я.

Александр ответил каким-то невнятным судорожным жестом.

— Тогда снимите объявление о распродаже, — посоветовал я. — Все равно ведь никто на это не клюнет. К тому же зачем продавать себе в убыток?

— Себе в убыток? И не подумаю! — встрепенулся Сильвер. — Распродажа вовсе не значит себе в убыток! Распродажа — это просто распродажа. Разумеется, мы не прочь кое-что на ней заработать.

— Тогда ладно. Тогда оставляйте ваше объявление. Такой подход меня вполне устраивает. И тихо-спокойно ждите развода вашего Арнольда. В конце концов, вы оба адвокаты.

— Развод денег стоит. Выброшенных денег.

— Всякий опыт чего-то стоит. И пока это только деньги, ничего страшного.

— А душа?

Я глянул в озабоченное и добродушное лицо безутешного еврейского псевдонациста. Он напомнил мне старого еврея, которого Хохотунчик в концлагере во время обследования забил насмерть. У старика было очень больное сердце, и Хохотунчик, стегая его кнутом, объяснял, что лагерный режим для сердечников как раз то, что нужно: ничего жирного, ничего мясного и много работы на свежем воздухе. От одного из особенно сильных ударов старик молча рухнул и больше уже не встал.

— Вы мне, конечно, не поверите, господин Сильвер, — сказал я. — Но при всех ваших горестях вы чертовски счастливый человек.

В гостиницу я возвращался довольно рано. И вдруг понял, что у меня прорва времени. Именно прорва — то есть не такого времени, какое можно чем-то заполнить, а как бы пропасть, дыра. Это была пустота, которая при попытке заполнить ее становилась только еще пустее. Со дня отъезда Марии Фиолы от нее не было ни слуху ни духу. Я и не ждал от нее вестей. Значительная часть моей жизни прошла без писем и без телефона, ведь у меня не было постоянного адреса. И я к этому привык — как привык не ждать от жизни ничего кроме того, что у тебя уже есть. И все равно ощущал сейчас какую-то пустоту. Не то чтобы это была паника, страх, что Мария не вернется — я ведь знал, что с квартиры на Пятьдесят седьмой улице ей пришлось съехать, — а именно чувство пустоты, как будто чего-то недостает. Несчастлив я не был — несчастлив бываешь, когда близкий человек умирает, но не когда он уходит, пусть даже надолго, пусть навсегда. Уж этому-то я научился.

Тем временем наступила осень, а я и не заметил. Как-то сразу улетучилась прачечная духота нью-йоркского лета, прохладными и звездными стали ночи. Существование мое длилось, в газетах далеким заокеанским эхом гремела война — она шла бог весть где, на другом краю света, в Европе, на Тихом океане, в Египте, — призрачная война, бушевавшая повсюду, только не на континенте, который умел вести ее издали, не в стране, где ты был всего лишь беспокойной тенью, где тебя терпели и даже одарили маленьким личным счастьем, незаслуженным и почти постыдным.

Ольга Вайнштейн

Поэтика дендизма: литература и мода

КАКИЕ ассоциации может сейчас вызвать слово "денди"? Воображение сразу рисует картинку: элегант ный мужчина, безупречный костюм, возможно смокинг, галстук-бабочка, дорогая курительная трубка, ленивые отточенные движения, презрительная улыбка... Значит ли это, что дендизм — прежде всего мода, поза и стиль изысканной жизни?

Рискнем отвлечься для начала от тривиальных картинок, избрав менее стандартный ракурс — дендизм и литературная традиция. Известно, что многие писатели были денди; достаточно назвать имена Байрона, Бульвера-Литтона, Дизраэли, Диккенса и Теккерея, Оскара Уайльда и сэра Макса Бирбома из англичан; Бальзака, Стендаля, Барбе д'Оревильи, Бодлера, Пьера Лоти и Марселя Пруста — из французов.

Особая роль в поэтике дендизма принадлежит самому знаменитому денди эпохи регентства Д. Б. Браммеллу. Д. Б. Браммелл (1778—1840) вошел в историю как английский "премьер-министр элегантности", законодатель мод и автор книги "Мужской и женский костюм". Среди современников Браммелл был известен как персонаж устных анекдотов и светской хроники и, разумеется, литературный герой. Биография Браммелла: королевские милости, светский успех, затем изгнание и безумие — пример романтического сценария судьбы, подтверждающий органическую связь дендизма с эстетикой европейского романтизма.

О Браммелле мы знаем по мемуарам современников (воспоминания У. Джессе и Р. Гроноу) и по многочисленным художественным произведениям. Отзвуки байроновского восхищения Браммеллом чувствуются в образах Чайльд Гарольда и Дон Жуана; Браммелл был прототипом мистера Раслтона в романе Э. Бульвера-Литтона "Пелэм" (1828), а в "Грэнби" Т. Х. Листера (1826) он фигурирует как Требек.

Денди постоянно присутствует в литературе XIX века как узнаваемый персонаж, а в 20-е годы в английской литературе с легкой руки издателя Генри Коулберна начинает процветать жанр "модного" романа (fashionable novel). Эпитет "модный" в данном случае имел двойной смысл: главный герой, как правило, увлекался модой и представлял собой тип светского денди. Но благодаря занимательному сюжету из жизни высшего общества и сами книги, как рассчитывал издатель, должны были привлечь внимание и стать модными в читательских кругах.

Коулберн проницательно оценил социальную ситуацию: к 1825 году в Англии уже сложилось сословие богатых буржуа, которые жаждали приобщиться к тайнам аристократического обращения. Истинная аристократия, напротив, брезговала общаться с банкирами и толстосумами-промышленниками, вменяя им в вину вульгарность манер. Самые знаменитые клубы эпохи регентства — "Олмак", "Уайтс", "Уатье" — были сугубо элитарными заведениями за-

© О. Вайнштейн, 2000

Отрывок из книги "Денди", которая будет опубликована в издательстве "Независимая газета".

крытого типа, устав которых был специально сформулирован так, чтобы отсеять нуворишей.

Клуб "Олмак" считался "седьмым небом модного мира". В нем вопрос о допуске решал совет из десяти дам-патронесс (их сравнивали с венецианским Советом десяти), которые безжалостно отсекали лиц незнатного происхождения, и никакие капиталы не могли помочь дочке банкира попасть на заветный бал по средам в "Олмаке". Билеты на бал стоили недорого, закуска была скромная — лимонад и сандвичи с ветчиной, ведь основная цель дам-патронесс состояла в том, чтобы избежать ostentation — "выставления напоказ", афиширования богатства. Т. Веблен в конце XIX века придумает целую теорию, что именно "выставление напоказ" — признак буржуазного мышления, но эти социальные механизмы были прекрасно известны и раньше.

Коулберн понял, что существует не только социальный, но и информационный заслон между нуворишами и аристократами (напрашивающаяся аналогия — культурный зазор между "новыми" и "старыми" русскими), что создавало идеальную рыночную нишу для "модного" романа.

Отныне все желающие могли, купив заветную книжку, "виртуально" побывать в "Олмаке" или узнать, о чем толкуют в великосветских гостиных. Формула "модного" романа включала описания клубных балов, вечеров за картами, когда проигрывались целые состояния, любовных интриг, скачек и, конечно же, изысканных дамских нарядов и дендистских костюмов. Упоминались даже реальные адреса модных портных, у которых можно было заказать подходящие туалеты.

Принципы "модного" романа были достаточно отрефлектированы и нередко четко проговаривались прямо в тексте. У Бульвера-Литтона героиня-аристократка даже дает инструкции будущим авторам: "Умный писатель, желающий изобразить высший свет, должен следовать одному лишь обязательному правилу. Оно заключается в следующем: пусть он примет во внимание, что герцоги, лорды и высокородные принцы едят, пьют, разговаривают, ходят совершенно так же, как прочие люди из других классов цивилизованного общества, более того — и предметы разговора большей частью совершенно те же, что в других общественных кругах. Только, может быть, мы говорим обо всем даже более просто и непринужденно, чем люди низших классов, воображающие, что чем выше человек по положению, тем напыщеннее он держится и что государственные дела обсуждаются торжественно, словно в трагедии, что мы все время обращаемся друг к другу "милорд" да "миледи", что мы насмехаемся над простыми людьми и даже для папильоток вырываем страницы из Дебреттовой "Родословной пэров"[1]. Такие "демократичные" установки создавали иллюзию отсутствия дистанции и позволяли читателю отождествляться с героями, не испытывая чувства социального унижения.

Портрет Браммела

Особый талант Коулберна состоял в организации рекламной кампании вокруг нового романа — как мы бы сейчас сказали, он был мастером public relations. Он обладал неограниченными возможностями манипулировать прессой, будучи совладельцем основных литературных журналов той эпохи. Подписывая с автором контракт, он одновременно заказывал хвалебную рецензию на роман

1. *Э. Бульвер-Литтон.* Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена. (*Здесь и далее роман цитируется в переводе А. Кулишер и Н. Рыковой по изд.: М., 1988.*)

— нередко тому же самому автору под псевдонимом. Для того чтобы внушить публике веру в правдивость деталей, Коулберн прибегал к хитроумной тактике: он заранее распускал слухи, что автор романа — знатное лицо, не пожелавшее открыть свое инкогнито. Читатели таким образом вовлекались в азартную игру отгадывания, кто скрывается за маской, не говоря уж о том, что многие действующие лица романов представляли собой портреты известных аристократов под прозрачными псевдонимами. Иногда к роману для вящего удовлетворения любопытства прикладывался "ключ" в виде таблицы персонажей по принципу "кто есть кто" (хотя порой и "ключ" изобиловал намеренными неточностями).

Автопортрет Ш. Бодлера, 1845 г.

Аристократы также не пренебрегали чтением "модных" романов, и в этом случае игра узнавания приобретала особый характер: по мельчайшим деталям вычисляли, кто из "своих" мог оказаться автором, выставившим на широкое обозрение зарисовки нравов и иронические шаржи знатных особ. Коулберн, правда, не поощрял уж слишком сатирические картинки, чтобы сохранить почтительный интерес публики к аристократическому сословию. Подобная стратегия позднее вызвала обратную реакцию — тогда появился Теккерей со своими язвительными "Записками Желтоплюша" (1840) и "Книгой снобов" (1847).

Первый громкий успех в жанре "модного" романа имел "Тремэн" Р. П. Уорда (1825). Это была история денди, и в ней впервые были детально описаны все дендистские мелочи туалета, стиль жизни, а также техника светского успеха. Очевидный прототип Тремэна — Джордж Браммелл: как и знаменитый денди, главный герой романа любит сидеть возле окошка клуба "Уайтс" и иронизировать по поводу костюмов прохожих. Совпадают и другие знаковые детали — Тремэн отвергает невесту за то, что она пользуется столовым ножом, когда подают горошек.

Роберту Уорду к моменту публикации романа было уже шестьдесят лет, и он был огорошен неожиданным успехом романа. Он был вхож в светские и политические круги и, чтобы не ставить под удар свою карьеру, благоразумно воспользовался псевдонимом. При этом Уорд настолько заботился о своем инкогнито, что даже вездесущий Коулберн не знал его истинного имени. Текст романа переписывали две дочери Уорда, чтобы нигде не фигурировал настоящий авторский почерк. Все контакты с издателем осуществлялись через личного адвоката Уорда Бенджамина Остена и его жену Сару. Они же передавали ему письма читателей и отзывы коллег-литераторов — в его адрес, к примеру, направили одобрительные послания Генри Макензи и Роберт Саути.

Но наибольшее удовольствие Уорду доставляла такая игра: по вечерам он направлялся на светские вечеринки и там охотно поддерживал разговоры о том, кто же мог быть автором скандального романа, высказывая самые невероятные предположения. Попутно он участвовал в спорах о прототипах, пользуясь возможностями тонко отомстить своим недоброжелателям. Так, одной даме, которая сочла роман вульгарным, он намекнул через третьих лиц, что якобы слышала, будто с нее списан характер самого неприятного персонажа в книге — леди Гертруды.

Другой сенсацией стало появление в издательстве Коулберна романа Дизраэли "Вивиан Грей" (1826)[1]. Публикации содействовала та же Сара Остен, которая была посредницей между Коулберном и Уордом. "Раскрутка" велась по уже налаженной схеме: намеки, рецензии, ключ персонажей. Роман был также издан анонимно, однако на этот раз авторское инкогнито было раскрыто довольно быстро. После того как журналисты дознались, что автор — мало кому известный юноша из еврейской семьи, возникло недоумение, откуда он мог так хорошо знать нравы высшего общества. В некоторых критических статьях намекали, будто Дизраэли украл дневники Уорда и списал из них характеристики знаменитых светских персонажей. Подобное обвинение можно объяснить тем, что в тот момент "Тремэн" был, в сущности, единственным образцом "модного" романа и все публиковавшееся вслед за ним невольно сравнивалось с ним как с архетипом. Но на самом деле Дизраэли сочинил сам свой текст, и Уорд одобрительно отзывался о его книге, видя в ней признаки блестящего дарования начинающего автора, — тогда еще никто не мог догадываться, что настоящие амбиции молодого человека простираются далеко за пределы литературы.

Вивиан Грей по сюжету — циник, который делает ставку на политическую карьеру и плетет интриги, чтобы заручиться поддержкой влиятельных лордов и попасть в парламент. Такой герой для Дизраэли оказался своего рода пробным камнем: будущий премьер-министр Англии (Дизраэли получил этот пост в 1867 году) размышлял о моральной цене политического успеха.

Главный герой романа демонстрировал, в лучших дендистских традициях, холодную наглость в сочетании с изысканной вежливостью: опоздав на блестящий обед, он пренебрегает свободным местом с краю стола и, пользуясь благосклонностью хозяйки дома, занимает лучшую позицию в центре рядом с ней. Но для этого приходится подвинуть все остальные кресла, в результате чего у прочих гостей оказываются перепутанными тарелки, и мисс Гассет, которая собралась полакомиться фруктовым желе, по ошибке берет целую ложку жгучего соуса карри с тарелки своего соседа, словом, происходит полный переполох. "Ну вот, это разумное расположение, что может быть лучше"[1], — хладнокровно реагирует Вивиан Грей.

Дендизм Вивиана Грея насквозь автобиографичен: молодой Дизраэли запомнился современникам не в последнюю очередь экстравагантными костюмами. Генри Бульвер, брат писателя Бульвера-Литтона, вспоминает, что на светском обеде Дизраэли был одет в "зеленые бархатные шаровары, канареечного цвета жилет, открытые туфли с серебряными пряжками, рубашку, отделанную кружевами, ниспадавшими на кисти рук"[2]. Дизраэли сознательно использовал дендистский стиль в утрированном варианте, чтобы произвести впечатление на дам, выделиться и запомниться. Эта стратегия саморекламы входила в арсенал дендистских приемов, и Дизраэли не отказался от нее даже позднее: когда он уже был видным политическим деятелем партии тори, он любил появляться в панталонах пурпурного цвета, отделанных золотым шнуром вдоль шва, продолжал носить перстни с бриллиантами поверх белых перчаток и множество золотых цепочек. Он добился членства в "Олмаке" благодаря рекомендации леди Танкервилль, был посетителем салона леди Блессингтон и подружился с королем лондонских денди того времени графом д'Орсе. На известной гравюре Дэниэла Маклиса 1833 года Дизраэли изображен во всем своем дендистском великолепии, причем среди его аксессуаров обращает на себя внимание трость со вделанным моноклем —

1. "Дориан Грей" Оскара Уайльда (1890) — явная аллюзия на "Вивиана Грея" Дизраэли, тем более что оба произведения выдержаны в жанре романа о денди.

1. *Earl of Beaconsfield (Disraeli).* Vivian Grey. London, 1892.
2. *В. Г. Трухановский.* Бенджамин Дизраэли, или История одной невероятной карьеры. М., 1993.

модная техническая игрушка того времени, бывшая таким же знаком престижа, как и сотовый телефон сегодня.

На публике Дизраэли порой нарочно разыгрывал особые дендистские мини-перформансы, изображая из себя сообразно моде женственного, изнеженного молодого человека. Однажды он наблюдал за игрой в теннис, и мяч залетел в зрительские ряды прямо ему в ноги. Дизраэли поднял мяч, но, вместо того чтобы закинуть его обратно на корт, попросил это сделать соседа, мотивируя свою просьбу тем, что никогда в жизни не бросал мяч. На следующий день об этой истории говорил весь Лондон.

Третьим и самым знаменитым "модным" романом в серии Коулберна после "Тремэна" и "Вивиана Грея" стал "Пелэм" Бульвера-Литтона. Собственно, только "Пелэму" и суждено было пережить свое время и остаться в культурной памяти как библия дендизма.

Главный герой романа, молодой аристократ Генри Пелэм изображен прежде всего как отчаянный щеголь. Он завивает локоны, пользуется миндальным кремом для лица, любуется своими перстнями и, что немаловажно для денди, тщательно соблюдает личную гигиену. Нарциссизм героя подчеркивается пристрастием к долгим и роскошным купаниям: "В те времена я был сибаритом; в моих апартаментах была ванна, устроенная по плану, который я сам начертил; поверх нее были укреплены два небольших пюпитра: на один из них слуга клал мне утреннюю газету, на другой — ставил все, что нужно для завтрака, и я ежедневно по меньшей мере час предавался трем наслаждениям одновременно: читал, вкушал пищу и нежился в теплой воде".

Современникам Бульвера-Литтона показались странными подобные прихоти героя: в них усмотрели нечто женственное, неприличное. Против Бульвера-Литтона выступил Карлейль, посвятивший денди сатирическую главу в своем романе "Sartor Resartus"[1], а также критики из журнала "Фрейзерс мэгэзин". Среди них был и Теккерей, который в статье "Люди и костюмы" 1841 года недвусмысленно намекал на некоего писателя, который имеет привычку сочинять свои романы в халате из дамасского шелка и марокканских домашних туфлях: вот если бы он носил обычный сюртук, то и стиль бы был другим: прямым, мужественным, честным.

Под неблагоприятным влиянием подобной критики Бульвер-Литтон внес существенную правку во второе издание романа, и в результате из текста были вымараны многие самые интересные места, которые как раз были посвящены туалету денди. К примеру, в первом издании в доме у приятеля Пелэма лорда Гленвилла фигурировала роскошная ванная комната: "Эта комната была декорирована в нежно-розовых тонах. Ванна белого мрамора была искуснейшим образом сделана в форме раковины, поддерживаемой двумя тритонами. Как мне объяснил потом Гленвилл, в этой комнате была установлена машина, которая постоянно испускала изысканный приятный аромат, и легкие занавески колебались от душистого ветерка"[1].

Такие пассажи было бы неудивительно встретить у Оскара Уайльда или у Гюисманса, но не забудем, что первое издание "Пелэма" вышло в 1828 году! К счастью для поклонников дендизма, Бульвер-Литтон сохранил в книге свои знаменитые правила "Искусства одеваться" — вот некоторые из них:

"Уметь хорошо одеваться — значит быть человеком тончайшего расчета. Нельзя одеваться одинаково, отправляясь к министру или к любовнице, к скупому дядюшке или к хлыщеватому кузену: именно в манере одеваться проявляется самая тонкая дипломатичность.

В манере одеваться самое изысканное — изящная скромность, самое вульгарное — педантическая тщательность.

Одевайтесь так, чтобы о вас говорили не "Как он хорошо одет!", но "Какой джентльмен!"

1. «Перекроенный портной» (*лат.*).

1. Цит. по: *D. E. Moeurs.* The Dandy. New York, 1960, p. 81.

Избегайте пестроты и старайтесь, выбрав один основной спокойный цвет, смягчить благодаря ему все прочие. Апеллес пользовался всего четырьмя красками и всегда приглушал наиболее яркие тона, употребляя для этого темный лак.

Изобретая какое-либо новшество в одежде, надо следовать Аддисонову определению хорошего стиля в литературе и стремиться к той изысканности, которая естественна и не бросается в глаза".

Заметим, что в последней максиме литературные критерии беспрепятственно переносятся на одежду, — это позволяет говорить о едином "большом стиле".

Заповеди дендистского стиля в романе составлены на первый взгляд из изящных парадоксов. Тем не менее, если присмотреться повнимательнее, в них можно выделить лейтмотив — это принцип так называемой "заметной незаметности" (conspicuous inconspicuousness), который лег в основу современной эстетики мужского костюма. Первым идею неброской элегантности придумал, разумеется, Джордж Браммелл.

Второй принцип, который также восходит к Браммеллу, — продуманная небрежность. Можно потратить уйму времени на туалет, но далее необходимо держаться так, как будто в костюме все сложилось само собой, в порядке случайной импровизации. "Педантическая тщательность" вульгарна, потому что не скрывает предварительного напряжения и, следовательно, выдает новичка, который потея постигает науку прилично одеваться. Вот почему умение завязать элегантно-небрежный узел на шейном платке стало высоко котироваться именно в эту эпоху.

В идеале оба принципа создают эффект естественности облика, которая исключает разные мелкие ухищрения, заставляющие человека держаться скованно. Ведь когда Пелэм заказывает себе фрак, он строжайшим образом запрещает портному подкладывать вату, хотя ему настойчиво предлагают "дать надлежащий рельеф груди, прибавить дюйма два в плечах... капельку поуже стянуть в талии".

Печальные последствия обратной стратегии Бульвер-Литтон рисует, не скупясь на жестокий сарказм: "Возле герцогини стоял сэр Генри Миллингтон, весь накладной, втиснутый в модный фрак и жилет. Несомненно, во всей Европе не найти человека, который был бы так искусно подбит ватой... бедняга был не приспособлен в тот вечер к тому, чтобы сидеть: на нем был такой фрак, в котором можно было только стоять!"

Подобная картина ужасна для взгляда настоящего щеголя, поскольку дендистская мода в тот период, напротив, ориентировалась на самоуважение свободной личности, что подразумевало не только незатянутую фигуру, но и непринужденные манеры (в том числе исключающие чрезмерные опасения, как бы не испортить одежду). За этими условностями стоял, однако, достаточно жесткий социальный подтекст — аристократический кодекс поведения. Он диктовал презрение ко всем гиперболическим формам, акцентируя благородную простоту манер.

В романе Пелэм не раз пробует анализировать отличительные признаки светского этикета, которые и были закреплены в дендизме: "Я нео-

Портрет Б. Дизраэли
(на заднем плане – трость с моноклем)

днократно наблюдал, что отличительной чертой людей, вращающихся в светском обществе, является ледяное, несокрушимое спокойствие, которым проникнуты все их действия и привычки — от самых существенных до самых ничтожных: они спокойно едят, спокойно двигаются, спокойно живут, спокойно переносят утрату своих жен и даже своих денег, тогда как люди низшего круга не могут донести до рта ложку или снести оскорбление, не поднимая при этом неистового шума".

Аристократическое спокойствие имело под собой незыблемое внутреннее достоинство и подкреплялось суровыми стоическими принципами воспитания британского джентльмена, что и обеспечивало в итоге знаменитую "неподвижность лица". Но у денди внешнее самообладание превращается в императив "ничему не удивляться" и представляет собой своего рода постоянный внутренний тренинг, чтобы скрывать свои эмоции и эффективно манипулировать людьми, занимая в общении позицию сильного.

Этот новый персонаж, который лишен простодушия и свежести чувств, скорее ориентирован на прагматику социального успеха. В дендистском романе герой, как правило, прекрасно владеет собой, и только закономерно, что и Пелэм, и Вивиан Грей делают политическую карьеру. "Управляй собой, и ты будешь управлять миром" — вот их кредо. Более того, даже дамы, возлюбленные денди, обучены не демонстрировать публично чувства и, закусив губу, умеют изобразить душевное равновесие при полном его отсутствии.

Для автора "модного" романа невозмутимость героев, как можно легко догадаться, создает дополнительные сложности — ему приходится пускаться в дополнительные комментарии от первого или третьего лица, и оттого дендистский роман в своем начальном варианте насыщен интроспекцией. Другой выход — взамен "исповеди" героя безлично обрисовать его действия, что уже ведет нас к поэтике середины XIX века. Ведь дендистская невозмутимость служит удобной универсальной маской, за которой на самом деле могут скрываться самые разные социальные амплуа, в том числе прямо противоположные.

Уже "Пелэм" содержит детективную интригу: герою приходится прибегнуть к переодеваниям и посещать самые мрачные лондонские притоны, чтобы спасти честь своего приятеля лорда Гленвилла. Этот потенциальный авантюризм далее развивается в полноценные типажи денди-сыщика и денди-преступника. В одном из первых по-настоящему успешных коммерческих романов "Парижские тайны" (1842—1843) Эжена Сю использован прием двойной жизни героя: днем Родольф — безупречный денди, а по ночам он исследует парижское "дно". Тот же стереотип поведения позднее воспроизводит уайльдовский Дориан Грей, а за ним — вереница аристократов в белых перчатках и с криминальными наклонностями из современных детективов. Но лучше не заглядывать поспешно в будущее — посмотрим, что же происходило с "модными" романами после первого читательского успеха.

Их ждала географическая экспансия успеха. "Модные" романы вскоре пересекли Ла-Манш — во Франции почти сразу стали переводить новинки издательства Коулберна. В 1830 году уже были напечатаны на французском "Тремэн" Уорда, "Грэнби" Листера," Да и нет" лорда Норманбая, книги Теодора Хука и Дизраэли. "Пелэм" Бульвера-Литтона вообще появился в 1828 году одновременно во Франции и в Англии, а французский перевод вышел в 1832 году и неоднократно переиздавался. Кроме того, "модные" романы были доступны французским читателям в библиотеках, их цитировали в литературных журналах, обсуждали в кафе и в светских салонах. Как раз в тридцатые годы французская лексика пережила настоящую экспансию английских словечек, которые уцелели в языке до сих пор. Даже писатели иронизировали по поводу сложившейся парадоксальной ситуации. "High life[1]: это вполне французское выражение пе-

1. Светское общество (*англ.*).

реводится на английский как fashionable people[1], — говорил позднее Аполлинер.

Неудивительно, что французские денди тридцатых годов немало почерпнули для своего обихода именно из английских "модных" романов. Они читали их как учебники дендизма. Особую роль для популяризации дендизма сыграли, конечно, "Пелэм", а затем "Трактат об элегантной жизни" Бальзака (1830) и эссе Барбе д'Оревильи "О дендизме и Джордже Браммелле" (1845).

Все три сочинения роднит тот факт, что в них на сцену выведен "отец" британского дендизма Джордж Браммелл. В "Пелэме" он фигурирует в образе мистера Раслтона, который проживает в изгнании во Франции, а в трактатах Бальзака и Барбе д'Оревильи действует под своим именем. Во всех трех текстах он выступает как arbiter elegantiarum[2] и служит ходячим образчиком хорошего вкуса. Но у Бульвера-Литтона мистер Раслтон изображен в саркастических тонах во всем, что касается его манеры жестоко третировать друзей, "недотягивающих" до его модных стандартов. Сам Браммелл уже в пожилом возрасте читал "Пелэма" и, в свою очередь, увидел в романе грубую карикатуру на собственную персону. В мемуарах его биографа капитана Джессе есть эпизод, когда он рассказывает о реакции Браммелла на его костюм, состоящий из черного фрака, белой сорочки и белого жилета: "Мой дорогой Джессе, я с прискорбием догадываюсь, что вы, должно быть, читали роман "Пелэм"; и все же, прошу прощения, ваш наряд весьма напоминает сороку". Подобная полемика оригинала с копией в нашем случае лишний раз свидетельствует об удивительно непреложном воздействии литературы: ведь Браммелл, по сути, протестует против стиля, который его приятель усвоил из книжки, оказавшей большее влияние на умы, нежели сам живой классик дендизма!

Джессе был не одинок в своем пристрастии к литературным источникам моды. Тем более во Франции тесная связь костюма и литературы воспринималась как давняя культурная традиция. Приведем отрывок из замечательной книги Эллен Мёрс о стилистике одежды первой половины XIX века: "Маскарад отвечал духу времени. Со времен революции французы привыкли выражать политические взгляды и литературные вкусы через костюмы и модные позы: с самого начала республиканцы были санкюлотами. В эту эпоху для любого мнения и позиции имелся свой вариант стиля. Сторонники "ультра" предпочитали бриджи до колен и антикварные табакерки; либералы носили серые шляпы, а бонапартисты — имперские сюртуки с золотыми пуговицами. Феминистки ходили в мужских костюмах à la Жорж Санд; ученые дамы — в тюрбанах à la мадам де Сталь. Обожатели лорда Байрона отличались нарочитой бледностью и буйными шевелюрами. Любители романов Вальтера Скотта покупали себе шотландские вещи, своим детям — клетчатые юбки, а женам — ткани "Диана Вернон" и шали "Ламермур". Почитатели Дюма носили бархатные береты и мечи в средневековом духе, а поклонники Готье и Гюго — камзолы в стиле "Ван Дейк", женские платья "полонез à brandebourg" и живописные венгерские рединготы. Пылкого сторонника "Молодой Франции" можно было сразу узнать по знаменитому красному жилету, в то время как его противники, классицисты, выбирали более приглушенные тона: это было противостояние ярких и тусклых цветов".

В атмосфере, столь насыщенной культурными реминисценциями, французский дендизм быстро оформляется как самостоятельная эстетика и философия жизни. Но первоначально он все еще скорее ориентирован на социальную проблематику, наследуя установки британских авторов "модного" романа.

В "Красном и черном" Стендаля (1831) тема дендизма возникает, когда Жюльен Сорель едет в Лондон. Однако там, как это ни парадоксально, не англичане, а молодые русские дворяне-дипломаты посвящают Сореля во все тайны светского обраще-

1. Люди света (*англ.*).
2. Арбитр элегантности (*лат.*).

ния. Они объясняют ему два основных правила: 1) не выдавать своих истинных чувств, сохранять холодный вид в любых обстоятельствах (вот стендалевский вариант императива дендистской невозмутимости. — *О. В.*); 2) "Делайте всегда обратное тому, что от вас ожидают", — говорит ему князь Коразов, главный наставник Жюльена в дендизме. "Не будьте ни глупцом, ни притворщиком, ибо тогда от вас будут ждать то ли глупостей, то ли притворства и заповедь будет нарушена"[1].

В выполнении этих правил — завязка одной из главных коллизий романа: конфликта между непосредственной натурой Жюльена и необходимостью сдерживать свои эмоции для успешной карьеры. Душа Жюльена "структурирована по-итальянски, то есть движима не расчетом, не лицемерием, а страстью"[2], и оттого правила дендизма предлагают ему удачный компромисс между необходимостью скрывать свои чувства и возможностью периодически всех удивлять бурными вспышками страстей. Его отношения и с женщинами, и со своими покровителями подчиняются этому пульсирующему алгоритму сдержанности и "итальянской" откровенности.

Позднее по ходу романа Жюльен опять встречает Коразова и восхищается им. "Вот счастливый характер! — думал он. — Какие у него замечательные рейтузы! А волосы как хорошо подстрижены!" Князь опять дает Жюльену ценные советы, но в этот раз относительно "науки страсти нежной" и снабжает его в придачу готовыми любовными письмами, которые сочинил другой русский — Калисский. При этом сам Коразов, как сказано в тексте, "был в восторге, никогда еще ни один француз не слушал его так долго. "Ну вот я наконец и добился,— ликовал про себя князь,— мои учителя слушают меня и учатся у меня".

1. *Стендаль.* Красное и черное. (*Здесь и далее роман цитируется в переводе С. Боброва и М. Богословской по изд.: Стендаль. Избранные произведения. М., 1952.*)
2. *А.В. Карельский.* Метаморфозы Орфея. Беседы по истории западных литератур. М., 1998.

На первый взгляд получается, будто русские превосходят французов в дендизме — однако в романе все не столь однозначно. Ведь фигура Коразова подана у Стендаля с ощутимой авторской иронией. Страницей раньше Стендаль ехидно вставляет: "Русские старательно копируют французские нравы, только с опозданием лет на пятьдесят". Впрочем, стендалевская ирония распространяется и на образы французских денди. Самый яркий пример шаржированного дендизма в романе — кавалер де Бовуази: "Высокий молодой человек, разодетый словно куколка... Его необычайно узкая голова была увенчана пирамидой прекрасных белокурых волос. Они были завиты с невероятной тщательностью, ни один волосок не отделялся от другого... Пестрый шлафрок, утренние панталоны — все, вплоть до вышитых туфель, свидетельствовало об исключительном тщании хозяина". Во время объяснения по поводу предстоящей дуэли кавалер оценивает костюм собеседника, что непосредственно влияет на его обращение с ним. "Г-н Шарль де Бовуази после зрелого размышления в общем остался удовлетворен покроем черного костюма Жюльена. "Это от Штоуба, совершенно ясно, — говорил он себе, слушая его рассказ. — Жилет с большим вкусом, и ботинки недурны, но, с другой стороны, — черный костюм с раннего утра! Ах да, это чтобы не быть мишенью для пули!" — наконец догадался кавалер де Бовуази. Едва только он нашел это объяснение, он стал отменно вежлив и держал себя с Жюльеном почти как равный с равным".

Стендалевская ирония тут очевидна: во-первых, костюм Жюльена не мог быть от Штоуба, ибо сын плотника вряд ли заказывал одежду у прославленного портного, обшивающего высшее общество. Во-вторых, безрассудному Жюльену чужды соображения личной безопасности, он печется о своей задетой чести. В-третьих, к моменту этого рандеву Жюльен еще не настолько денди, чтобы знать, что черный костюм принято носить только вечером. Матильда еще ранее по ходу романа, анализируя общее впе-

чатление от Жюльена, относит к безусловным минусам "его неизменный черный костюм".

Для провинциала, ищущего модель для подражания, кавалер де Бовуази представляет безусловный образец парижского шика. Жюльена восхищает его серьезность с оттенком легкой кичливости, манера шутить на церковные темы, но более всего "смесь самоуважения и какой-то таинственной важности и фатовства". Однако Стендаль недвусмысленно подчеркивает, что это восторги молодого провинциала, и безжалостно развенчивает кавалера де Бовуази попутной авторской ремаркой: "Кавалер немного заикался потому только, что он имел честь часто встречаться с одним важным вельможей, страдавшим этим недостатком".

Путь Жюльена в романе — от неопытного и простоватого молодого человека до изощренного денди, знающего толк и в изящных костюмах, и в умении властвовать собой. По своей способности усваивать науку светской жизни он бы идеально подошел на роль адресата писем лорда Честерфилда. Если в начале службы маркиз де Ла Моль, узнав, что его секретарь запасся двумя белыми сорочками, приказывает ему заказать еще двадцать две, то уже скоро Жюльен использует дендизм как удобную защитную маску. При конспиративной поездке в Англию он без труда разыгрывает легкомысленного франта, и при обыске в его чемодане обнаруживаются "сплошь одно белье, помада да всякие пустячки", что отводит от него подозрения. В финальной сцене на суде Жюльен "одет очень просто, но с отменным изяществом" и держится превосходно. На казнь он идет с подлинно дендистским самообладанием — игра, сыгранная по всем правилам не на жизнь, а на смерть, заканчивается.

В более поздней французской эстетике дендизм уже интересен не столько социальной подоплекой, сколько как особый тип эстетического сознания, интеллектуальная поза. Больше всего для этого сделал Барбе д'Оревильи, написавший трактат "О дендизме и Джордже Браммелле". Барбе д'Оревильи был известен в Париже своим дендистским образом жизни. Он заказывал костюмы у лучших портных, которые шили по его точным указаниям, охотно посещал светские рауты и даже получил прозвище Браммелл II. Эту репутацию денди Барбе сохранил до старости, появляясь на публике в широкополой шляпе, закрытом черном фраке, в шелковых панталонах и ярко-красных перчатках.

Исторический трактат Барбе д'Оревильи "О дендизме и Джордже Браммелле" был опубликован как настоящее эстетское издание тиражом в 30 экземпляров. Барбе решил, что книга о дендизме должна выглядеть по-дендистски и быть элегантной не только по содержанию, но и по форме. В письмах к своему другу Требютьену он давал скрупулезные указания относительно формата, титула, обложки, шрифта и переплета. Книжка и впрямь получилась изысканной, эстетской, да и авторский стиль был ориентирован на знатоков, ценителей: загадочный эпиграф, прихотливая вязь сносок, перетекающих со страницы на страницу, экспрессивный сжатый слог и отточенные парадоксы в лучших традициях французских афористов.

Концептуально трактат несколько угрирует суть дендизма, но превосходно выражает позицию французских денди второго поколения, которые пытались извлечь из дендизма философию жизни и эстетику современного городского стиля. Их подкупала фигура денди как человека-вещи, превратившего свой образ в произведение искусства. В эпоху появления первых железных дорог и массовой литературы, предназначенной для чтения в пути, денди как завершенный типаж тоже представлял собой идеальный товар для потребления, удачный опыт предметной объективации личности.

Но можно посмотреть на трактат Барбе д'Оревильи и с другой стороны. Эта книга стоит в ряду аналогичных пристрастных исследований, посвященных авторам-романтикам и появившихся примерно в середине XIX века, когда изначальный

романтизм уже отошел в тень, но его верные адепты увлеченно описывали, сгущая краски, родственные души первооткрывателей и учителей, как бы специально сохраняя их для читателей эпохи символизма и декаданса. Таковы прочувствованные заметки Бодлера о Гофмане и Томасе Де Куинси, очерк Карлейля о Новалисе, постоянные ссылки Эдгара По на Колриджа, книга Теофиля Готье "История романтизма". В концептуальном смысле самым важным для интеллектуального восприятия дендизма оказалось бодлеровское эссе "Денди" из серии "Художник современной жизни" (1863). Но о Бодлере невозможно сказать в двух словах, и потому отметим в целом, что во многом благодаря французским литераторам дендизм был сохранен в культуре середины XIX столетия, чтобы затем вновь возродиться в биографии и романах Оскара Уайльда, сэра Макса Бирбома и Ж.-К. Гюисманса.

Возможно, это могло произойти только благодаря совершенно особой черте французской культуры — неповторимой синтетической связи между литературой и модой. Удивительная закономерность: многие французские авторы писали для модных журналов. В начале своей карьеры Барбе сочинял статьи в журнал "Вестник моды" ("Монитор де ла мод") под дамским псевдонимом Максимильенна де Сирен. Сходные опыты в журналистике занимают весьма большой объем в раннем творчестве Бальзака.

Но дальше всех пошел в этом отношении Стефан Малларме, в одиночку выпускавший в течение 1874 года дамский журнал "Последняя мода" ("Ла дерньер мод"). Скрываясь под разнообразными псевдонимами и национальными масками: Мадам Маргерит де Понти, дама-креолка, владелица бретонского замка, мулатка Зизи, негритянка Олимпия, дама из Эльзаса, — он профессионально и дотошно вел многочисленные рубрики журнала, сообщая о последних новинках моды.

С этим подвигом можно сопоставить только аналогичный опыт Оскара Уайльда, который взялся в 1887 году быть главным редактором журнала "Мир женщины" ("Вумэн'с уорлд"). Но он, в отличие от Малларме, не тянул воз в одиночку — ему удалось залучить в число авторов знаменитых беллетристок Марию Корелли, Уиду, поэта и критика Артура Саймонса, а также королеву Румынии. Правда, королева Виктория и Сара Бернар отказались, но это не смутило Уайльда — он всегда был готов отважно заполнить лакуны собственными текстами. Саре Бернар, к примеру, он предлагал только подписаться под им сочиненной "Историей моего чайного платья".

Может возникнуть естественный вопрос: почему этих писателей так влекло к миру дамской моды? Осмелимся предположить, что это подразумевало особый вид чувственности. Для литератора владение лексикой дамской моды символизировало обладание миром женской телесности — the woman's world — в буквально физическом смысле. Знание тайн женского туалета в эпоху раздельных гардеробов традиционно отождествлялось с мужскими победами, с донжуанской опытностью или, по крайней мере, могло свидетельствовать о статусе посвященного завсегдатая дамского будуара.

Подробности женских мод для автора-эстета также служили метонимией чувственного мира во всех своих тончайших оттенках — запахах, цветах, звуках, прикосновениях. Не случайно именно в эстетских дендистских романах "Дориан Грей" и "Наоборот" столь существенны описания материальной прелести вещей — объектов страстного коллекционирования: старинных инструментов, восточных ковров, одеяний, драгоценностей и минералов. И Гюисманс, и Оскар Уайльд увлекаются, казалось бы, чисто барочным приемом поэтики — списками, подробными перечислениями вещей, каталогизируя подвластные им источники наслаждения. "В течение целого года Дориан коллекционировал самые лучшие, какие только можно было найти, вышивки и ткани. У него были образцы чудесной индийской кисеи из Дели, затканной красивым узором из золотых пальмовых листьев и ра-

дужных крылышек скарабеев; газ из Дакки, за свою прозрачность получивший на Востоке названия "ткань из воздуха", "водяная струя", "вечерняя роса"; причудливо разрисованные ткани с Явы, желтые китайские драпировки тончайшей работы; книги в переплетах из атласа цвета корицы или красивого синего шелка, затканного лилиями, цветком французских королей, птицами и всякими другими рисунками; вуали из венгерского кружева, сицилийская парча и жесткий испанский бархат, грузинские изделия с золотыми цехинами и японские "фукусас" золотисто-зеленых тонов с вышитыми по ним птицами чудесной окраски"[1].

Пышные названия, отражающие все чувственное великолепие предметного мира, были призваны разбудить самого пресыщенного читателя. Тактильность описаний (ведь известно, что ткани "смотрят", как правило, руками) давала ощутимый эстетический эффект: текст, оправдывая свой этимологический смысл, буквально воспринимался как переливающееся переплетение ткани.

Литературные эксперименты в этом духе очень любил французский писатель Теофиль Готье. Готье вообще был неравнодушен к моде и в молодости прославился своим розовым (по некоторым версиям — красным) шелковым жилетом, которым он эпатировал консервативную публику на премьере "Эрнани". Персонажи его книг всегда носят роскошные костюмы, стимулирующие эротическое воображение. Главная героиня его самого знаменитого романа "Мадемуазель де Мопен" (1835), прелестная женщина, путешествует в мужском костюме, и влюбленный в нее кавалер окончательно распознает ее пол, только когда она появляется в женском платье, играя шекспировскую Розалинду. "Ее платье было из переливчатой материи, на свету лазурной, а в тени — золотистой; легкий полусапожок, очень узкий, плотно облегал ногу, которая и без того была чересчур миниатюрна, а ярко-алые чулки ласково обтягивали идеально округлые и дразнящие икры; руки были обнажены до локтя и выглядывали из присборенных кружев — круглые, полные и белые, сияющие словно полированное серебро и невообразимо нежно очерченные; пальцы, унизанные кольцами и перстнями, слегка поигрывали веером из разноцветных перьев необычных оттенков: этот веер был похож на маленькую карманную радугу"[1]. В этом описании одежда неотделима от тела, что, собственно, и создает зрелище красоты: подвижная граница между телом и предметом, их взаимная оптическая необходимость. У Готье женский наряд не только творит женщину как соблазн для мужского взора, но и позволяет ей самой получить настоящее любовное наслаждение.

В 1858 году Теофиль Готье опубликовал небольшую статью "Мода как искусство", свидетельствующую о его тонком понимании костюма. Сторонник "чистого искусства", он здесь стал теоретиком одежд и тканей, усмотрев в этих донельзя конкретных материях симптомы жизненно важных для XIX века перемен. Продолжая традицию Бальзака и Барбе д'Оревильи и предвосхищая бодлеровские очерки о денди, Готье размышляет о том, как модный туалет служит одновременно и для сходства, и для различия. Но как позднего романтика его не радует воцарение черного цвета в мужском костюме. Ностальгируя по разноцветным одеждам минувших лет, он видит в черном фраке символ траура и унылой монотонности, триумф униформы.

В женских модах Готье, напротив, заметил интересную игру эстетических возможностей. Дамские вечерние декольтированные туалеты для него — скрытая отсылка к классике, к древнему "олимпийскому этикету", когда богини изображались с обнаженными плечами и открытой грудью. Кринолины тоже, по мнению Готье, могут восприниматься как пьедесталы к античным статуям, как поясное изображение красавицы. В

1. *О. Уайльд.* Портрет Дориана Грея. *Перевод М. Абкина.* Избранное. М., 1986.

1. *Теофиль Готье.* Мадемуазель де Мопен. *Перевод Е. Баевской.* М., 1997.

этом желании вновь вернуть и ощутить "нагую моду" начала века он стремится исподволь возродить романтическое переживание телесности. И хотя нагота для него абстрактна и универсальна, в самой форме современного обнаженного тела он проницательно чувствует следы снятой одежды — об этой исторической изменчивости наготы сейчас написаны интереснейшие работы.

"Костюм — это видимая форма человека", — сказано в тексте Готье. Пожалуй, Готье удалось сделать очень трудную вещь — разглядеть и не исказить смысл этих "видимых форм". Ведь по-настоящему писать о моде почти невозможно, поскольку, как заметил в свое время Барбе д'Оревильи, глубокие умы для такой темы недостаточно тонки, а тонкие натуры недостаточно глубоки.

Теофиль Готье
Мода как искусство

ОТЧЕГО цивилизация, которая ставит одежду чрезвычайно высоко, поскольку ее нравственные устои, а равно и особенности климата запрещают людям ходить нагими, отдает искусство одеваться на откуп портным и портнихам? В нынешнюю эпоху одежда сделалась для человека чем-то вроде кожи, с которой он ни при каких условиях не разлучается; одежда так же необходима человеку, как шерсть животному; в результате о том, как выглядит человеческое тело, никто уже не вспоминает. Всякий, кто хоть немного знаком с художниками и кому случалось бывать в их мастерских в то время, когда им позируют натурщики, испытывает при виде неведомого зверя — амфибий обоего пола, выставленных на обозрение публики, — безотчетное изумление, смешанное с легким отвращением. Экземпляр неизвестной науке породы, недавно привезенный из Центральной Австралии, вне всякого сомнения, не выглядит так неожиданно и так ново с зоологической точки зрения, как обнаженный человек; поистине, в Зоологическом саду следовало бы установить клетки для самцов и самок из породы homo, сбросивших искусственную кожу. На них смотрели бы с таким же любопытством, как на жирафу, онагра, тапира, утконоса, гориллу или двуутробку.

Если бы не дошедшие до нас восхитительные античные статуи, традиция изображения человеческого тела прервалась бы навсегда. Лишь тем художникам, которые созерцают эти мраморные и бронзовые шедевры или их гипсовые копии и сравнивают их с обнаженными натурщиками, удается с трудом восстановить идеальное существо, запечатленное творцами скульптур, барельефов и полотен. Что общего между этими абстрактными фигурами и одетыми зрителями, их рассматривающими? Можно ли сказать, что это создания одной породы? Ни в коем случае.

Мы будем вечно сожалеть об исчезновении *обнаженной натуры*, составляющей самую основу искусства: ведь человек не может вообразить себе форму более совершенную, чем форма его собственного тела, созданного по образу и подобию Божьему. Обнаженная натура, *естественная* в божественном климате Греции, в пору юности человечества, когда поэзия и искусства расцветали, словно цветы умственной весны, породила Фидия, Лисиппа, Клеомена, Агасия, Агесандра, Апеллеса, Зевксиса, Полигнота, как позже она же породила Микеланджело и дивных творцов эпохи Возрождения (говоря об *обнаженной натуре*, мы имеем в виду также и ее непременную спутницу — драпировку, неотрывную от обнаженной натуры,

© В. Мильчина. Перевод, 2000

как гармония неотрывна от мелодии); однако в эпоху Возрождения обнаженная натура сделалась не более чем условностью; в эту пору человек уже был немыслим без одежды.

Скульпторы и художники жалуются на подобное состояние дел, а между тем они могли бы к собственной пользе изменить его если не полностью, то хотя бы отчасти. Современные наряды, утверждают они, мешают им создавать шедевры; послушать нынешних творцов, так в том, что они не Тицианы, не Ван Дейки и не Веласкесы, виноваты исключительно черные фраки, пальто и кринолины. Тем не менее и эти великие люди изображали своих современников в нарядах, которые так же мало обнажали тело, как и наши, и которые, порой отличаясь элегантностью, гораздо чаще выглядели уродливо или странно. Да и так ли не красиво наше платье, как принято думать? Разве у него нет собственного значения, которое, к сожалению, плохо понимают художники, всецело проникнутые античными идеями? Своим простым покроем и нейтральным цветом оно создает выгодный фон для человеческой головы — средоточия ума и рук — орудий мысли и знаков породы; оно придает телу какую угодно форму и подсказывает жертвы, какие необходимо принести ради общего впечатления. Вообразите себе Рембрандта, пишущего портрет человека нашего времени, человека, одетого в черный фрак: он направит свет, падающий сверху, на лицо своей модели, осветит одну щеку, погрузив другую в теплый полумрак, заставит сверкать отдельные волоски усов и бороды, изобразит фрак густой и приглушенной черной краской, а белье — широкими мазками белого с соломенным оттенком, обозначит двумя-тремя блестящими точками цепочку от часов, очистит цвет лица от асфальтово-серых тонов. И как только он сделает все это, вы обнаружите, что фрак нынешнего парижанина ничуть не менее красив и характерен, чем камзол голландского бургомистра. Если же вы предпочитаете живописи рисунок, взгляните на портрет г-на Бертена работы г-на Энгра. Разве складки редингота и панталон уступают в четкости, благородстве и чистоте складкам хламиды или тоги? Разве под прозаическими одеждами тело не живет своей жизнью точно так же, как и тело статуи под драпировками?

Люди нашего времени не отличаются, как правило, ни красотой, ни силой. Антиной сегодня выглядел бы смешным. Самый заурядный домкрат без труда выполняет работу Алкида. Поэтому не стоит украшать то, что не заслуживает внимания; главное — избежать тяжеловесности, вульгарности, погрешностей против элегантности и скрыть тело под оболочкой, которая не выглядела бы ни слишком широкой, ни слишком узкой, которая не слишком подчеркивала бы наши формы и была бы, за исключением немногих деталей, пригодной для всех, как маскарадное домино. Долой золото, вышивки, яркие цвета, долой театральность; пусть окружающие чувствуют, что человек хорошо одет, но при этом в памяти у них не останется ни единой черты его наряда. Качество сукна, безупречность покроя, продуманность фасона и, главное, умение носить костюм — вот в чем заключается *изысканность*. Оттенки эти ускользают от художников, которые в большинстве своем влюблены в яркие краски, в обильно ниспадающие складки, в переливающиеся драпировки, в могучие торсы и развитые бицепсы. Они жалеют, что никому из юных модников не пришло в голову завести себе шляпу с пером или алый плащ; они удивляются упорству, с каким светские люди хранят верность своим печальным, бесцветным, однообразным одеяниям, а это все равно что спрашивать, отчего в Венеции все гондолы — черного цвета.

Между тем при всем их однообразии нет ничего легче, чем отличить гондолу патриция от гондолы буржуа.

Впрочем, если у художников еще есть основания протестовать против мужского платья, фасоны которого они предоставляют сочинять портным, вместо того чтобы взяться за это дело самим, то уж бранить женские наряды они не имеют ровно никакого права. Если бы художники чаще бывали в свете и согласились хотя бы на один вечер избавиться от своих про-

фессиональных предрассудков, они увидели бы, что бальные туалеты наших дам способны удовлетворить самые взыскательные вкусы и что художник, который изобразил бы их с исторической точки зрения стильно, но точно, создал бы изумительные шедевры красоты, элегантности и колорита. Лишь тот, кто всецело пребывает во власти ложноклассического образования, способен не почувствовать прелести таких картин, как разъезд после представления в Опере или дамы в гостиной, сидящие в креслах или стоящие подле консоли или камина.

Никогда еще, пожалуй, дамы не могли похвастать такими восхитительными прическами; мы видим плоды поистине сказочного мастерства: волосы завитые, уложенные, заплетенные в косы, взбитые над ушами, зачесанные назад, скрученные жгутом. Парижский гребень не уступит греческому резцу, а волосы парижанок куда покорнее, чем паросский или пентеликонский мрамор. Взгляните на эти прекрасные темные пряди, обрамляющие чистыми линиями бледное чело и схваченные, словно диадемой, витым шнурком, поддерживающим шиньон; взгляните на эту белокурую корону, которая, кажется, трепещет под любовным дуновением ветерка и окружает бело-розовое личико золотым ореолом! Оцените эти собранные на затылке узлы, локоны, витые косы, подобные рогам Амона или завиткам ионической капители! Разве сумел бы афинский скульптор или художник эпохи Возрождения расположить их с большим изяществом, выдумкой и вкусом?

По нашему мнению, нет.

Пока мы описали только форму, придаваемую волосам, что же будет, когда мы дойдем до прически в собственном смысле слова? Никакому искусству не достичь подобного совершенства. Цветы, в которых среди рыжих, зеленых, нежно-голубых лепестков дрожат капли росы, гибкие ветви, небрежно падающие на плечи, старинные монеты, жемчужные сетки, бриллиантовые звезды, заколки с филигранью или бирюзой, золотые нити, вплетенные в волосы, невесомые и призрачные радужные перья, банты, похожие на пышные растрепанные розы, переплетения бархатных лент, легкая золотистая или серебристая газовая ткань, играющая в лучах света, кисти розовых кораллов, гроздья аметистов, ягоды рубинов, бабочки из драгоценных камней, стеклянные шары с металлическим отсветом, надкрылья жука-златки — одним словом, все, что только можно вообразить самого свежего, самого кокетливого, самого блестящего, служит украшением причесок, в которых вы не найдете ничего лишнего, ничего чрезмерного, ни вздорной тяжеловесности, ни смешной роскоши — только то, что гармонирует с формой и выражением лица; Венера Милосская, обрети она руки и одолжи ей современная дама модный корсаж, могла бы отправиться в свет, ничего не меняя в своей прическе! Какой комплимент для моды нашего времени!

Но как же быть с кринолином, спросите вы? Юбки на обручах, платья на пружинах, которые время от времени приходится отдавать в починку, словно остановившиеся часы, — кому не ясно, что такой наряд уродлив, дик, отвратителен, противен искусству? Мы, однако, иного мнения: у женщин есть резоны хранить верность кринолину, невзирая на бесчисленные шутки, карикатуры, водевили и оскорбительные выходки.

Женщины совершенно правы, предпочитая тем узким ножнам, в которые вдевали себя их бабушки и матери, юбки широкие, пышные, объемистые, заметные. Благодаря обилию складок, расширяющихся книзу, словно фустанелла[1] вертящегося дервиша, талия становится изящной и тонкой; просторная юбка выгодно подчеркивает совершенства верхней части тела и придает всей фигуре пленительное сходство с пирамидой. Нагромождение богатых тканей создает своего рода пьедестал для бюста и головы, которые ныне, в эпоху, когда наготе нет места в обществе, сделались наиболее значительными частями тела... Посмей мы прибегнуть при обсуждении столь современного вопроса к мифологическому сравнению, мы сказали бы, что баль-

1. Фустанелла — широкая юбка, часть греческого национального костюма.

ные туалеты наших дам отвечают всем требованиям олимпийского этикета. Олимпийских богов изображали с обнаженным торсом; от бедер до ступней их тела были укрыты пышными драпировками. Именно в память об этом современные дамы обнажают, выезжая в свет, шею, плечи и руки. Та же мода царствует и на острове Ява, где ко двору следует являться обнаженным до пояса.

Впрочем, шутки в сторону, перестанем хвастать ученостью и скажем просто, что молодая женщина, которая, причесавшись так, как мы только что описали, облачившись в декольтированное платье без рукавов, с двойными юбками или многочисленными воланами, увлекает за собой на балу волны старинного муара, атласа или тафты, кажется нам бесконечно прекрасной и одетой как нельзя лучше; признаемся, мы решительно не видим, в чем можно ее упрекнуть. К несчастью, у нас нет современных художников; те, кто по видимости живут в наше время, на самом деле принадлежат эпохам давно прошедшим. Дурно понятая античность мешает им почувствовать сегодняшний день. Они раз и навсегда затвердили одно-единственное представление о прекрасном, и современный идеал остается для них тайной за семью печатями.

Более серьезное возражение против кринолина — его несовместимость с современной архитектурой и меблировкой. В ту пору, когда женщины носили фижмы, гостиные были просторными, двери — двустворчатыми, кресла — широкими; кареты без труда вмещали даму в самой пышной юбке, а театральные ложи не напоминали, как нынче, ящики комода. Ну что ж! придется расширить наши гостиные, изменить форму мебели и экипажей, разрушить театры! Ничего другого нам не остается, ибо точно так же, как ни один художник никогда не отречется от своей манеры, женщины ни за что не откажутся от кринолинов, равно как и от рисовой пудры — другого предмета банальных нападок.

С тем редким чувством гармонии, которое их отличает, женщины ощутили противоречие между бальным нарядом и *естественным* цветом лица. Точно так же как умелые живописцы посредством легкой лессировки добиваются гармонии между человеческим телом и драпирующими его тканями, женщины высветляют свою кожу, выглядящую на фоне муара, кружев, атласа коричневато-серой, и сообщают ей единство тона, которого лишены даже самые очаровательные лица, ибо природа окрасила их в разные цвета, чередуя белый, желтый и розовый. Нежнейшая пудра позволяет придать коже слюдяной, мраморный оттенок и скрыть тот здоровый румянец, который в наши дни выглядит совершенно неуместно, ибо предполагает превосходство физических потребностей над потребностями духовными. Возможно даже, что женщин заставляет набрасывать на шею, плечи, грудь и руки этот легкий белый покров, смягчающий теплые, бесстыдные цвета нагого тела, не что иное, как смутное дуновение стыдливости. С помощью пудры формы живого тела приближаются к формам статуи; они очищаются и одухотворяются. Еще одна важная тема — обыкновение женщин подводить глаза, также нередко порицаемое: благодаря ему ресницы удлиняются, брови выгибаются дугой, глаза загораются новым блеском; женщина, подкрашивающая глаза, подобна прославленному мастеру, наносящему на полотно последние мазки. Мода всегда права.

Пусть великий художник, чей талант не уступает таланту Веронезе, изобразит лестницу Оперы или фойе Итальянского театра в тот час, когда герцогини света и полусвета ожидают свои экипажи, кутаясь в белые бурнусы, в полосатые плащи, в короткие горностаевые мантии, в шерстяные накидки на лебяжьем меху, в чудесные ткани, привезенные со всех концов света; цветы и брильянты окружают их головки блистательным ореолом, кончиками пальцев, затянутых в перчатку, каждая опирается на руку кавалера, источая все бесстыдство своей красоты, юности и богатства, — если такая картина будет написана, кто дерзнет рассуждать о бедности современного костюма!

Перевод с французского Веры Мильчиной

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Посмертный скандал в благородном семействе

В мае 1845 года в незаметном английском городке Хоуорт произошло мелкое событие, не предвещавшее ничего особенного. Туда приехал некий священник и поселился во вполне респектабельном доме, где ему пришлось жить в обществе трех странных сестер-отшельниц и их брата-алкоголика. Понемногу освоившись, он соблазнил младшую из сестер — Эмилию. Узнав об этом, брат начал шантажировать развратника, вымогать у него деньги на выпивку. Чтобы избавиться от настырного родственника, священник воспользовался ядом. Далее события нарастали как снежный ком. Эмилия раскрыла преступление своего любовника — он не задумываясь отправил и ее вслед за братом. Затем средняя сестра, Анна, начала догадываться о причине смерти родных — нетрудно предположить, что и ее постигла та же участь. Последняя же из сестер, Шарлотта, оказалась не просто свидетельницей, но и соучастницей этих убийств, причем по личным мотивам: она ревновала священника к обеим сестрицам. Пагубная страсть не мешала, впрочем, и ей шантажировать злодея, из-за чего он был вынужден жениться на ней, но потом все-таки преподнес отраву и молодой супруге. В итоге к нему перешло и ее богатое наследство, и рукописи произведений, написанных ее сестрами. Жутковатая история из далекого прошлого вряд ли могла вызвать интерес у современной публики, если бы не фамилия семьи, где разворачивались эти мрачные события, — Бронте!

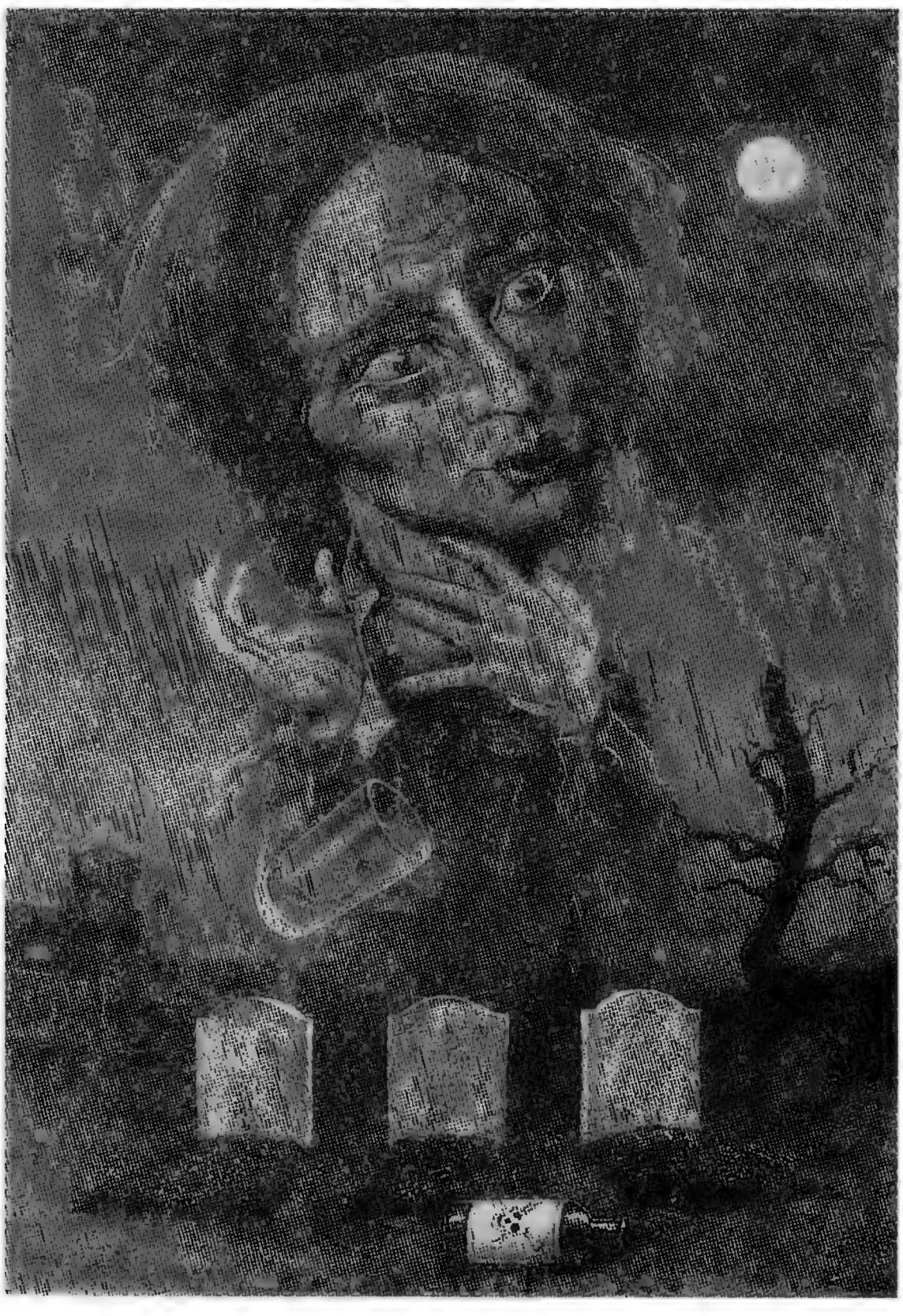


Иллюстрация к книге Джеймса Талли "Преступления Шарлотты Бронте"

Сюжет настолько скандален, что кажется более подходящим материалом для криминалистики, чем для беллетристики. И потому неудивительно, что поведал его криминалист Джеймс Талли, известный, кстати, своими архивными изысканиями по делу Джека Потрошителя. Заметив противоречивость многих обстоятельств, при которых члены семьи Бронте умирали один за другим, Талли пришел к поистине сенсационному выводу: все они стали жертвами зловещего преступника. Однако вместо строго научного трактата или документального очерка он представил свои заключения в менее обязывающей форме романа, написанного от лица еще одного персонажа. Это современный адвокат из провинции, в руки которого якобы попадают дневник Анны и записки служанки с ее личной подписью. Из них он узнает о роли священника в судьбе трех — а вернее, четырех женщин. Ибо, судя по всему, служанка тоже не избежала действия чар коварного соблазнителя!

Роман "Преступления Шарлотты Бронте" с подзаголовком "Разгадка таинственных происшествий в Хоуорте" (издательство "Робинсон паблишинг") — это, безусловно, хороший подарок читателям. А вот члены Общества поклонников Бронте обескуражены. Справиться со смятением не помогают даже давно известные вер-

сии о том, что Шарлотта завидовала сестре, Эмилия крала у брата рукописи, а причиной их смерти были туберкулез или астма. Кстати, споры на последнюю тему как раз закончились, и, казалось, навсегда. Неужели теперь, следом за Джеймсом Талли, придется снова ворошить прошлое?

Куба

"Энциклопедия российской жизни": издание второе

Крым. Ливадия. Сюда прибывает молодой контрабандист, чтобы выполнить заказ шведского клиента — изловить редчайшую бабочку. Судя по всему, эта бабочка — чуть ли не последний представитель исчезнувшего вида, завезенного в Россию императором Николаем II еще в 1912 году, — обитает где-то в парке около бывшего царского дворца. Выслеживая эту, быть может, призрачную бабочку, контрабандист вынужден на время осесть на курорте после бурной кочевой жизни с заездами в Стокгольм, Хельсинки, Санкт-Петербург, Одессу, Стамбул...

Что касается последнего из городов, то, будучи там по своим не вполне легальным делам, он при весьма необычных обстоятельствах познакомился с сибирской девушкой, которую насильно удерживали в гареме. Рискуя собственной жизнью, контрабандист устроил ей побег, после чего они расстались. Но девушка не забыла своего спасителя и стала писать ему. За ответное письмо тот удосужился взяться лишь теперь, в свободное от охоты за бабочкой время. Но послание к девушке сначала переросло в обращение к самому себе, в личный дневник, а затем в нечто вроде исторических мемуаров о России.

Их от лица героя представил в романе "Ливадия" (издательство "Мондадори") 37-летний кубинец Хосе Мануэль Прието, инженер по образованию, окончивший в 1986 году один из новосибирских вузов, а ныне проживающий в Мексике. Очевидно, что 12 лет, которые он провел в России, произвели на молодого литератора неизгладимое впечатление и задали тон его книгам — их пока что всего три. Собственно говоря, "Ливадия" выросла из "Энциклопедии российской жизни": так называется предыдущий роман, в котором также есть любовная история. Она служит лишь фоном, на котором автор попытался "составить алфавитный каталог событий и явлений обанкротившегося режима". Новая "энциклопедия" вышла, как и положено, исправленной и дополненной.

Новая Зеландия

Роман и фильм на два голоса

Сестры Анна и Джейн Кэмпион известны как кинематографисты далеко за пределами Новой Зеландии (в частности, фильм "Пианино", поставленный Джейн, получил премию "Оскар"). Их новая совместная работа — фильм "Священный дым", в котором заняты Харви Кейтель и Кейт Уинслет, — был показан на Венецианском фестивале, но широкая публика увидела его лишь после публикации одноименного романа, написанного сестрами и вышедшего в издательстве "Мирамакс / Хайпирион".

Сюжет книги связан с историей 22-летней австралийки Рут Бейрон, которую члены ее семьи сумели выкрасть из религиозного сообщества в Индии и заперли на несколько дней в летнем домике вместе со специалистом по "промыванию мозгов" П. Дж. Уотерсом. Тема, казалось бы, затасканная, а потому бесперспективная — ведь о жертвах всевозможных сект и культов написано уже множество книг и снят не один фильм. Однако сестры Кэмпион сумели по-новому рассказать о пагубных последствиях модного увлечения восточными религиями и представили в оригинальном свете понятия о властных взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, ведущими и ведомыми, родителями и детьми.

Сестры Анна и Джейн Кэмпион

Образ умной, живой, экстравагантной главной героини покоряет своей органичностью. Вначале создается впечатление, что она поддается внушениям угрюмого специалиста-консультанта, но затем с обоими персонажами происходит резкая метаморфоза. Диалоги этих двух столь отличных друг от друга и мало подходящих друг другу в качестве любовников людей написаны настолько непохожим языком и так по-разному, что поневоле возникает мысль: реплики одного героя писала Анна, а другого — Джейн. Но даже если это правда, текст тем не менее имеет единый стиль, сжатый, напряженный и чувственный. Творческий дуэт сестер с окраины мира — Новой Зеландии — оказался очень удачным и на печатной странице, и на экране.

США

"Эта земля — наша"

После смерти афро-американского романиста Ральфа Эллисона в 1994 году в возрасте 80 лет его вдова пригласила Джона Каллахана, литературного душеприказчика писателя, в кабинет мужа и показала ему блокноты, папки, дискеты, листки с записями — фрагменты бу-

дущего романа, который поклонники Р. Эллисона ждали с пятидесятых годов. Над этой рукописью писатель начал работать вскоре после публикации своего первого романа "Человек-невидимка", который сразу же стал сенсацией, бестселлером, удостоился Национальной книжной премии и сделал 38-летнего автора одним из ведущих темнокожих литераторов США.

Теперь издательство "Рэндом хаус" публикует второй роман Ральфа Эллисона, что уже само по себе является событием: впервые за 47 лет американцы вновь смогут познакомиться с крупным произведением мастера. Однако "Июньнадцатый" — а именно так называется книга — увидел свет с большим опозданием. Чем же вызвана задержка?

Прежде всего, в 1967 году почти вся рукопись сгорела во время пожара в доме Р. Эллисона. Автор не мог или не хотел восстанавливать все по памяти. Кроме того, он опасался, что новая книга не будет пользоваться таким же оглушительным успехом, как дебютный роман. И наконец, в произведениях Эллисона отражалось его отношение к расовой проблеме в США, воспринимавшееся многими его темнокожими соотечественниками как предательское: писатель считал, что в Америке нет почвы для расовых конфликтов, ибо все расы тесно связаны между собой.

В центре "Июньнадцатого" — причудливые переплетения судеб белых и черных американцев. Черный проповедник Хикмен воспитывает белого мальчика Адама Санрайдера и разъезжает с ним по стране с религиозным шоу. Мальчик вырастает и становится политиком, сенатором-расистом. Во время его выступления в Сенате, на котором присутствует и Хикмен, Санрайдера тяжело ранит некий темнокожий посетитель. Находясь на больничной койке, сенатор призывает к себе приемного отца; их диалоги и воспоминания фактически составляют сюжетную канву романа.

Мысли Эллисона в ту пору представлялись крамольными как белым, так и черным американцам. С одной стороны, он не признавал расовый характер культуры, чем вызывал гнев радикальных темнокожих художников, требовавших расовой солидарности деятелей искусства. С другой стороны, устами Хикмена автор прямо и решительно заявляет о месте негров в США: "Эта земля – наша, потому что мы вышли из нее, она полита нашей кровью и нашими слезами, в ней лежит прах наших предков". И хотя в посвящении значится "Американским неграм", писатель, безусловно, адресовал ее и белым читателям.

Ральф Эллисон на презентации "Человека-невидимки" в 1952 году

Ральф Эллисон задумывал создать сагу, широкомасштабное полотно фолкнеровского размаха. Законченный вариант "Июньнадцатого" – это лишь часть литературного наследия писателя, насчитывающего несколько тысяч страниц. Вскоре ожидается публикация всех материалов с аннотациями и критическим комментарием. В них войдут незаконченные варианты романа и отступления от основного сюжета. Так что настоящее знакомство с сагой Ральфа Эллисона еще впереди.

Чехов без слов

Любого, кто прих одит в залитую светом студию Марты Кларк в южном Манхэттене, ожидает одинаковый прием: его облаивают два шпица — Софи и Пай. Между прочим, Софи занята в последнем балетном спектакле Марты Кларк "К пламени", который недавно открыл новый сезон "Великие исполнители в Линкольновском центре". Сама М. Кларк называет спектакль "театральной постановкой для танцовщиков"; его также сравнивали с немым фильмом. Он исполняется под "живую" фортепьянную музыку Александра Скрябина, а в качестве либретто для него взяты пять рассказов Антона Чехова, в том числе "Дама с собачкой".

Марта Кларк — бывшая танцовщица и основатель экспериментальной танцевальной труппы "Пилоболус" — знаменита своими постановками, которые ломают границы между жанрами и неизменно вызывают ожесточенные споры из-за своего эротизма и изобилия обнаженных тел на сцене. Этим грешит и спектакль "К пламени", где, по словам Марты Кларк, она стремилась не столько шокировать публику и критиков (хотя они все равно были шокированы), сколько подчеркнуть незащищенность и обнаженность души. Что касается секса, то, как говорит М. Кларк, "это же так естественно — я думаю,

любовь, страсть, эротика, мечты об этом всегда занимали женские умы, и, возможно, даже больше, чем иные мужские".

Однако как ей пришла в голову мысль соединить Скрябина и Чехова? "Я хотела поставить что-нибудь, основанное на чистом повествовании. Мои предыдущие работы были скорее абстрактными, такие образы без связующей сюжетной нити. А еще мне хотелось сделать что-нибудь на русской основе, потому что я люблю русскую литературу. Я читала рассказы Толстого и Достоевского, но поняла, что Чехов больше подходит для трансформации слов в движения. Его рассказы полны настроений и не слишком акцентированы на сюжете. В основном они раскрывают эмоциональные ситуации и предлагают различные прочтения".

И хотя сама Марта Кларк считает Скрябина и Чехова "полными противоположностями", она соединила именно их, ибо музыка Скрябина создает прекрасный подтекст для рассказов Чехова. "Эта романтическая, таинственная, временами резкая и неистовая музыка освобождает чеховских героев и обнажает скрытые мотивы их поступков", — считает Марта Кларк.

Помимо классиков русской литературы, Марту Кларк вдохновляет кинематограф, горячей поклонницей которого она является. Речь идет, естественно, не о голливудских поделках, а о произведениях европейских мастеров: Бергмана, Висконти, Феллини. А сюжет ее ближайшей постановки будет навеян западноевропейской литературой: на Бродвее близится премьера мюзикла "Ханс Кристиан Андерсен".

Финляндия

Литература на родине деда-мороза

Согласно недавнему исследованию ЮНЕСКО об издательской деятельности в промышленно развитых странах, первое место по книгоиздательству занимает маленькая Финляндия, где на каждые 100 тысяч жителей приходится 246 публикуемых книг. Народы северных стран, и особенно финны, традиционно являются активными читателями. Финляндия буквально покрыта обширной сетью общедоступных библиотек, которые за прошлый год выдали на руки не менее 100 миллионов (!) томов. В год финны покупают около 50 миллионов книг, причем половина этого гигантского оборота проходит через пять читательских клубов.

В целом первые места в списках бестселлеров занимают финские авторы, поскольку издатели стремятся поддерживать национальную литературу. Многие согласны с тем, что причиной этому служит относительная моло-

Что читают в мире?

Романы, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров немецкого компьютерного книжного магазина www.bol.de от 17 февраля 2000 г.

1	*Mit der Hobbythek gesund durchs Jahr*
2	Bodo Schäfer *Der Weg zur finanziellen Freiheit*
3	Henning Mankell *Hunde von Riga*
4	Minette Walters *Das Echo*
5	Dieter Markert *Die Markert-Diät*
6	David Baldacci *Das Labyrinth*
7	Lonnie Garfield Barbach *Fünfzig Wege zu neuer Lust*
8	Joanne K.Rowling *Harry Potter und der Gefangens von Askaban*
9	Joanne K.Rowling *Harry Potter und die Kammer des Schreckens*
10	Joanne K.Rowling *Harry Potter und der Stein der Weisen*

дость финского языка и тот факт, что на нем говорят лишь около 5 миллионов человек. В результате списки бестселлеров возглавляют книги писателей, почти неизвестных за пределами страны: это Калле Пяятало, Лейла Хиетамиес, Ээва Кильпи и другие. К этой же группе принадлежит и Аарто Паасилинна, достаточно известный в Европе благодаря своему неподражаемому юмору.

Несмотря на молодость, финский язык имеет и свою литературную классику. Это прежде всего "Калевала", национальный карело-финский эпос, который более полутора столетий назад собрал и записал Элиас Лёнрот и который по-прежнему служит маяком для новых поколений писателей. В культурных кругах популярны и такие классические произведения, как "Семь братьев" Алексиса Киви, повествование о конфликтах на первом этапе формирования финского общества, а также "Неизвестные солдаты" Вяйнё Линна, история человеческих взаимоотношений во время войны. Как правило, финская литература непосредственно связана с историей страны и развитием общества.

Финский — один из немногих языков в Европе, который не входит в индоевропейскую семью, что затрудняет популяризацию литературы и культуры страны. Тем не менее за ее пределами известны, помимо классиков, такие авторы, как Антти Туури, Вейо Мери, Эса Сирола, Пентти Саарикоски, Мика Валтари. Нередко переводы произведений этих и других писателей публикуются в антологиях и сборниках произведений скандинавских и северных стран.

Финны также охотно читают переводы; помимо вездесущих англоязычных авторов большой популярностью в стране пользуется Милан Кундера. А вот переводы с русского стали редкостью, несмотря на географическую и историческую близость Финляндии и России.

Заметное влияние на развитие финской литературы оказали женщины: такие имена, как Ээва Йоэнпелто, Лейла Хиетамиес, Ээва Кильпи и Каари Утрио, занимают почетное место в беллетристике послевоенного периода. Новое поколение писательниц представляют Роза Ликсом и Леена Ландер, раскрывающие драмы городской жизни, а рупором феминисток является Анья Кауранен.

Списки бестселлеров все чаще возглавляют молодые авторы; так, на первое место вышла Анна-Леена Хяркёнен с книгой "Мысленное равновесие террора", выражающей надежды и разочарования молодого поколения. В свою очередь Яри Терво с юмором рассказывает о забавных сторонах жизни маленького городка, затерянного в лапландских просторах.

По материалам газет
"Глоб энд мейл оф Кэнада"
[Канада],
"Паис"
[Испания],
журнала
"Ньюсуик"
[США].

Авторы номера

Пол Теру
Paul Theroux
[р. 1941]. Американский прозаик.

Автор романов *Уолдо* [*Waldo*, 1967], *Семейный арсенал* [*The Family Arsenal*, 1976], *Большой железнодорожный базар* [*The Great Railway Bazaar*, 1975] и др., сборников рассказов, путевых записей и др. В *ИЛ* был опубликован рассказ *Уроки поэзии* [1996, № 10].

Роман *Моя другая жизнь* [*My Other Life*] был опубликован в США в 1996 г. [Boston, New York, Houghton Mifflin Company].

Сергей Борисович Белов
[1949–1999]. Литературный критик, переводчик.

Автор книг *Современный американский роман о войне* [1987], *Бойня номер икс* [1991]. В его переводе публиковались романы и повести *Упадок и разрушение* И. Во, *По найму* Л. П. Хартли, *Где-то совсем рядом* Н. Гордимер и др. В *ИЛ* был опубликован его перевод романа К. Маккарти *Кони, кони...* [1996, № 10]. Его статьи по англоязычным литературам печатались в различных изданиях, в том числе в *ИЛ* [1983, № 6; 1987, № 9; 1989, № 3 и др.].

Милан Рихтер
Milan Richter
[р. 1948]. Словацкий поэт и переводчик, лауреат литературных премий Австрии и Швеции, доктор философии, вице-президент Всемирной академии искусств и литературы.

Автор поэтических сборников *Вечерние зеркала* [*Večerné zrkadlá*, 1971], *Пыльца* [*Pel'*, 1976], *Из-за бархатных занавесей* [*Spoza zamatových opôn*, 1997] и др.

Публикуемые стихи взяты из сборников *Безопасное место* [*Bezpečné miesto*, 1987] и *Корни в воздухе* [*Korene vo vzduchu*, 1992].

Эрих Мария Ремарк
Erich Maria Remarque
[1898–1970]. Немецкий писатель.

Автор романов *На Западном фронте без перемен* [*Im Westen nichts Neues*, 1929; рус.пер. 1929], *Три товарища* [*Drei Kameraden*, 1938, рус. пер. 1958], *Искра жизни* [*Der Funke Leben*, 1952] и др. В *ИЛ* были опубликованы его романы *Триумфальная арка* [1959, № 8–11], *Время жить и время умирать* [1956, № 8–10], *Тени в раю* [1971, № 10–12] и др.

Роман *Земля обетованная* [*Das gelobte Land*] печатается по изданию 1998 г. [Köln, Kiepenheuer & Witsch].

Ольга Борисовна Вайнштейн
Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований.

Автор книги *Язык романтической мысли. О философском стиле Новалиса и Фр. Шлегеля*, 1994.

Полностью книга *Денди* будет опубликована в издательстве Независимая газета.

Теофиль Готье
Théophile Gautier
[1811–1872]. Французский писатель, поэт и критик.

Автор ряда поэтических сборников, многочисленных рассказов, повестей, романов. На русском языке были опубликованы избранные произведения Т. Готье в 2-х томах [М., 1972].

Переводчики

Ольга Александровна Варшавер
Переводчик с английского.

В ее переводе издавались романы *Мы живем в замке* Ш. Джексон, *Бессмертник* Б. Плейн, пьесы *Слуги и снег* А. Мердок, *Отражения* Т. Стоппарда [совместно с Т. Тульчинской], рассказы Б. Маламуда, У. Сарояна, К. Маккаллерс, Т. О'Брайена. В *ИЛ* напечатаны документальная повесть *Кокаиновые короли* Гая Гульотты и Джеффа Лина [1991, № 3], пьеса *Аркадия* Тома Стоппарда [1996, № 2], рассказы Олив Синиор [1997, № 3] и др.

Олег Михайлович Малевич
[р. 1928]. Литературовед, кандидат филологических наук, специалист по чешской и словацкой литературам, переводчик. Почетный доктор Карлова университета в Праге, лауреат литературной премии *Богемика*

Автор книг *Карел Чапек* [1968], *Владислав Ванчура* [1973]. В *ИЛ* выступал как переводчик произведений К. Чапека, И. Ольбрахта, И. Вихры, М. Руфуса, Л. Фельдека и др. и как автор вступительных статей и рецензий.

Михаил Львович Рудницкий
[р. 1945]. Литературный критик и переводчик с немецкого, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолит* [1996].

Автор книги *Перед лицом правды* [1987]. В его переводах издавались романы и повести *Короткое письмо к долгому прощанию* П. Хандке, *Искра жизни* Э. М. Ремарка, *И больше нечего желать* А. Мушга и др. В *ИЛ* напечатаны его переводы *Под конвоем заботы* Г. Бёлля [1988, № 11, 12], *Другой процесс* Э. Канетти [1993, № 7], *Медея. Голоса* К. Вольф [1996, №1], *Собачьи годы* Г. Грасса [1996, № 5–7] и др.

Вера Аркадьевна Мильчина
Переводчик с французского, историк русско-французских литературных и культурных связей первой половины XIX века. Лауреат премий им. Анатоля Леруа-Больё [1995, в составе редакционного коллектива журнала *Новое литературное обозрение*, и 1997] и Французской академии.

В ее переводе изданы книги *Урсула Мируэ* и *Физиология брака* О. де Бальзака, *О литературе* Ж. де Сталь, *Фея хлебных крошек* Ш. Нодье, и др. Соавтор перевода книг *Замогильные записки* Ф. де Шатобриана и *Россия в 1839 году* А. де Кюстина. В *ИЛ* были напечатаны *Записки Жирафы из зоологического сада* Ш. Нодье [1999, № 8].

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных
особняков Замоскворечья
разместились

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

«линия-арт»

Среди ведущих авторов Галереи
известные московские художники,
представители поколений
60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ
ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ
АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
ИГОРЬ КИСЛИЦЫН
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
ОЛЬГА БУЛГАКОВА
СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ
ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО
ОЛЕГ СЛЕПОВ
КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Тел./факс 953-3624, 201-2603

Галерея открыта для посетителей
по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.

РУССКИЙ ЖУРНАЛ
www.russ.ru

ежедневное сетевое издание, посвященное наиболее актуальным проблемам политической, литературной и культурной жизни

ВЫХОДИТ В ИНТЕРНЕТЕ С ИЮНЯ 1997 ГОДА

Ежедневно на сервере РУССКОГО ЖУРНАЛА:

- ☑ рецензии на новые книги, журналы и учебники
- ☑ новости электронных библиотек русского Интернета
- ☑ последние события политической и культурной жизни
- ☑ аналитические обзоры масс-медиа
- ☑ дискуссионные форумы
- ☑ экспертные оценки и мнения по широкому спектру гуманитарных проблем
- ☑ новости киберкультуры и анализ различных вопросов развития Интернета

Русский Журнал (http://www.russ.ru)
103009, Москва, Малый Гнездниковский пер., д.9, стр.3б

ТЕЛ./ФАКС: (095)201-75-51 E-MAIL: journal@russ.ru

В оформлении обложки использован фрагмент картины Эдварда Хоппера *Ночное окно* (1928)

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев

Компьютерная верстка Светлана Бейлезон

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
Тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@adicom.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
"Англия" —
Хлебный пер., д.2/3
"Графоман" —
ул. Бахрушина, д.28
"Летний сад" —
ул. Большая Никитская, д.46
"Мир печати" —
ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 29.02.2000.
Формат 70x100 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 28,35.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 28,957.
Заказ №804.
Тираж 13 800 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

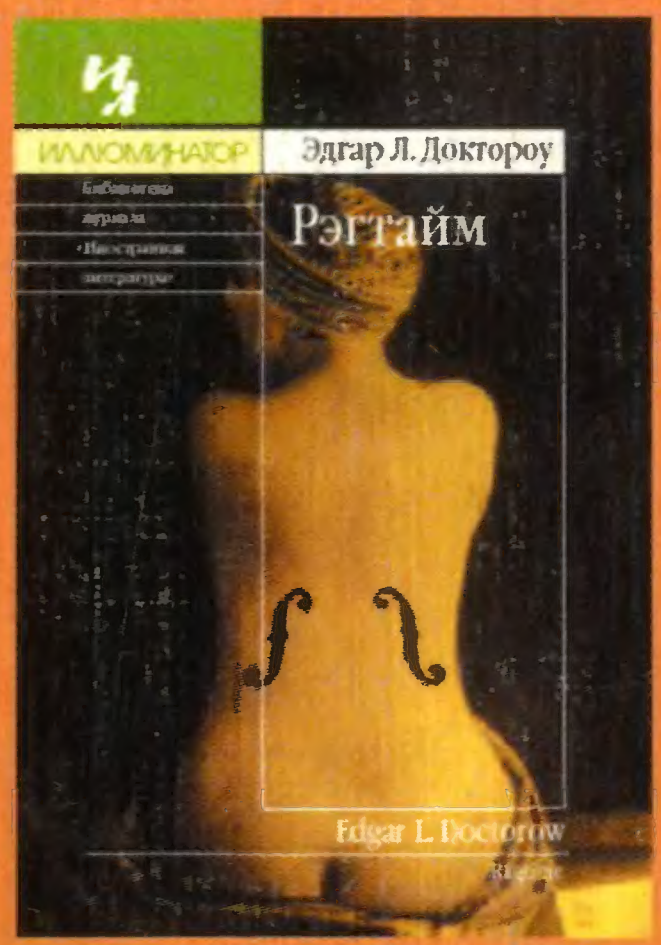
[4] 2000

В следующем номере:

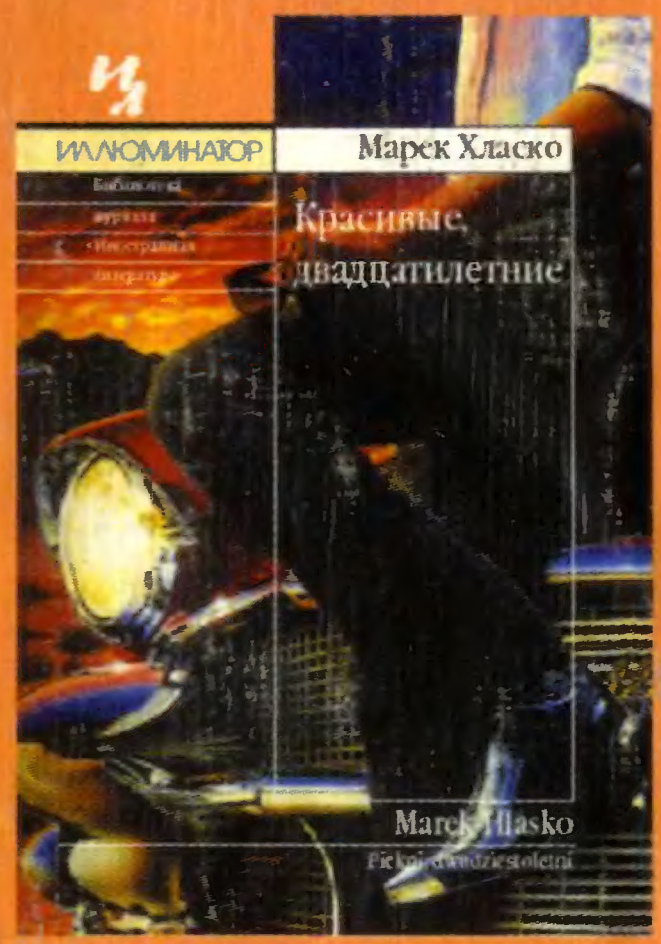
АВТОР КАК ПЕРСОНАЖ: БИОГРАФИЧЕСКИЙ ЖАНР ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ / ФИЛИПП СОЛЛЕРС О КАЗАНОВЕ / ОЛИВЬЕ ТОДД ОБ АЛЬБЕРЕ КАМЮ / МИШЕЛЬ СЮРИА О ЖОРЖЕ БАТАЕ / ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ О ЖАКЕ КАЗОТЕ /КЛОД ПИШУА И ЖАН ЗИГЛЕР О ШАРЛЕ БОДЛЕРЕ / МАРГЕРИТ ДЮРАС О СЕБЕ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

ИЛЛЮМИНАТОР



В нашей новой книжной серии **“Иллюминатор”** читайте лучшие произведения мировой литературы в лучших переводах



002. Питер Акройд “Процесс Элизабет Кри”. **004**. Эдгар Л.Доктороу “Рэгтайм”. **005**. Джулиан Барнс “История мира в 10½ главах”. **006**. Марек Хласко “Красивые, двадцатилетние”. **007**. Малькольм Брэдбери “Профессор Криминале”.

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала “Иностранная литература”
Факс: (095) 953 5061, e-mail: inolit@adicom.ru

ИНДЕКС 70394
ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2000, №3, 1-288